Л.С.ВЫГОТСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР

Л.С.ВЫГОТСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ШЕСТОЙ

НАУЧНОЕ НАСЛЕДСТВО

Под редакцией М. Г. ЯРОШЕВСКОГО

МОСКВА
'ПЕДАГОГИКА'
1984

Л.С.ВЫГОТСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

МОСКВА
'ПЕДАГОГИКА'
1984

ББК 88
В92

*Печатается по решению Президиума
Академии педагогических наук СССР*

Рецензент
доктор психологических наук, профессор *О. К. Тихомиров*

Составитель, автор послесловия и комментариев
доктор психологических наук,
профессор *М. Г. Ярошевский*

Выготский Л. С.
В92 Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 6. Научное наследство/Под ред. М. Г. Ярошевского.— М.: Педагогика, 1984.— 400 с.— (Акад. пед. наук СССР).
Пер. 1 р. 70 к.

В том вошли не публиковавшиеся ранее труды: «Учение об эмоциях (учение Декарта и Спинозы о страстях)», представляющий собой теоретико-историческое исследование ряда философских, психологических и физиологических концепций о закономерностях и нейромеханизмах эмоциональной жизни человека; «Орудие и знак в развитии ребенка», освещающий проблемы формирования практического интеллекта, роль речи в орудийных действиях, функции знаковых операций в организации психических процессов.
Представлена подробная библиография трудов Л. С. Выготского, а также литература о нем.
Для психологов, педагогов, философов.

В $\frac{4303000000—001}{005(01)—84}$ подписное

ББК 88
15

ОРУДИЕ И ЗНАК В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

Глава первая

ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПСИХОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ И ПСИХОЛОГИИ РЕБЕНКА[1]

В самом начале развития детской психологии как особой отрасли психологического исследования К. Шутмпф[2] пытался обрисовать характер новой научной области, сравнивая ее с ботаникой. К. Линней[3], говорил он, как известно, назвал ботанику приятной наукой. Это мало подходит к современной ботанике... Если какая-нибудь наука и заслуживает названия приятной, то это именно психология детства, наука о самом дорогом, любимом и приятном, что есть на свете, о чем мы особенно заботимся и что именно поэтому обязаны изучить, понять[4].

За этим красивым сравнением скрывалось нечто гораздо большее, чем простое перенесение эпитета, приложенного Линнеем к ботанике, в детскую психологию. За ним скрывалась целая философия детской психологии, своеобразная концепция детского развития, которая во всех исследованиях молчаливо исходила из предпосылки, провозглашенной Штумпфом. Ботанический, растительный характер детского развития выдвигался в этой концепции на первый план, и психическое развитие ребенка понималось в основном как явление роста. В этом смысле и современная детская психология не освободилась окончательно от ботанических тенденций, тяготеющих над ней и мешающих ей осознать своеобразие психического развития ребенка по сравнению с ростом растения. Поэтому глубоко прав А. Гезелл[5], когда он указывает, что наши обычные представления о детском развитии до сих пор еще полны ботанических сравнений. Мы говорим о *росте* детской личности, мы называем *садом* систему воспитания в раннем возрасте.

Только в процессе длительных исследований, охвативших десятилетия, психология сумела преодолеть первоначальные представления о том, что процессы психического развития строятся и протекают по ботаническому образцу. В наши дни психология начинает овладевать мыслью, что процессами роста не исчерпывается вся сложность детского развития и что часто, особенно тогда, когда речь идет о наиболее сложных и специфических для человека формах поведения, рост (в прямом значении этого слова)

входит в общий состав процессов развития, но не как определяющая, а как подчиненная величина. Сами процессы развития также обнаруживают сложные качественные превращения одних форм в другие, такие, как сказал бы Гегель, переходы количества в качество и обратно, по отношению к которым понятие роста оказывается уже неприложимым.

Но если современная психология в целом рассталась с ботаническим прообразом детского развития, она, как бы идя по восходящей лестнице наук, полна сейчас представлений о том, что развитие ребенка в сущности представляет собой лишь более сложный и развитой вариант возникновения и эволюции тех форм поведения, которые мы наблюдаем уже в животном мире. Ботаническое пленение детской психологии сменилось ее зоологическим пленением, и многие, самые мощные направления нашей современной науки ищут прямого ответа на вопрос о психологии детского развития в экспериментах над животными. Эти эксперименты, с незначительными модификациями, переносятся из зоопсихологической лаборатории в детскую комнату, и недаром один из авторитетнейших исследователей в этой области вынужден признать, что важнейшими методическими успехами исследование ребенка обязано зоопсихологическому эксперименту.

Сближение детской психологии с зоопсихологией дало чрезвычайно много для биологического обоснования психологических исследований. Оно действительно привело к установлению многих важных моментов, сближающих поведение ребенка и животного в области низших и элементарных психических процессов. Но в последнее время мы присутствуем при чрезвычайно парадоксальном этапе развития детской психологии, когда создаваемая на наших глазах глава о развитии высших интеллектуальных процессов, характерных именно для человека, складывается как прямое продолжение соответствующей главы зоопсихологии. Нигде эта парадоксальная попытка разгадать специфически человеческое в психологии ребенка и его становлении в свете аналогичных форм поведения высших животных не сказывается с такой ясностью, как в учении о практическом интеллекте ребенка, важнейшей функцией которого (интеллекта) является употребление орудий.

Эксперименты по практическому интеллекту ребенка

Начало новому и плодотворному ряду исследований было положено широкоизвестными работами В. Келера[6] над человекоподобными обезьянами. Как мы знаем, Келер время от времени сравнивал в экспериментах реакции ребенка с реакциями шимпанзе в аналогичной ситуации. Это оказалось роковым для всех позднейших исследователей. Прямое сравнение практического интеллекта ребенка с аналогичными действиями обезьян стало руководящей нитью всех дальнейших экспериментов в этой области.

Таким образом, с первого взгляда может показаться, что все

порожденные работой Келера исследования позволительно рассматривать как прямое продолжение мыслей, развитых в его ставшей уже классической работе. Но так представляется дело только с первого взгляда. Если всмотреться внимательно, легко открыть, что при внешнем и видимом сходстве новые работы по существу представляют как бы тенденцию, в основном противоположную той, которой руководился Келер.

Одной из основных мыслей Келера, как правильно указывает О. Липманн[7], была мысль о родственности поведения антропоидов и человека в области практического интеллекта. На протяжении всей работы Келер в сущности занят стремлением показать человекоподобность поведения антропоида. При этом в качестве молчаливой предпосылки ему служит допущение, что соответствующее поведение человека известно каждому из непосредственного опыта. Новые же исследователи, пытавшиеся перенести открытые Келером закономерности практического интеллекта обезьяны на ребенка, руководствовались противоположной тенденцией, которая прекрасно обозначена в интерпретации опытов К. Бюлера[8], данной самим автором. Исследователь рассказывает о своих наблюдениях над самыми ранними проявлениями практического мышления ребенка. Это были действия, по его словам, совершенно похожие на действия шимпанзе. Поэтому указанную фазу детской жизни удачно назвать шимпанзеподобным возрастом. У наблюдаемого ребенка этот период обнимал 10, 11 и 12-й месяцы. В шимпанзеподобном возрасте ребенок делает свои первые изобретения, конечно крайне примитивные, но в духовном смысле чрезвычайно важные, считает К. Бюлер.

В применении к ребенку, естественно, методика Келера должна быть изменена во многих отношениях. Но принцип исследования и его основное психологическое содержание остались теми же. Бюлер воспользовался игрой схватывания у ребенка, для того чтобы исследовать его умение применять обходные пути при достижении цели и использовать примитивные орудия. Некоторые из опытов прямо переносили опыты Келера на ребенка. Такими были опыты, требующие для разрешения задачи снять кольцо с палочки, на которую оно надето, или опыты с веревочкой, привязанной к сухарю.

Опыты Бюлера привели его к немаловажному открытию, а именно: первые проявления практического интеллекта ребенка (которые впоследствии были констатированы также в исследовании Ш. Бюлер[9] и первые начатки которых должны быть отнесены к еще более раннему возрасту — 6—7-му мес жизни ребенка), как и действия шимпанзе, совершенно независимы от речи. К. Бюлер устанавливает в высшей степени важный в генетическом отношении факт, что до речи существует инструментальное мышление, т. е. схватывание механических сцеплений и придумывание механических средств для механических конечных целей.

Действительное, практическое мышление ребенка предшествует, таким образом, первым начаткам его речи, составляя, очевид-

но, самую первичную в генетическом отношении фазу в развитии интеллекта. Основная идея Бюлера уже в этих опытах проступает с чрезвычайной ясностью. Если Келер стремится раскрыть человекоподобность в действиях высших обезьян, то Бюлер стремится показать шимпанзеподобность в действиях ребенка.

Эта тенденция остается неизменной и у всех дальнейших исследователей, за небольшими исключениями. В ней наиболее ярко выражена та упомянутая опасность зоологизирования детской психологии, которая, как уже сказано, является господствующей чертой всех исследований в этой области. Однако в исследовании Бюлера эта опасность представлена в наименее серьезном виде. Бюлер имеет дело с ребенком до развития речи, и в этом отношении основные условия, необходимые для оправдания психологической параллели между шимпанзе и ребенком, могут быть соблюдены. Правда, Бюлер сам недооценивает значение сходства основных условий, говоря, что действия шимпанзе совершенно независимы от речи и в позднейшей жизни человека техническое, инструментальное мышление в гораздо меньшей степени связано с речью и понятиями, чем другие формы мышления.

Таким образом, Бюлер исходит из предположения, что характерное для 10-месячного ребенка отношение между практическим мышлением и речью — независимость разумного действия от речевого мышления — сохраняется и в позднейшей жизни человека и что развитие речи, следовательно, существенно ничего не изменяет в структуре практически разумной операции ребенка. Как мы увидим дальше, это предположение Бюлера фактически не подтверждено в процессе экспериментального исследования, направленного на выяснение связи между речевым мышлением в понятиях и практическим, инструментальным мышлением. Наши опыты показывают, что характерная для обезьяны независимость практического действия от речи не имеет места в развитии практического интеллекта ребенка, идущего в основном как раз по противоположному пути — пути тесного сплетения речевого и практического мышления.

Неправильная предпосылка Бюлера, однако, как мы уже говорили, разделяется большинством исследователей, опыты которых производятся ребенком более зрелого возраста, уже обладающего речью. Мы не имеем возможности представить сколько-нибудь полный и подробный обзор главнейших исследований этой проблемы. Остановимся только на основных выводах, которые могут иметь актуальное значение для нашей основной темы — связи практического действия и символических форм мышления в развитии ребенка.

Прекрасные, систематически проведенные исследования О. Липманна и X. Богена[10] привели, как известно, этих авторов к выводу, мало расходящемуся с положениями Бюлера. Для них, применивших более сложную методику исследования, позволившую захватить в сети эксперимента практический интеллект

ребенка школьного возраста, в основном остается экспериментально подтвержденной догма о шимпанзеподобности практических действий ребенка, т. е. о принципиальной идентичности психической природы животной и человеческой операции употребления орудий, о принципиальном единстве того пути, которым идет развитие практического интеллекта у обезьяны и у ребенка, продвигаясь вперед в обоих случаях за счет усложнения внутренних моментов, определяющих интересующую нас операцию, но не за счет коренного и принципиального изменения ее структуры.

Уже Бюлер справедливо отмечал, что душевно ребенок гораздо более неустойчив, менее сформирован биологически, менее мощен, чем четырехлетний или семилетний почти взрослый шимпанзе. По этому пути идут и дальнейшие исследования, выдвигая новые и новые, но не принципиальные, а лежащие в том же плане отличия операций ребенка от операций шимпанзе. Липманн и Боген видят главное отличие в доминировании физической структуры в поведении ребенка, но не оптической структуры, господствующей в поведении обезьяны. Если поведение обезьяны в экспериментальной ситуации, требующей употребления орудий, определяется, как показал Келер, главным образом структурой зрительного поля, то у ребенка на первый план в качестве определяющего фактора выступает «наивная физика», т. е. его наивный опыт, касающийся физических свойств окружающих его объектов и собственного тела.

Х. Боген кратко резюмирует результаты сравнения между действиями детей и антропоидов следующим образом. До тех пор пока физическое действие обнаруживает преимущественную зависимость от оптических структурных компонентов ситуации, между ребенком и обезьяной существует различие только в степени. Если же ситуация требует осмысленного включения физических структурных свойств вещей, следует признать, что действия обезьяны отличаются от действий ребенка. До тех пор пока не имеется новых толкований поведения обезьяны, различие вслед за Келером можно объяснить тем, что действия обезьяны определяются преимущественно физическими соотношениями.

Мы видим, таким образом, что все различие между развитием практического интеллекта ребенка и обезьяны сводится к замещению оптических структур физическими, т. е. определяется по существу чисто биологическими моментами, коренящимися в биологическом различии человека и шимпанзе. Автор допускает, правда, изменение этого положения в связи с новыми исследованиями действий обезьян, не ожидая, по-видимому, что именно действия ребенка при ближайшем рассмотрении дадут повод для пересмотра выдвинутого положения.

Не удивительно поэтому, что по окончании опытов Липманн и Боген вынуждены признать: уже в описаниях Келера, относящихся к шимпанзе, дано много чрезвычайно существенного в отношении поведения ребенка. Они до известной степени возражают Келеру, говорящему, что при описании практического действия

человека речь идет о terra incognita, о совершенно не исследованной области. Поэтому заранее нельзя ожидать, что сравнение действий ребенка и действий обезьяны даст что-либо существенно новое. Все значение своего исследования авторы видят в том, что оно позволяет показать с большей ясностью уже намеченные Келером сходство и различие. Не удивительно поэтому заключительное признание авторов, что они не могли бы получить на основании опытов над детьми существенно иной картины об обучении разумному действию, чем та, которая так прекрасно и убедительно нарисована Келером на основании его опытов над обезьянами. Поэтому они должны прийти к выводу, что, как показывают их эксперименты, качественной разницы в поведении ребенка и поведении антропоида при обучении установить нельзя.

Дальнейшие исследования в той же области в принципиальном отношении мало отличаются от соответствующих опытов Бюлера и Богена. Аналогичные опыты, примененные к умственно отсталым и малоодаренным детям, больше приближены к методике Келера. Так же точно и применение этих опытов к психотехническому отбору, глухонемым детям, использование опытов в качестве немых тестов, наконец, систематическое проведение их для сравнительного изучения детей разного возраста — все эти исследования не принесли ничего принципиально нового с интересующей нас стороны.

В качестве примера приведем одно из последних исследований, опубликованное в 1930 г. Речь идет о работе Брейнарда, с возможной точностью шаг за шагом воспроизводившего опыты Келера. Автор пришел к выводу, что у всех исследованных детей обнаруживаются те же самые общие установки, приемы и методы решения задачи. Старшие дети решают задачу, говорит он, более ловко, но с помощью тех же самых процессов. 3-летний ребенок обнаруживает приблизительно те же самые трудности в решении задачи, что и келеровская обезьяна. Ребенок имеет преимущество в виде речи и понимания инструкций, в то время как обезьяны имеют преимущество в виде более длинных рук и большего опыта в обращении с грубыми предметами.

Мы видим, таким образом, что реакция 3-летнего ребенка принципиально приравнивается к реакции обезьяны, а участие речи в процессе решения практической задачи, которое, кстати сказать, отмечается всеми авторами, приравнивается также к одному из второстепенных, непринципиальных моментов, дающих преимущество ребенку по сравнению с более длинными руками обезьяны, составляющими ее преимущество перед ребенком. То, что вместе с речью ребенок приобретает и принципиально иное отношение ко всей ситуации, в которой происходит решение практической задачи, и что самое его практическое действие представляет с психологической стороны совершенно иную, отличную структуру, большинством исследователей не признается вовсе.

Резюмируя результаты своих опытов, Брейнард говорит пря-

мо, что 3-летний ребенок обнаруживает почти ту же самую реакцию по отношению к сходным задачам, что и взрослые обезьяны.

Первая попытка найти не только сходство, но и принципиальное отличие в практическом интеллекте ребенка и интеллекте обезьяны была сделана в лаборатории М. Я. Басова[11]. Так, С. А. Шапиро и Е. Д. Герке в введении к серии своих экспериментов отмечают, что социальный опыт играет доминирующую роль у человека. Проводя параллель между шимпанзе и ребенком, авторы намереваются вести это сопоставление преимущественно под углом зрения последнего фактора. Влияние социального опыта авторы видят в том, что у ребенка благодаря подражанию и применению орудий или предметов по заданному образцу не только возникают готовые, стереотипно воспроизводимые шаблоны действий, но в конечном счете происходит овладение самим принципом данной деятельности. Повторные действия, говорят авторы, последовательно накладываются друг на друга, как множественная фотография с выделением общих черт и затушевыванием несходных. В итоге выкристаллизовывается схема, усваивается принцип действия. У ребенка по мере роста опыта увеличивается количество применяемых им моделей понятий. Модели представляют собой как бы рафинированный узор всех прошлых действий одного и того же типа и проектный чертеж возможных форм поведения в будущем, полагают авторы.

Не будем подробно говорить о том, что возникновение таких схем, напоминающих коллективную фотографию Ф. Гальтона[12], воскрешает в теории практического интеллекта давно оставленную в психологии теорию образования понятий или родовых представлений, соответствующих словесному значению. Оставим также в стороне и вопрос о том, насколько вместе с вступлением в решение задачи таких схем, которые образуются чисто механическим путем в результате повторения, входит в действие фактор, принципиально отличный от интеллекта, понимаемого как функция приспособления к новым обстоятельствам. Укажем только на то, что самое значение социального опыта в данном случае понимается исключительно с точки зрения наличия годных образцов, которые ребенок находит в окружающей среде. Таким образом, социальный опыт, не меняя ничего существенного во внутренней структуре интеллектуальных операций ребенка, просто наполняет эти операции другим содержанием, создавая ряд готовых клише, ряд стереотипных двигательных формул, ряд моторных схем, которые ребенок применяет при решении задачи.

Правда, Шапиро и Герке, как и почти все другие исследователи, в процессе фактического описания своих опытов вынуждены указать на ту своеобразную роль, которую в практически-действенном приспособлении ребенка выполняет речь. Однако эта роль поистине оказывается своеобразной, так как речь, по словам авторов, замещает и компенсирует подлинное приспособление, она не служит мостом для перехода к прошлому опыту и чисто

социальному виду приспособления, которое проводится через посредство экспериментатора.

Таким образом, речь не создает принципиально новой структуры практического действия ребенка, и в силе остается прежнее утверждение о превалировании готовых схем в его поведении и об использовании готовых клише из архива старого опыта. Новое заключается в том, что речь является суррогатом, замещающим неудавшееся действие словом или чужим действием.

На этом мы могли бы закончить обзор важнейших экспериментальных исследований, посвященных интересующей нас проблеме. Но прежде чем сделать общий вывод, нам хотелось бы указать еще на одну опубликованную в последнее время работу, которая позволяет наглядно выделить общий недостаток всех упомянутых работ и наметить отправную точку для самостоятельного разрешения занимающей нас проблемы. Мы имеем в виду работу Гийома и Меерсона (1930), к которой мы еще будем иметь случай вернуться. Эти авторы исследовали употребление орудий у обезьян. Дети не были вовлечены в их опыты. Но, сравнивая общие результаты опытов с соответствующими действиями человека, авторы приходят к выводу, что поведение обезьян аналогично поведению человека, страдающего афазией, т. е. поведению человека, у которого выключена речь.

Это указание кажется нам многозначительным и затрагивающим самый центральный пункт рассматриваемой проблемы. Мы возвращаемся в сущности к тому, о чем говорили в начале нашего обзора. Если, как устанавливают опыты Бюлера, практические действия ребенка до развития речи совершенно сходны с действиями обезьян, то, согласно новым исследованиям Гийома и Меерсона, действия человека, потерявшего речь вследствие патологического процесса, снова начинают с принципиальной стороны представлять нечто аналогичное действиям шимпанзе. Но все то многообразие форм практической деятельности человека, которое заключено между двумя крайними моментами, все практические действия говорящего ребенка являются ли также принципиально аналогичными по структуре, по психологической природе действиям бессловесных животных? В этом основной вопрос, который нам предстоит разрешить. Для его разрешения мы должны обратиться к собственным экспериментальным исследованиям, которые проводили мы и наши сотрудники, отправляясь от принципиальных предпосылок иного рода, чем те, которые положены в основу большинства упомянутых до сих пор исследований.

Мы стремились раскрыть раньше всего специфически человеческое в поведении ребенка и историю становления этого поведения. В частности, в проблеме практического интеллекта нас интересовала в первую очередь история возникновения тех форм практической деятельности, которые могли бы быть признаны специфическими для человека. Нам казалось, что в ряде прежних исследований, руководившихся в качестве основной методологиче-

ской предпосылки зоопсихологической аналогией, отсутствует этот самый главный элемент. Все предшествующие исследования, несомненно, имеют огромное значение: они вскрывают связь между развитием человеческих форм деятельности и их биологическими задатками в животном мире. Но они не раскрывают в поведении ребенка ничего, кроме того, что в нем содержится из прежних животных форм его мышления. Новый тип отношения к среде, характерный для человека, новые формы деятельности, которые привели к развитию труда как определяющей формы отношения человека к природе, связь употребления орудий с речью — все это остается для прежних исследований вне предела досягаемости из-за основных исходных точек зрения. Нашей дальнейшей задачей и является рассмотрение этой проблемы в свете экспериментальных исследований, направленных на раскрытие специфически человеческих форм практического интеллекта у ребенка и основных линий их развития.

Изучение употребления знаков у ребенка и развития этой операции с необходимостью привело нас к исследованию того, как возникает, откуда берет начало символическая деятельность ребенка. Этому вопросу посвящены специальные исследования, разбитые на четыре серии: 1) изучение того, как возникает символическое значение в экспериментально организованной игре ребенка с предметами; 2) анализ связи между знаком и значением, между словом и обозначаемым им предметом у ребенка дошкольного возраста; 3) исследование мотивировки, даваемой ребенком при объяснении, почему данный предмет назван данным словом (по клиническому методу Ж. Пиаже[13]); 4) то же исследование с помощью избирательного теста (Н. Г. Морозова[14]).

Указанные работы, если обобщать их результаты с негативной стороны, привели нас к выводу, что эта деятельность не возникает ни тем путем, которым вырабатывается сложный навык, ни тем путем, которым возникает открытие или изобретение ребенка. Символическая деятельность ребенка не изобретается им и не заучивается. Интеллектуалистические и механистические теории здесь одинаково неправы, хотя и моменты выработки навыка, и моменты интеллектуальных открытий многократно вплетаются в историю употребления знаков у ребенка, но они не определяют внутренний ход этого процесса, а включаются в него в качестве подчиненных, служебных, второстепенных структур. Знак возникает в результате сложного процесса развития — в полном смысле этого слова. В начале процесса стоит переходная, смешанная форма, соединяющая в себе натуральное и культурное в поведении ребенка. Ее мы называем стадией детской примитивности, или естественной историей знака. В противоположность натуралистическим теориям игры, наши опыты заставляют нас сделать вывод, что игра есть главный тракт культурного развития ребенка, и в частности развития его символической деятельности.

Опыты показывают, что ребенку в игре и в речи чуждо сознание условности, произвольности соединения знака и значе-

ния. Для того чтобы быть знаком вещи, слово должно иметь опору в свойствах обозначаемого объекта. Не «все может быть всем» в игре ребенка. Реальные свойства вещи и ее символическое значение обнаруживают в игре сложное структурное взаимодействие. Так же и слово связывается для ребенка с вещью через ее свойства, вплетаясь в их общую структуру. Поэтому ребенок в наших опытах не соглашается с тем, что можно было бы пол называть стаканом («по нему ходить нельзя будет»), но делает стул поездом, изменяя в игре его свойства, т. е. обращаясь с ним как с поездом. Ребенок отказывается переменить значения слов «стол» и «лампа», потому что «на лампе нельзя будет писать, а стол будет гореть». Изменить название — значит для него изменить свойства вещи.

Нельзя яснее выразить тот факт, что ребенок не открывает связи между знаком и значением в самом начале возникновения речи и долгое время не приходит к осознанию этой связи. Дальнейшие опыты показывают, что и *функция называния* не возникает путем однократного открытия, но также имеет свою естественную историю. То, что возникает к началу образования речи у ребенка, есть не открытие, что каждая вещь имеет свое имя, а новый способ обращения с вещами, именно их называние.

Таким образом, те связи между знаком и значением, которые по внешним признакам очень рано начинают напоминать благодаря сходному способу функционирования соответствующие связи у взрослого человека, по своей внутренней природе являются психологическими образованиями совсем иного рода. Отнести овладение связью между знаком и значением к самому началу культурного развития ребенка — значит игнорировать сложнейшую, растянутую более чем на целое десятилетие историю внутреннего построения этой связи.

При вращивании, т. е. переходе функции внутрь, происходит сложнейшая трансформация всей ее структуры. Существенными моментами, характеризующими трансформацию, следует считать, как показывает экспериментальный анализ, 1) замещение функций, 2) изменение натуральных функций (элементарных процессов, лежащих в основе высшей функции и входящих в ее состав) и 3) возникновение новых психологических функциональных систем (или системных функций), принимающих на себя то назначение в общей структуре поведения, которое ранее выполнялось частными функциями.

Для краткости поясним все три внутренне связанных между собой момента на примере изменения при вращивании высших функций памяти. Уже при простейшей форме опосредованного запоминания со всей наглядностью выступает факт замещения функций. Недаром А. Бине[15] назвал мнемотехническое запоминание цифрового ряда симуляцией числовой памяти. Эксперимент показывает, что не сила памяти, или уровень ее развития, является решающим фактором при запоминании этого рода, но комбинаторская деятельность, созидание и изменение структуры

восприятия отношений, мышление в широком смысле слова и другие процессы, замещающие память в данной операции, определяют судьбу всей деятельности. При переходе операции внутрь замещение функций приводит к вербализации памяти и связанному с этим запоминанию в понятиях. Благодаря замещению функций сдвигается с места и элементарный процесс запоминания, который и теперь не элиминируется из новой операции вовсе, но теряет центральное значение и занимает новую позицию по отношению ко всей новой системе сотрудничающих функций. Входя в новую систему, он начинает функционировать по законам того целого, часть которого он теперь составляет.

В результате всех изменений новая функция памяти (внутренне опосредованный процесс) только по имени совпадает с элементарными процессами запоминания; по внутренней сущности это специфическое новообразование со своими особыми законами[16].

Этот перенос социального способа поведения в систему индивидуальных форм приспособления опять-таки не является чисто механическим, не совершается автоматически, но связан с применением структуры и функции всей операции и сам образует целую стадию в развитии высших форм поведения. Прежняя сложная форма сотрудничества начинает функционировать по законам того примитивного целого, органической частью которого она теперь становится.

Между утверждением, что высшие психические функции, неотъемлемой частью которых является употребление знаков, возникают в процессе сотрудничества и социального общения, и другим утверждением, что эти функции развиваются из примитивных корней на основе низших, или элементарных, функций, т. е. между социогенезисом высших функций и их естественной историей, существует генетическое, а не логическое противоречие. Переход от коллективной формы поведения к индивидуальной на первых порах снижает характер всей операции, включает ее в систему примитивных функций и ставит ее на общий для всех этих функций уровень. Социальные формы поведения сложнее, они развиваются у ребенка раньше; становясь индивидуальными, они снижаются до функционирования по более простым законам. Эгоцентрическая речь[17], например, ниже как речь и выше как стадия в развитии мышления, чем социальная речь ребенка того же возраста. Поэтому, может быть, Пиаже рассматривает ее как предшественницу социализированной речи, а не как ее производную форму.

Таким образом, мы приходим к выводу, что операция употребления знака, стоящая в начале развития каждой из высших психических функций, по необходимости носит в первое время характер внешней деятельности. Знак вначале, как правило, есть внешний вспомогательный стимул, внешнее средство автостимуляции. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, происхождением этой операции из коллективной формы поведения, которая всегда принадлежит к сфере внешней деятельности, и, во-вторых,

примитивными законами индивидуальной сферы поведения, которая в своем развитии еще не оторвалась от внешней деятельности, еще не эмансипировалась от наглядного восприятия и внешнего действия (например, наглядное, или практическое, мышление ребенка). Законы же примитивного поведения гласят, что ребенок раньше и с большой легкостью овладевает внешней деятельностью, чем ходом внутренних процессов.

Поэтому операция, превращаясь из интерпсихической в интрапсихическую, не сразу становится внутренним процессом поведения. Она долгое время продолжает существовать и изменяться как внешняя форма деятельности, прежде чем уйдет окончательно внутрь. Для ряда функций стадия внешнего знака навсегда остается последней ступенью развития, которой они достигают. Другие функции идут в развитии дальше и постепенно становятся внутренними функциями. Они приобретают характер внутренних процессов в конце длинного пути развития. Переходя внутрь, они снова изменяют законы своей деятельности и попадают опять в новую систему, где господствуют новые закономерности.

Мы не можем сейчас остановиться сколько-нибудь подробно на процессе перехода высших функций из системы внешней в систему внутренней деятельности, мы опускаем многие относящиеся сюда перипетии развития, но постараемся в кратких чертах передать главнейшие моменты, связанные с переходом высших функций внутрь.

Для тщательного изучения структуры и развития функции восприятия мы воспользовались в качестве экспериментального материала немыми тестами С. Коса[18], служащими обычно для испытания комбинаторной деятельности. При решении теста ребенок должен скомбинировать из кубиков с разноцветными гранями предложенную в виде образца более или менее сложную разноцветную фигуру. При этом мы получаем возможность наблюдать, как ребенок воспринимает образец и материал, как он передает форму и цвет в различных комбинациях, как он сравнивает свое построение с образцом и много других моментов, характеризующих деятельность его восприятия. Исследование охватило более 200 испытуемых и было проведено в сравнительно-генетическом аспекте. Наряду с детьми (от 4 до 12 лет) были исследованы взрослые (нормальные, принадлежащие к различной культурной среде и уровню, и нервно-психические больные истерией, афазией, шизофренией) и дети глухонемые и олигофрены (Л. С. Гешелина[19]).

Исследование показало, если остановиться в интересующей нас связи только на самом основном и наиболее общем из его результатов, что обычное представление о независимости процессов восприятия от речи, о принципиальной непосредственности психических функций восприятия, о возможности с помощью немых тестов адекватно исследовать природу функции восприятия на всех ступенях ее развития и притом совершенно независимо от

речи не находит себе подтверждения в фактических данных.

Факты говорят об обратном положении дела. Подобно тому как в наших опытах с передачей содержания картин путем словесного описания и путем игрового действия мы могли констатировать глубочайшие изменения, вносимые в процесс восприятия речью, так точно и в этом специальном исследовании мы могли наблюдать, сравнивая решение одной и той же задачи глухонемым и слышащим ребенком, афазиком и нормальным испытуемым, ребенком на ранней и более поздней ступенях развития, как речевое мышление, в систему которого все более и более включаются процессы восприятия, преобразует собственные законы восприятия. Это особенно легко наблюдать, потому что законы той и другой функций обнаруживают на ранней стадии противоположно направленные тенденции: восприятие целостно, речь аналитична.

При процессах *прямого* восприятия и передачи воспринятой формы, не опосредованной речью, ребенок схватывает и закрепляет впечатление целого (цветовое пятно, основные признаки формы и т. п.) — все равно, насколько верно и насколько непримитивно он это делает. При вступлении в действие речи его восприятие перестает быть связанным непосредственным впечатлением целого; в зрительном поле возникают новые, фиксируемые словом центры и связи различных пунктов с этими центрами; восприятие перестает быть «рабом зрительного поля», и независимо от степени правильности и совершенства решения ребенок воспринимает и передает деформированное словом впечатление.

Очень важные выводы вытекают отсюда в отношении немых тестов: решать задачу молча еще не значит, как учит наше исследование, решать ее без помощи речи. Умение думать по-человечески, но без слов, дается только словом. Это положение психологической лингвистики (А. А. Потебня[20]) находит полное подтверждение и оправдание в данных генетической психологии.

Исследование функции образования понятий, начатое нашим сотрудником Л. С. Сахаровым, разработавшим для этой цели специальную методику эксперимента, показало, что функциональное употребление знака (слова) в качестве средства направления внимания, абстрагирования, установления связи, обобщения и т. п. операций, входящих в состав данной функции, является необходимой и центральной частью всего процесса возникновения нового понятия. В этом процессе участвуют все основные элементарные психические функции в своеобразном сочетании и под главенством операции употребления знака (Л. С. Сахаров[21], Ю. В. Котелова[22], Е. И. Пашковская).

Функция речи в употреблении орудия. Проблема практического и вербального интеллекта

Два процесса исключительной важности, которым посвящена эта статья: применение орудий и использование символов — рассматривались до сих пор в психологии как изолированные и независимые друг от друга.

На протяжении долгого времени в науке существовало мнение, что практическая интеллектуальная деятельность, связанная с употреблением орудий, не имеет существенного отношения к развитию знаковых, или символических, операций, например речи. В психологической литературе почти совсем не уделялось внимания вопросу о структурной и генетической связи этих двух функций. Напротив, вся информация, которой могла располагать современная наука, вела, скорее, к пониманию этих психических процессов как двух совершенно независимых линий развития, которые, возможно, могли вступить в контакт, но принципиально ничего общего не имели друг с другом.

В классическом исследовании использования орудий обезьянами В. Келер наблюдал форму поведения, которая может быть названа чистой культурой практического интеллекта, достаточно развитой, но не связанной с использованием символа. Описав великолепные примеры применения орудий человекоподобными обезьянами, он в дальнейших исследованиях показал, насколько тщетны все попытки развить у животных хотя бы самые начальные знаковые и символические операции.

Практическое интеллектуальное поведение обезьяны оказалось совершенно независимым от символической деятельности. Дальнейшие попытки развить речь у обезьяны (см. работы Р. Йеркса[23] и Э. Лернеда) также дали отрицательные результаты, еще раз показав, что практическое *идеаторное* поведение животного протекает совершенно автономно и изолированно от речевой активности и что речь остается недоступной для обезьяны, несмотря на сходство голосового аппарата обезьяны и человека.

Признание того факта, что начала практического интеллекта могут наблюдаться почти в полной мере в предчеловеческий и предречевой периоды, привело психологов к следующему предположению: употребление орудий, возникая как натуральная операция, остается таким же и у ребенка. Ряд авторов, изучающих практические операции у детей различного возраста, стремились с возможно большей точностью установить время, до которого поведение ребенка во всех отношениях напоминало поведение шимпанзе. Добавление речи у ребенка расценивалось этими авторами как нечто совершенно инородное, вторичное и не связанное с практическими операциями. В лучшем случае речь рассматривалась как нечто сопровождающее операции, подобно аккомпанементу, сопутствующему основной мелодии. Поэтому

естественно, что при исследовании знаков практического интеллекта наблюдалась тенденция игнорировать речь, а практическая деятельность ребенка анализировалась посредством простого механического вычитания речи из целостной системы активности ребенка.

Тенденция к изолированному изучению употребления орудий и символической активности достаточно укоренилась в работах авторов, занятых изучением естественной истории практического интеллекта; психологи, исследовавшие развитие символических процессов у ребенка, придерживались принципиально той же линии. Происхождение и развитие речи и любой другой символической деятельности рассматривалось как нечто не имеющее связи с практической деятельностью ребенка, как если бы он был чисто рассуждающим субъектом. Такой подход к речи с необходимостью вел к провозглашению чистого интеллектуализма, и психологи, склонные изучать развитие символической деятельности не столько как естественную, сколько как духовную историю развития ребенка, часто относили возникновение этой формы деятельности за счет спонтанного открытия ребенком отношений между знаками и их значениями. Этот счастливый момент, по известному выражению В. Штерна[24], есть величайшее открытие в жизни ребенка. Это происходит, по утверждению многих авторов, на грани 1-го и 2-го года жизни и рассматривается как результат сознательной деятельности ребенка. Проблема развития речи и других форм символической деятельности, таким образом, снималась, и дело представлялось чисто логическим процессом, который проецировался в раннее детство и содержал в себе в завершенной форме все ступени дальнейшего развития.

Из исследования символических речевых форм деятельности, с одной стороны, и практического интеллекта, с другой, в качестве изолированных явлений не только вытекало, что генетический анализ этих функций приводил к точке зрения на них как на процессы, имеющие абсолютно различные корни, но и участие их в одной и той же деятельности считалось случайным фактом, не имеющим принципиального психологического значения. Даже тогда, когда речь и использование орудий были тесно переплетены в одной и той же деятельности, они рассматривались отдельно, как процессы, принадлежащие двум существенно различным классам независимых явлений, и причина их совместного существования оценивалась в лучшем случае как внешняя.

Если авторы, изучающие практический интеллект в его естественной истории, приходили к выводу, что его натуральные формы ни в малейшей степени не связаны с символической деятельностью, то детские психологи, изучающие речь, приходили к сходным допущениям с противоположной стороны. Прослеживая психическое развитие ребенка, они установили, что на протяжении целого периода развития символических процессов речь, сопровождая общую деятельность ребенка, обнаруживает эгоцентрический характер, но, существуя в принципе отдельно от

действия, не взаимодействует с ним, а идет параллельно ему. Ж. Пиаже описывал эгоцентрическую речь ребенка с этой точки зрения. Он не придавал речи сколько-нибудь существенной роли в организации поведения ребенка, не признавал за ней коммуникативной функции, но был вынужден признать ее практическую важность.

Серия наблюдений привела нас к мысли, что такое изолированное изучение практического интеллекта и символической деятельности абсолютно неверно. Если у высших животных одно могло существовать без другого, то отсюда естественно вытекает, что совокупность двух систем есть именно то, что должно рассматриваться как характерное для сложного поведения человека. В результате этого символическая деятельность начинает играть специфически организующую роль, проникая в процесс употребления орудий и обеспечивая появление принципиально новых форм поведения.

К такому выводу нас привели пристальное изучение ребенка и новые исследования, сумевшие открыть те функциональные особенности, которые отличают его поведение от поведения животных, и в то же время специфику этого поведения как человеческого.

Дальнейшие исследования убеждают нас, что ничто не может быть более ложным, чем те две точки зрения, которые мы обсуждали выше, рассматривая практический интеллект и речевое мышление как две независимые и изолированные друг от друга линии развития. Первая из них, как мы видели, выражает крайнюю форму зоологических взглядов, которые, однажды обнаружив естественные корни человеческого поведения в поведении обезьян, пытаются рассматривать высшие формы человеческого труда и мышления как прямое продолжение этих корней, игнорируя скачок, состоявший в переходе человека к общественной форме существования. Вторая точка зрения, отстаивая независимое происхождение высших форм речевого мышления и рассматривая его как «величайшее открытие в жизни ребенка», которое осуществляется в преддверии 2-го года жизни и состоит в обнаруживании отношений между знаком и его значением, в первую очередь выражает крайнюю форму спиритуализма части современных психологов, трактующих мышление как чисто духовный акт.

Речь и практическое действие в поведении ребенка

Наши исследования привели нас не только к убеждению в ложности такого подхода, но вместе с тем и к положительному выводу о том, что величайший генетический момент во всем интеллектуальном развитии, из которого выросли чисто человеческие формы практического и познавательного интеллекта, состоит

в соединении двух первоначально совершенно независимых линий развития.

Употребление орудий ребенком напоминает орудийную деятельность обезьян только до тех пор, пока ребенок находится на доречевой стадии развития. Как только речь и применение символических знаков включаются в манипулирование, оно совершенно преобразуется, преодолевая прежние натуральные законы и впервые рождая собственно человеческие формы употребления орудий. С того момента, как ребенок с помощью речи начинает овладевать ситуацией, предварительно овладев собственным поведением, возникает радикально новая организация поведения, а также новые отношения со средой. Мы присутствуем здесь при рождении специфически человеческих форм поведения, которые, отрываясь от животных форм поведения, в дальнейшем создают интеллект и становятся затем основной для труда — специфически человеческой формой употребления орудий.

Это соединение с полной ясностью выявляется в экспериментальном генетическом примере, взятом из наших исследований. Первое же наблюдение за ребенком в экспериментальной ситуации, сходной с ситуацией, в которой Келер наблюдал практическое применение орудия обезьянами, показывает, что ребенок не просто действует, пытаясь достичь цели, но одновременно говорит. Речь, как правило, возникает у ребенка спонтанно и длится почти непрерывно на протяжении всего эксперимента. Она проявляется с большим постоянством и усиливается всякий раз, когда ситуация становится более трудной и цель оказывается не столь легко достижимой. Попытки помешать ей (как показали эксперименты нашего сотрудника Р. Е. Левиной[25]) или ни к чему не приводят, или останавливают действие, сковывая все поведение ребенка.

В такой ситуации кажется естественным и необходимым для ребенка говорить по мере того, как он действует. И у экспериментаторов обычно возникает впечатление, что речь не просто следует за практической деятельностью, но играет в ней какую-то немаловажную специфическую роль. Впечатления, которые остались у нас в результате экспериментов, подобных этим, ставят исследователя лицом к лицу со следующими двумя фактами, имеющими огромное значение:

1. Речь ребенка неотъемлемая и внутренне необходимая часть процесса, она так же важна, как действие, для достижения цели. Согласно впечатлению экспериментатора, ребенок не просто говорит о том, что он делает, но проговаривание и действие для него в этом случае являются единой сложной психической функцией, направленной на решение задачи.

2. Чем более сложное действие требуется ситуацией и чем менее прямым становится путь решения, тем более важной становится роль речи в целом процессе. Иногда речь становится так важна, что без нее ребенок решительно не способен завершить задачу.

Эти наблюдения наталкивают нас на вывод, что ребенок решает практическую задачу не только с помощью глаз и рук, но и с помощью речи. Возникшее единство восприятия, речи и действия, которое приводит к перестройке законов зрительного поля, и составляет подлинный и важнейший объект анализа, направленного на изучение происхождения специфически человеческих форм поведения. Экспериментально исследуя эгоцентрическую речь ребенка, вовлеченную в ту или иную деятельность, мы сумели установить и следующий факт, имеющий большое значение для объяснения психической функции и генетического описания этого этапа в развитии речи ребенка: коэффициент эгоцентрической речи, подсчитанный по Пиаже, явно возрастает по мере того, как в активность ребенка вводятся трудности и помехи. Как показали наши эксперименты, для определенной группы детей коэффициент почти удваивается в моменты возникновения трудностей. Этот факт заставил нас предположить, что эгоцентрическая речь ребенка очень рано начинает выполнять функцию примитивного речевого мышления — мышления вслух. Дальнейший анализ характера этой речи и ее связи с трудностями полностью подтвердили наше предположение.

На основании данных экспериментов мы выдвинули гипотезу, что эгоцентрическую речь у ребенка следует рассматривать как переходную форму между внешней и внутренней речью. Эгоцентрическая речь, в соответствии с предложенной гипотезой, психологически есть внутренняя речь, если принять во внимание ее функцию, но внешняя — по форме выражения. С этой точки зрения мы склонны приписывать эгоцентрической речи ту функцию, которую в развитом поведении взрослого выполняет внутренняя речь, т. е. интеллектуальную функцию. С генетической точки зрения мы склонны представлять общую последовательность основных ступеней развития речи так, как это формулируется, например, Д. Уотсоном[26]: внешняя речь — шепот — внутренняя речь или, иначе говоря: внешняя речь — эгоцентрическая речь — внутренняя речь.

Что же именно отлично в действиях ребенка, владеющего речью, по сравнению с решением практической задачи обезьяной?

Первое, что поражает экспериментатора,— это несравненно большая свобода в операциях, производимых детьми, их несравненно большая независимость от структуры непосредственно данной зрительной или практической ситуации, чем у животного. Ребенок констатирует словами значительно большие возможности, чем обезьяна может реализовать в действии. Ребенок более легко может освободиться от вектора, направляющего внимание непосредственно на цель, и произвести ряд сложных дополнительных действий, используя сравнительно длинную цепочку вспомогательных инструментальных методов. Он способен самостоятельно вводить в процесс решения задачи объекты, которые не находятся ни в непосредственном, ни в периферическом зрительном поле. Создавая с помощью слов определенные намерения,

ребенок осуществляет значительно больший круг операций, используя в качестве орудий предметы, не только лежащие у него под рукой, но и отыскивая и подготавливая те, которые могут стать полезны для решения задачи, и планируя дальнейшие действия.

Среди преобразований, которым подвергались практические операции благодаря включению в них речи, замечательны два. Во-первых, практические операции ребенка, владеющего речью, становятся значительно менее импульсивны и непосредственны, чем у человекообразной обезьяны, которая, чтобы разрешить данную ситуацию, совершает ряд неконтролируемых попыток. Деятельность ребенка, владеющего речью, делится на две последовательные части: в первой проблема решается в речевом плане, с помощью речевого планирования, а во второй — в простой моторной реализации подготовленного решения. Прямое манипулирование заменяется сложным психическим процессом, в котором внутренний план и создание намерений, отсроченных во времени, сами стимулируют свое развитие и реализацию. Эти совершенно новые психологические структуры отсутствуют в сколько-нибудь сложной форме у обезьяны.

Во-вторых, и это факт решающей важности, с помощью речи в сферу объектов, доступных для преобразования ребенком, включается и его собственное поведение. Слова, направленные на разрешение проблемы, относятся не только к объектам внешнего мира, но и к собственному поведению ребенка, его действиям и намерениям. С помощью речи ребенок впервые оказывается способным к овладению собственным поведением, относясь к себе как бы со стороны, рассматривая себя как некоторый объект. Речь помогает ему овладеть этим объектом посредством предварительной организации и планирования собственных действий и поведения. Те объекты, которые были вне сферы, доступной для практической деятельности, теперь благодаря речи становятся доступны для практической деятельности ребенка.

Описанный факт не может рассматриваться лишь как частный момент в развитии поведения. Здесь мы видим кардинальные изменения в самом отношении индивида к внешнему миру. При более тщательном рассмотрении изменения оказываются исключительно глубокими. Поведение обезьяны, описанное Келером, ограничено манипулированием животного в непосредственно данном зрительном поле, тогда как решение практической проблемы ребенком, способным говорить, в значительной степени отдаляется от натурального поля. Благодаря планирующей функции речи, направленной на собственную деятельность, ребенок создает рядом со стимулами, доходящими до него из среды, другую серию вспомогательных стимулов, стоящих между ним и средой и направляющих его поведение. Именно благодаря созданному с помощью речи второму ряду стимулов поведение ребенка поднимается на более высокий уровень, обретая относительную свободу от непосредственно привлекающей ситуации, и импульсивные

попытки преобразуются в планируемое, организованное поведение.

Вспомогательные стимулы (в данном случае речь), которые выполняют специфическую функцию организации поведения, оказываются не чем иным, как теми символическими знаками, которые мы здесь рассматривали. Они служат ребенку прежде всего средством социального контакта с окружающими людьми, а также начинают использоваться как средство воздействия на самого себя, как средство автостимуляции, порождая таким образом новую, более высокую форму поведения.

Интересная параллель для фактов, приведенных выше и относящихся к роли речи в приобретении специфически человеческих форм поведения, может быть найдена в исключительно интересных экспериментах А. Гийома и Г. Меерсона, анализирующих употребление орудий обезьянами. Наше внимание привлекли выводы этой работы, в которых интеллектуальные операции обезьян сопоставляются с процессом решения практических задач афазиками (клинически и экспериментально исследованными Г. Хэдом[27]). Авторы находят, что способы выполнения задачи афазиком и человекообразной обезьяной принципиально сходны и совпадают в очень существенных моментах. Этот факт, таким образом, подтверждает нашу мысль, что речь играет важную роль в организации высших психических функций.

Если в генетическом плане мы видели объединение практических и речевых операций и рождение новой формы поведения, переход от низших форм поведения к высшим, то при распаде единства речи и действия мы замечаем обратное движение — переход человека от высших форм к более низким. Интеллектуальные процессы у человека с нарушенными символическими функциями, т. е. у афазика, ведут не просто к снижению функции практического интеллекта или затруднению в ее реализации, но представляют собой обнажение другого, более примитивного уровня поведения, той самой генетической формации, которую мы обнаружили в поведении обезьяны.

Чего же не хватает в действиях афазика и что, следовательно, обязано своим происхождением речи? Достаточно проанализировать поведение больного афазией в новой для него практической ситуации, чтобы увидеть, насколько оно отличается от поведения в аналогичной ситуации нормального, владеющего речью человека. Первое, что бросается в глаза, когда наблюдаешь афазика,— его необычайное замешательство. Как правило, здесь нет и намека на сколько-нибудь сложное планирование решения задачи. Создание предварительного намерения и его последовательная систематическая реализация абсолютно недоступны для такого больного. Каждый стимул, возникающий в ситуации и привлекший внимание афазика, вызывает импульсивную попытку непосредственно ответить соответствующей реакцией без учета ситуации и решения в целом. Сложная цепь действий, предполагающая создание намерения и его систематическую последовательную

реализацию, больному недоступна, она превращается в группы разобщенных неорганизованных проб.

Иногда действия задерживаются и приобретают рудиментарную форму, иногда превращаются в сложные и неорганизованные массивы праксических действий. Если ситуация достаточно сложна и может быть выполнена лишь посредством последовательной системы предварительно спланированных операций, афазик приходит в замешательство и оказывается совершенно беспомощным. В более простых случаях он решает задачу при помощи простых симультанных комбинаций в пределах зрительного поля и способы решения в принципе мало отличаются от того, что наблюдал Келер в экспериментах с человекоподобными обезьянами.

Лишенный речи, которая сделала бы его свободным от видимой ситуации и позволила планировать связную последовательность действий, афазик оказывается рабом непосредственной ситуации в сто раз больше, чем ребенок, владеющий речью.

Развитие высших форм практической деятельности у ребенка

Из изложенного следует вывод, что как в поведении ребенка, так и в поведении культурного взрослого человека практическое использование орудий и символические формы деятельности, связанные с речью, не являются двумя параллельными цепями реакций. Они образуют сложное психологическое единство, в котором символическая деятельность направлена на организацию практических операций путем создания стимулов второго порядка и путем планирования собственного поведения субъекта. В противовес высшим животным у человека возникает сложная функциональная связь между речью, употреблением орудий и натуральным зрительным полем. Без анализа этой связи психология практической деятельности человека всегда оставалась бы непонятной. Но совершенно ошибочно считать, как делают некоторые бихевиористы, что указанное единство есть просто результат обучения и навыка и прямо составляет линию естественного развития, идущую от животных и лишь случайно приобретающую интеллектуальный характер. Столь же ошибочно рассматривать роль речи вслед за рядом детских психологов как результат внезапного открытия, совершаемого ребенком.

Формирование сложного единства речи и практических операций есть продукт уходящего далеко вглубь процесса развития, в котором индивидуальная история субъекта тесно связана с его общественной историей.

За неимением места мы вынуждены упростить действительную проблему и брать интересующие нас явления в их крайних генетических формах, сравнивая только начало и конец рассматриваемого процесса развития. Сам процесс развития с его большим разнообразием фаз и появлением все новых факторов

остается вне рассмотрения. Мы сознательно берем явление в его наиболее развитой форме, минуя смешанные промежуточные стадии. Это позволяет показать с максимальной ясностью конечный результат развития и, следовательно, оценить основное направление всего процесса. Такое, как здесь, соединение логического и исторического подходов в исследовании, произвольно опускающее ряд стадий изучаемого процесса, имеет свои опасности, которые разрушили не одну теорию, казавшуюся безупречной. Исследователь должен обходить опасности и помнить, что это всего лишь путь исследования явления, за которым лежит история; к анализу истории он неизбежно должен обратиться.

Мы не можем остановиться на всех последовательных изменениях процесса. Здесь мы сумеем выделить лишь центральное, связующее звено, рассмотрение которого достаточно для того, чтобы сделать ясным общий характер и направление всего процесса развития. Мы должны, следовательно, опять обратиться к результатам экспериментов.

Мы наблюдали деятельность ребенка в экспериментах, аналогичных по структуре, но растянутых во времени и представляющих собой ряд ситуаций возрастающей трудности. Мы установили важный момент, упускавшийся психологами и позволивший со всей определенностью охарактеризовать разницу между поведением обезьяны и поведением ребенка в генетическом плане. Предшествующие наблюдения позволили нам осуществить это в отношении структуры деятельности, так как деятельность ребенка, исследовавшаяся нами, изменялась на протяжении ряда экспериментов, не просто совершенствуясь, как случается в процессе обучения, но претерпевая столь глубокие качественные изменения, которые должны быть охарактеризованы как развитие в собственном значении слова.

Как только мы перешли к исследованию деятельности с точки зрения процесса ее становления (в серии экспериментов, развернутых во времени), мы немедленно столкнулись с тем, что фактически мы исследовали не одну и ту же деятельность в ее конкретном выражении, но на протяжении ряда экспериментов менялся сам объект исследования. Таким образом, мы получили в процессе развития формы деятельности, совершенно различные по структуре. Это было неприятным осложнением для всех психологов, которые хотели во что бы то ни стало сохранить неизменность исследуемой деятельности, но для нас это сразу стало центральным фактом, и все свое внимание мы обратили на его изучение. Оно привело нас к выводу, что деятельность ребенка отличается по организации, структуре и способам действия от поведения обезьяны, не сразу дается в готовой форме, но вырастает из последовательных изменений психологических структур, связанных генетически, и так образуется целостный исторический процесс развития высших психических функций.

Этот процесс есть ключ к пониманию организации, структуры и способов деятельности в наблюдавшемся нами развитии ребен-

ка. В нем мы склонны видеть под новым углом зрения принципиальную разницу, которая отличает сложное поведение ребенка от поведения обезьяны. Фактически употребление орудий обезьянами остается неизменным на протяжении всей серии экспериментов, если не брать в расчет второстепенных моментов, связанных скорее с постепенным совершенствованием функций в результате научения, чем с изменениями в их организации. Ни Келер, ни какой бы то ни было другой исследователь поведения высших животных не наблюдали в экспериментах возникновения качественно новых операций, формирующихся в развернутой во времени генетической серии. Постоянство описанных ими операций и их неизменность в различных ситуациях составляли одну из примечательных характеристик всех этих исследований.

Совсем не то имело место у ребенка. Совместив в эксперименте ряд преобразований и создав, таким образом, своего рода модель развития, мы никогда не наблюдали (за исключением крайних случаев умственно отсталых детей) константности, неизменности деятельности. Подлинная перестройка процесса деятельности была для нас очевидна на каждом новом этапе эксперимента.

Мы опишем процесс трансформации прежде всего с негативной стороны.

Первое, что привлекает наше внимание и может показаться парадоксальным,— следующее: процесс формирования высшей интеллектуальной деятельности меньше всего напоминает развитой процесс логических преобразований. Это означает, что субъект формирует, связывает между собой и разделяет операции по иному закону связи, чем тот, который должен был бы связывать их в логическом мышлении. Очень часто психический процесс развития детского мышления похож на процесс открытия способов логического мышления. Утверждают, что ребенок вначале охватывает основной принцип мышления, а в дальнейшем индивидуальные, разнообразные конкретные формы выводятся дедуктивным способом, вытекая из этого фундаментального открытия ребенка как логическое, а не генетическое следствие. Процесс развития здесь понят неверно; фактически утверждение Келера, что интеллектуализм нигде не ложен настолько, как в теории (и, мы должны добавить, в истории) интеллекта, здесь оправдывается. Это первый и основной вывод, который подсказало наше исследование. Ребенок не изобретает новые формы поведения и не выводит их логически, но образует их тем же путем, каким хождение вытесняет ползание и речь вытесняет лепет, вовсе не потому, что он убеждается в их преимуществах.

Другое положение, которое мы в свете наших исследований должны отвергнуть: мнение, что высшие интеллектуальные функции развиваются в процессе совершенствования сложных навыков, в процессе обучения ребенка и что все качественно различные формы поведения есть изменения того же типа, как изменения запоминаемого текста при его повторении. Такого типа

возможность была исключена с самого начала, потому что каждый раз в эксперименте имела место новая ситуация, требующая от ребенка адекватного приспособления к новым условиям и нового метода для решения проблемы. Но дело не исчерпалось этим: по мере развития возникавшие перед ребенком задачи предъявляли новые и качественно отличные требования. Сложность структуры решения задач возрастала в соответствии с требованиями, так что даже то решение, которое оказывалось наиболее сильным и было всего более закреплено обучением, с необходимостью делалось неадекватным новым требованиям и становилось скорее препятствием, чем фактором, содействующим решению новой проблемы.

В свете данных, характеризующих обсуждаемый процесс развития, становится ясным, что не только с точки зрения фактов, но и с точки зрения теории два отвергнутых нами вначале положения оказались ложными. В соответствии с одним из них существо процесса рассматривается как результат интеллектуального действия; в соответствии с другим оно представляется продуктом автоматического процесса совершенствования навыка, возникающим как инсайт в самом конце процесса. Оба положения в равной степени игнорируют развитие и оказываются явно неудовлетворительными перед лицом фактов.

Путь развития в свете фактов

Действительный процесс развития, как видно из наших экспериментов, происходит в другой форме.

Наши протоколы показывают, что уже на самых ранних этапах развития ребенка фактор, переводящий его деятельность с одного уровня на другой, не является ни повторением, ни открытием. Источник развития деятельности лежит в социальном окружении ребенка и конкретно выражается в тех специфических отношениях с экспериментатором, которые пронизывают всю ситуацию, требующую практического применения орудий, и вносят в нее социальный аспект. Чтобы выразить существо этих форм поведения ребенка, характерных для самой ранней стадии развития, следует сказать, что ребенок вступает в отношения с ситуацией не непосредственно, но через другое лицо. Таким образом, мы приходим к выводу, что роль речи, выделенная нами как особый момент в организации практического поведения ребенка, является решающей для того, чтобы понять не только структуру поведения, но и его генезис: речь стоит в самом начале развития и становится его наиболее важным, решающим фактором.

Ребенок, который говорит по мере решения практической задачи, связанной с употреблением орудия, и объединяет речь и действие в одну структуру, привносит таким образом социальный элемент в свое действие и определяет судьбу этого действия и будущий путь развития своего поведения. Этим поведение ребенка

впервые переносится в совершенно новый план, оно начинает направляться новыми факторами и приводит к появлению социальных структур в его психической жизни. Его поведение социализируется. Это и есть главный детерминирующий фактор всего дальнейшего развития его практического интеллекта. Ситуация, в которой люди начинают действовать так же, как и вещи, в целом обретает для него социальное значение. Ситуация представляется ему как задача, поставленная экспериментатором, и ребенок чувствует, что за этим все время стоит человек, независимо от того, присутствует он непосредственно или нет. Собственная деятельность ребенка обретает свое значение в системе социального поведения и, будучи направлена на определенную цель, преломляется через призму социальных форм его мышления.

Вся история психического развития ребенка учит нас, что с первых же дней его приспособление к среде достигается социальными средствами через окружающих людей. Путь от вещи к ребенку и от ребенка к вещи лежит через другого человека[28]. Переход от биологического пути развития к социальному составляет центральное звено в процессе развития, кардинальный поворотный пункт истории поведения ребенка. Путь через другого человека — центральная трасса развития практического интеллекта, как показано нашими экспериментами. Речь играет здесь первостепенную роль.

Перед исследователем открывается следующая картина. Поведение очень маленьких детей в процессе решения задачи представляет собой весьма специфический сплав двух форм приспособления — к вещам и к людям, к среде и к социальной ситуации, которые дифференцируются только у взрослых. Реакции на предметы и на людей составляют в поведении детей элементарное недифференцированное единство, из которого в дальнейшем вырастают как действия, направленные на внешний мир, так и социальные формы поведения. В этот момент поведение ребенка представляет собой причудливую смесь одного с другим — хаотическое (как кажется взрослым) смешение контактов с людьми и реакций на предметы. Объединение в одной деятельности различных объектов поведения, которые находят объяснение в предшествующей истории развития ребенка начиная с первых дней его существования, наблюдается в каждом эксперименте. Ребенок, оставленный наедине с собой и побуждаемый к действию ситуацией, начинает действовать в соответствии с принципами, ранее сложившимися в его отношениях со средой. Это значит, что действие и речь, психическое влияние и физическое влияние синкретически смешиваются. Эту центральную особенность в поведении ребенка мы называем *синкретизмом действия* по аналогии с синкретизмом восприятия и вербальным синкретизмом, которые так глубоко изучены в современной психологии благодаря работам Э. Клапареда[29] и Ж. Пиаже.

Протоколы экспериментов, проведенных нами с детьми, выяв-

ляют аналогичную картину синкретизма действий в их поведении. Маленький ребенок, поставленный в ситуацию, где прямое достижение результата кажется невозможным, проявляет очень сложную активность, которая может быть описана как беспорядочная смесь прямых попыток достичь желаемого объекта, эмоциональной речи, иногда выражающей желания ребенка, а иногда подменяющей недосягаемое действительное удовлетворение словесным эрзацем, попыток достичь объект путем словесной формулировки способов, обращений к экспериментатору за помощью и т. д. Эти проявления представляют собой запутанный клубок действий, и экспериментатор вначале оказывается в затруднении перед этой богатой, часто гротескной смесью перебивающих друг друга форм деятельности.

При дальнейшем рассмотрении экспериментов наше внимание привлекает серия действий, на первый взгляд выпадающих из общей схемы активности ребенка. После того как ребенок провел ряд разумных и взаимосвязанных действий, которые должны помочь ему успешно разрешить предложенную задачу, вдруг, наткнувшись на трудность в реализации своего плана, резко обрывает попытки и обращается к экспериментатору с просьбой подвинуть объект ближе и таким образом дать ему возможность выполнить задание.

Помеха на пути ребенка перебивает его активность, и словесное обращение к другому лицу представляет собой попытку заполнить этот разрыв. Обстоятельства, которые играют здесь психологически решающую роль, состоят в следующем. Ребенок, обращаясь за помощью к экспериментатору в критический момент, показывает таким образом, что он знает, что нужно делать для достижения цели, но не может достичь ее сам, что план решения в основном готов, хотя и недоступен для его собственных действий. Поэтому ребенок, раньше отделяя речевое описание действия от самого действия, вступает на путь сотрудничества, социализируя практическое мышление путем разделения своей деятельности с другим лицом. Именно благодаря этому деятельность ребенка вступает в новое отношение с речью. Ребенок, сознательно включая действия другого лица в свои попытки решить задачу, начинает не только планировать свою деятельность в голове, но и организовывать поведение взрослого в соответствии с требованиями задачи. Благодаря этому социализация практического интеллекта приводит к необходимости социализации не только объектов, но также и действий, создавая этим надежную предпосылку осуществления задачи. Контроль над поведением другого человека в данном случае становится необходимой частью всей практической деятельности ребенка.

Новая форма активности, направленная на контроль за поведением другого человека, пока еще не выделяется из синкретического целого. Мы не раз наблюдали, что в процессе выполнения задания ребенок, грубо смешивая логику собственной деятельности с логикой решения задачи в сотрудничестве, вводит в

собственную деятельность действия постороннего лица. Кажется, что ребенок объединяет два подхода к собственной деятельности, смешивая их в одно синкретическое целое.

Иногда синкретизм действия проявляется на фоне примитивного детского мышления, и в ряде экспериментов мы наблюдали, как ребенок, видя безнадежность своих попыток, обращается прямо к предмету деятельности, к цели, прося ее приблизиться к нему или опуститься, в зависимости от условий задачи. Здесь мы видим смешение речи и действия того же лица. С таким смешением часто сталкиваешься, когда ребенок, производя действия, разговаривает с объектом, обращаясь со словами так же, как с палкой. В последних случаях мы видим экспериментальную демонстрацию того, как глубоко и неразделимо речь и действие связаны в деятельности ребенка и насколько сильно эта связь отличается от той связи между ними, которую часто можно наблюдать у взрослого.

Поведение маленького ребенка в ситуации, описанной выше, представляет собой, таким образом, сложный комплекс, в котором смешаны прямые попытки достичь цели, использование орудий и речь, обращенная или к лицу, проводящему эксперимент, или просто сопровождающая действие и как бы увеличивающая усилия ребенка, направленные на цель. Иногда речь, как ни парадоксально это звучит, прямо обращена к объекту деятельности. Причудливый сплав речи и действия оказывается бессмысленным, если мы рассматриваем его вне динамики. Если же мы анализируем его в генетическом плане, прослеживая этапы развития ребенка, или в конденсированной форме в ряде последовательных экспериментов, этот странный сплав двух форм деятельности открывает свою вполне определенную функцию в истории развития ребенка, а также и внутреннюю логику своего развития.

Мы остановимся на двух моментах динамики этого сложного процесса. Они играют решающую роль в появлении у ребенка высших форм контроля над своим поведением.

Функция социализированной и эгоцентрической речи

Первый из изучаемых нами процессов (эгоцентрическая речь) связан с формированием *речи для себя*, которая, как отмечалось выше, регулирует действия ребенка и позволяет ему осуществить поставленную задачу организованным путем, посредством предварительного контроля над собой и своей активностью.

Если внимательно изучить протоколы наших экспериментов с маленькими детьми, можно заметить, что вместе с обращением к экспериментатору за помощью богато проявляется эгоцентрическая речь ребенка. Мы уже знаем, что сложные ситуации вызывают обильную эгоцентрическую речь и что в условиях повышенной трудности коэффициент эгоцентрической речи почти

вдвое возрастает по сравнению с неосложненными ситуациями. В другом случае, рассчитывая глубже изучить связь между эгоцентрической речью и трудностями, возникающими перед ребенком, мы организовали экспериментальные сложности в деятельности ребенка.

Мы были уверены, что ситуация, требующая применения орудий, центральным моментом которой являлась невозможность непосредственных действий, предоставит наилучшие условия для возникновения эгоцентрической речи. Факты подтвердили наши предположения. Оба психологических фактора, связанных с трудностями: эмоциональная реакция и дезавтоматизация действия, требующая включения в процесс интеллекта,— в основном определяют природу эгоцентрической речи и ситуации, которая нас интересовала. Для правильного понимания природы эгоцентрической речи и выявления ее генетических функций в процессе социализации практического интеллекта ребенка важно помнить вытекающий из экспериментов и подчеркнутый нами факт, что эгоцентрическая речь связана с социальной речью ребенка тысячами переходных стадий.

Очень часто переходные формы оставались недостаточно понятными для нас, чтобы определить, к какой форме речи то или иное выражение ребенка можно отнести. Сходство и взаимозависимость обеих форм речи проявляются тесной связью тех функций ребенка, которые выполняют обе эти формы речевой деятельности. Ошибочно думать, что социальная речь ребенка состоит исключительно из призывов к экспериментатору за помощью; речь ребенка неизменно содержит в себе эмоционально-выразительные моменты, сообщения о том, что он собирается делать, и т. д. Во время эксперимента достаточно было задержать его социальную речь (например, экспериментатор выходил из комнаты, игнорировал вопросы ребенка и т. д.), чтобы эгоцентрическая речь немедленно усиливалась.

Если на самых ранних ступенях развития ребенка эгоцентрическая речь еще не содержит указаний на способ решения задачи, то это выражается в речи, обращенной к взрослому. Ребенок, отчаявшийся достичь цели прямым путем, обращается к взрослому и словами формулирует способ, который сам он не может применить. Огромные изменения в развитии ребенка наступают тогда, когда речь социализирована, когда, вместо того чтобы обратиться с планом решения задачи к экспериментатору, он обращается к самому себе. В последнем случае речь, участвующая в решении задачи, из категории интерпсихической превращается в интрапсихическую функцию. Ребенок, организуя собственное поведение по социальному типу, применяет к самому себе тот способ поведения, который раньше он применял к другому. Источником интеллектуальной деятельности и контроля над своим поведением в решении сложной практической задачи является, следовательно, не изобретение некоего чисто логического акта, но применение социального отношения к себе, перенос

социальной формы поведения в свою собственную психическую организацию[30].

Серия наблюдений позволяет нам наметить сложный путь, проделанный ребенком при переходе к интериоризации социальной речи. Описанные нами случаи, когда экспериментатор, к которому ребенок прежде обращался за помощью, покидал место эксперимента, демонстрируют этот решающий момент наиболее ярко. Именно в таких условиях ребенок лишается возможности обращаться к взрослому, и тогда эта социально организованная функция переключается на эгоцентрическую речь и указания на путь решения задачи постепенно приводят его к их самостоятельной реализации.

Серия последовательных экспериментов, растянутых во времени, дает нам возможность выделить ряд стадий этого процесса, и формирование новой системы поведения социального образца становится значительно понятнее. История этого процесса является, следовательно, историей социализации практического интеллекта ребенка и в то же время социальной историей его символических функций.

Изменение функции речи в практической деятельности

Нам хотелось бы выделить и второе, не менее важное преобразование, которому подвергается речь ребенка в наших экспериментах. Выявив взаимоотношения между речью и действиями ребенка во времени и изучая эту динамическую структуру, мы сумели установить следующий факт: структура непостоянна на протяжении экспериментов; речь и действие изменяют отношение друг к другу, образуя подвижную систему функций с непостоянным характером взаимосвязи.

Если мы отвлечемся от ряда сложных изменений, которые интересны для нас в ином плане, нам придется выделить основной функциональный сдвиг в этой системе, оказывающий на ее судьбу решающее влияние и ведущий ее к внутренней перестройке: речь ребенка, прежде сопровождавшая его деятельность и отражавшая ее основные превратности в бессвязной и хаотической форме, перемещается все более и более к поворотным и начальным моментам процесса, начиная опережать действие, освещая задуманное, но еще не реализованное действие. Мы наблюдали в развитии практического интеллекта процесс, аналогичный тому, что имеет место в другой динамической системе функций — в рисовании с участием речи. Подобно тому как сначала ребенок рисует и, только видя результаты своей работы, узнает и обозначает словами тему рисунка, в практической деятельности вначале он фиксирует в словах результат деятельности или ее отдельные моменты. В лучшем случае он не называет результата, но отражает предыдущий момент действия. И так же как называние темы рисунка в процессе развития рисования сдвигает-

ся к началу процесса, в наших экспериментах *схема действия* начинает формулироваться ребенком словами непосредственно перед началом действия, предвосхищая его дальнейшее развертывание.

Такое смещение означает не только временной сдвиг речи по отношению к действию, но и изменение функционального центра всей системы. На первом этапе речь, следуя за действием, отражая его и усиливая его результаты, остается в структурном отношении подчиненной действию, вызывается действием; на втором этапе речь, сдвигаясь к начальному моменту действия, начинает доминировать над действием, руководит им, определяет его тему и его протекание. Поэтому на втором этапе по-настоящему рождается планирующая функция речи, и таким путем она начинает определять направление действия в будущем.

Планирующая функция речи обычно рассматривалась изолированно от ее отражающей функции и даже противопоставлялась ей. Генетический анализ тем не менее показывает, что такое противопоставление основано на чисто логическом конструировании обеих функций. В экспериментах мы, наоборот, отметили, что существуют различные формы внутренней связи между обеими функциями, и из этого факта следует вывод, что переход от одной функции к другой, возникновение планирующей функции речи из отражательной и есть тот самый генетический узловой момент, который связывает низшие функции речи с высшими и объясняет их истинное происхождение.

Речь ребенка, именно благодаря тому что сначала она является словесным слепком деятельности или ее частей, отражает действие или усиливает его результаты, начинает на позднейшем этапе сдвигаться к началу действия, прогнозировать и направлять действие, формируя его в соответствии со слепком прежней активности, который ранее был зафиксирован в речи.

Этот процесс развития не имеет ничего общего с процессом логической *дедукции*, логического вывода из открытого ребенком принципа практического применения речи. Исследования на каждом шагу указывают на факты, которые заставляют нас предположить, что такая резюмирующая речь, создающая слепок проделанного пути, играет важную роль в формировании процесса, благодаря которому ребенок обретает возможность не только сопровождать свои действия речью, но и с ее помощью нащупывать верный путь решения проблемы. По мере того как речь становится интрапсихической функцией, она начинает готовить предварительное решение проблемы в вербальном плане, которое по ходу наших дальнейших экспериментов совершенствуется, и из речи-слепка, резюмирующей уже совершенное, превращается в предварительное вербальное планирование будущего действия.

Эта отражательная функция речи помогает нам выявить процесс формирования ее сложной, планирующей функции, понять ее истинные генетические корни. Мы получаем возможность увидеть происхождение высших ступеней интеллектуальной де-

ятельности во всей ее сложности, со всем набором последовательных переходов от этапа к этапу. То, что раньше считалось процессом внезапного *открытия* ребенка, оказывается результатом длительного и сложного развития, где эмоциональная и коммуникативная функции первичной речи и функция отражения и создания слепка с ситуации занимают свое место на определенной ступени генетической лестницы. Лестница начинается примитивными реакциями взора ребенка и завершается сложной деятельностью, планируемой во времени.

История речи, протекающей в процессе практической деятельности, связана с глубокими перестройками всего поведения ребенка. В этом есть нечто большее, чем простой факт, указывающий на то, что речь, будучи сперва интерпсихическим процессом, становится теперь интрапсихической функцией, что, вначале уводя от решения проблемы, она начинает в конце генетического пути играть интеллектуальную роль, становясь инструментом организованного решения задачи. Такая перестройка поведения имеет несравненно более глубокое значение. Если в начале генетического пути ребенок манипулировал в непосредственной ситуации, направляя свою активность прямо на привлекающие его объекты, то теперь ситуация значительно усложняется. Между объектом, привлекавшим ребенка как цель, и его поведением появляются стимулы второго порядка, направленные уже не непосредственно на объект, но на организацию и планирование собственного поведения. Речевые стимулы, направленные на самого ребенка, преобразовываясь в процессе эволюции из средства стимуляции другого лица в стимуляцию собственного поведения, радикально перестраивают все его поведение.

Ребенок оказывается в состоянии приспособиться к предложенной ему ситуации опосредованным путем через предварительный контроль над самим собой и предварительную организацию своего поведения, а это принципиально отличается от поведения животных. Поведение ребенка содержит в себе как внутренние необходимые факторы социальное отношение к самому себе и своим действиям, которые становятся социальной деятельностью, перемещенной внутрь субъекта. Это дается ребенку в результате проделанного пути развития, обеспечивая ту свободу поведения по отношению к ситуации, ту независимость от конкретных окружающих его объектов, которой лишена обезьяна, являющаяся, по классическому выражению Келера, «рабом зрительного поля». Более того, ребенок перестает действовать в непосредственно данном и наглядном пространстве. Планируя свое поведение, мобилизуя и обобщая свой прежний опыт для организации будущей деятельности, он переходит к активным операциям, развернутым во времени.

В тот момент, когда с планирующей помощью речи в деятельность ребенка включается как активный компонент представление о будущем, все психическое поле, в котором он оперирует, радикально изменяется и все его поведение коренным образом

перестраивается. Восприятие ребенка начинает строиться по новым законам, отличным от законов естественного зрительного поля.

Сплав сенсорного и моторного полей оказывается преодоленным, и непосредственные импульсивные действия, которыми он реагировал на каждый объект, возникавший в зрительном поле и привлекавший его, теперь сдерживаются. По-новому начинает работать его внимание, и его память преобразуется из пассивного регистратора в функцию активного выбора и активного и интеллектуального припоминания.

С включением сложного опосредованного уровня высших психических функций происходит радикальная перестройка поведения на новой основе. Изучив генетический прогресс, являющийся результатом включения в развитие способов употребления орудий, символических форм деятельности, мы должны теперь обратиться к анализу тех перестроек, которые породил этот прогресс в развитии основных психических функций.

Глава вторая

ФУНКЦИЯ ЗНАКОВ В РАЗВИТИИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Мы рассмотрели отрезок сложного поведения ребенка и пришли к выводу, что в ситуации, связанной с употреблением орудия, поведение маленького ребенка существенно, принципиально отличается от поведения человекоподобной обезьяны. Мы могли бы сказать, что во многом оно характеризуется противоположной структурой и что вместо полной зависимости операции с орудиями от структуры зрительного поля (у обезьяны) мы наблюдаем у ребенка значительную эмансипацию от него. Благодаря участию в операции речи ребенок приобретает несравненно большую свободу, чем та, которая наблюдается в инструментальном поведении обезьяны; ребенок получает возможность разрешать практическую ситуацию применения орудий, не находящихся в непосредственном поле его восприятия; овладевает внешней ситуацией с помощью предварительного овладения собой и предварительной организации собственного поведения. Во всех этих операциях существенно изменялась самая структура психического процесса; непосредственные, направленные на среду действия заменялись сложными опосредованными актами. Включающаяся в операцию речь оказывалась той системой психологических знаков, которая приобретала совершенно особое функциональное значение и приводила к полной реорганизации поведения.

Ряд наблюдений приводит нас к убеждению, что такая культурная реорганизация характерна не только для той формы сложного, связанного с употреблением орудий поведения, которую мы описали. Наоборот, даже отдельные психические процессы, более элементарные по характеру и входящие составными частями в сложный акт практического интеллекта, оказываются у ребенка глубоко измененными и перестроенными по сравнению с тем, как они протекают у высших животных. Уже эти функции, обычно считавшиеся наиболее элементарными, подчиняются у ребенка совсем другим законам, чем на более ранних ступенях филогенетического развития, и характеризуются той же опосредованной психологической структурой, которую мы только что рассмотрели на примере сложного акта употребления орудий. Детальный анализ структуры отдельных психических процессов, принимающих участие в описанном нами акте детского поведения, дает возможность убедиться в этом и показывает, что даже учение о структуре отдельных элементарных процессов детского поведения нуждается в коренном пересмотре.

Развитие высших форм восприятия

Мы начнем с восприятия — акта, который всегда казался актом, всецело подчиняющимся элементарным естественным законам, и постараемся показать, что и этот наиболее зависящий от актуально данной ситуации процесс в развитии ребенка перестраивается на совершенно новой основе и, сохраняя внешнее, *фенотипическое* сходство с той же функцией у животного, по своему внутреннему составу, строению и способу деятельности, по всей психологической природе принадлежит уже к высшим функциям, сложившимся в процессе исторического развития и имеющим особую историю в онтогенезе. В высшей функции восприятия мы встретимся уже с совершенно иными закономерностями, чем те, которые были вскрыты психологическим анализом для его примитивных, или натуральных, форм. Само собой понятно, что законы, господствовавшие в психофизиологии натурального восприятия, не уничтожаются с переходом к интересующим нас здесь высшим формам, но как бы отступают на задний план, продолжая существовать внутри новых закономерностей в свернутом и подчиненном виде. Мы наблюдаем в истории развития восприятия ребенка процесс, в сущности аналогичный тому, который хорошо изучен в истории построения нервного аппарата, где низшие, генетически более древние системы с их более примитивными функциями включаются в более новые и высшие этажи, продолжая существовать в качестве подчиненных инстанций внутри нового целого.

После работ Келера (1930) известно, какое решающее значение в процессе практической операции обезьяны играет структура зрительного поля; весь ход решения предложенной задачи от

начального до заключительного момента есть в сущности функция восприятия обезьяны, и Келер с полным основанием мог сказать, что эти животные являются рабами сенсорного поля в гораздо большей степени, чем взрослые люди, что обезьяны неспособны следовать за наличной сенсорной структурой с помощью произвольных усилий. Именно в подчиненности зрительному полю Келер видит то, что сближает обезьяну с другими животными, даже так далеко стоящими по своей организации, как ворон (опыты М. Герц). Действительно, мы едва ли ошибемся, если в рабской зависимости от структуры сенсорного поля увидим общий закон, господствующий над восприятием во всем многообразии его натуральных форм.

Эта общая черта присуща всякому восприятию, поскольку оно не выходит за пределы натуральных психофизиологических форм организации.

Восприятие ребенка, поскольку оно становится человеческим восприятием, развивается не как прямое продолжение и дальнейшее усовершенствование тех же форм, которые мы наблюдаем у животных, даже наиболее близко стоящих к человеку, но совершает скачок от зоологической к исторической форме психической эволюции.

Специальные серии экспериментов, поставленных нами для уяснения этой проблемы, позволяют раскрыть принципиальные закономерности, которые характеризуют высшие формы восприятия. Мы не можем остановиться здесь на этой проблеме во всей ее широте и сложности и ограничимся только анализом одного, правда центрального по значению, момента. Это удобнее всего сделать на опытах, посвященных развитию восприятия картин.

Опыты, которые дали нам возможность описать специфические особенности детского восприятия и его зависимость от включения высших психических механизмов, в существенной основе были поставлены еще А. Бине и подробно проанализированы В. Штерном (1922). Оба автора, наблюдая описание картины маленьким ребенком, установили, что этот процесс неодинаков на различных ступенях детского развития. Если ребенок 2 лет обычно в описании того, что он видит на картинке, ограничивается указанием отдельных разрозненных предметов, то некоторое время спустя он переходит к описанию действий, чтобы затем уже указать на сложные отношения между изображенными отдельными объектами. Эти данные толкнули Штерна на то, чтобы установить определенный путь развития детского восприятия и описать стадии восприятия отдельных предметов, действий и отношений как стадии, которые проходит восприятие в детском возрасте.

Уже эти данные, принятые современной психологией как прочно установленные, наводят нас на очень серьезные сомнения. В самом деле, достаточно вдуматься в этот материал, чтобы увидеть: он противоречит всему, что мы знаем о развитии

детского поведения и его основных психофизиологических механизмов. Ряд бесспорных фактов указывает на то, что развитие психофизиологических процессов начинается у ребенка с диффузных, целостных форм и уже затем переходит к более дифференцированным.

Значительное число физиологических наблюдений показывает это для моторики; опыты Г. Фолькельта[31], Г. Вернера[32] и других убеждают в том, что этот же путь проходит и зрительное восприятие ребенка. Утверждение Штерна, что стадия восприятия отдельных предметов предшествует стадии целостного восприятия ситуаций, прямо противоречит всем этим данным. Больше того, продолжая мысль Штерна до логического конца, мы вынуждены предположить, что в еще более ранних фазах развития восприятие ребенка носит еще более раздробленный и частичный характер и что восприятию отдельных предметов предшествует ступень, когда ребенок в состоянии воспринять их отдельные части или качества, лишь позднее объединяя их в предметы и уже затем соединяя предметы в действенные ситуации. Перед нами картина развития детского восприятия, проникнутая рационализмом и противоречащая всему, что нам известно из новейших исследований.

Противоречие, которое мы наблюдаем между основной линией развития психофизиологических процессов у ребенка и фактами, описанными Штерном, может быть объяснено только тем, что процесс восприятия и описания картинки значительно более сложен, чем простой, натуральный психофизиологический акт, и что сюда включаются новые факторы, в корне перестраивающие процесс восприятия.

Нашей первой задачей было показать, что процесс описания картинки, изученный Штерном, неадекватен тому непосредственному восприятию ребенка, стадии которого этот автор пытался вскрыть своим опытом. Уже очень простой эксперимент дал нам возможность констатировать это. Достаточно было предложить 2-летнему ребенку передать нам содержание предъявленной картинки пантомимически, исключив из описания речь, чтобы убедиться: ребенок, стоящий на *предметной* стадии, по Штерну, прекрасно воспринимал всю действенную ситуацию картинки и с большой легкостью воспроизводил ее*.

За фазой *предметного восприятия* скрывалось в действительности живое и целостное восприятие, вполне адекватное предложенной картинке и разрушавшее предположение об элементарном характере восприятий в этом возрасте. То, что считалось обычно свойством натурального восприятия ребенка, оказалось на самом деле особенностью его речи, или, иначе говоря, особенностью его вербализованного восприятия.

Наблюдения над детьми наиболее раннего возраста показали

* Мы пользовались для опытов оригинальными картинками Штерна, благодаря своей динамичности позволявшими выявить достаточно адекватное восприятие ребенком картины в живой пантомимической сцене.

нам, что первичная функция употребляемого ребенком слова действительно сводится к указанию, к вычленению данного предмета из всей воспринимаемой ребенком целостной ситуации. Сопровождение первых детских слов очень выразительными жестами и ряд контрольных наблюдений убеждают нас в этом. Уже с самых первых шагов развития ребенка слово вмешивается в его восприятие, вычленяя отдельные элементы, преодолевая натуральную структуру сенсорного поля и как бы образуя новые, искусственно вносимые и подвижные структурные центры. Речь не просто сопровождает детское восприятие — она уже с самых ранних этапов начинает принимать в нем активное участие; ребенок начинает воспринимать мир не только через свои глаза, но и через свою речь. Именно к этому процессу сводится существенный момент в развитии детского восприятия.

Эта сложная, опосредованная структура восприятия и сказывается в характере тех описаний, которые получал от ребенка Штерн в опытах с картинками. Ребенок, давая отчет о предложенной картинке, не просто вербализует полученные им натуральные восприятия, выражая их в несовершенной словесной форме; речь расчленяет его восприятие, выделяет из целостного комплекса опорные пункты, вносит в восприятие анализирующий момент и тем заменяет натуральную структуру рассматриваемого процесса сложной, психологически опосредованной.

Уже позднее, когда связанные с речью интеллектуальные механизмы преобразуются, когда вычленяющая функция речи перерастает в новую, синтезирующую, вербализованное восприятие претерпевает дальнейшие изменения, преодолевая начальный расчленяющий характер и переходя в более сложные формы познающего восприятия. Натуральные законы восприятия, которые в особенно наглядных формах можно наблюдать в рецепторных процессах высших животных, благодаря включению расчленяющей речи перестраиваются в своих основах, и человеческое восприятие приобретает совершенно новый характер.

Тот факт, что включение речи действительно оказывает на законы натурального восприятия известное перестраивающее влияние, виден с особенной ясностью тогда, когда вмешивающаяся в процесс рецепции речь затрудняет и осложняет адекватное восприятие и строит его по законам, резко отличным от натуральных законов отображения ситуации. Вербальную реконструкцию восприятий у ребенка мы лучше всего можем видеть на специально проведенной серии опытов *.

Разделение первичного единства сенсомоторных функций

Переход к качественно новым формам поведения у ребенка вовсе не ограничивается описанными нами изменениями внутри сферы

* Подробнее см. в гл. первой.— *Примеч. ред.*

восприятия. Что гораздо важнее, меняется и отношение восприятия к другим участвующим в целостной интеллектуальной операции функциям, его место и роль в той динамической системе поведения, которая связана с употреблением орудий.

Восприятие высших животных никогда не действует самостоятельно и изолированно, но всегда образует часть более сложного целого, в связи с которым только и могут быть поняты законы этого восприятия. Обезьяна не пассивно воспринимает зрительно данную ситуацию, но все ее поведение направлено к тому, чтобы завладеть привлекающим ее объектом. И сложная структура, составляющая реальное сплетение инстинктивных, аффективных, моторных и интеллектуальных моментов, является единственным действительным объектом психологического исследования, из которого лишь путем абстракции и анализа можно изолировать восприятие как относительно самостоятельную и замкнутую в себе систему. Экспериментально-генетические исследования восприятия показывают, что вся эта динамическая система связей и отношений между отдельными функциями перестраивается в процессе развития ребенка не менее радикально, чем отдельные моменты в самой системе восприятия.

Из всех изменений, играющих решающую роль в психическом развитии ребенка, на первое место по объективному значению должно быть поставлено основное отношение: восприятие — движение.

В психологии уже давно был установлен факт, что всякое восприятие имеет свое динамическое продолжение в движении, но только в новейшее время окончательно преодолено положение старой психологии, согласно которому восприятие и движение как отдельные самостоятельные элементы могут вступать в ассоциативную связь друг с другом, так же как два бессмысленных слога в опытах с заучиванием. Современная психология все более и более усваивает ту мысль, что первоначальное единство сенсорных и моторных процессов является гораздо более согласуемой с фактами гипотезой, чем учение об их первоначальной обособленности. Уже в первичных рефлексах и простейших реакциях мы наблюдаем такую слитность восприятия и движения, которая с убедительностью показывает, что обе эти части являются нераздельными моментами единого динамического целого, единого психофизиологического процесса. Та специфическая приноровленность структуры моторного ответа к характеру раздражения, которая была неразрешимой загадкой для старых воззрений, получает объяснение только при допущении первоначального единства и целостности сенсомоторных структур.

Такое же соответствие структуры сенсорных и моторных процессов, объясняемое динамическим характером восприятия, мы встречаем не только в элементарных формах реактивных процессов, но и на высших этажах поведения, в опытах с интеллектуальными операциями и употреблением орудия у обезьян: уже наблюдение экспериментатора (В. Келера[33]) показывает,

что предметы как бы приобретают векторы и двигаются в зрительном поле в направлении цели при рассмотрении ситуации, которую надлежит разрешить обезьяне. Недостающее самонаблюдение обезьяны вполне заменяется здесь прекрасным описанием ее движений, которые являются как бы непосредственным динамическим продолжением ее восприятий. Удачный экспериментальный комментарий (мы имели случай проверить его и в собственной лаборатории) дает Э. Иенш[34] в опытах с эйдетиками, которые разрешали ту же ситуацию чисто сенсорным путем, причем движение, реально выполняемое обезьяной, замещалось здесь смещением объекта в зрительном поле. Таким образом, единство сенсорных и моторных процессов в интеллектуальной операции выступает здесь в чистом виде; движение уже заключено в сенсорном поле, и внутренние механизмы, объясняющие соответствие сенсорной и моторной частей интеллектуальной операции у обезьяны, становятся совершенно понятными.

В опытах, посвященных изучению моторики, сопряженной с внутренними аффективными процессами, мы показали: моторная реакция настолько слитно и неотделимо участвует в аффективном процессе, что она может служить тем отражающим зеркалом, в котором можно буквально прочитать скрытую от непосредственного наблюдения структуру аффективного процесса. Именно этот факт принципиального значения разрешает сделать из непроизвольного сопряженного моторного отражения прекрасное симптоматологическое средство, позволяющее с объективностью констатировать как скрываемые испытуемым переживания (опыты с диагностикой следов преступления), так и скрытые от субъекта вытесненные комплексы (постгипнотическое внушение, подсознательные аффективные следы и т. д.).

Первоначальное натуральное соотношение восприятия и движения, их включенность в единую психологическую систему, как показывает экспериментально-генетическое исследование, распадается в процессе культурного развития и заменяется совершенно иными структурными соотношениями с тех пор, как слово или какой-либо другой знак вдвигается между начальным и заключительным этапами этого процесса и вся операция приобретает непрямой, опосредованный характер.

Именно с такой судьбой психологических структур и с устранением первоначального соотношения восприятия и движения, устранением, происходящим на основе включения в психологическую структуру новых по функциональному значению стимулов-знаков, и становится возможным то преодоление примитивных форм поведения, которое является необходимой предпосылкой для развития всех специфичных для человека высших психических функций. Экспериментально-генетическое исследование и здесь видит этот сложный и извилистый путь развития в старой серии экспериментов, один из которых может служить нам инструктивным примером.

Изучая движения ребенка при сложной реакции выбора в

экспериментальных условиях, мы могли установить, что его движение не остается совершенно одинаковым на разных ступенях, а, напротив, проделывает эволюцию, центральным и переломным моментом которой является коренное изменение в соотношении между сенсорной и моторной частями реактивного процесса. До определенного момента движение ребенка непосредственно слито с восприятием ситуации, слепо следует за каждым сдвигом в поле и так же непосредственно отражает в динамике движения структуру восприятия, как в известном примере Келера курица у садовой ограды двигательно повторяет структуру воспринимаемого ею поля.

Конкретная экспериментальная ситуация дает возможность проследить это. Например, мы предлагаем ребенку 4—5 лет нажимать при определенном стимуле на одну из пяти клавиш. Задача превышает естественные возможности ребенка и потому вызывает у него интенсивные затруднения и еще более интенсивные попытки ее решения. Перед нами реальный процесс выбора в отличие от того анализа заученной реакции, который всегда подменял процесс подлинного выбора стереотипным функционированием навыка. Самое замечательное в том, что весь процесс выбора у ребенка не отделен от моторной системы, но вынесен наружу и сосредоточен в моторной сфере: ребенок выбирает, непосредственно осуществляя и возможные движения, на которые толкает его ситуация выбора. Структура его действия нисколько не напоминает действие взрослого человека, который принимает предварительное решение, выполняемое уже затем в виде единого исполняющего движения. Выбор ребенка скорее напоминает несколько запоздавший отбор собственных движений; колебания в структуре восприятия находят здесь непосредственное отражение в структуре движения; масса диффузных нащупывающих и задерживаемых в самом процессе проб, перебивающих и сменяющих друг друга, и представляет у ребенка самый процесс выбора.

Мы не могли бы лучше выразить суть различия процессов выбора у ребенка и у взрослого, чем сказав, что выбор у ребенка замещается серией пробных движений. Он выбирает не стимул (нужная клавиша) как направляющую точку для последующего движения, а отбирает движение, сверяя его результат с инструкцией. Таким образом, ребенок разрешает задачу выбора не в восприятии, но в движении, когда он колеблется между двумя стимулами и палец его движется от одного к другому, возвращаясь с полдороги назад; когда он переносит внимание на новую точку, создавая новый центр в динамической структуре восприятия, регулируемой выбором; его рука, образуя одно слитное целое с его глазом, послушно идет к новому центру. Короче, движение ребенка не отделено от восприятия: динамические кривые того и другого процессов почти полностью совпадают в одном и другом случае.

И однако, эта примитивно-диффузная структура реактивного

процесса в корне меняется, как только в процесс непосредственного выбора включается сложная психическая функция, превращающая натуральный, полностью наличный уже у животных процесс в высшую, характерную для человека психическую операцию.

Ребенку, у которого мы только что наблюдали диффузно-импульсивный, органически слитый с восприятием процесс двигательного выбора, мы предлагаем облегчить задачу выбора, ставя перед каждой из клавиш соответствующие вспомогательные значки, которые служили бы добавочными стимулами, направляющими и организующими процесс выбора. Уже ребенок 5—6 лет с большой легкостью осуществляет эту задачу, отмечая клавишу, которую он должен нажать при предъявлении определенного стимула, вспомогательным знаком. Употребление вспомогательного приема не остается, однако, второстепенным и добавочным фактом, лишь несколько осложняющим характер операции выбора; структура психического процесса радикально перестраивается под влиянием нового ингредиента, примитивная, натуральная операция заменяется здесь новой, культурной.

Ребенок, обращающийся к вспомогательному значку, чтобы найти адекватную данному стимулу клавишу, уже не дает непосредственно возникающих при восприятии моторных импульсов, тех неуверенно нащупывающих движений в воздухе, которые мы наблюдали при примитивной реакции выбора. Употребление ориентирующего значка нарушает слитность сенсорного поля с моторным, оно вдвигает между начальным и конечным моментами реакции некоторый *функциональный барьер,* заменяя непосредственный отток возбуждения в моторную сферу предварительными замыканиями, осуществляемыми с помощью высших психических систем. Ребенок, раньше импульсивно решавший задачу, теперь решает ее путем внутреннего восстановления связи стимула с соответствующим вспомогательным значком, и движение, которое раньше само производило выбор, теперь служит лишь целям исполнения. Символическая система в корне перестраивает структуру этой операции, и говорящий ребенок овладевает движением на совершенно новой основе.

Включение функционального барьера переводит сложные реактивные процессы ребенка в другой план: оно выключает слепые импульсивные попытки, аффективные по природе и отличающие примитивное поведение животного от основанного на предварительных символических комбинациях интеллектуального поведения человека. Движение, отделяясь от непосредственного восприятия и подчиняясь включенным в реактивный акт символическим функциям, порывает с естественной историей поведения и открывает новую страницу—страницу высшей интеллектуальной деятельности человека.

Патологический материал с особенной наглядностью дает нам возможность убедиться, что включение в поведение речи и связанных с ней высших символических функций перестраивает

самую моторику, переводя ее на новый и высший этаж. Мы имели случай наблюдать, что при афазии с выпадением речи порождался и описанный нами функциональный барьер и движение снова становилось импульсивным, сливаясь в одно целое с восприятием. В экспериментальной ситуации, аналогичной описанной, мы наблюдали у ряда афазиков характерные диффузные и преждевременные моторные импульсы, нащупывающие двигательные попытки, с помощью которых больные осуществляли выбор. Эти попытки показывали, что движения перестали подчиняться предварительной планировке в символических инстанциях, которые создавали из движений взрослого культурного человека подлинное интеллектуальное поведение.

Мы остановились на генезисе и судьбе двух фундаментальных функций в поведении ребенка. Мы видели, что в сложной операции применения орудий и практического интеллектуального действия эти функции, играющие действительно решающую роль, не остаются у ребенка одними и теми же, но проделывают в процессе развития сложную трансформацию, не только изменяя свою внутреннюю структуру, но и вступая в новые функциональные отношения с другими процессами. Употребление орудий, как мы его наблюдаем в поведении ребенка, не является, следовательно, по психологическому составу простым повторением или прямым продолжением того, что сравнительная психология наблюдала уже у обезьяны. Психологический анализ вскрывает в этом акте существенные и качественно новые черты, и включение в него высших, исторически созданных символических функций (из которых мы рассмотрели здесь речь и употребление знаков) перестраивает примитивный процесс решения задачи на совершенно новой основе.

Правда, с первого взгляда в употреблении орудий у обезьяны и у ребенка наблюдается некоторое внешнее сходство, которое и дало повод исследователям рассматривать оба эти случая как принципиально родственные. Сходство связано исключительно с тем, что и там и здесь приводятся в действие аналогичные по конечному назначению функции. Однако исследование показывает, что эти внешне сходные функции отличаются друг от друга не менее, чем напластования земной коры разных геологических эпох. Если в первом случае функции биологической формации решают предложенную животному задачу, то во втором случае вперед выдвигаются аналогичные функции исторической формации, которые начинают играть в решении задачи ведущую роль. Последние, являющиеся в аспекте филогенеза продуктом не биологической эволюции поведения, а исторического развития человеческой личности, в аспекте онтогенеза также имеют свою особую историю развития, тесно связанную с биологическим формированием, но не совпадающую с ним и образующую наряду с ним вторую линию психического развития ребенка. Эти функции мы называем высшими, имея в виду прежде всего их место в развитии, а историю их образования, в отличие от биогенеза

низших функций, мы склонны называть социогенезом высших психических функций, имея в виду в первую очередь социальную природу их возникновения.

Появление в процессе развития ребенка, наряду со сравнительно примитивными слоями поведения, новых исторических формаций оказывается, таким образом, ключом, без которого употребление орудия и все высшие формы поведения останутся загадкой для исследователя.

Перестройка памяти и внимания

Сжатость очерка не позволяет нам проанализировать детально все основные психические функции, принимающие участие в изучаемой нами операции. Мы ограничимся поэтому самым общим упоминанием о судьбе главнейших из них, без которых психологическая структура употребления орудий осталась бы для нас неясной. На первом месте по степени участия в этой операции должно быть поставлено внимание. Все исследователи, начиная с Келера, отмечают, что соответствующее направление внимания или отвлечение его является существенным фактором в успехе или неуспехе практической операции. Отмеченный Келером факт сохраняет значение и в поведении ребенка. Однако существенно, что, в отличие от животного, ребенок впервые оказывается в состоянии самостоятельно и активно перемещать свое внимание, реконструируя свое восприятие и тем самым в огромной степени освобождая себя от подчинения структуре данного ему зрительного поля. Ребенок, на определенном этапе развития связывающий употребление орудий с речью (сначала синкретически, а затем и синтетически входящий в эту операцию), переводит тем самым деятельность своего внимания в новый план. С помощью индикативной функции слов, которую мы уже отметили выше, он начинает руководить своим вниманием, создавая новые структурные центры воспринимаемой ситуации, изменяя тем самым, по удачному выражению Г. Кафки[35], не степень ясности той или иной части воспринимаемого поля, а его центр тяжести, значимость отдельных его элементов, выделяя все новые и новые фигуры из фона и тем самым бесконечно расширяя возможность руководства действием своего внимания.

Все это освобождает внимание ребенка из-под власти непосредственно действующей на него актуальной ситуации. Создавая с помощью речи рядом с пространственным полем также и временно́е поле для действия, столь же обозримое и реальное, как и оптическая ситуация (хотя, может быть, и более смутное), говорящий ребенок получает возможность динамически направлять свое внимание, действуя в настоящем с точки зрения будущего поля и часто относясь к активно созданным в настоящей ситуации изменениям с точки зрения своих прошлых действий. Именно благодаря участию речи и переходу к свободному распределению внимания будущее поле действия из старой и

абстрактной вербальной формулы превращается в актуальную оптическую ситуацию; в нем, как основная конфигурация, отчетливо выступают все элементы, входящие в план будущего действия, выделяясь тем самым из общего фона возможных действий. В том, что поле внимания, не совпадающее с полем восприятия, с помощью речи отбирает из последнего элементы актуального *будущего поля,* и заключается специфическое отличие операции ребенка от операции высших животных. Поле восприятия организуется у ребенка вербализованной функцией внимания, и если для обезьяны отсутствие непосредственного оптического контакта объекта и цели достаточно, чтобы сделать задачу неразрешимой, то ребенок легко устраняет это затруднение вербальным вмешательством, реорганизуя свое сенсорное поле.

Благодаря этому обстоятельству возникает возможность совместить в едином поле внимания фигуру будущей ситуации, составленную из элементов прошлого и настоящего сенсорного поля. И поле внимания, таким образом, охватывает не одно восприятие, но целую серию потенциальных восприятий, образующих общую раскинутую во времени сукцессивную динамическую структуру. Переход от симультанной структуры зрительного поля к сукцессивной структуре динамического поля внимания совершается в результате перестройки — на основе включения речи — всех основных связей между отдельными функциями, участвующими в операции: поле внимания отделяется от поля восприятия и развертывается во времени, включая данную актуальную ситуацию, как один из моментов динамической серии.

Обезьяна, воспринявшая палку в один момент, в одном зрительном поле, уже не обращает на нее внимания в следующий момент, когда ее зрительное поле изменилось. Она должна прежде всего увидеть палку, чтобы обратить на нее внимание; ребенок может обратить внимание, чтобы увидеть.

Возможность совместить в едином поле внимания элементы прошлого и настоящего зрительного поля (например, орудие и цель) в свою очередь приводит к принципиальной перестройке другой важнейшей функции, участвующей в операции,— памяти. Подобно тому как действие внимания, по верному замечанию Кафки, сказывается не в усилении ясности той или иной части сенсорного поля, а в перемещении центра тяжести, в его структуре, в динамическом изменении этой структуры, в изменении фигуры и фона, и роль памяти в операции ребенка сказывается не просто в расширении того отрезка прошлого, который актуально сливается в единое целое с настоящим, а в новом способе соединения элементов прошлого опыта с настоящим. Новый способ возникает на основе включения в единый фокус внимания речевых формул прошлых ситуаций и прошлых действий. Как мы видели, речь формирует операцию по иным законам, чем непосредственное действие, точно так же она сливает, соединяет, синтезирует прошлое и настоящее иным

образом, освобождая действие ребенка от власти непосредственного припоминания.

Произвольная структура высших психических функций

Подвергая дальнейшему анализу психическую операцию практического интеллекта, связанного с употреблением орудий, мы видим, что временнóе поле, создаваемое для действия с помощью речи, простирается не только назад, но и вперед. Предвосхищение последующих моментов операции в символической форме позволяет включить в наличную операцию специальные стимулы, задача которых сводится к тому, чтобы представлять в наличной ситуации моменты будущего действия и реально осуществлять их влияние в организации поведения в настоящий момент.

И здесь включение символических функций в операцию, как мы уже видели на примере операции памяти и внимания, не ведет к простому удлинению операции во времени, но создает условия для совершенно нового характера связи, элементов настоящего и будущего (актуально воспринимаемые элементы настоящей ситуации включаются в одну структурную систему с символически представленными элементами будущего), создает совершенно новое психологическое поле для действия, ведя к появлению функций образования намерения и спланированного заранее целевого действия.

Эта перемена в структуре поведения ребенка связана с изменениями и значительно более глубокого порядка. Еще Линднер, сравнивая решение задачи глухонемыми детьми с келеровскими опытами, обратил внимание на то, что побудительные мотивы, заставляющие обезьяну и ребенка стремиться к овладению целью, нельзя признать одними и теми же. Преобладающие у животного инстинктивные побуждения отступают у ребенка на задний план перед новыми, социальными по происхождению, мотивами, не имеющими натурального аналога, но, несмотря на это, достигающими у ребенка значительной интенсивности. Эти мотивы, имеющие решающее значение и в механике развитого волевого акта, К. Левин[36] назвал квазипотребностями*, отметив, что их включение по-новому строит аффективную и волевую системы в поведении ребенка, в частности изменяет его отношение к организации будущих действий. Два главнейших момента составляют своеобразие этого нового слоя «моторов» человече-

* С переходом к искусственно установленным потребностям эмоциональный центр ситуации переносится с цели на решение задачи. В сущности «ситуация задачи» в опыте с обезьяной существует только в глазах экспериментатора, для животного существуют только приманка и препятствия, мешающие ею овладеть. Ребенок же стремится прежде всего решить предложенную ему задачу, включаясь тем самым в мир совершенно новых целевых отношений. Благодаря возможности образовывать квазипотребности ребенок оказывается в состоянии расчленить операцию, превращая каждую ее отдельную часть в самостоятельную задачу, которую он и формулирует для себя с помощью речи.

ского поведения: механизм выполнения намерения в момент своего возникновения, во-первых, отделен от моторики и, во-вторых, содержит в себе импульс к действию, выполнение которого отнесено к будущему полю. Оба эти момента отсутствуют в действии, организованном натуральной потребностью, где моторика неотделима от непосредственного восприятия и все действие сосредоточивается в настоящем психическом поле.

Способ возникновения действия, отнесенного к будущему, до сих пор еще недостаточно выясненный, раскрывается с точки зрения исследования символических функций и их участия в поведении. Тот функциональный барьер между восприятием и моторикой, который мы констатировали выше и который обязан своим происхождением вдвиганию слова или другого символа между начальным и конечным моментами действия, объясняет отделение импульса от непосредственной реализации акта, отделение, которое в свою очередь является механизмом подготовки отложенного на будущее действия. Именно включение символических операций делает возможным возникновение совершенно нового по составу психологического поля, не опирающегося на наличное в настоящем, но набрасывающего эскиз будущего и таким образом создающего свободное действие, независимое от непосредственной ситуации.

Изучение механизмов символических ситуаций, с помощью которых действие как бы вырывается из трех натуральных первичных связей, данных уже благодаря биологической организации поведения, и переносится в совершенно новую психологическую систему функций, позволяет нам понять, какими путями человек приходит к возможности образовывать «любые намерения» — факт, на который до сих пор не обращали достаточного внимания и который, по верному замечанию Левина, отличает взрослого культурного человека от ребенка и примитива.

Если попытаться суммировать результаты проведенного анализа того, как под влиянием включения символов изменяются отдельные психические функции и их структурные связи, и в целом сравнить бессловесную операцию обезьяны с вербализованной операцией ребенка, мы найдем, что одна из них относится к другой, как волевое действие к непроизвольному.

Традиционный взгляд относит к волевым действиям все, что не является первичным или вторичным автоматическим (инстинктом или навыком). Между тем возможны действия третьего порядка, не являющиеся ни автоматическими, ни волевыми. К ним относятся, как показал К. Коффка[37], *интеллектуальные действия* обезьяны, не сводящиеся к готовым автоматизмам, но и не носящие *волевого* характера. Исследования, на которые мы опираемся, объясняют нам, чего именно недостает действию обезьяны, чтобы стать *волевым: волевое* действие начинается только там, где происходит овладение собственным поведением с помощью символических стимулов.

Поднявшись на эту ступень в развитии поведения, ребенок

совершает скачок от «разумного» действия обезьяны к разумному и свободному действию человека.

Таким образом, в свете исторической теории высших психических функций обычные для современной психологии границы, отделяющие одни и объединяющие другие психические процессы, смещаются. То, что раньше относили к разным областям, оказалось объединенным в одну и то, что сводилось в один класс явлений, в действительности оказалось принадлежащим совершенно разным ступеням генетической лестницы и подчиняющимся разным законам. Поэтому высшие психические функции образуют систему, единую по генетическому характеру, хотя и разнородную по составляющим ее структурам. Причем эта система построена на основах, совершенно отличных от тех, которые стоят за элементарными психическими функциями. Фактором, цементирующим всю систему, определяющим, относится ли к ней тот или иной конкретный психический процесс или нет, является общность происхождения структур и характера функционирования.

Генетически их основной чертой в плане филогенеза является то, что они сформировались как продукт не биологической эволюции, а исторического развития поведения, они сохраняют специфическую социальную историю. В плане онтогенеза, с точки зрения структуры, их особенность состоит в том, что, в отличие от непосредственной структуры элементарных психических процессов, являющихся непосредственными реакциями на раздражители, они строятся на основе использования опосредующих стимулов (знаков) и в силу этого носят опосредованный характер. Наконец, в функциональном отношении они характеризуются тем, что выполняют новую и существенно иную роль по сравнению с элементарными функциями и выступают как продукт исторического развития поведения.

Все это включает данные функции в широкое поле генетического исследования, и, вместо того чтобы интерпретироваться как более низкие или более высокие варианты тех же функций, постоянно проявляющихся параллельно друг другу, они начинают рассматриваться как различные стадии единого процесса культурного формирования личности. С этой точки зрения мы можем с тем же основанием, с каким мы говорим о логической памяти или произвольном внимании, говорить о логическом внимании, произвольных или логических формах восприятия, которые резко отличаются от натуральных форм этих же процессов, работающих по законам, свойственным другой генетической стадии.

Как логическое следствие из признания решающей важности использования знаков для истории развития высших психических функций в систему психологических категорий вовлекаются и внешние символические формы деятельности, такие, как речевое общение, чтение, письмо, счет и рисование. Обычно эти процессы рассматривались как инородные и вспомогательные по отношению к внутренним психическим процессам, но с той новой точки

зрения, из которой мы исходим, они включаются в систему высших психических функций как равноценные всем другим высшим психическим процессам. Мы склонны рассматривать их прежде всего как особые формы поведения, образующиеся в процессе социально-культурного развития ребенка и формирующие внешнюю линию развития символической деятельности, существующую наряду с внутренней линией, представленной культурным развитием таких формаций, как практический интеллект, восприятие, память.

Не только деятельность, связанная с практическим интеллектом, но и все другие функции, столь же первичные, а часто даже более элементарные, восходящие к биологически сформировавшимся формам поведения, проявляют в процессе развития те законы, которые мы открыли при анализе практического интеллекта. Путь, пройденный практическим интеллектом ребенка, составляет, таким образом, генеральную линию развития всех основных психических функций, каждая из которых, как практический интеллект, имеет свою человекоподобную форму в животном мире. Этот путь аналогичен тому, который мы рассматривали на предыдущих страницах: он также начинается от натуральных форм развития, вскоре перерастает их и приводит к радикальной перестройке элементарных функций на основе применения знаков как средства организации поведения.

Таким образом, сколь бы странным это ни казалось с точки зрения традиционного подхода, высшие функции восприятия, памяти, внимания, движения внутренне связаны со знаковой деятельностью ребенка, и понять их можно только на основе анализа их генетических корней и той перестройки, которой они подвергаются в процессе своей культурной истории.

Теперь мы стоим перед выводом огромной теоретической важности. Мы рассмотрим вкратце проблему единства высших психических функций, основанного на том существенном сходстве, которое проявляется в их происхождении и развитии. Такие функции, как произвольное внимание, логическая память, высшие формы восприятия и движения, которые до сих пор изучались в изоляции, как отдельные психологические факты, теперь в свете наших экспериментов выступают по существу как явления одного порядка — единые по своему генезису и по психологической структуре.

Глава третья

ЗНАКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Проблема знака в формировании высших психических функций

Собранные материалы приводят нас к психологическим положениям, значение которых выходит далеко за пределы анализа узкой и конкретной группы явлений, бывшей до сих пор главным предметом нашего изучения. Функциональные, структурные и генетические закономерности, которые обнаруживаются при изучении фактических данных, оказываются при ближайшем рассмотрении закономерностями более общего порядка и приводят нас к необходимости подвергнуть ревизии вопрос о строении и генезисе вообще всех высших психических функций. К этому пересмотру и обобщению нас приводят две дороги.

С одной стороны, более широкое изучение других форм символической деятельности ребенка показывает, что не только речь, но и все операции, связанные с применением знаков, при всем различии конкретных форм обнаруживают те же закономерности развития, строения и функционирования, что и речь в ее рассмотренной выше роли. Их психологическая природа оказывается той же самой, что и рассмотренная нами природа речевой активности, где в полной и развернутой форме представлены общие всем высшим психическим процессам свойства. Мы должны, следовательно, рассмотреть в свете того, что мы узнали о функциях речи, и другие родственные с ней психологические системы, все равно, будем ли мы иметь дело с символическими процессами второго порядка (письмо, чтение и т. п.) или со столь же основными, как и речь, формами поведения.

С другой стороны, не только операции, связанные с практическим интеллектом, но и все другие, столь же первичные и часто даже более элементарные функции, принадлежащие к инвентарю биологически сформированных видов деятельности, в процессе развития обнаруживают закономерности, найденные нами при анализе практического интеллекта. Путь, который проходит практический интеллект ребенка и который мы рассмотрели выше, является, таким образом, общим путем развития всех основных психических функций; с практическим интеллектом их объединяет то, что все они имеют человекоподобные формы в животном мире. Этот путь аналогичен прослеженному нами: начиная с натуральных форм развития, он скоро перерастает их и проделывает радикальную перестройку этих функций на основе употребле-

ния знака в качестве средства организации поведения. Таким образом, как ни покажется странным с точки зрения традиционного учения, высшие функции восприятия, памяти, внимания, движения и прочие внутренне связаны с развитием символической деятельности ребенка, и их понимание возможно лишь на основе анализа их генетических корней и той перестройки, которой они подвергались в процессе культурной истории.

Мы оказываемся перед выводом большого теоретического значения: перед нами раскрывается единство высших психических функций на основе одинакового по существу происхождения и механизма развития. Такие функции, как произвольное внимание, логическая память, высшие формы восприятия и движения, которые до сих пор рассматривались изолированно, как частные психологические факты, выступают в свете наших экспериментов в качестве явлений одного психологического порядка, продукта единого в основе процесса исторического развития поведения. Этим самым все данные функции вдвигаются в широкий аспект генетического исследования и вместо постоянно сосуществующих рядом низших и высших разновидностей одной и той же функции признаются за то, что они есть на самом деле,— за разные стадии единого процесса культурного формирования личности. С этой точки зрения мы с таким же основанием, с каким говорим о логической памяти или произвольном внимании, можем говорить о произвольной памяти, логическом внимании, о произвольных или логических формах восприятия, которые резко отличны от натуральных форм.

Логическим следствием из признания первостепенной важности употребления знаков в истории развития всех высших психических функций является вовлечение в систему психологических понятий тех внешних символических форм деятельности (речь, чтение, письмо, счет, рисование), которые обычно рассматривались как нечто постороннее и добавочное по отношению к внутренним психическим процессам и которые, с новой точки зрения, защищаемой нами, входят в систему высших психических функций наравне со всеми другими высшими психическими процессами. Мы склонны рассматривать их прежде всего как своеобразные формы поведения, слагающиеся в истории социально-культурного развития ребенка и образующие внешнюю линию в развитии символической деятельности наряду с внутренней линией, представляемой культурным развитием таких функций, как практический интеллект, восприятие, память и т. п.

Таким образом, в свете развиваемой нами исторической теории высших психических функций сдвигаются привычные для современной психологии границы разделения и объединения отдельных процессов; то, что размещалось прежде в различных клетках схемы, на самом деле принадлежит к одной области, и обратно: казавшееся относящимся к одному классу явлений на самом деле находит место на совершенно различных ступенях генетической лестницы и подчинено совершенно различным закономерностям.

Высшие функции оказываются, таким образом, единой по генетической природе, хотя и разнообразной по составу психологической системой, строящейся на совсем иных основаниях, чем системы элементарных психических функций. Объединяющими моментами всей системы, определяющими отнесение к ней того или иного частного психического процесса, является общность их происхождения, структуры и функции. В генетическом отношении они отличаются тем, что в плане филогенеза они возникли как продукт не биологической эволюции, но исторического развития поведения, в плане онтогенеза они также имеют свою особую социальную историю. В отношении структуры их особенность сводится к тому, что, в отличие от непосредственной реактивной структуры элементарных процессов, они построены на основе употребления стимулов-средств (знаков) и носят в зависимости от этого непрямой (опосредованный) характер. Наконец, в функциональном отношении их характеризует то, что они выполняют в поведении новую и существенно иную по сравнению с элементарными функциями роль, осуществляя организованное приспособление к ситуации с предварительным овладением собственным поведением.

Социальный генезис высших психических функций

Если, таким образом, знаковая организация — важнейший отличительный признак всех высших психических функций, то естественно, что первым вопросом, встающим перед теорией высших функций, является вопрос о происхождении этого типа организации.

В то время как традиционная психология искала происхождение символической деятельности то в серии «открытий» или других интеллектуальных операций ребенка, то в процессах образования обыкновенных условных связей, видя в них лишь продукт изобретения или усложненную форму привычки, мы приведены всем ходом нашего исследования к необходимости выделить самостоятельную историю знаковых процессов, образующих особую линию в общей истории психического развития ребенка.

В этой истории находят свое подчиненное место и многообразные формы навыков, связанных с полным функционированием какой-либо системы знаков, и сложные процессы мышления, необходимые для разумного использования этих навыков. Но и те и другие не только не могут дать исчерпывающего объяснения происхождению высших функций, но сами получают объяснение лишь в более широкой связи с теми процессами, служебную часть которых они составляют. Процесс же происхождения операций, связанных с употреблением знаков, не только не может быть выведен из образования привычек или изобретения, но вообще является категорией, которую нельзя вывести, оставаясь в преде-

лах индивидуальной психологии. По самой природе он есть часть истории социального формирования личности ребенка, и только в составе этого целого могут быть вскрыты управляющие им закономерности. Поведение человека — продукт развития более широкой системы, чем только система его индивидуальных функций, именно системы социальных связей и отношений, коллективных форм поведения и социального сотрудничества.

Социальная природа всякой высшей психической функции ускользала до сих пор от внимания исследователей, которым и в голову не приходило представить развитие логической памяти или произвольной деятельности как часть социального формирования ребенка, ибо в своем биологическом начале и в конце психического развития эта функция выступает как функция индивидуальная; и только генетический анализ вскрывает тот путь, который соединяет начальную и конечную точки. Анализ показывает, что всякая высшая психическая функция была раньше своеобразной формой психологического сотрудничества и лишь позже превратилась в индивидуальный способ поведения, перенеся внутрь психологической системы ребенка ту структуру, которая и при переносе сохраняет все основные черты символического строения, изменяя лишь в основном свою ситуацию[38].

Таким образом, знак первоначально выступает в поведении ребенка как средство социальной связи, как функция интерпсихическая; становясь затем средством овладения собственным поведением, он лишь переносит социальное отношение к субъекту внутрь личности. Самый важный и основной из генетических законов, к которому приводит нас исследование высших психических функций, гласит, что всякая символическая деятельность ребенка была некогда социальной формой сотрудничества и сохраняет на всем пути развития до самых высших его точек социальный способ функционирования. История высших психических функций раскрывается здесь как история превращения средств социального поведения в средства индивидуально-психологической организации.

Основные правила развития высших психических функций

Общие положения, лежащие в основе развиваемой нами исторической теории высших психических функций, позволяют нам сделать некоторые выводы, связанные с важнейшими правилами, которые управляют интересующим нас процессом развития.

1. История развития каждой из высших психических функций является не прямым продолжением и дальнейшим усовершенствованием соответствующей элементарной функции, но предполагает коренное изменение направления развития и дальнейшее движение процесса в совершенно новом плане; каждая высшая психическая функция является, таким образом, специфическим новообразованием.

В плане филогенеза раскрытие этого положения не представляет никаких трудностей, ибо биологическое формирование и историческое формирование какой-либо функции настолько резко отграничены друг от друга и настолько явно принадлежат к разнородным формам эволюции, что представляют два процесса в чистом и изолированном виде. В онтогенезе обе линии развития сложно сплетены и поэтому неоднократно вводили в заблуждение исследователя, сливаясь для наблюдателя в неразличимое целое, вследствие чего всегда возникала иллюзия, что высшие процессы являются простым продолжением и развитием низших. Мы приведем лишь одно фактическое соображение, подтверждающее наше положение на материале сложнейших психический операций: остановимся на развитии счета и арифметических процессов.

В ряде психологических исследований установился взгляд, что арифметические операции ребенка являются с самого начала сложной символической деятельностью и вырастают из элементарных форм операций с количествами путем непрерывного развития.

Опыты, проведенные в нашей лаборатории (Кучурин, Н. А. Менчинская[39]), убедительно показывают, что о прямом, постепенном усовершенствовании элементарных процессов здесь не может быть и речи и что смена форм счетных операций есть глубокая качественная смена участвующих в них психических процессов. Наблюдения показали: если в начале развития операция с количествами сводится лишь к непосредственному восприятию определенных множеств и числовых групп и ребенок вообще не считает, а воспринимает количество, то дальнейшее развитие характеризуется ломкой этой непосредственной формы и замещением ее иным процессом, где участвует ряд опосредованных вспомогательных знаков, и в частности таких, как расчленяющая речь, использование пальцев и других вспомогательных объектов, переводящих ребенка к процессу пересчета. Дальнейшее развитие счетных операций снова связывается с радикальными перестройками принимающих в них участие психических функций, и счисление с помощью сложных счетных систем снова представляет качественно особое психологическое новообразование.

Мы приходим к выводу, что развитие счета сводится к участию в нем основных психических функций, переход от дошкольной арифметики к школьной не есть простой, непрерывный процесс, но процесс преодоления первичных элементарных закономерностей и замены их новыми, более сложными. Покажем это на конкретном примере.

Если для маленького ребенка процесс счета целиком определяется восприятием формы, то в дальнейшем это отношение перевертывается и самое восприятие формы определяется расчленяющими задачами счета. В наших опытах мы давали маленькому ребенку пересчитывать фигуру креста, выложенную из шишек. Как результат мы неизменно получали ошибку: ребенок, воспринимающий эту фигуру как целостную систему креста, пересчиты-

вал средний элемент, входящий в обе перекрещивающиеся системы, дважды. Лишь значительно позднее он передвигался к другому типу процесса; восприятие с самого начала определялось задачами счета и расчленялось на три отдельные группы элементов, которые и пересчитывались последовательно. В этом процессе мы не можем не видеть смены двух психологических способов поведения с эмансипацией от непосредственной связи сенсорного и моторного полей и с переработкой восприятия сложными психологическими установками.

Все эти исследования с убедительностью показывают, что эволюционизм в изучении развития детского поведения должен уступить место более адекватным идеям, учитывающим совершенно своеобразный, диалектический характер процесса образования новых психических форм.

2. Высшие психические функции не надстраиваются, как второй этаж, над элементарными процессами, но представляют собой новые психологические системы, включающие в себя сложное сплетение элементарных функций, которые, будучи включены в новую систему, сами начинают действовать по новым законам; каждая высшая психическая функция представляет, таким образом, единство высшего порядка, определяемое в основном своеобразным сочетанием ряда более элементарных функций в новом целом.

Это положение, которое имеет решающее значение в исследовании образования и структуры высших психических функций, мы уже проследили в наших опытах с реорганизацией восприятия при включении речи и более широко — на взаимном и глубоком изменении функций при образовании сложной психологической системы «речь — практическая интеллектуальная операция». В указанных случаях мы действительно наблюдали образование сложных психологических систем с новыми функциональными отношениями между отдельными членами системы и соответствующими изменениями самих функций. Если восприятие, связанное с речью, начинает функционировать уже не по законам сенсорного поля, а по законам, организуемым системой внимания, если встреча символической операции с употреблением орудия дает новые формы опосредованного овладения объектом с предварительной организацией собственного поведения, то здесь приходится говорить о некотором общем законе психического развития и образования высших психических функций.

В сериях психологических исследований мы пришли к убеждению, что как наиболее примитивные, так и наиболее сложные из высших психических функций подвергаются такой перестройке; проведенное в нашей лаборатории психологическое исследование подражания (Л. И. Божович[40] и Л. С. Славина[41]) показало, что примитивные формы отображающего механического подражания, включаясь в систему знаковых операций, образуют новое целое, начинают строиться по совершенно новым законам и получают другую функцию. В других опытах, посвященных психологиче-

скому исследованию процесса образования понятий по методике, выработанной Сахаровым, наши сотрудницы Котелова и Пашковская показали, что и на высших этажах психических процессов включение сложных речевых функций связывается с созданием совершенно новых форм категориального поведения, не наблюдавшихся до этого вовсе.

3. При распаде высших психических функций, при болезненных процессах в первую очередь уничтожается связь символических и натуральных функций, вследствие чего происходит отщепление ряда натуральных процессов, которые начинают действовать по примитивным законам, как более или менее самостоятельные психологические структуры. Таким образом, распады высших психических функций представляют собой процесс, с качественной стороны обратный их построению.

Пожалуй, трудно представить себе более ярко общий распад высших психических функций при нарушении речевой символики, чем при афазии. Поражение речи сопровождается здесь и выпадением (или значительным нарушением) знаковых операций; однако это выпадение отнюдь не протекает как изолированный моносимптом, но влечет за собой общие и глубочайшие нарушения в деятельности всех высших психических систем. В специальных сериях исследований мы могли установить, что афазик, у которого выпадают высшие знаковые операции, в практических действиях целиком подчинен элементарным законам оптического поля. В другой серии мы экспериментально установили резкие изменения, характерные для активной деятельности афазика, которая возвращается к примитивной нераздельности сенсорной и моторной сфер: непосредственное моторное проявление импульсов с невозможностью задержать свое действие и образовать отсроченное во времени намерение, неумение трансформировать с помощью перемещения внимания раз возникший образ, полная неспособность в рассуждении и действии отвлечься от осмысленных и привычных структур; возвращение к примитивным формам отображающего подражания — вот те глубочайшие последствия, которые связаны с поражением высших символических систем.

Исследования афазии показывают с исключительной убедительностью, что высшие психические функции не существуют просто рядом с низшими или над ними; в действительности высшие функции настолько проникают в низшие и настолько реформируют все, даже наиболее глубокие слои поведения, что их распад, связанный с отслоением низших процессов в их элементарных формах, в корне меняет всю структуру поведения, откидывая его к наиболее примитивному, «палеопсихологическому» типу деятельности.

Глава четвертая

АНАЛИЗ ЗНАКОВЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕБЕНКА

Мы оказываемся в состоянии замкнуть круг нашего рассуждения и вернуться к тому, о чем говорили в начале этой работы закономерности, управляющие развитием практического интеллекта ребенка, лишь частный случай закономерностей построения всех высших психических функций. Сделанные нами выводы подтверждают это положение и показывают, что высшие психические функции возникают как специфическое новообразование, как новое структурное целое, характеризующееся теми новыми функциональными отношениями, которые устанавливаются внутри его. Мы указали уже, что эти функциональные отношения связаны с операцией употребления знаков как центральным и основным моментом в построении всякой высшей психической функции. Эта операция оказывается, таким образом, тем общим признаком всех высших психических функций (в том числе и употребления орудий, от которого мы все время исходим), который должен быть вынесен за скобки и подвергнут в заключение нашего исследования специальному рассмотрению.

Серия работ, проведенных в течение последних лет нами и нашими сотрудниками, была посвящена указанной проблеме, и мы можем сейчас, опираясь на полученные данные, схематически описать основные закономерности, характеризующие структуру и развитие знаковых операций ребенка.

Эксперимент — единственный путь, с помощью которого мы можем проникнуть в закономерности высших процессов достаточно глубоко; именно в эксперименте мы можем вызвать в едином искусственно созданном процессе те сложнейшие, разрозненные во времени изменения, часто годами протекающие латентно, которые в естественном генезисе ребенка никогда не бывают доступны наблюдению во всей своей реальной совокупности, не могут быть охвачены непосредственно единым взглядом и соотнесены друг с другом. Исследователь, стремящийся постигнуть законы целого и за внешними признаками желающий проникнуть в каузальную и генетическую связь этих моментов, вынужден прибегнуть к особой форме экспериментирования, которую со стороны методической мы охарактеризуем ниже и сущность которой заключается в создании процессов, раскрывающих реальный ход развития интересующей исследователя функции.

Экспериментально-генетическое исследование и дает нам возможность изучить проблему в трех взаимно связанных аспектах: мы опишем структуру, происхождение и дальнейшую судьбу знаковых операций ребенка, подводящих нас вплотную к пониманию внутренней сущности высших психических процессов.

Структура знаковой операции

Мы остановимся на истории детской памяти и на примере ее развития постараемся показать общие особенности знаковых операций в намеченных выше разрезах. Для сравнительного изучения строения и способа действия элементарных и высших функций память представляет исключительно выгодный материал.

Рассмотрение памяти человека в филогенетическом плане показывает, что уже на самых примитивных ступенях психического развития могут быть отчетливо различены два принципиально отличных друг от друга способа ее функционирования. Один из них, господствующий в поведении примитивного человека, характеризуется непосредственным запечатлением материала, простым последствием актуального переживания, оставлением тех мнемических следов, механизм которых был в особенно ясных формах прослежен Э. Иеншем в явлении эйдетизма. Эта память столь же непосредственна, как и прямое восприятие, с которым она еще не порвала прямой связи, и возникает из непосредственного воздействия внешнего впечатления на человека. С точки зрения структуры непосредственность и является главнейшим признаком всего процесса в целом, признаком, связывающим память человека с памятью животного, что и дает нам право называть эту форму памяти памятью натуральной.

Однако указанная форма функционирования памяти не единственная даже у самого примитивного человека; наоборот, даже у него наряду с ней отмечаются иные формы запоминания, которые при ближайшем анализе оказываются принадлежащими к совершенно другому генетическому ряду и отводят нас к совершенно иной формации человеческой психики. Уже в таких сравнительно простых операциях, как употребление для запоминания узелка или зарубки, психологическая структура процесса совершенно меняется.

Два существенных момента отличают эту операцию от элементарного удерживания в памяти: с одной стороны, процесс явно выходит здесь из пределов элементарных, непосредственно связанных с памятью функций и замещается сложнейшими операциями, которые сами по себе могут не иметь ничего общего с памятью, но выполняют в общей структуре новой операции функцию, прежде выполняемую непосредственным запечатлением. С другой стороны, операция выходит здесь и за пределы естественных, внутрикортикальных процессов, включая в психологическую структуру и элементы среды, которые начинают использоваться как активные агенты, управляющие извне психическим процессом. Оба момента дают в результате совсем новый вид поведения; анализируя его внутреннюю структуру, мы можем назвать его опосредованным; оценивая его отличие от естественных форм поведения, мы можем квалифицировать этот вид поведения как культурный.

Существенный момент операции мнемической — участие в ней

определенных внешних знаков. Субъект не решает здесь задачи непосредственной мобилизацией своих естественных возможностей; он прибегает к известным манипуляциям вовне, организуя себя через организацию вещей, создавая искусственные стимулы, которые отличаются от других тем, что обладают обратным действием: направляются не на других людей, но на него самого и позволяют ему с помощью внешнего знака осуществить запоминание. Пример таких знаковых операций, организующих процесс памяти, мы видим уже очень рано в истории культуры. Применение бирок и узлов, начатки письменности и примитивные знаки — все это инвентарь, указывающий на то, что на ранних ступенях развития культуры человек уже выходил из пределов данных ему природой психических функций и переходил к новой, культурной организации своего поведения.

Совершенно понятно, что в такой высшей символической операции, как употребление знаков для запоминания, мы имеем продукт сложнейшего исторического развития; сравнительный анализ показывает, что такого рода деятельность отсутствует у всех видов животных, даже у высших, и есть все основания думать, что она является продуктом специфических условий общественного развития. Ясно, что такая аутостимуляция могла возникнуть лишь после того, как подобные стимулы уже были созданы для стимуляции другого, и что за ней лежит огромная специальная история. Знаковая операция проходит, видимо, такой же путь, какой в онтогенезе проходила речь, бывшая раньше средством стимуляции другого человека и уже затем ставшая интрапсихической функцией.

С переходом к знаковым операциям мы не только переходим к психическим процессам высшей сложности, но фактически покидаем поле естественной истории психики и вступаем в область исторических формаций поведения.

Переход к высшим психическим функциям путем их опосредования и построения знаковой операции может быть с успехом прослежен в эксперименте над ребенком. Для этой цели мы можем перейти от элементарных опытов с непосредственной реакцией на задачу к таким, где ребенок осуществляет ее с помощью ряда вспомогательных стимулов, организующих психологическую операцию. В задаче на запоминание определенного количества слов мы можем давать ребенку ряд предметов или картин, не повторяющих предложенное слово, но способных служить его условным знаком, который поможет ребенку затем воспроизвести нужное слово. Процесс, изучаемый нами в этом опыте, должен, следовательно, резко отличаться от простого, элементарного запоминания; задача должна быть разрешена здесь опосредованной операцией, путем установления известного отношения между стимулом и вспомогательным знаком; на место простого запоминания выдвигается здесь целостный процесс, предполагающий значительно более сложный способ организации поведения, чем тот, который присущ элементарным психическим

функциям. В самом деле, если каждая элементарная форма поведения в конечном счете предполагает некую непосредственную реакцию на поставленную перед организмом задачу и может быть выражена в простой формуле S—R, то структура знаковой операции уже гораздо сложнее. Между стимулом и реакцией, ранее объединенными непосредственной связью, здесь вдвигается промежуточный член, играющий совершенно особую роль, резко отличную от всего, что мы могли видеть в элементарных формах поведения. Этот стимул второго порядка должен быть вовлечен в операцию со специальной функцией служить ее организации; он должен быть специально установлен личностью и обладать обратным действием, вызывая специфические реакции; схема простого реактивного процесса замещается здесь, следовательно, схемой сложного, опосредованного акта, где непосредственный импульс к реакции задержан и операция идет по обходному пути, устанавливая вспомогательный стимул, опосредствованно осуществляющий операцию.

Внимательное исследование показывает, что в значительно более высоких формах по сравнению с приведенной элементарной схемой мы видим эту структуру в высших психических процессах. Опосредующий член схемы здесь, как можно было бы себе представить, просто способ улучшить, усовершенствовать операции; обладая специфической функцией обратного действия, он переводит психические операции в высшие и качественно новые формы, позволяя человеку с помощью внешних стимулов извне овладеть своим поведением. Употребление знака, являющегося одновременно и средством аутостимуляции, приводит у человека к совершенно новой и специфической структуре поведения, рвущей с традициями натурального развития и впервые создающей новую форму культурно-психологического поведения.

Проведенные в нашей лаборатории (А. Н. Леонтьев[42], 1930) опыты с использованием внешнего знака при запоминании показали, что эта форма психических операций не только существенно новая по сравнению с непосредственным запоминанием, но и помогает ребенку преодолеть границы, поставленные для памяти естественными законами мнемы, больше того, она и является преимущественно тем механизмом в памяти, который подвержен развитию.

Наличие таких высших, или обходных, путей запоминания, равно как и возможность подобных непрямых операций, не является чем-то неизвестным. Заслуга их эмпирического выделения принадлежит экспериментальной психологии. Однако классические исследования не сумели увидеть в них новые, специфические и единые формы поведения, приобретаемые в процессе исторического развития. Операции подобного рода (например, мнемотехническое запоминание) представлялись не чем иным, как простой искусственной комбинацией ряда элементарных процессов, в результате удачного совпадения которых сам собой получался мнемотехнический эффект; этот практически создан-

ный прием не рассматривался психологией как новая по существу форма памяти, как новый способ ее деятельности.

Наши опыты приводят к совершенно обратному заключению. Рассматривая операцию запоминания с помощью внешнего знака, анализируя ее структуру, мы убеждаемся, что она не является простым «психологическим фокусом», но имеет все черты и все свойства действительно новой и целостной функции, представляет единство высшего порядка, отдельные части которого соединены отношениями, не сводимыми ни к законам ассоциации, ни к законам структуры, хорошо изученными на непосредственных психических операциях. Эти специфические функциональные отношения мы определяем как знаковую функцию вспомогательных стимулов, на основе которой и происходит принципиально иное соотношение психических процессов, включенных в данную операцию.

Целостный и специфический характер знаковой операции мы с особенной ясностью можем наблюдать в опытах. Опыты показывают: если связи, к которым прибегает ребенок, пытающийся по знаку запомнить заданное слово, и формируются по законам ассоциаций или структуры (мы не входим сейчас по существу в разрешение этого вопроса), то сама специфичность знаковой операции не может быть объяснена ими. В самом деле, простая ассоциативная или структурная связь еще не обладает обратимостью, и связанный со словом знак не обязательно должен при предъявлении вновь напомнить заданное слово. Мы имеем много случаев, когда процесс, протекавший по обычным законам структурной или ассоциативной связи, не приводил к опосредованной операции и предъявляемая повторно картинка вызывала у ребенка новые ассоциации, вместо того чтобы возвратить его к некоторому слову. Нужно еще, чтобы ребенок осознал целенаправленный характер всей операции, чтобы у ребенка появилось специфическое знаковое отношение к вспомогательному стимулу, и только тогда структурная или ассоциативная связь получит свой обязательный обратимый характер и повторное предъявление знака с необходимостью будет возвращать испытуемого к закрепленному с помощью этого знака слову.

Ниже мы остановимся на корнях этих сложных психических процессов; здесь мы хотели бы лишь отметить, что только в пределах *инструментальной операции* ассоциативные или структурные процессы начинают играть вспомогательную, опосредованную роль. Перед нами развертывается здесь не случайное сочетание психических функций, но действительно новая и особая форма поведения.

Описанный нами процесс характерен только для построения высших форм памяти. Мы были бы, однако, неправы, если бы думали, что такие операции вносят лишь количественные улучшения в деятельность психических функций. Специальные опыты показывают, что описанная схема является общим принципом построения высших психических функций и что с их помощью

создаются и новые психологические структуры, не имевшие ранее места и, очевидно, невозможные без такой знаковой операции.

Мы проиллюстрируем это положение на примере генетического исследования деятельности произвольного внимания у ребенка.

Ставя ребенка 7—8 лет в условия, требующие высокого и постоянного напряжения внимания (например, предлагая ему называть цвета упоминаемых в вопросах предметов, не повторяя два раза одного и того же цвета и не называя двух запрещенных цветов), мы получаем полную невозможность правильного выполнения задачи, когда ребенок пытается решить ее непосредственно. Однако стоит ребенку встать на путь опосредованной организации процесса, применив известные вспомогательные знаки, как задача легко разрешается.

В опытах, проведенных в нашей лаборатории (А. Н. Леонтьев), мы давали ребенку ряд цветных карточек, которыми предлагали воспользоваться для облегчения задачи. В тех случаях, когда ребенок не опирался на них в своей деятельности (например, не откладывал запрещенные цвета в сторону и не уводил их из фиксируемого поля), задача оставалась неразрешимой. Однако ребенок с легкостью решал ее, если заменял непосредственное называние цветов сложной структурой ответов, опираясь на вспомогательные знаки: вставлял в фиксируемое поле два запрещенных цвета и отодвигал туда однажды названный им цвет, образуя таким образом контролирующую дальнейшие ответы группу запрещенных стимулов. Отвечая каждый раз через посредство вспомогательных стимулов—знаков, ребенок организовывал извне свое активное внимание и приспосабливался к задачам, которые нельзя было разрешить непосредственными, элементарными формами поведения.

Генетический анализ знаковой операции

Мы остановимся на опосредовании психических операций как на специфическом признаке структуры высших психических функций. Однако было бы огромной ошибкой полагать, что этот процесс возникнет чисто логическим путем, что он изобретается и открывается ребенком в виде молниеносной догадки (ага-переживания), с помощью которой ребенок навсегда усваивает отношение между знаком и способом его употребления, так что все дальнейшее развитие этой основной операции протекает уже чисто дедуктивным путем. Такой же ошибкой было бы думать, что символическое отношение к некоторым стимулам интуитивно постигается ребенком, как бы черпается им из глубин собственного духа, что символизация является первичной и далее несводимой кантовской априорностью, изначально заложенной в сознании способностью создавать и постигать символы.

Обе эти точки зрения, как интеллектуалистическая, так и интуитивистическая, в сущности метафизически устраняют вопрос о генезисе символической деятельности, так как для одной из

них высшие психические функции даны заранее до всякого опыта, как бы заложены в сознании и ждут только случая, чтобы проявиться при встрече с эмпирическим познанием вещи. И эта точка зрения неизбежно приводит к априористической концепции высших психических функций. Для другого же взгляда вопрос о происхождении высших психических функций вообще не является проблемой, так как он допускает, что эти знаки изобретаются и в дальнейшем все соответствующие формы поведения выводятся из них на манер следствий из логических предпосылок. Наконец, мы уже вскользь упоминали о несостоятельности, с нашей точки зрения, попыток вывести сложную символическую деятельность из простой интерференции и суммации навыков.

Наблюдая в течение ряда экспериментальных серий различные психические функции и изучая шаг за шагом путь их развития, мы пришли к выводу, совершенно противоположному только что изложенным взглядам. Факты раскрыли перед нами тот глубочайшего значения процесс, который мы называем естественной историей знаковых операций. Мы убедились в том, что знаковые операции возникают не иначе, как в результате сложнейшего и длительного процесса, обнаруживающего все типические черты подлинного развития и подчиненного основным закономерностям психической эволюции. Это значит, что знаковые операции не просто изобретаются детьми или перенимаются от взрослых, но возникают из чего-то такого, что первоначально не является знаковой операцией и что становится ею лишь после ряда качественных превращений, из которых каждое обусловливает последующую ступень, будучи само обусловлено предыдущей и связывая их как стадии единого, исторического по своей природе процесса. В этом отношении высшие психические функции не составляют исключения из общего правила и не отличаются от прочих элементарных процессов: они так же подчинены основному и не знающему исключений закону развития; они возникают не как нечто привносимое извне или изнутри в общий процесс психического развития ребенка, но как естественный результат этого же процесса.

Правда, включая историю высших психических функций в общий контекст психического развития и пытаясь постигнуть их возникновение из его законов, мы неизбежно должны изменить обычное понимание самого этого процесса и его законов: уже внутри общего процесса развития ясно различаются две основные линии, качественно своеобразные,— линия биологического формирования элементарных процессов и линия социально-культурного образования высших психических функций, из сплетения которых и возникает реальная история детского поведения.

Приученные всем ходом наших наблюдений к различению указанных двух линий, мы натолкнулись, однако, на поразивший нас факт, проливающий свет на вопрос о происхождении знаковой функции в онтогенезе ребенка: в ряде исследований было экспериментально установлено существование генетической связи между

обеими линиями и тем самым переходных форм между элементарными и высшими психическими функциями. Оказалось, что самое раннее вызревание сложнейших знаковых операций совершается еще в системе чисто натуральных форм поведения и что высшие функции имеют, таким образом, свой «утробный период» развития, связывающий их с природными основами психики ребенка. Объективное наблюдение показало, что между чисто натуральным слоем элементарного функционирования психических процессов и высшим слоем опосредованных форм поведения лежит огромная область переходных психологических систем; между натуральным и культурным в истории поведения лежит область примитивного. Эти два момента — историю развития высших психических функций и их генетической связи с натуральными формами поведения — мы и обозначаем как *естественную историю знака.*

Идея развития оказывается здесь одновременно ключом к постижению единства всех психических функций и возникновения высших, качественно отличных форм; мы приходим, следовательно, к положению, что сложнейшие психические образования возникают из низших путем развития.

Опыты с изучением опосредованного запоминания дают нам возможность проследить процесс развития во всей полноте. Для первой стадии в употреблении знака в значительной степени характерна известная примитивность всех психологических операций. Внимательное изучение показывает, что знак, применяемый здесь для запоминания известного стимула, полностью еще не отделен от него; он входит вместе со стимулом в некую общую синкретическую структуру, охватывающую и объект и знак, и еще не служит средством для запоминания.

Ребенку, стоящему на первой стадии развития, еще чуждо осознание целенаправленности операции, связанной с употреблением знака; если он и обращается к вспомогательной картинке, чтобы вспомнить данное ему слово, то это еще не значит, что испытуемому столь же легок и обратный путь — воспроизведение слова по предъявленному знаку. Опыт с такой репродукцией показывает, что находящийся на этой стадии ребенок обычно не припоминает по предъявленному знаку первоначального стимула, но воспроизводит дальше целую синкретическую ситуацию, на которую толкает его знак и которая в числе прочих элементов может включать и основной стимул. Он и должен быть запомнен по данному знаку. Период, когда вспомогательный знак не является специфическим стимулом, обязательно возвращающим ребенка к исходной ситуации, а всегда является лишь импульсом к дальнейшему развитию всей синкретической структуры, в которую он входит, бесспорно, типичен для первой, примитивной, стадии в истории развития знаковых операций.

Ряд фактов убеждает в том, что на этой стадии развития знак действует еще как часть общей синкретической ситуации.

1. Далеко не любой знак пригоден для операции ребенка и

далеко не любой знак может соединиться с любым значением. Ограниченное пользование знаком связано с обязательным вхождением его в уже готовый определенный комплекс, включающий и основное значение, и связываемый с ним знак. Эта тенденция особенно ярко выявилась у детей 4—6 лет. Ребенок ищет среди предложенных знаков такой, который уже имел готовую связь с запоминаемым словом. Заявления, что среди предложенных вспомогательных карточек «нет ничего подходящего», чтобы запомнить предложенный стимул, типичны для ребенка этого возраста. Легко запоминая предложенное слово с помощью картинки, входящей с этим словом в готовый комплекс, ребенок не в состоянии использовать любой знак, связав его с данным словом с помощью вспомогательной вербальной структуры.

2. В опытах, где в качестве вспомогательного материала для запоминания предлагались бессмысленные фигуры (Л. В. Занков[43]), мы весьма часто получали не отказ от их использования и не стремление связать их с данным словом известным искусственным способом, но попытки сделать из фигуры непосредственное отражение заданного слова, его непосредственный рисунок. Во всех случаях вспомогательная фигура не связывалась с предложенным значением путем какой-либо опосредованной связи, но оказывалась как бы прямым, непосредственным рисунком слова.

Таким образом, введение в опыт бессмысленного знакового материала не только не стимулировало, как мы могли предполагать, переход ребенка от использования готовых, уже сложившихся связей к созданию новых, но и привело к прямо противоположному результату — к стремлению непосредственно увидеть в данной фигуре схематическое изображение того или иного предмета и к отказу от запоминания там, где это было невозможно.

3. Такое же явление обнаруживалось, как правило, и в опытах с маленькими детьми, где вспомогательными стимулами служили осмысленные картинки, не связанные прямо с предложенным словом. В опытах Юсевич было показано, что в значительном числе случаев вспомогательная картинка в сущности тоже не использовалась как знак, но ребенок пытался увидеть в ней непосредственно тот предмет, который ему надо было запомнить. Так, ребенок легко запомнил слово «солнце» с помощью картинки, на которой был нарисован топор, указывая на маленькое желтое пятно на рисунке и заявляя, что «вот это и есть солнце». Сложный опосредованный характер операции замещается и здесь элементарной попыткой создать непосредственно «эйдетоидное» отображение предложенного содержания во вспомогательном знаке. Таким образом, в обоих случаях мы не можем говорить о том, что ребенок, воспроизводя заданное слово, припоминает так же, как и тогда, когда при взгляде на фотографию мы называем имя оригинала.

Перечисленные факты показывают, что на этой ступени развития слово объединяется со знаком еще по совершенно иным законам, чем в развитой знаковой операции. Именно в связи с

этим все психические процессы, которые входят в состав опосредованных операций (например, выбор вспомогательного знака, процесс припоминания и восстановления заполненного значения), протекают здесь существенно иначе. И именно этот факт является функциональной проверкой и подтверждением того, что промежуточная стадия развития между элементарными и полностью опосредованными процессами действительно обладает своими законами связей и соотношений, из которых лишь после разовьется полностью законченная опосредованная операция.

Специальные опыты позволили нам более детально исследовать естественную историю знака. Изучая использование знака ребенком и развитие этой деятельности, мы с неизбежностью пришли к исследованию того, как возникает знаковая деятельность. Этой проблеме были посвящены специальные исследования, которые можно разбить на четыре серии.

1. Исследование того, как значение знака возникает у ребенка в процессе экспериментально организованной игры с объектами.

2. Изучение связи между знаком и значением, между словом и объектом.

3. Изучение высказываний ребенка при объяснении того, почему данный объект обозначается данным словом (в соответствии с клиническим методом Ж. Пиаже).

4. Исследования, проводимые по методу реакции выбора.

Эти исследования, если излагать их результаты негативно, приводят нас к заключению: знаковая деятельность возникает у ребенка иначе, нежели сложные навыки, изобретения или открытия. Ребенок не изобретает, но и не выучивает ее. Интеллектуалистические и механистические теории одинаково ложны. Хотя моменты развития навыков или моменты интеллектуальных «открытий» нередко вплетены в историю применения знака у ребенка, однако они не определяют внутреннего развития этого процесса и входят в него лишь как вспомогательные, подчиненные, вторичные компоненты его структуры.

Знаковые операции — результат сложного процесса развития. В начале процесса можно наблюдать переходные, смешанные формы, которые объединяют как естественные, так и культурные компоненты детского поведения. Мы назвали эти формы стадией детской примитивности, или естественной историей знака. В противовес натуралистическим теориям игры наши эксперименты приводят нас к заключению, что игра есть основной путь культурного развития ребенка, и в частности развития его знаковой деятельности.

Эксперименты показывают, что в игре и речи ребенок далек от сознания условности знаковой операции, от сознания произвольно устанавливаемой связи между знаком и значением. Чтобы стать знаком вещи (слова), стимул должен иметь опору в качествах самого обозначаемого объекта. Не все вещи одинаково важны для ребенка в такой игре. Реальные качества вещи и их знаковое значение вступают в игре в сложные структурные взаимоотноше-

ния. Таким образом, слово для ребенка связано с вещью через ее качества и включено в общую с ним структуру. Поэтому ребенок в наших экспериментах не соглашается назвать пол зеркалом (он не может пройти по зеркалу), но превращает стул в поезд, применяя в игре его качества, т. е. манипулируя с ним как с поездом. Ребенок отказывается называть лампу столом и наоборот, так как «нельзя писать на лампе, а стол не может гореть». Заменить обозначения для него — значит заменить качества вещей.

Мы не знаем ничего, с большей очевидностью указывающего на то, что в самом начале овладения речью ребенок еще не усматривает никакой связи между знаком и значением, что осознание этой связи не приходит еще долгое время. Как показывают дальнейшие эксперименты, *функция называния* не возникает из единичного открытия, но имеет собственную естественную историю; по-видимому, в начале развития речи ребенок не открывает того, что каждая вещь имеет свое имя, но овладевает новыми способами действия с вещами.

Таким образом, отношения между знаком и значением, которые из-за аналогичного образа функционирования, из-за внешнего сходства рано начинают напоминать нам соответствующие связи у взрослых, в действительности по своей внутренней природе являются психологическими образами совершенно иного рода. Относить овладение этим отношением к самому началу культурного развития ребенка — значит игнорировать сложную историю внутреннего формирования отношения, историю, которая длится более 10 лет.

Дальнейшее развитие знаковых операций

Мы описали структуру и генетические корни знаковых операций ребенка. Однако было бы неправильно думать, что опосредование с помощью известных внешних знаков есть вечная форма высших психических функций; внимательный генетический анализ убеждает нас как раз в обратном и заставляет думать, что и эта форма поведения является лишь известным этапом в истории психического развития, вырастающего из примитивных систем и предполагающего переход на дальнейших ступенях к значительно более сложным психологическим образованиям.

Уже наблюдения над развитием опосредованного запоминания, которые мы привели выше, указывают на чрезвычайно своеобразный факт: если вначале опосредованные операции протекали исключительно с помощью внешних знаков, то на позднейших этапах развития внешнее опосредование перестает быть единственной операцией, с помощью которой высшие психологические механизмы решают стоящие перед ними задачи. Опыт показывает, что здесь изменяются не только формы употребления знаков, но коренным образом меняется и самая структура операции. В самом существенном мы можем выразить это изменение, если

скажем, что из внешне опосредованной она становится внутренне опосредованной. Это выражается в том, что ребенок начинает запоминать предложенный ему материал по способу, описанному нами выше, но только не прибегает к помощи внешних знаков, которые с этой минуты становятся не нужны ему.

Вся операция опосредованного запоминания протекает теперь как чисто внутренний процесс, по внешнему виду которого нельзя сказать, что он чем-либо отличается от первоначальной формы непосредственного запоминания. Если судить только по внешним данным, может показаться, что ребенок просто стал запоминать больше, лучше, как-то усовершенствовал и развил свою память и, самое главное, вернулся к тому способу непосредственного запоминания, от которого его оттолкнул наш эксперимент. Но возвращение назад только кажущееся: развитие, как это часто бывает, движется здесь не по кругу, а по спирали, возвращаясь к пройденной точке на высшей основе.

Этот уход операций внутрь, эту интериоризацию высших психических функций, связанную с новыми изменениями в их структуре, мы называем *процессом вращивания,* имея в виду главным образом следующее: то, что высшие психические функции строятся первоначально как внешние формы поведения и опираются на внешний знак, ни в какой мере не случайно, но, напротив, определено самой психологической природой высшей функции, которая, как мы говорили выше, не возникает как прямое продолжение элементарных процессов, но является социальным способом поведения, примененным к самому себе.

Перенос социальных способов поведения внутрь системы индивидуальных форм приспособления вовсе не есть чисто механический перенос; он не совершается автоматически, но связан с изменением структуры и функции всей операции и составляет особую стадию в развитии высших форм поведения. Перенесенные в сферу индивидуального поведения, сложные формы сотрудничества начинают функционировать по законам того примитивного целого, органическую часть которого теперь они составляют. Между положением, что высшие психические функции (неотделимой частью которых является использование знаков) возникают в процессе сотрудничества и социального взаимодействия, и положением, что эти функции развиваются из примитивных корней на основе более низких, или элементарных, функций, т. е. между социогенезом высших функций и их естественной историей, существует генетическое, а не логическое противоречие. Переход от коллективной формы поведения к индивидуальной первоначально снижает уровень всей операции, поскольку она включается в систему примитивных функций, принимая качества, общие всем функциям этого уровня. Социальные формы поведения более сложны, и их развитие идет впереди у ребенка; становясь же индивидуальными, они *снижаются* и начинают функционировать по более простым законам. Например, эгоцентрическая речь как таковая по структуре более низкая, чем обычная речь, но как

стадия в развитии мышления она выше, чем социальная речь ребенка того же возраста, поэтому, может быть, Пиаже рассматривает ее как предшественницу социализированной речи, а не как форму, производную от нее.

Таким образом, мы приходим к заключению, что каждая высшая психическая функция неизбежно носит вначале характер внешней деятельности. Вначале знак представляет собой, как правило, внешний вспомогательный стимул, внешнее средство аутостимуляции. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, корни такой операции лежат в коллективных формах поведения, которые всегда относятся к сфере внешней деятельности, и, во-вторых, это происходит из-за примитивных законов индивидуальной сферы поведения, которые еще не выделены из внешней деятельности, не обособлены от непосредственного восприятия и внешнего действия, например практического мышления ребенка.

Факт «овнутривания» знаковых операций экспериментально прослежен в двух ситуациях: в массовых опытах с детьми различных возрастов и в индивидуальных опытах — путем длительного экспериментирования с одним ребенком. В работе Леонтьева для этой цели в нашей лаборатории было проведено через опыт с непосредственным и опосредованным запоминанием большое количество детей начиная с 7 лет и кончая подростками. Изменение количества заполненных в обоих случаях элементов составляет две линии, раскрывающие динамику знаковых операций в течение всего процесса детского развития. Рисунок показывает линию развития непосредственного и опосредованного запоминания в различных возрастах*.

Ряд моментов сразу же бросается в глаза: обе линии не располагаются случайно, но обнаруживают известную закономерность. Совершенно понятно, что линия непосредственного запоминания располагается ниже линии запоминания опосредованного, обе они обнаруживают некую тенденцию роста. Однако рост неравномерен на отдельных отрезках детского развития: если до 10—11 лет особенно резко растет внешнеопосредованное запоминание, от которого нижняя линия заметно отстает, то именно в этот период наступает перелом, и в старшем школьном возрасте обнаруживает особую динамику рост памяти внешненеопосредованной. По темпу она перегоняет линию развития внешнеопосредованных операций.

Анализ этой схемы, названной нами условно *параллелограммом развития* и остающейся устойчивой во всех опытах, показывает, что она обусловлена формами, играющими первостепенную роль в развитии высших психических процессов у ребенка. Если для первого этапа развития было характерно, что ребенок в состоянии опосредовать свою память, только прибегая к известным внешним приемам (отсюда резкий рост верхней линии),

* В рукописи рисунок не приводится. См.: Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. М., 1983, т. 1, с. 55, 56, 58.— *Примеч. ред.*

оставляя не опирающееся на внешние знаки запоминание в существенном, непосредственном, почти механическом удержании в памяти, то на втором этапе развития происходит резкий скачок: внешние знаковые операции в целом достигают предела, но зато теперь ребенок начинает перестраивать внутренний, не опирающийся на внешние знаки процесс запоминания; *натуральный* процесс опосредуется, ребенок начинает применять известные внутренние приемы — и резкое повышение нижней кривой указывает на совершившийся перелом.

В развитии внутренних опосредованных операций фаза применения внешних знаков играет решающую роль. Ребенок переходит к внутренним знаковым процессам потому, что он прошел фазу, когда эти процессы были вовне. В этом нас убеждают серии индивидуальных экспериментов: измерив коэффициент натурального запоминания у ребенка, мы в течение некоторого времени производим с ним опыты с внешнеопосредованным запоминанием, а затем снова проверяем операции, не опирающиеся на применение внешних знаков. Результаты показывают, что даже в опыте с умственно отсталым ребенком происходит сначала значительный рост внешнеопосредованного, а потом и *непосредственного* запоминания, которое после промежуточной серии опытов дает в 2—3 раза лучший эффект, перенося, как показывает анализ, приемы внешней знаковой операции на внутренние процессы.

В описанных операциях мы присутствуем при процессе двоякого рода: с одной стороны, натуральный процесс подвергается глубокой перестройке, превращаясь в обходной, опосредованный акт, с другой — и сама знаковая операция изменяется, переставая быть внешней и перерабатываясь в сложнейшие внутренние психологические системы. Двойное изменение и символизируется в нашей схеме переломом обеих кривых, совпадающим в одной точке и указывающим на внутреннюю зависимость этих процессов. Мы присутствуем здесь при процессе величайшей психологической важности: то, что было внешней операцией со знаком, известным культурным способом овладения собой извне, превращается в новый интрапсихологический слой, рождает новую психологическую систему, несравненно более высокую по составу и культурно-психологическую по генезису.

Тот *процесс вращивания* культурных форм поведения, на котором мы только что остановились, связан с глубокими изменениями в деятельности важнейших психических функций, с коренной перестройкой психической деятельности на основе знаковых операций. С одной стороны, натуральные психические процессы, как мы видим их у животных, перестают существовать в чистом виде, включаясь в перестроенной на культурно-психологической основе системы поведения в новое целое. Это новое целое с необходимостью включает в себя прежние элементарные функции, которые, однако, продолжают существовать в них в снятом виде, действуя уже по новым, характерным для всей возникшей системы закономерностям.

С другой стороны, резко перестраивается и сама операция употребления внешнего знака. Будучи решающей, важной операцией у ребенка младшего возраста, она сменяется здесь существенно другими формами; внутреннеопосредованный процесс начинает пользоваться совершенно новыми связями и новыми приемами, непохожими на те, которые были характерны для внешней знаковой операции. Процесс испытывает здесь изменения, аналогичные тем, которые наблюдались при переходе ребенка от внешней речи к внутренней. В результате процесса вращивания культурно-психологических операций мы получаем новую структуру, новую функцию прежде применявшихся приемов и совершенно новый состав сложных психических процессов.

Было бы чрезвычайно примитивно думать, что дальнейшая перестройка высших психических процессов под влиянием употребления знака происходит на основе перенесения всей готовой знаковой операции внутрь; было бы столь же неправильно считать, что в развитой системе высших психических процессов происходит простое надстраивание высшего этажа над низшим и одновременное существование двух относительно самостоятельных форм поведения — натуральной и опосредованной. На самом деле в результате вращивания культурной операции мы получаем качественно новое сплетение систем, резко отличающих психологию человека от элементарных функций поведения животного. Эти сложнейшие сплетения остаются еще не изученными, и мы можем указать сейчас лишь на несколько основных моментов, характерных для них.

При *вращивании,* т. е. при переносе функций внутрь, происходит сложная перестройка всей ее структуры. Существенными моментами перестройки являются, как показывает эксперимент, следующие: 1) замещение функций; 2) изменение натуральных функций (элементарных процессов, образующих основу для высшей функции и составляющих часть ее); 3) возникновение новых психологических функциональных систем (или системных функций), которые принимают на себя в общей структуре поведения роль, осуществляющуюся до того отдельными функциями.

Кратко мы могли бы пояснить эти три момента, внутренне связанных друг с другом, на изменениях, происходящих при вращивании в высших функциях памяти. Даже в самых простых формах опосредованного запоминания факт замещения функции проявляется с полной очевидностью. А. Бине не напрасно называл мнемотехнику запоминания ряда чисел моделью числовой памяти. Эксперимент показывает, что в подобном запоминании решающий фактор составляют не сила памяти или уровень ее развития, но деятельность по сочетанию, построению структур, усмотрению отношений, мышление в широком смысле и другие процессы, которые замещают память и определяют структуру этой деятельности. При переходе деятельности внутрь само замещение функций ведет к вербализации памяти и в связи с этим

к запоминанию с помощью понятий. Благодаря замещению функции элементарный процесс запоминания сдвигается с места, которое он первоначально занимал, но еще не отделяется от новой операции, а использует ее центральное положение во всей психологической структуре и занимает новую позицию по отношению ко всей новой системе совместно действующих функций. Войдя в эту новую систему, он начинает функционировать в соответствии с законами того целого, частью которого он теперь является.

В результате всех изменений новая функция памяти (которая стала теперь внутренним опосредованным процессом) только по названию оказывается сходной с элементарным процессом запоминания; в своей же внутренней сути это новое специфическое образование, имеющее собственные законы.

Глава пятая

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Методика современного психологического эксперимента тесными нитями связана с общими принципиальными вопросами психологической теории и всегда являлась в конечном счете лишь отражением того, как решались важнейшие проблемы психологии. Именно поэтому критика основных взглядов на сущность и развитие психических процессов с неизбежностью должна повлечь за собой и пересмотр основных положений, связанных с методикой исследования.

Две психологии, охарактеризованные нами выше как психология чистого спиритуализма, с одной стороны, и психология чистого натурализма, с другой, привели к построению и двух совершенно самостоятельных методик психологического исследования, которые приняли со временем законченные формы и полностью подлежат принципиальному пересмотру, как только самая их философская основа подвергается критике.

В самом деле, если первая психология видела в состояниях сознания специфический предмет исследования, считая, что эти высшие формы являются особым, недоступным дальнейшему анализу свойством человеческого духа, то чистая феноменология, внутреннее описание и самонаблюдение оказывались единственной адекватной для психологического исследования методикой. Один момент оказался роковым для спиритуалистических попыток построить методику изучения психических процессов: высшие психические функции всегда ускользали от спиритуалистических попыток установить их происхождение и структуру. Именно потому, что они являлись социально-историческими по генезису и

опосредованными по структуре, они навсегда оставались недоступными для спиритуалистического описания. В детской психологии эти методики встретили особенно неблагоприятную почву, и можно сказать, что они потерпели там фактическое поражение еще раньше, чем основные, скрытые за ними философские предпосылки подверглись критике и пересмотру.

Вторая группа психологических систем оказалась в сфере детской психологии значительно более устойчивой. Исходя из предположения, что высшие формы поведения ребенка являются непрерывным продолжением тех форм, которые известны уже из изучения животного, и, отличаясь от них большей сложностью, остаются принципиально теми же по структуре, эта система нашла, что в качестве основного механизма детского поведения вполне пригодным оказывается известный уже из зоопсихологии и физиологии механизм ответного движения на внешнее, исходящее из среды раздражение. Соотношение S — R сохранялось, как полагали эти психологи, и в простейших, и в наиболее сложных актах поведения и, являясь универсальной схемой, позволяло, таким образом, обеспечить единство психологического исследования на значительном поле.

Совершенно понятно, что такое общее представление о структуре психических процессов конкретизировалось в методике исследования, которую авторы считали адекватной для своих целей. Эта методика исторически явилась простым перенесением в психологию детского возраста приемов, применяемых в физиологии и психологии животного, и укрепилась в большинстве психологических лабораторий за последние десятилетия, бывшие десятилетиями особенного прогресса психологического эксперимента. Направляясь прежде всего на изучение примитивных или сложных ответов, которыми организм приспособлялся к среде, она всегда оставалась методикой, построенной по типу, известному уже в эксперименте с простыми рефлексами: предъявляя испытуемому раздражитель, психолог внимательно изучал ответные реакции и считал задачу исчерпанной, если эти реакции описывались с достаточной полнотой и естественнонаучной объективностью.

Два момента оставались очень сомнительными в этой методике. Являясь объективной, она не была, однако, объективирующей: коренная задача, стоящая перед психологом и заключающаяся в том, чтобы вынести наружу те скрытые психологические механизмы, с помощью которых осуществлялись сложные психические реакции, оставалась здесь нерешенной. Если при изучении простых рефлекторных актов метод оставался адекватным, то при попытках понять с его помощью структуру сложных психических процессов (все внутренние приемы, которыми они осуществлялись, оставались здесь скрытыми, не вынесенными наружу) исследователь волей-неволей был принужден обращаться к словесному ответу испытуемого, желая узнать об этих процессах что-нибудь более определенное.

Вторым дефектом господствовавшего в экспериментальной психологии ребенка метода «стимул — реакция», бесспорно, была его глубокая антигенетическая установка. Подходя с одной и той же схемой эксперимента к различным по сложности функциям и к различным этапам истории ребенка, повторяя над ребенком по существу те же опыты, которые были проделаны и над животным, этот метод был обречен на игнорирование самого развития, связанного с появлением качественно новых образований и вступлением психических функций в принципиально новые взаимоотношения. Идя вслед за В. Вундтом в устойчивости применяемой методики, в многократном и однообразном повторении одного и того же эксперимента в возможно неварьируемых условиях, методика изучения *реактивного* поведения навсегда отрезала себе путь к изучению специфических для развития соотношений.

Наконец, что тоже представляется нам важным, всякая построенная по этому принципу методика оказывалась неадекватной самим задачам исследования высших психических функций; раскрывая реактивный механизм, она описывала лишь снятую категорию, наличную во всех, в том числе и в элементарных, психических процессах, и тем самым делала исследование априори бессмысленным и бесплодным, фактически отметая то, что характерно для высших психологических систем, что отличает их от элементарных, что делает их высшими. Своеобразие генезиса, структуры и функционирования высших психических процессов оставалось, таким образом, совершенно недоступным этой элементарной психологической методике.

В наших исследованиях мы шли иначе. Изучая развитие ребенка, мы установили, что оно идет по пути глубокой смены самой структуры детского поведения и что на каждой новой ступени ребенок не только меняет форму реакции, но и осуществляет ее в значительной степени по-новому, привлекая новые средства поведения и замещая одни психические функции другими. Длительный анализ дал нам возможность установить, что развитие идет прежде всего в направлении опосредования тех психологических операций, которые на первых ступенях осуществлялись непосредственными формами приспособления. Усложнение и развитие форм детского поведения и сводится к смене привлекаемых для этой задачи средств, к включению в операцию прежде незаинтересованных психологических систем и к соответствующей перестройке психического процесса. Легко видеть, как мы указали уже выше, что существенным механизмом такой перестройки является создание и использование ряда искусственных стимулов, играющих вспомогательную роль и позволяющих человеку сначала извне (а потом и более сложными внутренними операциями) овладеть собственным поведением.

Совершенно понятно, что при такой структуре психического развития процесс не укладывается в элементарную схему S — R и методика простого изучения реактивных ответов перестает быть адекватной сложности и своеобразию изучаемого нами процесса.

Эта методика, легко фиксирующая ответные движения субъекта, становится, однако, совершенно бессильной, когда в качестве основной проблемы выдвигается изучение тех средств и приемов, с помощью которых испытуемый организует свое поведение в конкретных формах, наиболее адекватных каждой данной задаче. Направляя наше внимание на изучение именно этих (внешних или внутренних) средств поведения, мы должны произвести радикальный пересмотр и самой методики психологического эксперимента.

Наиболее адекватной нашей задаче мы считаем функциональную методику двойной стимуляции. Желая изучить внутреннюю структуру высших психических процессов, мы не ограничиваемся обычно предъявлением испытуемому простых стимулов (все равно — элементарных раздражителей или сложных задач), на которые ждем непосредственного ответа. Мы одновременно предъявляем испытуемому и второй ряд стимулов, которые функционально должны играть особую роль — служить средствами для организации его собственного поведения. Мы изучаем, таким образом, процесс решения задачи с помощью известных вспомогательных средств, и вся психологическая структура акта оказывается доступной нам на протяжении всего ее развития и во всем своеобразии каждой ее фазы. Примеры проведенных нами экспериментов показывают, что именно такой путь вынесения наружу вспомогательных средств поведения позволяет проследить весь генезис сложнейших форм высших психических процессов.

Изучаем ли мы развитие запоминания у ребенка, давая ему внешние вспомогательные средства и наблюдая степень и характер опосредованного овладения задачей; пользуемся ли мы этим приемом для изучения того, как ребенок организует свое активное внимание с помощью известных внешних средств; исследуем ли мы развитие детского счета, заставляя ребенка манипулировать с какими-либо внешними объектами, применять к ним предложенные ребенку или «изобретаемые» им приемы,— везде мы идем по одному принципиальному пути, изучая не окончательный эффект операции, но специфические психологические структуры операции. Во всех этих случаях психологическая структура развивающегося процесса раскрывается перед нами с несравненно большим богатством и своеобразием, чем при классической методике простого S — R-эксперимента.

Два момента кажутся нам здесь достойными особого упоминания. Если методика «стимул — реакция» была объективной психологической методикой, ограничивавшей изучение лишь теми процессами, которые в поведении человека уже являлись внешними, то наша методика с полным правом может быть названа объективирующей: ее основное внимание направлено как раз на внутренние, скрытые от непосредственного наблюдения психологические приемы и структуры. Однако, ставя задачей изучать именно их, вынося наружу те вспомогательные операции, с помощью которых субъект овладевает той или иной задачей, наша методика делает их доступными для объективного изучения, иначе говоря,

объективирует их. Путь объективации внутренне психических процессов мы считаем несравненно более правильным и адекватным целям психологического исследования, чем путь изучения готовых объективных ответов, потому что лишь первый обеспечивает за научным исследованием действительное выявление не снятых, а специфических форм высшего поведения.

В одном отношении применяемый нами метод резко отличается от тех, которые господствовали в современной детской психологии. Если эксперимент был обычно отрезан от сравнительно-генетического приема изучения и исследовал только относительно устойчивые формы поведения, а сравнительно-генетический метод был обычно не связан с экспериментом, то мы идем как раз обратным путем, связывая обе линии исследования в единый экспериментально-генетический метод. Пользуясь методикой двойной стимуляции, мы можем предъявлять испытуемому задачи, рассчитанные на неодинаковые фазы развития, и вызывать у него в сокращенном виде те процессы овладения ими, которые позволяют в эксперименте прослеживать последовательные этапы психического развития.

Сдвигая наши условия по трудности, вынося приемы овладения задачей наружу и растягивая эксперимент на ряд последовательных серий, мы в состоянии пронаблюдать в лабораторной обстановке процесс развития в его основных чертах, а следовательно, и прийти к анализу участвующих в нем факторов. Включая и выключая из операции речь, давая испытуемому знаки и средства, которыми он еще не пользовался, отнимая эти знаки у уже развитого субъекта, мы получаем достаточно полное представление об отдельных стадиях развития, их характерных особенностях, их последовательности и основных законах построения высших психологических систем.

С использованием серии экспериментально-генетических приемов психология детского возраста впервые ставит ряд конкретных вопросов, связанных с генезисом высших психологических структур и со структурой самого их генезиса.

В экспериментальных исследованиях мы не обязательно должны каждый раз предъявлять испытуемому готовое внешнее средство, с помощью которого он будет решать предложенную задачу. Принципиальная схема нашего опыта ничуть не пострадает, если, вместо того чтобы дать ребенку готовое внешнее средство, мы будем ждать, пока он спонтанно применит вспомогательный прием, включив в операцию какую-нибудь вспомогательную систему символов.

Значительная часть наших экспериментов проведена именно по такой методике. Предлагая испытуемому запомнить что-нибудь (стимул), мы просили его нарисовать что-либо для того, чтобы материал было легче удержать в памяти (вспомогательный символ). Этим мы создавали условия для реконструкции психического процесса запоминания и применения известного вспомогательного средства. Не давая ребенку готового символа, мы могли

проследить, как в спонтанном развертывании применяемых приемов проявятся все существенные механизмы сложной символической деятельности ребенка.

Пожалуй, наилучшим примером методики активного опосредования могут служить наши опыты с применением речи и перестройкой с ее помощью всей структуры детского поведения.

Если речь наблюдалась обычно или как система реакций (бихевиористы), или как путь постижения внутреннего мира субъекта (психологи-объективисты), то мы относимся к речи именно как к системе вспомогательных символов-средств, помогающих ребенку перестроить собственное поведение. Наблюдения, связанные с генезисом и активным применением этих средств, позволяют нам одновременно проследить реальные социальные корни высших психических процессов и дать анализ той роли, которую опосредованные операции играют на различных ступенях детского развития.

Все, что мы сказали о специфичности применяемой нами методики, приводит к одному заключению: именно с ее помощью мы получаем возможность выйти из той коллизии, в которую была поставлена психология из-за столкновения спиритуалистической и механистической концепций. Если первая из них склоняла психолога к простому описанию спонтанного поведения, считая его особой и несводимой формой *жизненных процессов,* а вторая приводила к изучению реактивного поведения, по существу представляющего экспериментальный механизм, имеющийся уже на самых низких ступенях генетической лестницы, то наша постановка вопроса приводит нас к исследованию своеобразной формы человеческого поведения, отличной как от спонтанных, так и от реактивных процессов. Эту своеобразную форму мы видим в тех опосредованных (высших) психических функциях, которые, возникнув исторически (а не являясь продуктом свободного духа), и перевели поведение от элементарных к высшим формам, создав из элементарных форм поведения животного сложное поведение культурного человека.

Заключение

ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Мы закончили утомительный путь рассмотрения основных моментов в эволюции практического интеллекта ребенка и в развитии его символической деятельности. Нам остается собрать воедино и обобщить те выводы, к которым мы пришли, подытожить наше рассмотрение проблемы развития практического интеллекта и указать на те немаловажные теоретические и методологические заключения, которые могут быть сделаны из ряда подобных

исследований, когда каждое посвящено той или иной частной проблеме.

Если попытаться охватить единым взглядом все сказанное об эволюции практического интеллекта ребенка, можно увидеть следующее: основное содержание этой эволюции сводится к тому, что на место единой и притом простой функции практического интеллекта, наблюдающейся у ребенка до овладения речью, в процессе развития появляется сложная по составу, множественная, сплетенная из различных функций форма поведения. В процессе психического развития ребенка, как показывает исследование, происходит не только внутреннее переустройство и совершенствование отдельных функций, но и коренным образом изменяются межфункциональные связи и отношения. В результате возникают новые психологические системы, объединяющие в сложном сотрудничестве ряд отдельных элементарных функций. Эти психологические системы, эти единства высшего порядка, заступающие место гомогенных, единичных, элементарных функций, мы условно называем *высшими психическими функциями.* Все сказанное до сих пор заставляет нас признать: то реальное психологическое образование, которое в процессе развития ребенка заступает место его элементарных практических и интеллектуальных операций, не может быть обозначено иначе, как *психологическая система.* В это понятие входят и то сложное сочетание символической и практической деятельности, на котором мы настаивали все время, и то новое соотношение ряда единичных функций, которое характерно для практического интеллекта человека, и то новое единство, в которое в ходе развития приведено это разнородное по своему составу целое.

Мы приходим, таким образом, к выводу, прямо противоположному тому, который в исследовании интеллекта устанавливает Э. Торндайк[44] (1925). Как известно, Торндайк исходит из допущения, что высшие психические функции являются не чем иным, как дальнейшим развитием, количественным ростом ассоциативных связей того же самого порядка, что и связи, лежащие в основе элементарных процессов. По его мнению, как филогенез, так и онтогенез обнаруживает принципиальное тождество психологической природы связей, лежащих в основе низших и высших процессов.

Наше исследование говорит против этого допущения. Наше исследование заставляет нас признать, что связи иного порядка характерны для тех специфических новообразований, которые мы называем психологическими системами, или высшими психическими функциями. Так как положение Торндайка, по его собственному признанию, направлено против традиционного дуализма в учении о низших и высших формах поведения и так как вопрос о преодолении традиционного дуализма — одна из основных методологических и теоретических задач всей современной научной психологии, мы непременно проанализируем, какой ответ на эту проблему (дуализм или единство высших и низших функций) мы

должны дать в свете проведенных нами экспериментальных исследований.

Но сначала нужно разъяснить одно возможное недоразумение. Возражения против теории Торндайка прежде всего могут быть направлены не по той линии, которая интересует нас в данном случае, но по линии выяснения общей несостоятельности ассоцианизма и всей той механистической концепции интеллектуального развития, которая утверждается на основе этой точки зрения. Мы оставляем сейчас в стороне вопрос о несостоятельности ассоциативного принципа. Нас интересует другое. Все равно, признаем ли мы ассоциативный или структурный характер психических функций, основной вопрос остается в полной силе: могут ли быть высшие психические функции сведены в существенных, определяющих закономерностях к низшим; являются ли они только более сложным и запутанным выражением тех же самых закономерностей, которые господствуют в низших формах, или по своему существу, строению, способу деятельности они обязаны своим возникновением действию новых законов, неизвестных в плане элементарных форм поведения?

Нам думается, что разрешение этого вопроса связано с тем изменением основной точки зрения, на котором настаивает в современной психологии К. Левин и которое он обозначает как переход от «фенотипической к кондиционально-генетической» точке зрения. Нам думается, далее, что психологический анализ, проникающий за внешнюю видимость явлений и вскрывающий внутреннее строение психических процессов, и в частности анализ развития высших форм, заставляет нас признать единство, но не тождество высших и низших психических функций.

Вопрос о дуализме низших и высших функций не снимается при переходе от ассоциативной к структурной точке зрения. Мы это видим из того, что и внутри структурной психологии все время идет спор между представителями двух указанных воззрений на природу высших процессов. Одни настаивают на признании различия двух типов психических процессов и приходят к строгому разграничению двух основных форм деятельности, из которых одна обозначается обычно как реактивный тип деятельности, другая, решающим моментом которой является то, что она как бы первично возникает из личности, как спонтанный тип деятельности. Представители этого направления защищают то положение, что мы вынуждены в психологии исходить из принципиально дуалистического понимания тех и других процессов. Живое существо, говорят они, является не только системой, встречающей раздражения, но и системой, преследующей цели.

Противоположную точку зрения отстаивают противники резкого разграничения высших процессов как спонтанной деятельности и низших как реактивной деятельности. Они стремятся показать, что того резкого дуализма, той метафизической противоположности между двумя типами деятельности, которые выдвигаются обычно, в действительности не существует. Они пытаются

раскрыть реактивный характер многих моментов, внутриспонтанных форм поведения и активный характер моментов, зависящих от внутренней структуры самой системы, в реактивных процессах. Они показывают, что и в так называемых спонтанных процессах поведение организма зависит также от природы раздражителя, и обратно: в реактивных процессах поведение также зависит от внутренней структуры и состояния самой системы. Иные, как Левин, в понятии потребности видят разрешение этого вопроса, которое заключается для них в том, что предметы внешнего мира могут иметь определенное отношение к потребностям. Они могут иметь позитивный или негативный «характер повелевания».

Мы видим, таким образом, что отказ от ассоциативной теории и структурная точка зрения сами по себе без специального исследования проблемы не разрешают, но снимают или обходят интересующий нас вопрос. Правда, новая точка зрения помогает преодолеть метафизический характер традиционного психологического дуализма и признает принципиальное единство высших и низших функций в отношении внутренних и внешних моментов, действующих в одних и других процессах. Но здесь неизбежно возникают сами собой два новых вопроса, на которые мы не находим принципиального ответа в обычно предлагаемом решении.

Первый состоит в том, что внешние и внутренние моменты, необходимо наличествующие в процессах одного и другого типа, могут иметь различный удельный вес и, следовательно, качественно различным образом определять весь процесс поведения в обоих случаях. Не метафизически, но эмпирически мы все же должны выделить высшие процессы по сравнению с низшими или нет? И второй заключается в том, что разделение между спонтанными и реактивными формами поведения может не совпадать с разграничением действий, направляемых преимущественно внутренними потребностями, и действий, направляемых внешними раздражениями.

Употребление орудий у животного и человека

Высшие процессы в генетическом, функциональном и структурном отношении представляют, как показывают исследования, столь значительное разнообразие, что должны быть выделены в особый класс, но разграничение высших и низших функций не совпадает с разделением двух видов деятельности, о которых шла речь выше. Высшая форма поведения есть везде там, где есть овладение процессами собственного поведения, и в первую очередь его реактивными функциями. Человек, подчиняя своей власти процесс собственного реагирования, вступает тем самым в принципиально новое отношение с внешней средой, приходит к новому функциональному употреблению элементов внешней среды в качестве стимулов-знаков, с помощью которых он, опираясь

на внешние средства, направляет и регулирует собственное поведение, извне овладевает собой, заставляя стимулы-знаки воздействовать на него и вызывать желательные для него реакции. Внутренняя регуляция целесообразной деятельности возникает первоначально из внешней регуляции. Реактивное действие, вызванное и организованное самим человеком, перестает уже быть реактивным и становится целенаправленным.

В этом смысле филогенетическая история практического интеллекта человека тесно связана не только с овладением природой, но и с овладением собой. История труда и история речи едва ли могут быть поняты одна без другой. Человек создавал не только орудия труда, с помощью которых он подчинял своей власти силы природы, но и стимулы, побуждающие и регулирующие его собственное поведение, подчиняющие собственные силы своей власти. Это заметно уже на самых ранних ступенях развития человека.

На Борнео и Целебесе, рассказывает К. Бюлер, найдены особые палки для копания, на верхнем конце которых приделаны маленькие палочки. Когда при сеянии риса палкой разрыхляют почву, маленькая палочка издает звук. Этот звук — нечто вроде трудового возгласа или команды, назначение которых — ритмическое регулирование работы. Звук снаряда, приделанного к палке для копания, заменяет человеческий голос или выполняет сходную с ним функцию.

То внутреннее сплетение знака и орудия, которое нашло материальное символическое выражение в первобытной палке для копания, указывает, как рано знак (и далее — высшая его форма, слово) начинает участвовать в операции употребления орудий у человека и выполнять ни с чем не сравнимую, своеобразную функциональную роль в общей структуре этих операций, стоящих в самом начале развития человеческого труда. Эта палка коренным образом отличается от палки обезьян, хотя генетически, несомненно, с ней связана. Если мы спросим себя, в чем коренное психологическое отличие орудия человека от орудия животного, мы должны будем ответить на наш вопрос другим вопросом, поставленным Бюлером в связи с обсуждением действий шимпанзе, направленных на будущее и руководимых представлением о внешних условиях, которые должны наступить в близком или отдаленном будущем: какому ограничению способностей шимпанзе следует приписать то обстоятельство, что они не обнаруживают ни малейших начатков культурного развития, несмотря на то что целый ряд фактов, встречаемых обычно только в цивилизациях, хотя бы и самых примитивных, может быть с несомненностью констатирован у этих животных?

Самый примитивный человек, развивает Келер далее ту же мысль, изготовляет палку для копания даже тогда, когда он не собирается немедленно взяться за копание, когда объективные условия употребления орудия не реализованы еще сколько-нибудь ощутительным образом. Тот факт, что он запасается орудием

заранее, находится в несомненной связи с началом культуры.

Действие человека, возникшее в процессе культурно-исторического развития поведения, есть свободное действие, т. е. независимое от непосредственно действующей потребности и непосредственно воспринимаемой ситуации, действие, направленное на будущее. Обезьяны же, по замечанию Келера, сделанному в другом месте, в гораздо большей степени, чем взрослые люди, являются рабами зрительного поля. Все это должно иметь свое основание, и нетрудно видеть, что такое основание есть в то же время надежнейший критерий для генетического, функционального и структурного разграничения тех двух типов деятельности, о которых мы говорили выше. Но вместо метафизического основания для этого разграничения мы выдвигаем, побуждаемые нашими исследованиями, историческое, которое полностью согласуется и с фактами, установленными Келером относительно поведения шимпанзе. Итак, два типа деятельности, которые должен принципиально различать психолог,— это поведение животного и поведение человека; деятельность, являющаяся продуктом биологической эволюции, и деятельность, возникшая в процессе исторического развития человека.

Жизнь во времени, культурное развитие, труд — все, отличающее в психологической сфере человека от животного, теснейшим образом связано с тем фактом, что параллельно с овладением внешней природой в процессе исторического развития человека шло овладение собой, своим собственным поведением. Палка, о которой рассказывает Бюлер,— это палка для будущего. Это уже — орудие труда. По прекрасному выражению Ф. Энгельса, «труд создал самого человека» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 486), т. е. создал высшие психические функции, отличающие человека как человека. Первобытный человек, пользующийся палкой, овладевает с помощью знака, извне, процессами собственного поведения и подчиняет свои действия той цели, которой он заставляет служить внешние объекты своей деятельности — орудие, почву, рис.

В этом смысле мы можем снова возвратиться к замечанию К. Коффки, которое мы мимоходом затронули выше. Имеет ли смысл, спрашивает он, действия шимпанзе в опытах Келера назвать волевыми действиями? С точки зрения старой психологии, эти действия, как действия не инстинктивные, не автоматизированные и к тому же разумные, несомненно, должны быть отнесены к классу волевых действий. Но новая психология с полным основанием дает отрицательный ответ на этот вопрос. В этом смысле Коффка безусловно прав. Только действие человека, подчиненное его власти, есть волевое действие.

К. Левин в прекрасном анализе психологии намеренных действий с полной ясностью выделяет свободное и волевое намерение как продукт исторического культурного развития поведения и отличительную черту психологии человека. Удивителен сам по себе, говорит он, тот факт, что человек обладает необычайной

свободой в образовании любых, даже бессмысленных, намерений. Эта свобода характерна для человека культуры. Она свойственна в несравненно меньшей степени ребенку и, по-видимому, также примитивному человеку, вероятно, отличает человека от наиболее близко стоящих к нему животных в большей мере, чем его более развитой интеллект. Это разграничение совпадает с проблемой овладения.

Развитие *свободы действия*, как мы стремились показать выше, стоит в прямой функциональной зависимости от употребления знаков. Своеобразное отношение: слово—действие, которое мы все время изучали, занимает центральное место и в онтогенезе практического интеллекта человека, несмотря на то что в области высших функций онтогенез еще меньше, чем в области элементарных, повторяет филогенез. Кто проследит с этой точки зрения развитие свободного действия ребенка, согласится с утверждением Бюлера, что история развития детской воли еще до сих пор не написана. Чтобы положить начало этой истории, следует раньше всего выяснить стоящее в начале образования детской воли отношение слова к действию. Вместе с этим будет сделан первый, но решительный шаг по пути выяснения проблемы о двух типах деятельности человека, о которой мы говорили выше.

Слово и действие

Для одних психологов до сих пор сохраняет силу древнее изречение: вначале было слово. Новые исследования едва ли оставляют сомнение в том, что слово не стоит в начале развития детского разума. Как правильно замечает Бюлер, по сходному поводу говорили, что в начале становления человека стоит речь. Может быть. Но до нее есть еще инструментальное мышление. Практический интеллект генетически древнее вербального; действие первоначальнее слова, даже умное действие первоначальнее умного слова. Но сейчас при утверждении этой правильной мысли обычно переоценивают дело в ущерб слова. Обычно представляют себе, что характерное для самого раннего возраста отношение слова и дела (независимость дела от слова и примат действия) сохраняется и на всех последующих ступенях развития и даже на всю жизнь. Тот же Бюлер осторожнее других, но в сущности выражая общее мнение, считает, что и в позднейшей жизни человека техническое, инструментальное мышление в гораздо меньшей степени связано с речью и понятиями, чем другие формы речи.

Эта уверенность основана на ошибочном предположении, что первоначальные отношения между отдельными функциями остаются неизменными на всем протяжении развития. Между тем исследование учит обратному. Оно учит на каждом шагу признавать, что вся история развития высших психических функций есть не что иное, как изменение первоначальных межфункциональных

отношений и связей, возникновение и развитие новых психических функциональных систем.

В частности, это относится целиком и полностью к интересующему нас сейчас межфункциональному отношению слова и действия.

Вместе с Гутцманом мы скажем: «Если даже вслед за Гёте отказаться от высокой оценки *слова* как звучащего слова и переводить вместе с ним библейское изречение: «Вначале было дело», возможно все же прочитать этот стих, понимая его с точки зрения развития, с другим ударением: *«В начале* было дело»[45].

Но Гутцман[46] делает другую ошибку. Совершенно основательно возражая против учения об апраксии Г. Липманна[47], который склонен рассматривать отношение действия и речи и их нарушений при апраксии и афазии как отношение общего к частному, он сам становится на позицию признания полной независимости слова и дела. Для Липманна афазия есть только частный случай апраксии, и речь как специальный вид движения только частный случай действия вообще. Против этой концепции, растворяющей слово как специфическую функцию в общем понятии действия, справедливо возражает Гутцман. Он указывает, что только движение как более общее понятие может охватить, с одной стороны, выразительные движения (речь) и, с другой, действия как соподчиненные, параллельные, координированные, соотносительные, более частные понятия. Считать речь более частным случаем действия — значит опираться на неверное с философской и психологической точки зрения определение понятия *действие.*

Эта концепция, согласно которой речь и действие суть логически параллельные и независимые понятия и процессы, неизбежно приводит к антигенетической точке зрения, к отрицанию развития, к метафизическому возведению (и, следовательно, к непересекаемости речи и действия) в ранг вечного закона природы, к игнорированию изменчивости функциональных системных связей и отношений. Гутцман на одно мгновение, как сам указывает, становится на точку зрения истории развития, но только для того, чтобы разграничить, что было раньше и что позже. В старом изречении, в котором говорится только о начале, он не изменяет ничего, кроме логического ударения. Его интересует, что было вначале и что возникло позднее, следовательно, что принадлежит и более примитивным, элементарным, низшим формам поведения и что следует отнести к более развитым, сложным и высшим функциям. Речь, говорит он, означает всегда более высокую ступень развития человека, даже чем самое высшее выражение действия — дело.

Но Гутцман при этом, как, впрочем, и большинство авторов, становится на формально-логическую позицию. Он рассматривает отношение речи к действию как вещь, а не как процесс; берет его статически, а не динамически, не в движении; рассматривает его как вечное и неизменное, в то время как оно исторично и на каждой ступени развития принимает иное конкретное выражение.

Все наши исследования приводят нас к убеждению, что не может быть единой формулы, охватывающей все многообразие отношений между речью и действием на всех ступенях развития и во всех формах распада. Истинно диалектический характер развития функциональных систем не может быть адекватно отражен ни в одной конструктивной формально-логической схеме отношения понятий — ни в схеме Липманна, ни в схеме Гутцмана, ибо ни та ни другая не учитывают движения понятий и процессов, стоящих за ними, изменчивости отношений, динамики и диалектики развития.

Практически выполняемое действие, формулирует Гутцман свою мысль, не имеет ничего общего с речью, даже если взять это слово в самом широком смысле. Если положение Гутцмана верно для начала развития и характеризует первичные стадии в развитии действия, то для более поздних стадий того же процесса оно становится ложным в корне. Оно отражает один момент, но не весь процесс в целом. Поэтому теоретические и клинические выводы, которые могут быть сделаны из этого положения, имеют силу в очень ограниченной сфере, именно в сфере начальных стадий развития интересующего нас отношения, и выдавать их за характеристику процесса в целом — значит неизбежно впадать в непримиримое противоречие с фактическими данными о развитии и распаде высших форм действия.

Остановимся на противоречии между теорией и фактами.

Основное различие между действием и словом Гутцман видит в том, что волевое действие, рассматриваемое им вслед за Вундтом как аффект, есть ясно выраженное односторонне личное отношение действующего к внешнему миру; характерное для речи и всяких выразительных движений сообщение внутренних состояний отступает здесь на задний план и имеет побочное значение. В то время как внутренний характер действия преимущественно личный, эгоцентрический, даже при альтруистических целях, природа выразительного движения противоположна этому. Даже при эгоцентрическом содержании оно обнаруживает, так сказать, своего рода альтруизм: оно «туцентрично» *, утверждает Гутцман, оно носит неизбежно социальный характер.

Но самое замечательное из того, что совершается в процессе развития с действием и словом, оставляется здесь в стороне: возникновение эгоцентрической речи и туцентричного действия, превращение социального способа поведения в функцию индивидуального приспособления, внутреннее преобразование действия с помощью слова, социальная природа всех высших психических функций, в том числе и практического действия в его высших формах. Не удивительно поэтому, что волевое действие приравнивается к аффекту, с тем различием, что оно приводит к внешним изменениям, уничтожающим самый аффект. Овладение, как суще-

* От слова «туизм», которое Выготский употребляет как антоним слова «эго».— *Примеч. ред.*

ственный внутренний момент волевого действия, остается вне поля зрения исследователя. То новое отношение действия к личности, которое возникает благодаря слову и приводит к овладению действием, то новое отношение действующего к внешнему миру, которое обнаруживается в свободном действии, руководимом и направляемом словом,— все это возникает не в начале процесса развития и поэтому не учитывается вовсе.

Между тем мы могли проследить на целой цепи фактов, как в процессе развития действие ребенка социализируется, как при потере речи, при афазии практическое действие опускается до уровня элементарной зоопсихологической формы.

Кто оставляет это без внимания, тот неизбежно понимает в ложном свете психологическую природу и речи и действия, ибо источник их изменения заложен в их функциональном сплетении. Кто игнорирует этот основной факт и стремится в целях чистоты классификационной схемы понятий представить речь и действие как две никогда не пересекающиеся параллели, тот поневоле ограничивает подлинную полноту одного и другого понятия, ибо полнота содержания заключена раньше всего в связи одного и другого понятия.

Г. Гутцман ограничивает речь выразительными функциями, сообщением внутренних состояний, коммуникативной деятельностью. А весь индивидуально-психологический аспект, вся преобразующая внутренняя деятельность слова просто остаются в стороне. Если бы это параллельное и независимое отношение слова и дела сохранялось на всем протяжении развития, речь была бы бессильна что-либо изменить в поведении. Действенный аспект слова механически исключается, поэтому неизбежно возникает недооценка волевого действия, действия в его высших формах — действия, связанного со словом.

Вся суть, как показывают исследования связей слова и дела в детском возрасте и при афазии, в том, что речь поднимает на высшую ступень действие, прежде независимое от нее. Как развитие, так и распад высших форм действия подтверждают это. Вопреки положению Липманна, рассматривающего афазию как частный случай апраксии, Гутцман утверждает, что апрактические расстройства должны быть поставлены в параллель к афазии. Нетрудно увидеть здесь прямое продолжение его основной идеи о независимости действия и речи. Но клинические данные говорят против такого взгляда. Расстройства высших форм действия, связанных со словом, распад высших форм и происходящее при этом отщепление действия и функционирование его по самостоятельным, примитивным законам, вообще возврат к более примитивной организации действия при афазии и принципиальное опускание его на другой генетический уровень, которые мы могли констатировать во всех наших опытах,— все это показывает, что патологический распад действия и речи снова, как и построение, не совершается по двум независимым, непересекающимся параллельным линиям.

Впрочем, мы достаточно подробно останавливались на этом при изложении нашей темы; этому одному в сущности было посвящено все содержание нашей работы. Теперь задача в том, чтобы сгустить все содержание в сжатую формулу, выражающую с наибольшей возможной точностью самое существенное из всего найденного нами в наших клинических и экспериментальных исследованиях высших психических функций в их развитии и распаде, в частности в исследовании практического интеллекта.

Мы не можем остановиться, как это с достаточной ясностью следует из всего изложенного до сих пор, ни на евангельской, ни на гётевской формуле — ни на каком бы слове мы не сделали ударения. Но нельзя не заметить, что все эти формулы, и формула Гутцмана в том числе, необходимо требуют продолжения. Они говорят о том, что было вначале. Но что было далее? Начало есть только начало, т. е. исходная точка движения. Самый же процесс развития необходимо включает в себя отрицание начальной точки и движение к высшим — лежащим не в начале, но в конце всего пути развития — формам действия. Как это совершается? Попытка ответить на вопрос побудила нас написать данную работу. Мы стремились в продолжение ее показать, как слово, само интеллектуализируясь и развиваясь на основе действия, поднимает действие на высшую ступень, подчиняет его власти ребенка, накладывает на действие печать воли. Но так как мы хотели в краткой формуле, в одной фазе представить все это, мы могли бы сказать: если в начале развития стоит дело, независимое от слова, то в конце его стоит слово, становящееся делом. Слово, делающее действие человека свободным.

УЧЕНИЕ ОБ ЭМОЦИЯХ

Историко-психологическое исследование [1]

1

Автор знаменитой теории эмоций К. Г. Ланге[2] называет Спинозу одним из тех, чье учение предшествовало органической теории эмоций. Эта теория, как известно, была разработана почти в одно и то же время двумя исследователями независимо друг от друга — Ланге в 1885 г. и У. Джемсом в 1884 г.[3] Так, по выражению И. В. Гёте, некоторые идеи созревают в определенные эпохи, как плоды падают одновременно в разных садах.

«Мне неизвестно,— говорит Ланге,— доказывалась ли уже когда-нибудь раньше подобная теория эмоций в научной психологии; по крайней мере, я не нахожу никакого указания на этот счет. Спиноза, может быть, больше всех приближается к такому воззрению, когда он телесные проявления эмоций не только не считает зависящими от душевных движений, но ставит их рядом с ними, даже почти выдвигает их на первый план» (1896, с. 89). Ланге имеет в виду известное определение аффекта в учении Спинозы. «Под аффектами,— говорит Спиноза,— я разумею состояния тела, которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают ее, а вместе с тем и идеи этих состояний» (1933, с. 82).

Ж. Дюма[4], анализируя генезис органической теории эмоций, как она сформулирована Ланге, указывает на резкое расхождение теории с эволюционистами, в частности с Ч. Дарвином[5] и Г. Спенсером[6], и на «некоторого рода антианглийскую реакцию в мнениях Ланге» (цит. по кн.: Г. Ланге, 1896, с. XI). Действительно, Ланге упрекает Дарвина и вообще сторонников эволюционной теории в том, что они извратили вопрос об аффективном состоянии, что у них историческая точка зрения преобладает над механистической и физиологической. Он говорит: «Вообще подлежит сомнению, следует ли приветствовать как счастливое событие то резко эволюционистское направление, которое под влиянием исследований Дарвина приняла новейшая психология, в особенности английская,— я думаю, что, наверно, не следует. По крайней мере, поскольку дело идет о психологии аффектов, потому что здесь эволюционистское направление привело к пренебрежению специально физиологическим анализом и через это заставило психологию оставить единственно правильный путь, на который ее старались направить физиологи и на котором они достигли бы цели, если бы в их время были известны такие основные явления, как вазомоторные функции» (там же, с. 85).

Для правильного понимания самого существа органической теории эмоций только что отмеченный нами факт имеет исключительно важное значение. В дальнейшем он послужит точкой

приложения нашего критического анализа, задачей которого будет вскрыть всю антиисторичность этой теории. Сейчас же этот факт интересует нас в другой связи. Он с негативной стороны хорошо не только выясняет идейных предков органической теории эмоций, но и показывает, с какими направлениями философской и научной мысли она находится в духовном родстве и с какими открыто враждует.

«Он более охотно ссылается,— говорит Дюма о Ланге,— на французских приверженцев механистического мировоззрения, и в самом деле он их позднейший ученик. Разложение радости и печали на двигательные и психические явления, устранение призрачных сущностей неясно определенных сил — все это сделано по традициям Н. Мальбранша[7] и Спинозы» (там же, с. XII). Э. Титченер[8] констатирует, что «было бы совершенно неверно — а для Джемса и Ланге это было бы небольшим комплиментом — предположить, что эта теория представляет собой нечто совершенно новое» (1914, с. 163). Указания на органические составные части эмоций в действительности так же стары, как и систематическая психология. Титченер разыскивает их, начиная с Аристотеля и кончая Г. Лотце[9] (G. Lotze, 1852, S. 518) и Г. Маудсли[10], т. е. современниками Ланге и Джемса. Разыскивая все более или менее близкое к органической теории эмоций, Титченер не выделяет какое-либо направление философской или научной мысли, в том числе и философию Спинозы, в качестве основного исторического предшественника рассматриваемой теории. Он, однако, указывает, что у Спинозы встречаются определения в том же направлении, и ссылается при этом на приведенное выше определение аффекта, данное в «Этике» (Спиноза, 1933, с. 82).

Сам Джемс не осознает, правда, так, как это делает Ланге, исторического или идейного родства между своей теорией и учением о страстях Спинозы. Напротив, Джемс склонен, вопреки мнению Титченера, да и почти всеобщему мнению, установившемуся в научной психологии, считать свою теорию чем-то абсолютно новым, детищем без предков, и противопоставлять свое учение всем исследованиям эмоций чисто описательного характера, где бы они ни встречались — в романах, или в классических философских произведениях, или в курсах психологии. Эта чисто описательная литература, по словам Джемса, начиная от Декарта и до наших дней представляет самый скучный отдел психологии. Мало того, вы чувствуете, изучая его, что подразделение эмоций, предлагаемое психологами, в огромном большинстве случаев является простой фикцией или весьма несущественным.

Если Джемс, таким образом, сам не склонен видеть преемственной связи между спинозистской теорией страстей и развитой им органической теорией эмоций, то за него это делают другие. Мы не говорим уже о приведенных выше авторитетных свидетельствах Ланге, Дюма, Титченера, которые относят свои утверждения, в сущности говоря, в равной мере к теории Джемса так же, как и к теории Ланге. Обе эти теории представляют собой единую

теорию, во всяком случае с точки зрения ее принципиального идейного состава, который только и может интересовать нас при выяснении генезиса какой-либо теории; расхождения между ними касаются, как известно, более детальных физиологических механизмов, определяющих возникновение эмоций; на этом мы сосредоточим наш критический анализ дальше.

Чтобы закончить рассмотрение выдвинутого нами тезиса, гласящего, что учение Спинозы о страстях связывают обычно с теорией эмоций Джемса и Ланге, сошлемся только на обстоятельное и убедительное исследование Д. Сержи[11], результатами которого нам предстоит еще воспользоваться в дальнейшем. Прослеживая зарождение органической теории эмоций, Сержи останавливается на критическом пункте этой теории, именно на неизбежно возникающем на пути последовательно логического развития этой доктрины сведéнии эмоции к смутному, недифференцированному, глобальному ощущению общего органического состояния. При этом оказывается, что нет более ни страсти, ни эмоций, а есть только ощущения. Этот результат, к которому приходит органическая теория в своем критическом пункте, по словам исследователя, устрашает Джемса до такой степени, что заставляет его впасть в спинозистскую теорию. Заметим попутно, что Сержи в целом приходит относительно истинного происхождения теории эмоций к выводам, которые существенно расходятся с общепринятыми взглядами, цитированными выше. В дальнейшем нам предстоит еще воспользоваться этими выводами и опереться на них при выяснении некоторых существенных вопросов, связанных с основной проблемой нашего исследования. Сейчас же это обстоятельство интересует нас лишь в той мере, в какой оно подкрепляет «объективность и беспристрастность» приведенного выше положения о спинозистской природе теории Джемса.

Мы не станем продолжать далее перечень различных взглядов по рассматриваемому вопросу, да в этом и нет надобности. Все они, отличаясь друг от друга в оттенках и нюансах мыслей, совпадают друг с другом в основном тоне утверждений. Обозревая их в целом, нельзя не заметить, что все они представляют достаточно прочно укоренившееся в современной психологии мнение и что это мнение, согласно французской пословице, чем более оно меняется в отдельных высказываниях, тем более остается тем же самым. Если даже это мнение и оказалось бы при ближайшем рассмотрении не более чем заблуждением или предрассудком, мы все же должны были бы начать с исследования этого положения, ибо разыгравшаяся на наших глазах борьба вокруг теории Джемса и Ланге вводит нас непосредственно в самый центр интересующей нас проблемы. Здесь, согласно общераспространенному мнению, происходит нечто не только существенно важное для всей судьбы психологии эмоций, но и нечто непосредственно связанное с учением Спинозы о страстях. Если даже эта связь и представлена в общераспространенном мнении в искаженном виде, все же за этим мнением, даже если

оно и окажется предрассудком, должны скрываться какие-то объективные нити, связывающие учение Спинозы с современной борьбой и перестройкой, совершающимися в одной из самых основных глав научной психологии наших дней. Поэтому, если мы хотим исследовать судьбу спинозистской теории страстей в живой ткани современного научного знания, мы должны начать с выяснения ее связи с идеями Ланге и Джемса о природе человеческих эмоций.

2

Но прежде надлежит остановиться на содержании самой теории Джемса—Ланге и исследовать, что в ней оказалось истинного и ложного с точки зрения той суровой проверки теоретической мыслью и фактами, проверки, которой она подвергалась с момента ее первых формулировок и до наших дней. Верно, что созданная более полувека назад эмпирическая теория дожила до наших дней, несмотря на разрушительную критику, которой она подверглась с разных сторон. Верно и то, что до сих пор она образует еще живой центр, вокруг которого, как вокруг основной оси, происходит сейчас поворот в психологическом учении о природе человеческого чувства. Мы присутствуем, по-видимому, при последнем акте, при развязке всей той научной драмы, завязка которой относится к 84—85-му г. прошлого века. Мы присутствуем при выяснении окончательного исторического приговора этой теории и при решении судьбы целого направления психологической мысли, которое не только являлось главным для психологии в прошлом, но которое непосредственно связано и с определением будущих путей развития этой главы научной психологии.

Правда, до сих пор принято думать, что эта теория с честью выдержала непрерывную полувековую научную проверку и прочно стоит, как незыблемое основание современного психологического учения о чувствах человека. Так во всяком случае излагается дело в большинстве психологических курсов. Но не только школьная психология, приспособленная для нужд преподавания, крепко держится за эту, казалось бы, ожидающую только устранения теорию, но и представители самоновейших психологических направлений пытаются часто обновить эту не стареющую в их глазах теорию и выдать ее за самое адекватное отображение объективной природы эмоций. Во всяком случае, во многих разновидностях американской психологии поведения, русской объективной психологии и в некоторых направлениях советской психологии эта теория рассматривается как единственное, пожалуй, законченное и состоятельное теоретическое построение, которое целиком может быть перенесено из старой психологии в новую.

Весьма примечательно, что в самых крайних направлениях современной объективной психологии эта глава прямо переписы-

вается или пересказывается со слов Ланге и Джемса. Она импонирует современным реформаторам психологии главным образом двумя обстоятельствами. Первое, что обеспечило этой теории ее исключительное господство на протяжении половины столетия, связано с характером ее изложения. «Теория Джемса — Ланге,— язвительно замечает Титченер,— своей распространенностью среди психологов, говорящих на английском языке, несомненно много обязана характеру ее изложения. Изложения душевного движения в психологических учебниках носили слишком академический, слишком условный характер, а Джемс предложил нам сырой материал, привел нас к источнику действительного переживания» (1914, с. 162—163). В самом деле, эта теория, пожалуй, единственная, которая с полной логической последовательностью, доходящей до парадоксальности, удовлетворительно разрешает вопрос о природе эмоций с такой видимой простотой, с такой убедительностью, с таким обилием повседневно подтверждающихся, доступных каждому фактических доказательств, что невольно создается иллюзия истинности и неопровержимости этой теории и как-то не только читателями и исследователями забывается или не замечается то, что эта теория, по верному замечанию Ф. Барда[12], не была у ее начинателей подтверждена никакими экспериментальными доказательствами, а основывалась исключительно на спекулятивных аргументах и умозрительном анализе.

Второе обстоятельство, которое завербовало в сторонники этой теории самых радикальных реформаторов современной психологии, состоит в следующем: эта теория при объяснении эмоций выдвигает на первый план их органическую основу и потому импонирует как строго физиологическая, объективная и даже единственно материалистическая концепция эмоций и чувствований. Здесь снова возникает удивительная иллюзия, которая продолжает существовать с поразительным упорством, несмотря на то что сам Джемс позаботился о том, чтобы с самого начала разъяснить свою теорию как теорию, не обязательно связанную с материализмом. «Моя точка зрения,— писал Джемс по поводу этой теории,— не может быть названа материалистической. В ней не больше и не меньше материализма, чем во всяком взгляде, согласно которому наши эмоции обусловлены нервными процессами» (1902, с. 313). Поэтому он считал логически несообразным опровергать предлагаемую теорию, ссылаясь на то, что она ведет к низменному материалистическому истолкованию эмоциональных явлений. Этого, однако, оказалось недостаточно для того, чтобы понять, что так же логически несообразно защищать эту теорию ссылкой на даваемое ею материалистическое объяснение человеческого чувства.

Сила этой двойной иллюзии оказалась так велика, что до сих пор принято думать, будто органическая теория эмоций с честью выдержала непрерывную научную проверку и прочно стоит как незыблемое основание современного психологического учения о чувствах человека. С момента ее появления авторы гордо проти-

вопоставляли свою теорию всему, что до них называлось учением об эмоциях. Мы уже упоминали о том, как Джемс расценивал весь предшествующий период этого учения: на всем протяжении его истории Джемс не находит «никакого плодотворного руководящего начала, никакой основной точки зрения» (там же, с. 307). (Заметим в скобках: это после того, как Спиноза развил свое замечательное учение о страстях, где дал руководящее начало, плодотворное не только для настоящего, но и для будущего нашей науки. Трудно представить себе бóльшую историческую и теоретическую слепоту, чем та, которую проявляет в настоящем случае Джемс. Причину ее мы без труда сумеем раскрыть в дальнейшем.)

«Эмоции различаются и оттеняются,— продолжает Джемс,— до бесконечности, но вы не найдете в них никаких логических обобщений» (там же).

Не менее строгий приговор выносит и Ланге. Он говорит: «Уже со времен Аристотеля мы имеем почти бесконечную литературу по вопросу о влиянии аффектов на тело, но истинно научных результатов по вопросу о природе эмоций не было достигнуто всеми накопленными в течение веков сведениями, потому что в сущности на этот счет не имеется ничего, кроме заметок... В самом деле, можно без всякого преувеличения утверждать, что научным образом мы безусловно ничего не понимаем в эмоциях, что у нас нет даже тени какой-нибудь теории о природе эмоций вообще и о каждой из них в отдельности» (1896, с. 19). Все, что мы знаем об эмоциях, по мнению Ланге, основано на неясных впечатлениях, которые не имеют никакого научного основания. Некоторые утверждения о природе эмоций случайно оказались верными, но даже с этими верными положениями едва ли связывают какое-либо действительное представление о предмете.

В историческом исследовании, подобном нашему, посвященном анализу прошлого и будущего в развитии учения о страстях и их анализу в свете современного научного знания, нельзя не упомянуть, что Ланге и Джемс почти дословно повторяют Декарта, который за 300 лет до них говорил то же самое о всей предшествующей истории этого учения. Он говорил: «Нигде нельзя видеть так отчетливо, как в трактовке страстей, как велики недостатки наук, переданных нам древними» (1914, с. 127). Учения древних о страстях казались ему до такой степени скудными и в большей своей части до такой степени шаткими, что он видел себя «принужденным совершенно оставить обычные пути, чтобы с некоторой уверенностью приблизиться к истине. Я принужден,— говорил он,— поэтому писать так, как будто я имею дело с темой, которой до меня еще никто не касался» (там же, с. 127).

Между тем простая историческая справка, справедливо приводимая Титченером, показывает воочию, что и проблема Декарта, и проблема Джемса — Ланге были знакомы и близки еще Аристотелю. Представитель спекулятивной философии, по мысли Аристотеля, говорит, что гнев есть стремление к отмщению или

что-нибудь подобное. Представитель натурфилософии говорит, что гнев есть кипение крови, окружающей сердце. Кто же из них настоящий философ? Аристотель отвечает, что настоящий философ тот, кто соединяет эти два положения. Это совпадение не кажется нам случайным, но его истинный смысл раскроется нам в дальнейшем ходе исследования.

Как бы ни заблуждались авторы органической теории эмоций насчет абсолютной новизны их идеи, это заблуждение сохранило в глазах их последователей до наших дней значение непреложной и неподдельной истины.

Уже в наши дни К. Денлап[13], подводя итоги пятидесятилетнему существованию этой доктрины, утверждает: она не только укоренилась в научном мышлении так прочно, что практически является в настоящее время основой для изучения эмоциональной жизни, но и привела к развитию гипотезы реакции, или ответа, как основы всей духовной жизни в целом (in: W. B. Cannon, 1927, p. 106—124). Ему вторит Р. Перри[14]: эта знаменитая доктрина так прочно укреплена доказательствами и так многократно подтверждена опытом, что невозможно отрицать достоверность ее существа. Несмотря на тщательно разработанные опровержения, она не обнаруживает никаких признаков устарелости (in: W. B. Cannon, 1927, p. 106).

Но скажем с самого начала: теория Джемса—Ланге должна быть признана скорее заблуждением, чем истиной, в учении о страстях. Этим мы высказали заранее основную мысль, главный тезис всей настоящей главы нашего исследования. Рассмотрим ближе основание этой мысли.

Иллюзия о неуязвимости и критической непроницаемости теории Джемса—Ланге, как и всякая иллюзия, вредна в первую очередь тем, что она не позволяет видеть вещи в правильном свете. Замечательным доказательством этого является факт, что ряд новых исследований, которые при объективном и внимательном рассмотрении наносят сокрушительный удар анализируемой теории, воспринимается последователями этой доктрины как новое доказательство ее силы. Примером такого заблуждения может служить судьба первых экспериментальных работ У. Кеннона[15], который подверг систематической экспериментальной разработке проблему органических изменений, возникающих при эмоциональных состояниях. Его исследования, переведенные на русский язык[16], в сущности говоря, содержат убийственную критику органической теории эмоций. Они, однако, были восприняты и осознаны нашей научной мыслью как совершенно бесспорное доказательство ее правоты.

В предисловии Б. М. Завадовского[17] к русскому переводу этих исследований прямо говорится, что гениальные по проницательности мысли Джемса о природе эмоций облекаются на наших глазах в реальные, конкретные формы биологического эксперимента (in: W. B. Cannon, 1927, p. 3). Это утверждение подкрепляется ссылкой на революционность идей Джемса, который выпукло подчер-

кнул материальные, чисто физиологические корни психических состояний. Эта общая мысль, бесспорная для всякого биолога, который не мыслит себе психическую деятельность без ее материальной базы, оказывается тем общим знаменателем, который благодаря не раз уже помянутой иллюзии позволяет отождествить идеи Джемса и факты, представленные Кенноном, несмотря на то что они находятся в непримиримом противоречии. Сам Кеннон ясно показывает, что Завадовский не одинок в своем заблуждении при оценке значения его экспериментальных работ. Его ошибку разделили все те, кто разделял вместе с ним его иллюзию.

По словам Кеннона, многообразные изменения (детально изученные им), которые происходят во внутренних органах вследствие большого возбуждения, были интерпретированы как подтверждающие теорию Джемса—Ланге. Но из фактов, представленных в этих исследованиях, должно быть ясно, что такое истолкование ложно. Что же показали исследования Кеннона?

Если остановиться на самом существенном и основном его результате, который один только и может интересовать нас в настоящем исследовании, надо сказать следующее: они обнаружили экспериментально, что боль, голод и сильные эмоции, как страх и ярость, вызывают в организме глубокие телесные изменения. Эти изменения отличаются рефлекторной природой, представляя собой типичную органическую реакцию, проявляющуюся благодаря унаследованному автоматизму, и, следовательно, эти изменения обнаруживают биологически целесообразный характер.

Телесные изменения во время возбуждения, как показывают исследования Кеннона, вызваны повышенным отделением надпочечными железами адреналина, они аналогичны тем, которые вызываются инъекцией адреналина. Адреналин вызывает усиленный распад углеводов и увеличивает содержание сахара в крови. Он способствует притоку крови к сердцу, легким, центральной нервной системе и конечностям и оттоку ее от заторможенных органов брюшной полости. Адреналин быстро снимает мышечную усталость и повышает свертываемость крови. Таковы главнейшие изменения, которые наблюдаются при сильном возбуждении, связанном с состоянием голода, боли и сильной эмоции. В основе их лежит внутренняя секреция надпочечных желез. Все эти изменения обнаруживают, как уже сказано, внутреннюю зависимость и сцепление между собой, все они в целом обнаруживают недвусмысленно свое приспособительное целесообразное значение.

У. Кеннон в исследовании раскрывает шаг за шагом значение повышенного содержания сахара в крови как источника мышечной энергии; значение повышенного содержания адреналина в крови как противоядия мышечной усталости; значение изменения кровоснабжения органов под влиянием адреналина как обстоятельства, благоприятствующего наибольшему мышечному напря-

жению; аналогичное значение изменений функций дыхания; целесообразное значение ускоренного свертывания крови, предотвращающего кровопотерю.

Ключ к объяснению биологического значения всех этих явлений Кеннон справедливо видит в старой мысли, снова высказанной в последнее время Мак-Дауголлом[18], о взаимоотношении инстинкта бегства с эмоцией страха и инстинкта драки с эмоцией ярости. В естественных условиях за эмоциями страха и гнева может последовать усиленная деятельность организма (например, бегство или драка), которая требует продолжительного и интенсивного напряжения большой группы мышц. Поэтому кажется вполне вероятным, что повышенная секреция адреналина, как результат рефлекторного влияния боли или сильных эмоций, может играть роль динамогенного фактора в производстве мышечной работы. Если верно, как экспериментально устанавливает Кеннон, что мышечная работа совершается главным образом за счет энергии сахара и что значительная мышечная работа способна заметно понизить количество запасного гликогена и циркулирующего сахара, то необходимо допустить, что повышение содержания сахара в крови, сопровождающее сильные эмоции и боль, значительно увеличивает способность мышц к продолжительной работе.

Дальнейшие исследования показали, что адреналин, свободно поступающий в кровь, оказывает заметное влияние на быстрое восстановление утомленных мышц, лишенных первоначальной возбудимости и возможности быстро реагировать, подобно свежим мышцам, и тем самым усиливает воздействие нервной системы на мышцы, способствуя их максимальной работе. То же назначение, по-видимому, имеют кровоснабжение органов и изменение дыхания; настоятельная потребность в нападении или бегстве требует обильного снабжения кислородом работающих мышц и быстрого выведения отработанной углекислоты из тела. Наконец, целесообразность ускоренного свертывания крови также, очевидно, может рассматриваться как процесс, полезный для организма.

Обобщая эти данные, Кеннон предлагает рассматривать все реакции организма, вызванные болевым раздражением и эмоциональным возбуждением, как естественно возникающие защитные инстинктивные реакции. Эти реакции могут быть справедливо истолкованы как подготовление к сильному напряжению, которое может потребоваться организму. Итак, говорит Кеннон, с этой общей точки зрения, телесные изменения, сопровождающие сильные эмоциональные состояния, могут служить органическим подготовлением к предстоящей борьбе и возможным повреждениям и естественно обусловливают те реакции, которые боль может вызвать сама по себе.

Если бы мы захотели коротко суммировать общее значение найденных Кенноном фактов, мы должны были бы согласиться с его указанием на динамогенное действие эмоционального возбуж-

дения как на основной момент. Здесь Кеннон идет вслед за Ч. Шеррингтоном[19], который энергичнее, чем кто-либо другой, указывал на эту сторону эмоциональных процессов. Эмоции, говорит он, владеют нами с самого начала жизни на земле, и возрастающая интенсивность эмоции становится повелительным стимулом к сильному движению. Каждое телесное изменение, наступающее во внутренних органах,— прекращение пищеварительных процессов (при этом освобождается запас энергии, который может быть использован другими органами), отток крови от внутренних органов, деятельность которых понижена, к органам, принимающим непосредственное участие в мышечном напряжении (легкие, сердце, центральная нервная система); усиление сердечных сокращений; быстрое уничтожение мышечного утомления; мобилизация больших запасов содержащего энергию сахара — каждое из этих внутренних изменений приносит непосредственную пользу, укрепляя организм во время огромной траты энергии, вызванной страхом, болью или яростью (см.: Р. Крид и др., 1935).

В связи с этим весьма важно то обстоятельство, что в период сильного возбуждения нередко ощущается колоссальная мощь. Это чувство появляется внезапно и поднимает индивида на более высокий уровень деятельности. При сильных эмоциях возбуждение и ощущение силы сливаются, освобождая тем самым запасенную, неведомую до того времени энергию и доводя до сознания незабываемые ощущения возможной победы.

Прежде чем перейти к теоретическому анализу и оценке этих, по-видимому, бесспорно установленных положений, мы не можем не вернуться к основной проблеме нашего исследования, которая все время присутствует на каждой странице наших рассуждений: к учению Спинозы о страстях. Только несколько необычный и странный путь, избранный нами для исследования и необходимо вытекающий из самого существа поставленной нами проблемы, обусловил то, что при поверхностном впечатлении может показаться, будто мы отошли в сторону от решения основного вопроса, занимающего нас. Рассмотрение учения Спинозы о страстях в свете современной психоневрологии по самой сути дела не может не быть в равной мере и пересмотром современного состояния вопроса о природе эмоций в свете учения Спинозы о страстях, так что мы с равным правом могли бы озаглавить наше исследование этими последними словами.

Поэтому мы не можем не воспользоваться этим первым фактическим положением, полученным нами из рук первого экспериментального исследования эмоций, чтобы связать его с соответствующей идеей Спинозы, образующей отправной пункт всего его учения о страстях. Если вспомнить приведенное выше определение аффектов, данное в «Этике», нельзя не видеть, что экспериментальное доказательство динамогенного влияния эмоций, поднимающего индивида на более высокий уровень деятельности, является вместе с тем и эмпирическим доказательством

мысли Спинозы, которая разумеет под аффектами такие состояния тела, которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают ее, а вместе с тем и идеи этих состояний.

Но выше упомянуто, что именно это определение Спинозы цитирует Ланге как сближающее учение Спинозы о страстях с органической теорией эмоций. Поэтому легко заключить, будто эмпирическое подтверждение идей Спинозы является вместе с тем и экспериментальным доказательством в пользу теории Джемса — Ланге. Так эти исследования и были восприняты первоначально. И действительно, с первого взгляда, при поверхностном рассмотрении может показаться, что эта теория находит в экспериментальных исследованиях Кеннона полное оправдание и празднует высший триумф. Те серьезные органические изменения, которые Ланге и Джемс выдвинули в качестве источника эмоциональных процессов, опираясь на повседневное наблюдение, интроспективный анализ и чисто спекулятивные построения, оказались не только совершенно реальным фактом, но представляются нам сейчас и гораздо более глубоко идущими, более всеохватывающими, более значительными для общего изменения жизнедеятельности, более радикальными и основными, чем то могла предполагать самая смелая мысль основоположников этой доктрины.

Но сейчас мы должны спросить себя, если хотим остаться верными духу критического исследования, направляющего все время нашу мысль: не впадаем ли мы снова в историческую иллюзию, очерчивающую заколдованным кругом знаменитый парадокс об органической природе эмоций, и, утверждая его высший триумф, который он разделяет с победой спинозовской мысли, не принимаем ли мы тем самым заблуждение за истину?

3

Вглядимся пристальнее в только что описанный факт и сейчас же заметим, что, наряду с видимым подтверждением органической теории эмоций, он содержит в себе и явно не говорящие в ее пользу выводы. Чтобы открыть их, мы должны перейти от абсолютного рассмотрения этого факта к относительному. Сам по себе факт ставит вне всяких сомнений положение о том, что сильные эмоции, как страх и ярость, сопровождаются глубочайшими органическими изменениями. Но ведь суть вопроса заключается не в этом положении самом по себе. Едва ли оно могло вызывать у кого-либо серьезные сомнения и до экспериментов Кеннона. Его эксперименты раскрыли физиологический механизм, структуру и биологическое значение этих органических реакций. Но едва ли прибавили хоть йоту достоверности самому факту существования этих изменений.

Суть вопроса заключается, следовательно, не в самом по себе наличии изменений при эмоциях, а в отношении этих телесных изменений к психическому содержанию и строению эмоций, с

одной стороны, и функциональном значении указанных — с другой. И классическая теория эмоций, против которой выступили Ланге и Джемс, считала неотъемлемым моментом всякого эмоционального процесса телесное выражение эмоций. Но она рассматривала эти телесные изменения как результат эмоциональной реакции. Новая теория стала рассматривать эти реакции как источник эмоций. Вся парадоксальность новой теории по сравнению с классической заключалась, как известно, в том, что она выдвинула в качестве причины эмоций то, что прежде считалось ее следствием. Это не только хорошо осознавали сами авторы новой теории, но именно это они выдвигали в центр своего построения как его главную и доминирующую идею.

К. Г. Ланге, определяя основную проблему, совершенно ясно сознает, что ставит вопрос навыворот (вверх ногами). В результате своего исследования он приходит к тому вопросу, который выше отмечен нами как центральный пункт, разделяющий классическую и органическую теории эмоций. «Перед нами,— говорит он,— стоит теперь вопрос, который имеет существенный интерес в психофизиологическом отношении и в то же время составляет центральный пункт нашего исследования,— вопрос о природе отношения, существующего между эмоциями и сопровождающими их физическими явлениями. Обычно употребляют такие обороты речи, как: физиологические явления, вызванные эмоциями, или физиологические явления, сопровождающие эмоции...» (1896, с. 54). Между тем вопрос об отношении между эмоцией как таковой и сопутствующими ей физиологическими явлениями никогда не был поставлен достаточно ясно.

«Странно,— говорит Ланге,— что это отношение никогда еще не было точным образом определено. Я не знаю ни одного исследования, стремящегося выяснить его истинную природу... Несмотря, однако, на эту неясность, все-таки приходится сказать, что научная психология также разделяет теорию, что эмоции вызывают и обусловливают сопровождающие их телесные явления. Она не задает себе вопроса, в чем собственно состоит та особенность эмоций, что они способны иметь такую власть над человеком» (там же, с. 54—55). Ланге критикует классическую теорию эмоций, согласно которой «эмоции суть сущности, существа, силы, демоны, которые овладевают человеком и вызывают у него как физические, так и умственные явления» (там же). Несостоятельность традиционной теории эмоций, согласно которой «всякое событие, за которым следует эмоция, вызывает сначала непосредственным образом чисто психическое действие, которое и есть настоящая эмоция,— истинная радость, истинная печаль и т. д.— телесные же проявления эмоций составляют только побочные явления, хотя постоянно присутствующие, но сами по себе совершенно несущественные» (там же, с. 55—56), Ланге формулирует в двух основных пунктах. Традиционная теория кажется ему столь же легковесной, как все метафизические гипотезы вообще. Не стесняясь опытов, они наделяют

психические процессы какими угодно свойствами и силами, и последние всегда оказывают именно те услуги, которые от них требуются. Может ли психический страх объяснить, почему бледнеют, дрожат и т. д.? Не беда, если не понимают этого. Можно придумать объяснение и не понимая его. Ведь привыкли таким путем успокаивать себя.

Второй пункт нападения на эту теорию заключается для Ланге в положении, что «чувство не может существовать без своих физических проявлений. Уничтожьте у испуганного человека все физические симптомы страха, заставьте его пульс спокойно биться, верните ему твердый взгляд, здоровый цвет лица, сделайте его движения быстрыми и уверенными, его речь сильной, а мысли ясными,— что тогда останется от его страха?» (там же, с. 57). Поэтому Ланге остается допустить, что телесные проявления эмоций могут совершаться чисто физическим путем и что психическая гипотеза становится излишней.

В положительной формулировке собственной теории Ланге пытается свести все физиологические изменения при эмоциях к одному общему источнику и тем самым установить взаимную связь между этими явлениями, в высшей степени упрощая совокупность всего отношения и облегчая также физиологическое его понимание, которое было бы затруднительно, если бы мы должны были принять прямое первоначальное происхождение для каждого из этих явлений. Общий источник, объединяющий все физиологические изменения, Ланге видит в общих функциональных изменениях вазомоторной системы.

В классической формулировке своей основной идеи Ланге и выдвигает вазомоторную реакцию как источник и существеннейшую основу всего эмоционального процесса. Он говорит: «Вазомоторной системе мы обязаны всей эмоциональной частью нашей психической жизни, нашими радостями и печалями, нашими счастливыми и несчастными днями. Если бы впечатления, воспринимаемые нашими внешними органами чувств, не обладали способностью возбуждать ее деятельность, то мы проводили бы нашу жизнь как безучастные и бесстрастные зрители; все впечатления от внешнего мира обогащали бы только наш опыт, увеличивали бы сумму наших знаний, не возбуждая в нас ни радости, ни гнева, не причиняя нам ни горя, ни страха» (там же, с. 77). В соответствии с этим Ланге видит истинную научную задачу для данного ряда явлений в точном определении эмоциональной реакции вазомоторной системы на различного рода влияния.

После изложенного вряд ли может остаться какое-либо сомнение в том, что центром теории, вокруг которого развивается все построение, является не само по себе наличие физиологических реакций при эмоции, а отношение этих реакций к эмоциональному процессу как таковому. С не меньшей ясностью то же самое следует и из теории Джемса. Сам Джемс формулирует это в классическом отрывке, который мы также позволим себе напом-

нить: «Обыкновенно принято думать, что в грубых формах эмоции психическое впечатление, воспринятое от данного объекта, вызывает в нас душевное состояние, называемое эмоцией, а последняя влечет за собой известное телесное проявление. Согласно моей теории, наоборот, телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызывавшего его факта, и сознание нами этого возбуждения в то время, как оно совершается, и есть эмоции. Обыкновенно принято выражаться следующим образом: мы потеряли состояние — огорчены и плачем; мы повстречались с медведем — испуганы и обращаемся в бегство; мы оскорблены врагом — приведены в ярость и наносим ему удар. Согласно защищаемой мною гипотезе, порядок этих событий должен быть несколько иным, именно: первое душевное состояние не сменяется немедленно вторым; между ними должны находиться телесные проявления и потому наиболее рационально выражаться следующим образом: мы опечалены, потому что плачем; приведены в ярость, потому что бьем другого; боимся, потому что дрожим, а не говорить: мы плачем, бьем, дрожим, потому что опечалены, приведены в ярость, испуганы. Если бы телесные проявления не следовали немедленно за восприятием, то последнее было бы по форме своей чисто познавательным актом — бледным, лишенным колорита и эмоциональной «теплоты». Мы в таком случае могли бы видеть медведя и решить, что всего лучше обратиться в бегство, могли бы понести оскорбление и найти справедливым отразить удар, но мы не ощущали бы при этом страха или негодования» (1902, с. 308—309).

Как видим, и для Джемса вопрос заключается не в том, чтобы прибавить к традиционному описанию эмоционального процесса какой-либо существенный момент, но исключительно в том, чтобы изменить последовательность этих моментов, установить истинное отношение между ними, выдвинуть в качестве источника и причины эмоции то, что прежде почиталось ее следствием и результатом. Существенное различие между Джемсом и Ланге сводится только к двум, второстепенным с интересующей нас точки зрения, моментам. Во-первых, Ланге основывает изменение традиционного отношения между эмоцией и ее телесным выражением на материалистических тенденциях, в то время как Джемс ясно видит, что в этой теории содержится не больше и не меньше материализма, чем во всяком взгляде, согласно которому наши эмоции обусловлены нервными процессами, хотя и в его изложении содержится некоторое скрытое возражение, адресованное платонизирующим психологам, которые рассматривают психические явления как явления, связанные с чем-то чрезвычайно низменным. Но Джемс понимает, что с его теорией может примириться и платонизирующая, т. е. последовательно идеалистическая, психология. Второй момент различия заключается в самом физиологическом механизме эмоциональных реакций. Если для Ланге исключительное значение в этом механизме приобретает изменение вазомоторной системы, то Джемс выдвигает на

первый план функциональное изменение внутренних органов и скелетной мускулатуры. В остальном обе теории похожи друг на друга как близнецы.

Итак, мы видим, что для решения вопроса о том, говорят ли факты, найденные Кенноном, за или против органической теории эмоций, мы не можем ограничиться рассмотрением этих фактов самих по себе в их абсолютном значении, а должны непременно в первую очередь исследовать их отношение к существу эмоциональных процессов и спросить, что говорят эти факты по поводу той причинно-следственной зависимости, которую Джемс и Ланге согласно выдвигают во главу угла всей своей теории. Вопрос, следовательно, должен быть поставлен так: подтверждают ли эти факты то положение, что органические изменения должны рассматриваться как прямая причина, источник и самое существо эмоционального процесса, без которых эмоция перестает быть тем, что она есть, или они говорят в пользу противоположного взгляда, склонного видеть в телесных изменениях более или менее непосредственные следствия психических процессов, лежащих в основе эмоций, только побочные явления, говоря языком Ланге, хотя постоянно присутствующие, но сами по себе совершенно несущественные? Иначе говоря, вопрос может быть отчетливо и кратко переведен в такую форму: должны ли мы принять в свете этих фактов, что органические изменения при эмоциях составляют главный и основной феномен, а их отражение в сознании только эпифеномен, или обратно — должны ли допустить, что сознательное переживание эмоций представляет основной и главный феномен, а сопутствующие телесные изменения только эпифеномен? Именно в этом заключается суть спора, острие всей контроверзы между двумя теориями эмоций. Обратимся к разрешению поставленного вопроса.

Стоит только поставить вопрос таким образом, как мы сейчас же начинаем видеть: в экспериментальных исследованиях Кеннона заключается немало неблагополучного для органической теории, что способно сильно преуменьшить триумф этой доктрины, который многие усмотрели в свете новых фактических данных. Неблагополучие прежде всего отчетливо выступает в двух основных выводах, которые могут быть сделаны из этих исследований. Первый вывод: органические изменения, какими бы глубокими и биологически значительными они нам ни представлялись, какие бы серьезные органические потрясения они ни скрывали за собой, выступают как удивительно сходные при самых различных и даже противоположных с точки зрения переживания эмоциях.

Выяснению этого положения, первостепенного для интересующего нас вопроса, способствовало как более точное определение физиологического механизма этих реакций, скрытого в процессах внутренней секреции, так и строгое и систематическое изучение этих реакций в условиях эксперимента. Уже ранее исследование Кеннона установило следующее. Висцеральные явления, сопровождающие страх и ярость, проявляются при участии нейронов

симпатической системы. Нужно вспомнить, что эти нейроны служат главным образом для распространенных, а не для строго ограниченных реакций. Хотя речь идет о двух совершенно различных эмоциях (страх и ярость), известные физиологии факты говорят за то, что сопутствующие висцеральные изменения не так резко отличаются друг от друга. Более того, существуют факты, убедительно показывающие, почему висцеральные изменения при страхе и ярости не должны быть различны, но, напротив, скорее, сходны. Как уже указывалось, эти эмоции сопровождают подготовку организма к деятельности и по той же причине, что условия, которые их вызывают, приводят к бегству или сопротивлению (каждое из них требует, быть может, крайнего напряжения), в каждой из этих реакций потребности организма одни и те же. Механизм симпатического отдела также приходит в действие, в целом или частично, при эмоциях умеренного типа, например при радости или печали или отвращении, когда они проявляются достаточно интенсивно.

Таким образом, оказывается, что не столько психологическая природа эмоции, сколько интенсивность ее проявления и протекания обусловливает в первую очередь глубокие телесные изменения, которые вызываются, скорее, высокой степенью возбуждения центральной нервной системы, влияющего на порог раздражения симпатического отдела и нарушающего функции всех органов, иннервируемых этим отделом. Органические изменения, следовательно, представляются нам не строго модифицированными, согласно психологической природе эмоций, процессами, но, скорее, стандартной, интенсивной, типичной реакцией, которая активируется единообразным способом при самых различных эмоциях.

У. Кеннон справедливо делает отсюда вывод, убийственный для основного положения теории Джемса—Ланге: «Если различные сильные эмоции могут таким образом проявляться в распространенной деятельности одного отдела автономной системы, отдела, который ускоряет работу сердца, тормозит движение желудка и кишок, вызывает сокращение кровеносных сосудов, поднятие волос, освобождение сахара и выделение адреналина, то можно считать, что телесные условия, которые, как это предполагали некоторые психологи, могут позволить отличить одни эмоции от других, не являются пригодными для этой цели, что эти условия нужно искать где угодно, но не во внутренних органах... Мы не станем, подобно Джемсу, утверждать, что «мы печальны, потому что плачем», но мы плачем или от грусти, или от радости, или от сильного гнева, или от нежного чувства; когда одно из этих различных эмоциональных состояний имеется налицо, нервные импульсы по симпатическим путям направляются к различным внутренним органам, включая и слезные железы. При страхе, гневе или чрезмерной радости, например, реакции во внутренних органах кажутся слишком однообразными, чтобы дать в руки подходящий способ различения тех состояний, по крайней

мере у человека, окрашенных в различные субъективные тона. Ввиду этого я склоняюсь к мысли, что висцеральные изменения просто сообщают эмоциональному комплексу более или менее неопределенное, но все же настойчивое ощущение тех нарушений в органах, которые обычно не доходят до нашего сознания» (1927, с. 155—158).

Уже в этих словах содержится, в сущности говоря, окончательный приговор для той теории, которая видела разрешение вопроса о природе эмоций в сознательном восприятии многообразных, тонко дифференцированных соответственно роду эмоционального процесса реакций. Сам Кеннон видоизменяет совершенно недвусмысленно основное положение Джемса таким образом, что главное отношение между органическими реакциями и эмоциональным процессом никак не может быть понято как отношение причины и следствия. Вместо ставшего классическим положения: мы печальны, потому что плачем — Кеннон формулирует: мы плачем или от грусти, или от радости, или от сильного гнева, или от нежного чувства. Оставляя пока в стороне вопрос об ударе, который эта же формулировка наносит традиционной теории эмоций, нельзя не видеть, что в основном она нас возвращает к идее, столь оспариваемой Ланге и Джемсом, именно к идее зависимости телесных проявлений от эмоционального процесса как такового.

К. Г. Ланге, как известно, настаивает в своей гипотезе, что непосредственные физические выражения, сопровождающие эмоцию, составляют различные для каждой эмоции изменения в функциях вазомоторного аппарата. Он даже построил схему органических изменений для семи эмоций: разочарования, печали, страха, смущения, нетерпения, радости и гнева. Джемс полагал, что его теория приводит к коренному преобразованию всей проблемы классификации эмоций. Раньше возникал вопрос, к какому роду или виду принадлежит данная эмоция, теперь же речь идет о выяснении причины эмоций, о том, какие именно модификации вызывает в нас тот или иной объект и почему он вызывает в нас именно те, а не другие модификации. От поверхностного анализа эмоций мы переходим, таким образом, к более глубокому исследованию высшего порядка. Классификация и описание суть низшие ступени в развитии науки, которые отходят на второй план, как только выступает на сцену вопрос о причинной связи в данной научной области исследования.

Раз мы выяснили, что причиной эмоций являются бесчисленные рефлекторные акты, возникающие под влиянием внешних объектов и немедленно сознаваемые нами, то нам сейчас же становится понятным, почему может существовать бесчисленное множество эмоций и почему у отдельных индивидов они могут неопределенно варьировать и по составу, и по мотивам, вызывающим их. Дело в том, что в рефлекторном акте нет ничего неизменного, абсолютного, возможны весьма различные действия рефлекса и эти действия, как известно, варьируют до бесконечности.

Короче говоря, любая классификация эмоций может считаться истинной и естественной, коль скоро она удовлетворяет своему назначению, и вопросы вроде того, каково истинное или типичное выражение гнева или страха, не имеют никакого объективного значения. Вместо решения подобных вопросов мы должны заняться выяснением того, как могла произойти та или иная экспрессия страха или гнева, и это составляет, с одной стороны, задачу физиологической механики, с другой — задачу истории человеческой психики, т. е. задачу, которая, как и все научные задачи, по существу разрешима, хотя и трудно, может быть, найти ее решение.

О том, что говорит история человеческой психики по поводу рассматриваемой теории, мы скажем ниже. Физиологическая же механика, к которой апеллирует Джемс, сказала свое едва ли не окончательное слово по этому поводу, и это слово не только не защищает гипотезу Джемса, но стоит в непримиримом противоречии с ней. В то время как Ланге утверждает, будто различие между эмоциями должно найти свое объяснение в различии вазомоторных реакций, а Джемс считает, будто предлагаемая им точка зрения объясняет удивительное разнообразие эмоций, физиологическая механика устанавливает тот неопровержимый факт, что органические изменения при эмоциях возникают как стандартная реакция, единообразная для самых различных аффектов, подобная врожденным рефлексам низшего порядка, к которым относится, например, чихательный рефлекс. «Приведенные мной факты, а также наблюдения Шеррингтона,— резюмирует Кеннон,— позволяют думать, что внутренние органы играют в эмоциональном комплексе незначительную роль, особенно в смысле распознавания природы эмоций» (1927, с. 157). Опыты, указывающие на однообразие висцеральных реакций, говорят за то, что висцеральные факторы играют незначительную роль в происхождении различий в эмоциональных состояниях.

Ф. Бард, оценивая значение этого факта для подтверждения или отрицания теории, находит, что этот факт является резким аргументом против утверждения Ланге, но не имеет всей силы в применении к более поздней формулировке, которую десять лет спустя после первой публикации Джемс придал своим основным положениям. В более позднем изложении своих взглядов Джемс уже не настаивает с такой отчетливостью, как он делал прежде, на возможности различать эмоции на основе различий в телесных изменениях. Однако и по отношению к более поздней формулировке критический аргумент сохраняется, поскольку и там Джемс подчеркивает значение висцеральных факторов, которые он провозглашает существенной причиной всякого аффективного состояния, в целостной эмоциональной реакции. В ответ на упрек, что смех от щекотания, дрожь от холода возбуждают чисто локальные телесные восприятия, а не реальные эмоции веселья или страха, он отвечал, что при этих обстоятельствах воспроизведение эмоциональных реакций не полно. Трудно локализуемые висце-

ральные факторы отсутствуют, а они, по-видимому, являются самыми существенными из всех. Когда они присоединяются вследствие какой-нибудь внутренней причины, мы имеем налицо эмоцию, и тогда субъект оказывается охваченным патологическим или беспредметным ужасом, горем или гневом. Таким образом, даже в отношении более поздней формулировки теории Джемса этот отрицательный аргумент, как видим, в основном сохраняет полную силу.

В такой же мере убедительность этих соображений остается в наших глазах непоколебленной и после комментариев, с помощью которых многие последователи теории Джемса пытаются оградить его учение от разрушительной силы этого аргумента. Так, Д. Энджелл[20] допускает, что возможно наличие значительной стереотипной основы существенно идентичных висцеральных изменений при всяких эмоциях, но полагает, что дифференциальные признаки могут быть найдены в экстрависцеральных расстройствах, в частности в различиях тонуса скелетной мускулатуры (in: W. B. Cannon, 1927, p. 108). Р. Перри также указывает на проприоцептивные структуры, на моторную сторону эмоционального выражения, в которой можно найти различающиеся между собой элементы для разных аффективных состояний.

Смысл комментариев совершенно ясен: они пытаются пожертвовать фактическим и конкретным содержанием теории для того, чтобы спасти ее идейное и теоретическое ядро. Пусть окажутся несостоятельными в свете новейшей физиологии те конкретные механизмы эмоциональных реакций, на которые указывает Ланге (центральное объединяющее значение функциональных изменений вазомоторной системы), и те, которые имел в виду Джемс (висцеральные реакции), принципиальное значение теории может быть сохранено в полной мере, если допустить, что эти механизмы следует искать среди экстрависцеральных, в частности моторных и проприоцептивных, процессов. В этом случае теория нуждалась бы в фактических коррективах, может быть, даже в радикальной ревизии всей физиологической части, но основная психофизиологическая теза, лежащая в ее основе, могла бы быть сохранена.

С этими соображениями нельзя не считаться, они сдают только половину тех позиций, на которых была укреплена органическая теория, и поэтому нам придется рассмотреть дальше данные, касающиеся возможности сохранения теории Джемса на другой фактической основе. Ограничимся пока указанием на то, что эта фактическая сторона теории безнадежно скомпрометирована даже в глазах принципиальных последователей Джемса — Ланге. Как правильно отмечает Кеннон, Ланге не отводит новому возможному источнику происхождения эмоциональных процессов никакого места в своей теории, а Джемс приписывает ему меньшую роль по сравнению с главным участием висцеральной и органической частей телесных изменений в происхождении эмоции. Прибавим к этим соображениям только то, что данные

повседневного опыта, которыми преимущественно оперируют Ланге и Джемс, ссылаясь на наличие в переживании эмоций компонентов, проистекающих из восприятия органических изменений, говорят также в первую очередь за висцеральные и органические компоненты, а не за экстрависцеральные, в частности моторные.

Но отложим окончательное суждение до рассмотрения всей полемики, которая разгорелась между критиками и защитниками органической теории. Добавим сейчас только одно: при всей униформности, при всем единообразии, стандартности стереотипической реакции, как она описана выше, мы, разумеется, наблюдаем в ее протекании некоторые вариации. Так, нельзя отрицать того факта, что мы имеем при различных эмоциональных состояниях различные изменения в кровеносных сосудах (бледность или покраснение лица). Однако и эти изменения, как замечает Кеннон, маловажны с точки зрения интересующего нас единообразного течения органической реакции. Симпатическая система, говорит Кеннон, вступает в действие как единство, при этом могут быть незначительные вариации, например наличие или отсутствие пота, но в основных чертах интеграция реакций всегда сохраняет характерный облик.

Мы можем перейти сейчас ко второму выводу, связанному с первым, но еще более убийственному для теорий Джемса—Ланге. Вывод вытекает непосредственно из тех же более ранних исследований Кеннона, из которых мы извлекли и наш первый критический аргумент. Сущность его в том, что та единообразная стереотипная органическая реакция, которая, как мы говорили, не дает никаких оснований для различения самых противоположных по психологической природе аффективных состояний, наблюдается в том же самом виде и при таких состояниях, которые не имеют ничего общего с эмоциональным возбуждением. Следовательно, она не содержит в себе ничего характерного не только для отдельных эмоциональных состояний, но и для эмоциональных состояний вообще, она является, скорее, результатом высокой степени возбуждения центральной нервной системы, от каких бы причин это возбуждение ни зависело и при каких бы обстоятельствах оно ни возникало. Нельзя не видеть, что это новое соображение окончательно парализует попытку Энджелла принять идентичную стереотипную органическую основу для всех эмоциональных реакций вообще, основу, на которой надстраиваются специфические для каждой эмоции экстрависцеральные компоненты.

Исследования со всей неумолимостью логики фактов показывают, что общая единообразная органическая основа не содержит в себе ничего специфического для эмоционального состояния как такового и что она совершенно идентична многим другим состояниям бесспорно неаффективной природы; следовательно, она может характеризовать эмоциональную реакцию не в том, что является в ней отличным и особенным, делающим ее тем, что она

есть, но только в том, что в ней есть общего с другими *не*эмоциональными состояниями.

Уже первое исследование Кеннона установило, что стереотипная реакция симпатического отдела наблюдается не только при страхе и ярости, но и при таких состояниях, как боль, асфиксия. Явления, вызываемые асфиксией, аналогичны тем, которые вызываются болевым раздражением и сильным эмоциональным возбуждением. Дальнейшие исследования всецело подтвердили это наблюдение и показали, что та же самая реакция бывает при сильном охлаждении, при лихорадке, при гипогликемии, асфиксии и напряженной мышечной работе (например, при беге). При всех указанных состояниях активируется симпатическая система совершенно так же, как это происходит при сильных эмоциональных состояниях. По словам Кеннона, это происходит при всяком сильном возбуждении в любых обстоятельствах.

Как согласно отмечают Бард и Кеннон (in: W. B. Cannon, 1927), это явление находится в непримиримом противоречии с основными положениями Джемса. Если вспомнить следующее: по Джемсу, чувствование в грубых формах эмоции есть результат ее телесных проявлений; далее, Джемс видел дополнительное доказательство в пользу своей теории в том, что, вызывая внешнее проявление той или другой эмоции, мы должны испытывать и самую эмоцию; если вспомнить, наконец, приведенные выше возражения Джемса на аргумент, выдвигавший против его теории факт отсутствия эмоции при дрожи от холода и смехе от щекотки, то станет совершенно ясно, что, согласно теории Джемса, мы должны были испытывать при всех перечисленных выше неэмоциональных состояниях, при которых наблюдается типическая реакция симпатического отдела, сильнейшее эмоциональное возбуждение. Ведь здесь налицо весь комплекс телесных проявлений, как они встречаются при страхе и ярости, здесь те висцеральные факторы, в отсутствии которых Джемс видел единственную причину того, что щекотание вызывает смех, но не веселье, а холод вызывает дрожь, но не страх. Здесь, наконец, полностью осуществлено выдвинутое самим Джемсом требование, которое вытекает из его теории, т. е. даны телесные проявления, соответствующие сильному эмоциональному состоянию, но результата, следствия, самой эмоции, как мы должны были бы ожидать, согласно Джемсу, не появляется.

Ф. Бард говорит, что полным опровержением приведенного выше замечания Джемса о смехе при щекотании и дрожи при холоде является то, что дрожь от холода протекает при тех же самых висцеральных изменениях, которые наблюдаются при действительном страхе. В этом неэмоциональном состоянии и в других (например, при беге) полная реакция, включая и висцеральные изменения, та же самая, что и при страхе, и все же наблюдается знаменательное отсутствие эмоции, которую следовало бы ожидать, согласно теории Джемса. То же констатирует и Кеннон в качестве основного итога этих исследований. Если,

говорит он, «эмоции возникают из афферентных импульсов, идущих от внутренних органов, мы должны были бы ожидать не только того, что страх и ярость будут переживаться сходным образом, но что переохлаждение, гипогликемия, асфиксия и жар должны ощущаться точно таким же образом. Но это не имеет места в действительности» (W. B. Cannon, 1927, p. 110).

Мы видим, что теория Джемса—Ланге не выдерживает критики фактов при первой же попытке ее экспериментального исследования. Она оказывается идеей, которая не согласна со своим объектом, следовательно, в соответствии с основной аксиомой Спинозы, должна быть признана скорее заблуждением, чем истиной[21].

4

Нам предстоит на протяжении еще одной главы завершить начатую первую часть нашего исследования, имеющего задачей сверить, насколько идея Джемса—Ланге, в которой принято видеть живое продолжение спинозовского учения о страстях, согласуется со своим объектом. Мы должны, следовательно, еще продолжить критический анализ теории с точки зрения ее фактической состоятельности. Но, завершая анализ, мы можем обратиться прямо и непосредственно к окончательным критическим экспериментам и к данным патологической психологии эмоциональной жизни, сгруппировав вокруг этих экспериментальных и клинических фактов (они проливают немалый свет на занимающую нас проблему) все дополнительные и вспомогательные критические соображения, фигурирующие в той острой полемике, которая, по-видимому, является последней страницей, даже эпилогом в истории знаменитого и парадоксального учения.

Как известно, Ланге и Джемс видели основное доказательство в пользу своей теории не столько в том факте, что эмоциональные состояния сопровождаются физиологическими изменениями (это было ведомо и классической теории), сколько в том, что без физиологических изменений не может существовать и самая эмоция. Из этого они делали вывод: эмоция и есть прямой результат того, что прежде принималось за ее телесные проявления. Фактическая проверка этого положения была недоступна авторам теории. Они могли только мысленно производить требуемые эксперименты и теоретически предвосхищать результаты клинических исследований таких случаев, которые были бы пригодны для подтверждения или отрицания их теории. Мы уже цитировали известное положение Ланге: «Уничтожьте у испуганного человека все физические симптомы страха... что тогда останется от его страха?» (1896, с. 57). Ему же принадлежит формула, что чувство не может существовать без физических проявлений.

То же самое в еще более радикальной форме выражает и Джемс: «Теперь я хочу приступить к изложению самого важного

пункта моей теории, который заключается в следующем. Если мы представим себе какую-нибудь сильную эмоцию и попытаемся мысленно вычесть из этого состояния нашего сознания одно за другим все ощущения связанных с ним телесных симптомов, то в конце концов от данной эмоции ничего не останется, никакого «психического материала», из которого могла бы образоваться данная эмоция. В остатке же получится холодное, безразличное состояние чисто интеллектуального восприятия... Я совершенно не могу представить себе, что за эмоция страха останется в нашем сознании, если устранить из него чувства, связанные с усиленным сердцебиением, с коротким дыханием, дрожанием губ, с расслаблением членов, с «гусиной кожей» и с возбуждениями во внутренностях. Может ли кто-нибудь представить себе состояние гнева и вообразить при этом тотчас же не волнение в груди, прилив крови к лицу, расширение ноздрей, стискивание зубов и стремление к энергичным поступкам, а, наоборот, мышцы в ненапряженном состоянии, ровное дыхание и спокойное лицо? То же рассуждение применимо и к эмоции печали: что такое была бы печаль без слез, рыданий, задержки сердцебиения, тоски под ложечкой?» (1902, с. 311—312).

Во всех этих случаях, по мнению Джемса, должны совершенно отсутствовать гнев и печаль как таковые, как эмоции, а в остатке должно получиться спокойное, бесстрастное суждение, всецело принадлежащее к интеллектуальной области, чистая мысль о том, что известное лицо заслуживает наказания за свои грехи или что известные обстоятельства весьма печальны, и больше ничего. «То же самое обнаруживается,— говорит он,— при анализе всякой другой страсти. Человеческая эмоция, лишенная всякой телесной подкладки, есть один пустой звук» (там же, с. 312). Естественно, что из такого положения с необходимостью вытекают два следствия. Первое: «Если подавить внешнее проявление страсти, она должна замереть. Прежде чем отдаться вспышке гнева, попробуйте сосчитать до десяти — и повод к гневу покажется вам до смешного ничтожным» (там же, с. 315). Примечательно, что Ланге совершенно независимо от Джемса также ссылается на счет как на средство подавления гнева. Он припоминает «героя классической комедии Л. Гольдберга[22] Германа фон Бремена, который всегда считает до двадцати, когда жена бьет его, и тогда он в состоянии остаться спокойным» (1896, с. 79). Когда герой «считает до двадцати,— говорит Ланге,— то этой незначительной умственной работой он отнимает так много крови у моторной части своего мозга, что у него пропадает всякая охота драться с женой» (там же, с. 79). Второе следствие: «Если моя теория справедлива,— говорит Джемс,— то она должна подтвердиться следующим косвенным доказательством: согласно ей, вызывая в себе произвольно при спокойном состоянии духа так называемые внешние проявления той или иной эмоции, мы должны испытывать и самую эмоцию» (1902, с. 314—315). То же утверждает и Ланге: эмоции могут быть вызваны многочисленными причинами,

решительно не имеющими ничего общего с движениями души, и часто они могут быть подавлены или смягчены чисто физическими средствами.

Оставалось проверить экспериментальным и клиническим путем оба положения: 1) возможно ли возникновение эмоции при отсутствии ее телесных проявлений и 2) возможно ли возникновение эмоции при всяком отсутствии душевного движения, исключительно путем вызывания ее телесных проявлений искусственным способом? Это и было сделано в ряде исследований, к рассмотрению которых мы должны сейчас перейти.

Ответ на первый вопрос дан Шеррингтоном в известном исследовании, в котором он, перерезая блуждающий нерв[23] и спинной мозг, достигал разобщения всех главных внутренних органов и больших групп скелетных мышц от влияния головного мозга. В его опытах, таким образом, хирургическим путем были исключены главнейшие телесные проявления эмоций, которые возникают рефлекторным путем. Однако с совершенной несомненностью оказалось, что у подопытных собак при соответствующих условиях обнаруживаются эмоциональные реакции без заметных изменений в проявлении характерных симптомов, которые обычно принимаются за признаки гнева, страха, удовольствия и отвращения. Таким образом, единственным выводом, который может быть сделан из этих исследований, является вывод, к которому приходит сам Шеррингтон: мозг продолжает продуцировать эмоциональные реакции и после того, как он оказывается разобщенным с внутренними органами и значительными группами скелетных мускулов.

Если отнестись с доверием, говорит Шеррингтон, к признакам, которые обычно принимаются за проявление удовольствия, гнева, страха и отвращения, нельзя усомниться в том, что животные обнаруживают эти симптомы после операции совершенно так же, как и до нее. Автор ссылается на пример наблюдавшегося им страха у молодого оперированного щенка при приближении к нему и угрозах старой обезьяны макаки. Опущенная голова, отвернувшаяся и испуганная морда, растопыренные уши указывали на наличие эмоции столь же живой, как эмоция, которую обнаруживало животное до операции (см.: Р. Крид и др., 1935, с. 184).

В следующей серии экспериментов Шеррингтон пошел еще дальше. После выздоровления животных от первой операции он перерезал на шее оба вагуса и разобщал мозг со всем телом, за исключением головы и плечевого пояса. Таким образом, некоторое сомнение, которое оставалось после первой операции, в том, что внешние проявления эмоции могли бы заранее установиться при помощи афферентных импульсов из оставшихся внутренних органов, также подверглось экспериментальной проверке. Аффективные реакции подопытных собак не были изменены и после второй операции. Очень эмотивная собака, перенесшая обе операции, продолжала давать интенсивные и соответствующие реакции гнева, удовлетворения и страха.

Единственное сомнение, возникавшее после экспериментов Шеррингтона, в которых практически достигалось полное элиминирование висцеральных реакций и реакций почти всей скелетной мускулатуры, было сформулировано К. Ллойд-Морганом[24]: соединительные пути были перерезаны уже после того, как висцеральные и моторные изменения определили генезис эмоции, согласно гипотезе, которая допускает такое происхождение эмоциональных реакций. Таким образом, несмотря на то что были подавлены актуальные висцеральные и моторные влияния, в опытах Шеррингтона не были исключены, однако, следы и результаты первых влияний (см.: Р. Крид и др., 1935, с. 187). Поэтому можно было допустить, что мы имеем дело с простыми мимическими реакциями неэмоциональной природы, аналогичными тем, которые вызывал В. М. Бехтерев[25] у животных, лишенных коры головного мозга. И наконец, можно было допустить еще одно возражение: собаки Шеррингтона, испытывавшие на протяжении прежней жизни эмоции, обусловленные периферически, не испытывали их вновь после операции, когда эмоции возникали чисто церебральным путем вне их нормальных периферических условий.

На первое возражение Шеррингтон отвечает ссылкой на оперированного им девятинедельного щенка, который со дня рождения не выходил из своего помещения и тем не менее обнаруживал отвращение к собачьему мясу. В этом случае едва ли можно допустить, что мы имели уже в прежнем опыте установившуюся и сейчас вновь активированную реакцию. Однако, несмотря на совершенно ясный смысл своих опытов, Шеррингтон все же воздерживается от окончательного заключения о недостоверности теории Ланге и Джемса, потому что и после операции у животных остается достаточное количество периферических элементов (мускулы, кожа, сосуды головы и шеи), для того чтобы обусловить и обнаружить эмоцию. Вместе с тем Шеррингтон не может не отметить, что его опыты не дают никакого подтверждения теориям Ланге, Джемса и Сержи о природе эмоций. «Мы должны вернуться к предположению, что висцеральное выражение эмоций является вторичным и что первичной является деятельность больших полушарий и соответственное психическое состояние» (см.: Р. Крид и др., 1935, с. 187).

Упомянем вскользь опыты Погано и Гемелли, Дезомера и Гейманца, которые фармакологическим путем пытались достигнуть условий, сходных с опытами Шеррингтона, и которые в основном подкрепляют его выводы. Нельзя не согласиться с замечаниями А. Пьерона[26] относительно неполноты опытов последних двух авторов и, следовательно, неокончательности выводов, которые могут быть сделаны из этих опытов (A. Pieron, 1920). Нельзя однако и не видеть вместе с А. Бине огромного исторического значения первого шага, сделанного Шеррингтоном в новом направлении: в первый раз, говорит Бине, физиолог

занялся проблемой, поставленной психологами, и приступил к ее изучению свойственным ему методом вивисекции.

Идея, лежавшая в основе опытов Шеррингтона, была осуществлена недавно иным, гораздо более смелым путем Кенноном, Дж. Льюисом и С. Бриттоном (W. B. Cannon, J. T. Lewis, S. W. Britton, 1927) в экспериментах с удалением всего симпатического отдела автономной системы. Таким образом, после операции у животных были исключены все вазомоторные реакции, секреция адреналина, висцеральные реакции, ощетинивание волос и освобождение сахара в печени. У этих животных с симпатоэктомией не обнаружилось никаких заметных изменений в эмоциональных реакциях, возникавших совершенно нормальным путем (за исключением ощетинивания) при соответствующих ситуациях. Отсутствие афферентных импульсов от внутренних органов не изменило ни в каком отношении их обычное эмоциональное поведение. Подопытные кошки обнаруживали совершенно нормальную эмоциональную реакцию в присутствии лающей собаки.

В 1929 г. Кенноном и его сотрудниками опубликованы дальнейшие наблюдения над животными, перенесшими эту операцию. Наблюдения подтвердили всецело то, что было установлено в самом начале. Та стандартная реакция симпатического отдела автономной системы, которая была так тщательно изучена в ранних работах Кеннона как обязательный спутник сильных эмоций, отсутствовала у наблюдавшихся животных, вместе с тем после двусторонней симпатоэктонии животные не обнаруживали никаких изменений в нормальном эмоциональном поведении.

Чтобы закончить рассмотрение этого едва ли не самого важного аргумента против теории Джемса—Ланге, нам остается кратко интерпретировать некоторые моменты, связанные с указанными исследованиями. Первый момент: опыты Шеррингтона и Кеннона не дают прямого доказательства того, что ощущения от внутренних органов не играют значительной роли в возникновении психической стороны реакции и что это состояние предшествует телесному проявлению эмоции (Энджелл), так как можно допустить, что вместе с исключением этих ощущений эмоция перестает переживаться специфическим образом как чувство в сознании животного (Перри). Действительно, следует признать, что на основании опытов, в которых не содержится прямого свидетельства о психическом переживании животных, мы не имеем непосредственной возможности утверждать или отрицать наличие того или иного чувства при эмоциональной реакции. Прямое доказательство, очевидно, могло бы быть получено только на человеке, который мог бы дать в наше распоряжение данные интроспективного характера. К этим данным мы еще обратимся.

Но и сейчас нельзя не заметить, что это возражение основано на известной логической ошибке: оно доказывает слишком многое и потому ничего не доказывает. Во всяком случае, оно доказывает гораздо больше, чем хочет. Ведь вообще наше суждение об эмоциональном переживании животного основывается всегда на

умозаключении от внешних проявлений какого-либо состояния, следовательно, если подвергнуть сомнению этот критерий, мы вообще должны отказаться от всякого права приписывать животным какие бы то ни было чувства и переживания и тем самым стать на точку зрения Декарта, рассматривавшего животных как автоматы, как рефлекторные машины. Если же допустить, что у нормальных животных мы вправе заключать от внешних проявлений какой-либо эмоции к наличию эмоционального психического состояния, аналогичного человеческому, хотя и бесконечно далекому от него, то у нас нет никаких оснований делать исключение в отношении оперированных Шеррингтоном и Кенноном животных, сохраняющих все симптомы в поведении, которые у нормальных животных заставляют нас всегда предполагать и наличие психического компонента эмоциональной реакции. Как правильно замечает Шеррингтон в ответ на это возражение, «трудно думать, что восприятие, которое вызывает полное проявление гнева и соответствующее поведение, является вместе с тем бессильным вызвать чувство гнева» (см. Р. Крид и др., 1935, с. 188).

Второй момент, требующий интерпретации, состоит в том, что новые опыты Кеннона ставят нас перед серьезным теоретическим затруднением, так как они находятся в видимом противоречии с тем истолкованием, которое мы, следуя за автором, допустили выше по отношению к его ранним работам. Мы видели, что органические изменения, возникающие в результате сильных эмоций, обнаруживают несомненную биологическую целесообразность, выяснение которой является немаловажным завоеванием психологической мысли. Эти реакции, как мы видели, служат подготовкой организма к усиленной деятельности, которая обычно следует за сильными эмоциями в ситуациях, требующих бегства или нападения. Между тем новые опыты говорят как будто об обратном. Они устанавливают, что полное исключение органических реакций не производит никакого заметного изменения в поведении животных. Эмоции протекают таким же точно образом, как и до операции, поведение животного остается столь же адекватным ситуации, биологически осмысленным и при полном разобщении мозга от внутренних органов и при полном удалении симпатического отдела автономной системы. Это противоречие было бы непреодолимой трудностью для экспериментальной и теоретической критики органической теории эмоции, если бы оно было действительным, а не мнимым. На самом деле между первыми результатами экспериментальных исследований и новыми не только не существует никакого противоречия, но, напротив, имеется полное согласие.

В поведении животных с удаленным симпатическим отделом автономной системы в спокойных условиях лаборатории, говорит Кеннон, не наблюдается никаких отличий по сравнению с нормальными животными. С первого взгляда поэтому может показаться, что симпатическая система не имеет большого значения для нормального телесного функционирования. Но такое заключе-

ние ошибочно. В условиях действительной жизни, в критических подлинных ситуациях оперированное животное едва ли могло бы сравниться с нормальным по реальной возможности самосохранения. Как было установлено в связи с ранними работами Кеннона, биологическое значение органических реакций, которые возникают в результате эмоции и сопутствуют сильным эмоциям, заключается исключительно в подготовке организма к деятельности (бегству, нападению), к усиленной затрате энергии, к напряженной мышечной работе.

Таким образом, биологическое значение этих реакций связано не столько с эмоцией самой по себе, с эмоцией как таковой, сколько с функциональными следствиями сильных эмоций. Именно благодаря тому, что функциональные следствия (усиленная мышечная работа) одинаковы для столь различных эмоций, как страх и ярость, соответствующие органические реакции не только фактически оказываются идентичными, но и, теоретически рассуждая, не могут быть различными. Следовательно, тот факт, что эмоция как таковая сохраняется и при полном уничтожении органических реакций, ничего не меняет в нашем представлении о биологическом значении этих органических изменений, но, напротив, только подтверждает снова: это значение сводится исключительно к подготовке организма к деятельности, естественно вытекающей из эмоции.

С этой точки зрения становится ясным, что оперированное животное в лабораторных условиях ничем не отличается от нормального. Оно так же, как и нормальное, обнаруживает эмоцию страха и гнева, но в естественных условиях разница между ними должна сказаться немедленно и с огромной силой. Оперированное животное именно из-за отсутствия органических изменений, обычно сопровождающих эмоции и подготовляющих организм к усиленной трате энергии, должно оказаться неподготовленным к борьбе или бегству, которые в естественных условиях следуют непосредственно за эмоциями гнева или страха, и, следовательно, должно погибнуть при первом же серьезном столкновении с настоящей опасностью. Эмоции, которые наблюдаются у этих животных в полной сохранности в лабораторных условиях, представляют собой, так сказать, бессильные эмоции, эмоции, лишенные присущего им биологического значения, если можно так выразиться, эмоции, лишенные своего жала: оперированное животное может адекватным образом испытывать и проявлять аффект гнева, но оно бессильно, когда ситуация требует от него естественных выводов из этого аффекта — борьбы и нападения.

Если согласиться с приведенной выше интерпретацией двух спорных моментов, возникших в результате новых исследований, мы неизбежно должны прийти к тому основному выводу, который делает из этих исследований Кеннон.

У нас нет, конечно, никаких реальных оснований утверждать или отрицать наличие эмоционального переживания у оперирован-

ных животных. Однако у нас есть полное основание для того, чтобы судить об отношении этих опытов к теории Джемса — Ланге. Джемс приписывает главную роль в эмоциональном переживании висцеральным ощущениям. Ланге сводит его целиком к ощущению вазомоторной системы. Оба утверждают: если мысленно вычесть эти органические ощущения из эмоционального переживания, от него ничего не останется. Шеррингтон и Кеннон со своими сотрудниками произвели вычитание ощущений хирургически. У их животных была исключена возможность возвратных импульсов от внутренних органов. Согласно Джемсу, эмоциональное переживание должно было в значительной степени свестись на нет. Согласно Ланге, оно должно было целиком исчезнуть. (Напомню, что без возбуждения нашей вазомоторной системы впечатления внешнего мира не вызывали бы у нас ни радости, ни горя, не причиняли бы нам ни заботы, ни страха.) Однако животные действовали, поскольку это позволяли нервные связи, без всякого снижения интенсивности эмоциональных реакций. Другими словами, операции, которые, согласно данной теории, должны были в значительной части или полностью уничтожить эмоцию, несмотря на это, сохранили в поведении животных гнев, радость и страх в такой же мере, как они проявлялись и до операции.

Мы предпочитаем, однако, вместе с Шеррингтоном воздержаться только на основании этих опытов от окончательного суждения по поводу рассматриваемой теории: свое истинное значение эти данные приобретают лишь в сопоставлении со всеми прочими экспериментальными результатами, с одной стороны, и с клиническими фактами, которые дают в наши руки незаменимые свидетельства о сознательном эмоциональном переживании человека,— с другой.

5

Убедительность рассмотренного выше экспериментального аргумента значительно возросла бы в наших глазах, если бы мы располагали и доказательством, обратным тому, которое было опытным путем разработано Шеррингтоном и Кенноном. Иными словами, если бы мы располагали экспериментальными данными относительно искусственного вызывания органических реакций, сопутствующих сильным эмоциям, мы могли бы питать значительно больше доверия к тем выводам, которые напрашиваются сами собой из рассмотренных исследований. Перед нашими глазами тогда были бы, так сказать, прямая и обратная теоремы, доказанные с одинаковой логической силой: та и другая, вместе взятые, уже позволили бы сделать достаточно прочные заключения.

Вспомним, что Джемс и Ланге развивали чисто спекулятивно соображения в пользу теории эмоций тем же самым логическим

путем, видя два главных доказательства своей теории в том, что при подавлении телесных проявлений эмоция должна исчезнуть, и в том, что при искусственном вызывании телесных проявлений эмоция столь же неизбежно должна возникнуть. Естественно, что экспериментальная проверка теории также должна была повести по этим же двум путям. Первые попытки доказать обратную теорему (эмоция не возникает, несмотря на то что имеются все ее телесные проявления) мы находим уже в рассмотренных выше опытах, показавших, что такие неэмоциональные состояния, как переохлаждение, перегревание и асфиксия, вызывают органические изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются при страхе и ярости, причем эмоция вслед за этими изменениями не возникает. Прямой переход от мысленного эксперимента Джемса и Ланге к реальному эксперименту был сделан в исследованиях Г. Маранона[27] (in: W. B. Cannon, 1927, p. 113).

Опыты Маранона действительно представляют собой как бы доказательство обратной теоремы по сравнению с той, которая была обоснована опытами Шеррингтона и Кеннона. Эти опыты показали, что инъекция адреналина в дозах, достаточных для того, чтобы возникли все типичные для сильных эмоций органические явления, не вызывает у испытуемых эмоционального переживания в собственном смысле слова, несмотря на то что имеются все телесные проявления. Новое в опытах Маранона — использование самонаблюдения, которое дает в наши руки свидетельства о непосредственных переживаниях испытуемых. В этом преимущество последних опытов по сравнению с теми, которые были поставлены на животных. По отношению к новым исследованиям, таким образом, парализуется возражение о том, что мы не имеем прямых доказательств наличия или отсутствия эмоциональных переживаний, соответствующих телесным проявлениям.

В опытах Маранона в поле зрения экспериментатора находились оба плана — объективный и субъективный. Исследователь мог констатировать изменения, происходящие в сознании испытуемого, и телесные проявления эмоции одновременно и изучать их отношения друг к другу. Переживания испытуемых заключались в ощущениях сердцебиения, диффузной артериальной пульсации, стеснения в груди, сужения гортани, дрожи, холода, сухости во рту, нервозности, недомогания и болезненности. По ассоциации с этими ощущениями в некоторых случаях возникало неопределенное аффективное состояние, холодно оцениваемое испытуемым и лишенное реальной эмоции. Показания испытуемых носили такой характер: «Я чувствую, как если бы я был испуган»; «Как если бы я был в ожидании большой радости, как если бы я был растроган»; «Как если бы я собирался заплакать, не зная почему»; «Как если бы я испытывал большой страх и все же был спокоен» и т. д.

В итоге исследований Маранон намечает ясное различие между восприятием периферических феноменов вегетативной эмоции (т. е. телесных изменений) и собственно психической эмоции,

которая не возникала у его испытуемых и отсутствие которой позволяло им давать отчет об ощущении вегетативного синдрома с совершенным спокойствием, без действительного чувства.

У небольшого количества испытуемых возникала, правда, во время опытов подлинная эмоция, обычно тоска со слезами, рыданиями и вздохами. Однако это имело место только тогда, когда можно было заранее отметить эмоциональное предрасположение испытуемого, особенно часто при гипертиреодизме. В некоторых случаях это состояние развивалось только при условии, если адреналин вводился после беседы с испытуемым о его больных детях или умерших родителях. Таким образом, и эти случаи показывают, что адреналин оказывает вспомогательный эмоциогенный эффект только тогда, когда заранее существует соответствующее эмоциональное настроение. Заметим чрезвычайно существенное новое обстоятельство, с которым мы встречаемся в опытах Маранона и которое обычно выпускается из виду при одностороннем использовании их для решения грубого вопроса — «за» или «против». Это обстоятельство заключается в теснейшем переплетении психических и органических, или, скажем точнее, церебральных и соматических, компонентов эмоциональной реакции. В этом пункте опыты Маранона указывают не только на относительную независимость тех и других и возможность их раздельного вызывания, но и на то, что одни могут облегчать развитие и усиление других, могут оказывать взаимную поддержку, переплетаться, вызывая тем самым полный аффект, несомненный по своей подлинности как со стороны переживания, так и его телесных проявлений.

В тех случаях, когда в опытах Маранона наблюдается развитие такого полного и подлинного аффекта, психические и соматические компоненты, вызываемые различным путем, как бы идут друг другу навстречу, так что в точке их пересечения, в момент их встречи, возгорается настоящее эмоциональное волнение. Вспомним приведенные выше, но недостаточно подчеркнутые нами указания на это переплетение, которые встречаются в формулировках Джемса и Ланге и составляют едва ли не единственный верный пункт их теории. Так, Ланге, перечисляя все физические симптомы страха, которые следует уничтожить для того, чтобы ничего не осталось от самого страха, называет наряду со спокойным пульсом и быстрыми движениями также ясные мысли и сильную речь. В этом пункте Ланге немало грешит против логической стройности своего довода: кто бы стал спорить с его парадоксальным аргументом, если бы на эту мелкую с первого взгляда, но на самом деле первостепенно важную его часть было обращено серьезное внимание? Ведь в переводе на теоретический язык это означает радикальное изменение основного положения Ланге: вместо его тезиса — уничтожьте у испуганного человека все физические симптомы страха, что тогда останется от его страха,— он в сущности должен был бы сказать: уничтожьте у испуганного человека все физические и психические симпто-

мы страха — и тогда с ним нельзя было бы не согласиться. Ибо что иное может означать требование: сделайте его речь сильной, а мысли ясными, как не: измените все состояние его сознания?

Менее отчетливо, но то же самое проскальзывает и у Джемса. В приведенной выше формуле о непредставимости гнева при отсутствии его телесных проявлений Джемс, наряду с расширением ноздрей и стискиванием зубов, упоминает также о стремлении к энергичным поступкам, т. е. опять-таки момент, не только характеризующий скорее состояние сознания, чем внутренних органов и мускулов гневающегося человека, но и переживание, коренным образом отличающееся от ощущений телесных проявлений эмоции, насколько вообще стремление может быть отлично от простого ощущения или восприятия. Если оценить этот момент во всем его теоретическом значении, нельзя не заметить так же, как и в отношении тезиса Ланге, что мы имеем здесь дело с некоторой логической непоследовательностью в ходе рассуждений Джемса. Эту непоследовательность Джемс, вероятно, охотно исправил бы, обрати он на нее внимание; но на самом деле она образует едва ли не единственное верное зерно всей теории, зерно, содержащее мысль, что эмоция — не просто сумма ощущений органических реакций, но в первую очередь стремление к действованию в определенном направлении.

Мы еще будем иметь случай вернуться к этому попутно найденному нами верному зерну органической теории эмоций. Сейчас же мы не можем не отметить, что только в этом пункте, в котором теория изменяет сама себе, констатируя внутреннее переплетение переживания и органической реакции в составе аффекта, а не их причинно-следственную механическую зависимость, опыты Маранона подтверждают положение Джемса и Ланге; во всем остальном эти опыты говорят против теории. Инъекция адреналина вызывает у человека все типичные телесные проявления, сопровождающие сильные эмоции, но эти проявления переживаются как ощущения, а не как эмоции. В известных случаях ощущения напоминают прежний эмоциональный опыт, но не воскрешают и не актуализируют его вновь, и только в исключительных случаях предуготовленной эмоциональной сензитивизации телесные изменения могут привести к развитию настоящего аффекта. Эти случаи, отмечает Кеннон, представляют собой исключения, а не правила, как то предполагает теория Джемса — Ланге; в обычных случаях телесные проявления не вызывают в качестве непосредственного результата эмоционального переживания (W. B. Cannon, 1927).

Опыты Маранона образуют естественный переход к данным клинических исследований, так как они непосредственно сталкивают нас с человеком, вводят в поле зрения исследователя субъективный психологический план и делают доступным непосредственный анализ сознания. Тем самым эти опыты позволяют не только говорить на языке самих авторов теории, но и поставить на место умозаключений относительно психических состояний,

соответствующих тем или иным телесным проявлениям, прямое фактическое наблюдение самих состояний. В сущности говоря, этим путем шли и первые экспериментальные исследования, связанные с проверкой теории Джемса. Новым в опытах Маранона является только возможность непосредственного и глубокого экспериментального влияния, оказываемого чисто физическим путем, на органические изменения, сопутствующие эмоциям. Из старых работ напомним исследование А. Лемана[28] (A. Lehman, 1892), который, основываясь на самонаблюдении, утверждал, что уже первичное представление, вызывающее эмоцию, оказывается окрашенным в чувственный тон прежде, чем образуются эмоционально окрашенные органические ощущения. Следовательно, заключал он, эмоциональный тон не может рассматриваться как сумма органических ощущений. В опытах Лемана чувственный тон возникал одновременно или чуть спустя после первичного восприятия. Нарушения циркуляций, напротив, наступали только через 1—2 с после раздражения, следовательно, позже, чем возникало чувство.

Мы приводим данные Лемана только потому, что они получили объективное экспериментальное подтверждение в дальнейших исследованиях. Суммируя эти последние, Кеннон, не упоминая Лемана, выдвигает его выводы в качестве нового аргумента против теории Джемса: висцеральные изменения возникают слишком медленно и не могут поэтому рассматриваться как источник эмоционального переживания. Он сопоставляет[29] данные К. Стюарта[30], Э. Сертолли[31], Д. Ланглей[32], И. П. Павлова и других[33], установивших, что латентный период висцеральной реакции значительно превышает латентный период аффективной реакции (W. B. Cannon, 1927, p. 112), который Ф. Уэллс[34] (ibid, p. 112) определяет в 0,8 с, сокращая, таким образом, длительность, установленную Леманом. Согласно теории Джемса—Ланге, аффективные реакции возникают в результате возвратных импульсов от внутренних органов, но это представляется невозможным, если принять во внимание длительный латентный период реакций этих органов, к которому следует еще прибавить время, необходимое для возвратного пробега нервных импульсов к мозгу. В этом сопоставлении старых опытов Лемана с новыми работами мы снова видим, насколько плодотворен тот путь исследования, который соединяет в себе анализ объективной и субъективной сторон аффективной реакции.

Высшие формы такого соединения мы находим в природных экспериментах при клиническом изучении психопатологии аффективной жизни. Без преувеличения можно сказать, что без этих данных основные вопросы, связанные с теорией Джемса—Ланге, не могли бы быть решены, а главное, мы не могли бы приблизиться к более адекватному пониманию природы аффектов и их телесной организации. Поэтому данные клинического изучения должны быть обязательно приняты во внимание, если мы хотим вынести окончательное суждение по поводу той контроверзы, в

разрешении которой мы пытаемся все время найти прочную точку опоры как для верного понимания природы аффектов, так и для верной оценки интересующего нас философского учения о страстях.

Сами авторы органической теории обращались к данным патологии, надеясь найти в них прямое подтверждение своему учению. «Лучшее доказательство,— говорит Джемс,— тому, что непосредственной причиной эмоций является физическое воздействие внешних раздражений на нервы, представляют те патологические случаи, когда для эмоции нет соответствующего объекта. Одним из главных преимуществ моей точки зрения на эмоции является то обстоятельство, что при помощи ее мы можем подвести и патологические, и нормальные случаи эмоций под одну общую схему» (1902, с. 310). Таким образом, Джемс не только признавал закономерность фактической проверки теории психопатологическими данными, но видел в них лучшее доказательство этой теории, а главное преимущество ее полагал в том, что она одинаково хорошо объясняет нормальные и патологические аффекты. Во всяком доме сумасшедших он рассчитывал встретить образчики ничем не мотивированных аффектов, которые, по его мнению, как нельзя лучше доказывали истинность его положения. Поэтому совершенно естественно обратиться к рассмотрению того, в какой мере эти образчики, эти патологические случаи действительно говорят в пользу рассматриваемой теории (или против нее) и в какой мере эта теория действительно способна подвести под единую схему нормальную и патологическую аффективную жизнь.

К. Г. Ланге также полагал, что последняя точка опоры для гипотезы о психической эмоции исчезает, как только мы обращаемся к ненормальному функционированию эмоциональных процессов. Он даже думал, что «вазомоторный аппарат особенно сильно подвергается опасности функционировать ненормально, потому что он образует ту часть нервной системы, которая пользуется наименьшим отдыхом и чаще других подвергается эмоциональным бурям. Когда такого рода расстройства случаются у какого-либо субъекта, то он, смотря по обстоятельствам, бывает подавлен или разъярен, боязлив или необузданно весел, застенчив и т. д.,— и все это без всякой причины, хотя выразитель этих эмоций сознает, что у него нет никакого повода сердиться, бояться или радоваться. Где здесь точка опоры для гипотезы о «психической эмоции»?» (1896, с. 62—63). Как видим, Ланге снова поразительно совпадает с Джемсом не только в формулировке своих общих положений, но и в деталях развиваемой им аргументации.

Но Джемс, в отличие от Ланге, ясно понимал, что общая и суммарная ссылка на патологические, немотивированные аффекты — только косвенное и достаточно шаткое доказательство в пользу его теории, ибо такая ссылка, в сущности говоря, не дает ничего нового по сравнению с наблюдением нормального протекания аффектов, так как и в случаях немотивированного аффекта

(если оставить пока в стороне явление так называемой сердечной тоски и сердечного страха, в которых, по мнению Джемса, эмоция есть просто ощущение телесного состояния и причиной своей имеет чисто физиологический процесс) остается совершенно невыясненным центральный для всей теории вопрос: что же при немотивированном аффекте должно рассматриваться как причина и что как следствие, если психическое состояние и органические изменения совершенно так же, как и в нормальных случаях, даны вместе? Ведь отличие патологических моментов от нормальных заключается только и исключительно в том, что при них отсутствует восприятие, повод, вызывающий аффект, но ведь не об этом говорит вся теория Джемса—Ланге. Они стремятся доказать, что эмоция как таковая, а не повод к ней есть результат телесных проявлений аффекта, а это кардинальное положение остается при немотивированном аффекте столь же недоказанным и недоказуемым, как и при нормальной эмоции.

Очевидно, для прямого доказательства или опровержения теории нужны патологические явления совсем другого характера. Джемс понимал это. Он указывал на то, что для его теории могли бы служить только такие патологические случаи, при которых мы наблюдали бы сохранение или исчезновение эмоциональности у непарализованных субъектов, характеризуемых вместе с тем полной анестезией. Джемс сам указывает на некоторые наблюдения, приближающиеся к таким феноменам, и интерпретирует их в смысле, благоприятном для его теории. Мы оставим их в стороне, как и данные Даллона и Г. Меерсона, поскольку они, по правильному замечанию К. Ландиса[35], представляют собой интересные случаи истории и, следовательно, должны рассматриваться как таковые, так как все они были связаны с первичным расстройством и нарушением аффективной жизни и потому должны обсуждаться сейчас скорее с точки зрения психоанализа, чем с точки зрения физиологической психологии.

У. Джемс сам считал выдвинутые им для критического эксперимента условия нереализуемыми, однако они нашли свою реализацию сперва в психофизиологическом эксперименте Шеррингтона, который приблизился, по верному замечанию Дюма, к требованиям Джемса, а затем и в клинических наблюдениях, произведенных Ч. Дана[36] (Ch.Dana,1921).

Эти клинические исследования не только позволяют нам использовать данные самонаблюдения для фактического исследования эмоциональных переживаний в патологических случаях, но и освещают еще одну чрезвычайно существенную, оставленную нами пока в стороне область фактов, которую затрагивает органическая теория эмоций. До сих пор мы имели дело преимущественно и почти исключительно с висцеральной стороной телесных проявлений эмоции, т. е. с функцией симпатического отдела центральной нервной системы. Двигательные и мимические проявления эмоции, которые в теории Джемса играют роль хотя и второстепенного, но все же очень значительного фактора, произ-

водящего эмоцию, из-за условий физиологического эксперимента оставлялись нами в стороне. Более того, мы часто — как это имело место в опытах Кеннона и Шеррингтона — должны были опираться на сохранность двигательной и мимической сторон телесных проявлений как на доказательство наличия и психической части эмоций. Клинические исследования, к рассмотрению которых мы сейчас переходим, позволяют нам отдать себе отчет и относительно этой группы фактов и, таким образом, непосредственно приближают нас к окончательным выводам, к окончательному решению вопроса.

6

Как мы видели, сторонники органической теории пытаются спасти ее путем внесения в нее существенного фактического корректива, который мог бы примирить эту теорию с недвусмысленными данными экспериментальных исследований. Эти данные говорят о том, что висцеральные изменения не могут рассматриваться в качестве источника эмоций, следовательно, остается предположить, что ощущения напряжения и движения скелетной мускулатуры образуют истинную причину эмоционального состояния и варьируют соответственным образом при различных эмоциях.

С. Вильсон[37] описал случаи патологических проявлений смеха и плача, в которых ярко выраженные внешние проявления эмоции ни в какой мере не соответствовали действительным чувствам пациентов. Их эмоциональные переживания протекали вполне нормально, и они страдали оттого, что их реальные чувства находили себе противоречивые выражения. Больные могли переживать печаль во время шумного смеха, плакать, когда чувствовали себя веселыми. Вильсон пишет, что при всех внешних проявлениях веселости и радости, включая и сопутствующие реакции висцеральных механизмов, эти люди могли не только не чувствовать себя счастливыми, но соответствующее состояние их сознания могло находиться в открытом конфликте с внешним выражением их эмоций (S. Wilson, 1924, p. 299—333). Совершенно ясно, что гипотеза Джемса — Ланге должна быть радикально изменена, если она хочет быть приведена в согласие с подобного рода наблюдениями, в которых отсутствует полное слияние периферических и церебральных компонентов.

С. Вильсон сообщает противоположные случаи, также говорящие об отсутствии параллелизма между психическими и соматическими элементами эмоции. Это случаи эмоционального паралича лица, при котором пациенты переживают чувствование и остро осознают свои нормальные эмоциональные состояния в соответствующих ситуациях. У них наблюдается маскообразное выражение лица, а за этой маской полностью сохраняется нормальная игра эмоциональных реакций. Пациенты страдали от полного отсутствия выразительных движений лица. Они, по свидетельству

Вильсона, были очень чувствительны к этому обстоятельству и видели в нем величайшее несчастье, мешавшее показать другим, что они переживали радость или печаль. По образному сравнению Н. В. Коновалова[38], у пациентов первого и второго рода, описанных Вильсоном, мы всегда имеем такое несоответствие эмоционального переживания и его внешнего выражения, которое напоминает маску. Но если у пациентов второго рода лицо напоминает маску, снятую с мертвеца и надетую на человека, наделенного всей полнотой живых эмоций, то у больных первого рода лицо напоминает маску греческого актера с утрированно патетической эмоциональной экспрессией, которая может резко дисгармонировать с внутренним состоянием героя или изображающего его актера и с произносимыми им словами роли. В сущности говоря, у больных этого рода мы наблюдаем то, что В. Гюго описал в романе «Человек, который смеется».

С. Вильсон приводит данные самонаблюдения своих пациентов, которые протестуют против того, что их смех и слезы принимаются другими за показатель их действительного аффективного состояния. С этим не мирится заключение, говорит Вильсон, что телесные проявления, как называет их Джемс, образуют эмоцию. И обратно, пациенты могут при фациальной диплегии сохранять маскообразное выражение лица и переживать «внутренний смех». Свои наблюдения Вильсон суммирует в виде общего тезиса. С точки зрения клиницистов, по его словам, он должен согласиться с физиологами, когда они полагают, что органические изменения имеют относительно небольшое значение по сравнению с церебральными, с которыми соединены психические компоненты эмоциональной реакции.

Но еще большее значение, как отмечает Бард, имеют случаи сохранности нормальной эмоциональной жизни у пациентов, страдающих полной или почти полной неподвижностью скелетной мускулатуры. Ч. Дана сообщает, что у таких пациентов сохранились нормальные субъективные эмоциональные реакции. Дана же принадлежит описание замечательного наблюдения, которое, по мнению Барда, дает прямой ответ на часто адресовавшийся Шеррингтону по поводу его опытов упрек в недоказанности наличия эмоционального переживания у оперированных животных. Пациентка, весьма интеллигентная женщина 40 лет, сломала шею на уровне 3-го и 4-го шейных позвонков. Больная страдала полным параличом скелетной мускулатуры, туловища и четырех конечностей, с полной потерей поверхностной и глубокой чувствительности всего тела от шеи к низу. Она жила около года, и в течение этого времени Дана наблюдал ее эмоции горя, радости, неудовольствия и привязанности. Нельзя было отметить никаких изменений в ее личности или характере. Она владела только мускулатурой черепа, верхней части шеи и диафрагмой. Возможность эмоциональных разрядов симпатических импульсов была исключена. Трудно понять, с точки зрения периферической теории, каким образом ее эмоциональность не претерпела никаких

изменений, в то время как ее скелетная система была практически элиминирована и симпатическая также была целиком исключена.

В качестве основного вывода из этих наблюдений Дана делает следующий: эмоции локализованы центрально и проистекают от деятельности и взаимодействия коры и таламуса. Центры, которые регулируют деятельность вегетативной нервной системы, находятся главным образом в мозговом стволе. Эти центры возбуждаются в первую очередь, когда животное воспринимает что-либо, требующее защиты, нападения, активного стремления. Они, в свою очередь, возбуждают мускулы, внутренние органы и железы, и они также сообщаются с корой и возбуждают эмоции, соответствующие воспринятому объекту или возникшей идее. Нам предстоит еще рассмотреть позитивную часть теоретических соображений этого клинициста. Она полностью совпадает, как и негативные выводы, с заключениями, к которым пришли физиологи в результате своих экспериментальных исследований. Сейчас продолжим рассмотрение этих первостепенно важных клинических данных, по-видимому способных прямо ответить на интересующий нас вопрос, а в соединении с прежде рассмотренными данными эксперимента едва ли не окончательно развязать тот узел противоречий, который завязался на протяжении десятилетий вокруг знаменитой теории.

Г. Хэд описал случаи одностороннего поражения зрительного бугра: у больных в качестве характерного симптома наблюдалась тенденция к эксцессивной реакции на всевозможные аффективные стимулы, половинностороннее изменение эмоционального тона, выражавшееся в том, что уколы булавкой, болезненное надавливание, нагревание или охлаждение производили гораздо большее эмоциональное впечатление с больной стороны тела, чем со здоровой. Приятные стимулы также переживались эмоционально более интенсивно с пораженной стороны. Теплое прикосновение вызывало у больных интенсивное чувство удовольствия, проявлявшееся в симптомах радости на лице и в выражениях приятного удовлетворения. Сложные аффективные стимулы, например восприятие музыки или пения, могли вызывать эмоциональные переживания такой большой силы (на болезненной стороне), что становились невыносимыми для больного.

Один из пациентов Хэда был не в состоянии находиться на своем месте в церкви, так как он не мог выносить воздействие пения на больную сторону. У другого пациента при слушании пения появлялось ужасное чувство на больной стороне. Один из больных рассказывал, что после припадка, который сделал особенно чувствительным к приятным и неприятным ощущениям правую сторону его тела, он стал нежнее. Правая рука, говорил он, всегда нуждается в утешении. Больному кажется, что на своей правой стороне он непрестанно томится по симпатии. Его правая рука кажется более «художественной». Часть тела с больным зрительным бугром реагирует, таким образом, сильнее на аффективный элемент как внешних раздражений, так и

внутренних душевных состояний. Существует повышенная восприимчивость больной части тела к состоянию удовольствия и неудовольствия. Э. Кюпперс[39], который идет дальше других в оценке роли зрительного бугра как источника психических состояний, формулирует итоги наблюдений над подобного рода больными, говоря, что одностороннеталамический больной человек имеет слева другую душу, чем справа. На одной стороне он более нуждается в утешении, чувствительнее к боли, «художественнее», нежнее, нетерпеливее, чем на другой.

Оставляя сейчас в стороне интерпретацию, которую дает Джемс эти случаям, мы должны извлечь из них то, что непосредственно относится к обсуждаемому нами вопросу. Нас могут интересовать в первую очередь два момента. Первый: как установил Хэд, у больного этого рода отмечается значительное различие в чувственном тоне отдельных ощущений. В то время как одни ощущения и восприятия не имеют никакого существенного эмоционального эффекта, другие интенсивно влияют на больную сторону. В частности, как справедливо подчеркивает Кеннон, исключительное значение приобретает тот факт, что ощущения, возникающие при различных положениях тела и позах, совершенно лишены эмоционального тона. Отсюда следует, что афферентные импульсы от скелетных мускулов, в которых последователи Джемса склонны были видеть, как упоминалось выше, главный экстрависцеральный источник эмоции, после исключения висцеральных ощущений в результате критических экспериментов не могут рассматриваться как действительный источник эмоции, так как они лишены того специфического необходимого качества (чувственного тона), которое одно только и могло бы заставить нас видеть в них истинную причину эмоционального состояния. Следовательно, последнее прибежище тех, кто пытается спасти органическую теорию эмоций, оказывается разрушенным клиническими исследованиями Хэда. Источником специфического качества эмоций не могут служить ни возвратные импульсы от внутренних органов, ни также импульсы от иннервированных мускулов.

Второй интересующий нас момент: в исследованиях Хэда мы встречаемся с фактами, которые вообще совершенно необъяснимы с точки зрения концепции Джемса и, следовательно, вступают в непримиримое противоречие с ней. В самом деле, как можно объяснить с этой точки зрения факт одностороннего изменения аффективных переживаний при сохранении основных предпосылок, выдвинутых авторами теории? Ни органы грудной полости, ни органы брюшной, как замечает Кеннон, не могут функционировать одной половиной, вазомоторный центр также представляет собой единство, и больные Хэда, конечно, не обнаруживают только право- или левостороннего смеха и плача. Таким образом, импульсы, посылаемые от расстроенных периферических органов, должны быть одинаковыми с обеих сторон. Для объяснения несимметричного чувствования мы должны обратиться к органу,

который способен функционировать несимметрично, т. е. к зрительному бугру.

Заканчивая обзор клинических данных по интересующему нас вопросу, видим, что мы приобрели в этих новых фактах новую и существенно важную точку опоры для разрешения исследуемой нами теоретической контроверзы. Как мы упоминали, Джемс сам при первом опубликовании своей теории апеллировал к клинике, говоря, что если его теория будет когда-либо определенным образом подтверждена или отвергнута, то это может быть сделано клиникой, потому что только она держит в руках необходимые для этого данные Клиника, исходя из различных наблюдений, накопила достаточно фактов, неизвестных во время создания рассматриваемой теории, и получила, таким образом, действительное средство для подтверждения или отрицания гипотезы Джемса. После сказанного выше едва ли может остаться сомнение в том, что клинические исследования недвусмысленно и определенно говорят скорее за отрицание, чем за подтверждение этой гипотезы.

В клинических исследованиях мы находим еще один момент, который способен повести наше исследование, так долго застрявшее на одном пункте, дальше. Изучая и осмысливая клинические данные, касающиеся аффективной жизни при патологических условиях, мы не можем ограничиться только извлечением из них дополнительных доказательств, заставляющих нас отвергнуть органическую гипотезу как явно не соответствующую действительности. Надо быть теоретически слепым, чтобы не видеть того существенного поворота всей теории эмоций, который так рельефно намечается в этих клинических данных. Если бы мы хотели в одной фразе определить содержание радикального поворота теоретической мысли, пытающейся проникнуть в природу эмоциональной жизни, мы должны были бы сказать вместе с Бардом: величайшая услуга, которую оказывает нам новая теория, заключается в повороте экспериментального изучения эмоций от периферии к мозгу. Это радикальное смещение внимания исследования и теории эмоций на 180° действительно скрывает за собой целый переворот в научных представлениях о природе аффективных процессов. Но для того чтобы окончательно уяснить себе действительное значение указанного переворота и его отношение к основной проблеме нашего исследования, мы должны критически разобраться в той полемике, которая возникла в связи с ним.

7

Если остановиться, или, вернее, оборвать, на том пункте, до которого мы довели рассмотрение огромного экспериментального и фактического материала, накопившегося более чем за полвека, протекших со времени основания органической теории (причем мы могли привести только незначительную его часть), и попытаться

охватить единым взглядом картину в целом, все положение, как оно сложилось на сегодняшний день в учении об эмоциях, то нельзя не заметить, что в самое последнее время здесь произошли очень существенные изменения. Если первые десятилетия приносили с собой отдельные критические соображения и факты, способные поколебать устойчивость господствующей теории эмоций, вроде исследований Лемана, Шеррингтона и других, в последние десятилетия благодаря накопившемуся огромному материалу, идущему с разных сторон, просто невозможно продолжать дальнейшее накопление таких разрозненных данных.

Самый ход развития научной мысли выдвинул необходимость обобщения и — что самое важное — попытки иной интерпретации и построения теории, способной адекватно объяснить накопленный фактический материал. Таким образом, задачи критики и проверки отступили на второй план по сравнению с задачами разработки указанной теории эмоций. Оказалось недостаточным подтвердить или отвергнуть теорию Джемса. Мы встали перед необходимостью создать новую теорию для новых фактов, противопоставить ее старой теории и включить в нее все то истинное и выдержавшее фактическую проверку, что заключалось в гипотезе Джемса и Ланге. Их гипотеза уже по одному тому исторически оправдала себя, что породила ряд исследований и тем толкнула научную мысль на открытие неизвестных до того явлений действительности, которые сами уже предопределили направление для движения теоретической мысли.

Произошедшее за последние десятилетия изменение положения и всего состояния вопроса об эмоциях заключается, таким образом, в первую очередь в том, что перед нами оказываются две теории эмоций, стоящие друг против друга. Ранние исследования были не в состоянии каждое в отдельности ни решить судьбу старой теории, ни выдвинуть какие-нибудь теоретические гипотезы вместо нее. Исследователи, как Шеррингтон, воздерживались от окончательного суждения и ограничивали свои задачи чисто критическими тенденциями. Именно этим объясняется то парадоксальное положение, при котором, несмотря на систематически накапливавшийся из десятилетия в десятилетие критический материал, теория Джемса — Ланге не только продолжала существовать как общепризнанная научная истина, но и еще более укреплялась в своем значении и жизнеспособности, распространяя основной принцип на всю область психологии, создавая по своему образу и подобию целые новые направления в нашей науке, исходившие из рефлекторного принципа при объяснении психологии человека в целом.

Ни один из ударов, наносимых органической теории, не был в состоянии убить ее, а по известному положению, что не убивает меня, то делает меня сильнее. Это всецело применимо к исторической судьбе теории Джемса — Ланге: ее критики не умели обобщать, они не сумели противопоставить ей другой, более сильно вооруженной теории, не сумели закрепить свои нападения пози-

тивной интерпретацией новых фактов. Эти задачи выпали всецело на долю последнего десятилетия.

Оно — это десятилетие — с честью справилось со стоявшими перед ним задачами, оно сумело обобщить разрозненный опыт прежних десятилетий, обогатить его новыми, невозможными прежде средствами и данными научного исследования и нанести сокрушительный и окончательный удар старой теории. Оно сумело разработать новую теорию. Это самое главное. Однако при всем том оно выполнило лишь первую и самую элементарную часть задач. Как мы видели из сделанного выше обзора исследований, как мы еще яснее увидим дальше при рассмотрении теории, родившейся в борьбе, в процессе критики и проверки, мы все же до сих пор — и в критике старого, и в построении нового — не вышли из того узкого круга проблем, в который загнала теоретическую мысль гипотеза Джемса — Ланге. Мы не сумели подняться над той постановкой вопроса, которая была дана в их гипотезе.

В сущности все противники этой гипотезы в не меньшей мере, чем ее последователи, оказались робкими учениками Джемса и Ланге в самой постановке основных проблем психологии аффектов. Поэтому критика ложной теории оказалась сама связанной той в корне фальшивой постановкой вопроса, которая лежала в основе самой теории и которая предопределила в немалой мере ее ошибочность. Это в значительной мере повлияло и на характер новой теории, которая родилась в процессе критической проверки гипотезы Джемса — Ланге. Новая теория, подобно критике, развернула свое построение на том же самом фундаменте, на котором была воздвигнута старая. Один из создателей новой теории — Кеннон — называет ее альтернативой по отношению к гипотезе Джемса. И действительно, обе теории, старая и новая, образуют альтернативу в том смысле, что они предлагают два взаимоисключающих друг друга конкретных решения одной и той же проблемы. В этом названии как нельзя лучше запечатлелось то обстоятельство, что новая теория не смогла оказаться ничем большим, как альтернативой по отношению к старой, следовательно, она не могла подняться над той плоскостью, в которой распластана и пригвождена к земле психологическая мысль в течение последнего полустолетия.

Если спросить себя, что же в конце концов, в общем итоге дала полустолетняя критика старой теории и что дает нам сейчас новая теория, утверждающаяся взамен прежней, то на этот вопрос нельзя не ответить противоречивым образом: и очень много, и очень мало.

Много — в смысле конкретного опровержения старых положений, которые в свете фактической проверки обнаружили свою ложность, а следовательно, и бездоказательность построенной на них теории. Много — в смысле выяснения чрезвычайно значительных и существенных фактических обстоятельств, проливающих немалый свет на организацию и деятельность эмоций, на их биологическое значение, на их связь с другими жизненными

процессами, на их место в ряду других форм нервно-психической деятельности. Много, наконец,— в смысле теоретического обобщения огромного фактического материала, преимущественно психологического и неврологического характера, обобщения логически последовательного, стройного и достаточно убедительного для того, чтобы охватить и объяснить большинство известных нам фактов.

Но вместе с тем и критика, и новая теория дали в окончательном итоге и очень мало. Мало — в том отношении, что критика не вырвала философского жала старой теории, не обнажила и не разрушила ее патологических основ, на которых она была построена, не разоблачила психологических заблуждений в самой постановке вопроса, но, напротив, приняв ее целиком, тем самым включила в новое построение эти заблуждения. Мало — в том смысле, что новая теория, подобно старой, не дала даже самомалейшего приближения к разрешению главной и основной задачи — к построению психологии аффектов человека, не говоря уже о высоком теоретическом значении этой главы нашей науки, о решении тех по существу философских задач психологического исследования, психологической теории страстей, без которых, по-видимому, сама проблема аффекта не может быть правильно поставлена в психологии человека.

Эту скованность всей современной психологии эмоций той постановкой вопроса, которая была дана в органической гипотезе Джемса — Ланге, справедливо отмечает М. Бентлей[40] в введении к последнему симпозиуму[41], собравшему мнение о природе эмоций самых выдающихся представителей психологической науки. В роковой власти старой теории Бентлей видит характерную черту всей современной психологии эмоций. Прошлое подавляет настоящее.

Новое непрестанно борется со старым, но борется его же оружием и поэтому, несмотря на видимые победы, всегда оказывается в плену у старого и тщетно разбиваемого заблуждения. Мертвый хватает живого.

Власть мертвого над живым в современной психологии эмоций создает ту опустошенность, которая заставляет Бентлея поставить в преддверии к симпозиуму основной вопрос: «Есть ли эмоция нечто большее, чем просто название главы?» (M. Bentley, 1928, p.17). За последние полвека, говорит Бентлей, учение об эмоциях заняло в качестве новой и немаловажной главы место в общих курсах и трактатах по психологии. Но каково содержание этой главы? Раздел, посвященный классификации эмоций; раздел, посвященный Джемсу — Ланге (обычно самый длинный); раздел о выражении эмоций; иногда небольшое описание и чисто практические размышления относительно пользы и неудобств эмоциональных расстройств. Почему, спрашивает Бентлей, мы продолжаем до сих пор точить наши ножи на разбитых обломках этой твердой окаменелости, образовавшейся из преувеличений? Неужели потому, что психология обладает еще в очень малой степени заслужи-

вающими уважения теориями, она так боится дать одной из них улетучиться или умереть? (ibid., p.18).

Положение критиков этой парадоксальной и бессмертной теории чрезвычайно напоминает народный шутливый рассказ, приводимый В. И. Далем[42] об охотнике, гордо возвещающем своим товарищам, что он поймал медведя. На предложение товарищей привести к ним пойманное животное охотник отвечает: «Да не могу!» — «Так сам иди!» — «Да не пускает!» Так же как и в этой истории остается до конца не выясненным, кто же кого поймал — охотник медведя или медведь охотника, критики пресловутой теории сами оказываются в ее власти и не только не могут привести добычу по своему желанию туда, куда этого требует от них поступательный ход развития учения об аффектах, но сами не могут сделать ни одного шага дальше от пойманной ими добычи.

Правда, не разрешенные критикой и новой теорией задачи, о которых мы говорили только что, представляют собой задачи, справиться с которыми, по-видимому, возможно только на протяжении долгого ряда лет с помощью обширных и глубоких исследований. По самому своему существу они не разрешимы в процессе критики даже самого плодотворного заблуждения. Напротив, критика является необходимой предпосылкой для самой постановки этих задач. Она открывает для них двери, но все-таки нам думается, что настало время для того, чтобы сделать первую попытку войти в эти насквозь открытые двери и попробовать совершенно свободно и непредвзято наметить хотя бы самые общие основы для разработки новых проблем в психологии аффектов, проблем, которые и не снились старым мудрецам. В настоящем исследовании и осуществляется такая первая и по необходимости достаточно ограниченная и скромная попытка.

Может показаться странным, что первый шаг на новом пути мы пытаемся сделать сверху — от философских вершин учения о страстях. Совершенно резонно можно возразить, что между той теорией физиологического и неврологического порядка, которая снизу обеспечивает развитие нового учения, и вершинами теоретических обобщений, позволяющими сверху обозреть все поле будущих исследований и весь ряд новых проблем, заполняющих это поле, существует пропасть: она может быть заполнена только напряженными и длительными усилиями собирателей новых фактов и пролагателей новых путей.

Но нам представляется, что выбранный нами путь — совершенно законный путь, ибо надо сделать самые эти новые исследования возможными — снизу, без чего материалистическая научная мысль не могла бы вообще двигаться и развиваться в плане сложнейших и запутанных проблем, касающихся психологической природы человеческих страстей, и сверху, без чего она не только не могла бы преодолеть методологические корни заблуждений органической теории эмоций, но и вообще не могла бы увидеть то направление, по которому должно пойти исследование, чтобы получить в результате прочные и надежные знания.

Если сравнить в этом отношении современное состояние учения об аффектах с другими основными разделами современной психологии, нельзя не заметить, что оно представляет своеобразное и печальное исключение в ряду других ее глав. Это обстоятельство легко может быть понято как неизбежно обусловленное всей историей развития научной психологической мысли. И вместе с тем оно ставит учение о страстях в положение печального исключения, из-за которого — мы можем утверждать без всякого колебания — эта едва ли не самая основная глава психологии оказывается намного ниже всех других глав. Она как бы парализована в поступательном развитии. Внутри она опустошена, заполняется обычно, как правильно отмечает Бентлей, мертвым материалом и возбуждает сомнение у самых проницательных исследователей: представляет ли она собой вообще нечто большее, чем только громкий заголовок над ничем не заполненными страницами?

Если окинуть даже беглым взглядом современное учение о восприятии, современную теорию памяти, столь развитое в последнее десятилетие учение о мышлении, развивающуюся особенно усиленно в самое последнее время психологию речи, то нельзя не поразиться тем резким контрастам, которые обнаруживаются при сопоставлении этих глав сегодняшней психологии с учением об аффектах. Контрасты не только в том, что перечисленные главы чрезвычайно богаты теоретической мыслью, широко разработаны с фактической стороны, исполнены живого и быстро развивающегося содержания, в то время как учение об аффектах до сих пор приковано, как каторжник к тачке, к тому пункту, в котором история завязала знаменитый узел органической теории. Все это скорее результат, чем основа различия. Различие прежде всего состоит в том, что все прочие главы психологии разработали свой путь, на котором они достигли подлинно научного и подлинно психологического изучения соответствующих проблем. Они поэтому прямо и смело обращены к будущему. Одно только учение о страстях оказалось слепым, без пути, в тупике, обращенным назад, к далекому прошлому. Оно даже не разработало своей проблематики и до сих пор не задалось вопросом о правильности или ложности старой постановки основных и центральных проблем всего учения.

Причина различия, думается нам, кроется в том, что во всех разделах психологии, за исключением раздела эмоций, мы наблюдаем одно общее явление, которое выступает так закономерно, так согласно в самых разных областях, так плодотворно для каждой области в отдельности и для психологии в целом, что мы никак не можем признать его случайным. Напротив, оно кажется нам с неизбежностью вытекающим из того кризиса, который переживает современная психология, и тем единственным спасительным путем, который может вывести и уже частично на наших глазах выводит науку из этого кризиса. Это явление заключается в глубокой философской тенденции, которая проникает в самые

разнообразные области современного психологического исследования.

В сущности тенденция к сближению философских и психологических проблем, к решению философских задач на конкретном материале человеческой психики, к раскрытию философских моментов, имманентно содержащихся в самых конкретных и эмпирических проблемах психологии человека, оказывается при ближайшем рассмотрении двусторонней. Она может быть легко прослежена с двух концов. С одной стороны, философское исследование, переходя от исторического анализа философских систем и догматического развития усовершенствованных старых или подновленных систем к конкретному анализу, с необходимостью наталкивается на неизбежность изучения живой действительности, как она представлена в современной науке, в частности в современной психологии. Можно было бы назвать старое исследование А. Бергсона[43], посвященное проблеме памяти (1896), и более новые исследования Э. Кассирера[44], посвященные психологии речи (E. Cassirer, 1925), чтобы иллюстрировать тот новый для философии факт, что философ погружается для решения своих задач в конкретный экспериментальный и клинический материал, добытый в новое время, и философская мысль, на протяжении последних веков почти оторвавшаяся от конкретного анализа живой действительности и опиравшаяся на научные системы далекого прошлого, пытается вновь непосредственно встретиться лицом к лицу с этой действительностью, прежде всего через конкретные научные знания, в частности знание психологическое.

Но и психологическое исследование с необходимостью приходит к такому пункту развития, когда подчас незаметно для себя начинает решать по существу вопросы философского характера. Возникает то нередкое в современной психологии положение, которое одна из испытуемых Н. Аха[45] (N. Ach, 1921), подвергшаяся опытам на образование понятий, определила в словах, приводимых автором в предисловии ко всему исследованию: но ведь это же экспериментальная философия. Изучение Ахом образования понятий, Ж. Пиаже развития детской логики и ее основных категорий, М. Вертгаймером[46] и В. Келером восприятия, Э. Иеншем памяти может служить образцом такой экспериментальной философии, проникающей в психологические исследования. Как уже сказано, это явление для современной психологии скорее правило, чем исключение. Вся она бродит философскими проблемами — истинными ферментами развития главнейших современных психологических теорий.

Исключение представляет собой только учение о страстях. Правда, и здесь совершается то, о чем говорил Ф. Энгельс[47]: хотят этого или не хотят естествоиспытатели, но философы управляют ими. Одной из основных задач нашего исследования и является раскрытие той философской мысли, которая управляет старыми и современными естествоиспытателями в их теориях

аффективной жизни. Но, разумеется, есть существенная разница между бессознательным и сознательным служением той или иной философской мысли. В то время как остальные главы психологии стихийно встали на тот путь включения в общую систему философии, который единственно способен вывести их из кризиса, учение о страстях пребывает до сих пор на точке замерзания принципиального эмпиризма.

Очевидно, что в учении о страстях мы стоим перед задачей поднять его на уровень, свойственный другим главам современной психологии. Проще говоря, мы стоим перед задачей создания хотя бы первоначальных основ психологической теории аффектов, осознающей свою философскую природу, не боящейся самых высоких обобщений, адекватных по отношению к психологической природе страстей, достойной стать одной из глав психологии человека, может быть, даже ее основной главой. Построение такой теории, конечно, не может быть разрешено в одном исследовании, притом отвлеченного характера, но, как во всяком сложном деле, здесь необходимо разделение труда. Нет сомнений в том, что эта теория может быть создана лишь в результате ряда исследований. И вот, нам думается, в развитии этих исследований наступил момент, который совершенно независимо от трехсотлетнего юбилея Спинозы ставит перед исследователями задачу обобщить весь пройденный путь и наметить дальнейший. Если, по верному замечанию Гёте[48], только все люди вместе познают природу, то в совместном познании необходимо сотрудничество, основанное на разделении труда.

Нам думается, что благодаря этому разделению труда на нашу долю выпала задача (неизбежно возникающая на наших глазах и во всех остальных разделах психологии) собрать воедино и обобщить разрозненный фактический материал, раскрыть за борьбой конкретных психологических учений борьбу философских идей, наметить философское понимание психологической проблемы аффектов и тем самым проложить путь для будущих исследований. Эта задача не может быть решена иначе, как путем специального исследования. Мы потому и включили в подзаголовок работы слова «Историко-психологическое исследование», что видим в ней необходимую часть труда по созданию новой теории эмоций. Внутри самого исследования существует свое разделение труда: не только сбор фактов, но и их анализ, обобщение и раскрытие освещающих их идей составляют прямую задачу исследования, и настоящая работа представляет в наших глазах исследование не потому, что она включает в себя добытые нашими руками в процессе прямого экспериментирования некоторые дополнения конкретного и фактического характера к научному знанию, но потому, что самый путь к действительному обобщению, к осознанию высших теоретических точек учения о страстях не может, по нашему убеждению, быть ничем иным, как только исследованием.

Мы избрали для исследования путь странный и наивный —

сопоставление старого философского учения с современными научными знаниями, но этот путь представляется нам сейчас исторически неизбежным. Мы не думаем найти в учении Спинозы о страстях готовую теорию, годную на потребу современному научному знанию. Напротив, мы рассчитываем в ходе нашего исследования, опираясь на истину спинозистского учения, осветить его заблуждения. Мы думаем, что в наших руках нет более надежного и сильного оружия для критики Спинозы, чем проверка его идей в свете современного научного знания. Но мы полагаем, что и современное научное учение о страстях может быть выведено из исторического тупика только с помощью большой философской идеи.

Вопреки установившемуся мнению, которое видит в психологии Спинозы только отдельные меткие обобщения и сопоставления, объявляя ее в целом окончательным достоянием прошлого, мы пытаемся в нашем исследовании раскрыть ее живую часть. Поэтому основная точка зрения настоящего исследования может быть выражена наиболее отчетливо и ясно именно путем противопоставления ее традиционному взгляду, как он сформулирован одним из исследователей «Этики» Спинозы, который полагает, что его учение о страстях для психолога наших дней может представить разве только исторический интерес.

В противоположность этому мы полагаем, что спинозистское учение о страстях может представить для современной психологии действительный исторический интерес — не в смысле выяснения исторического прошлого нашей науки, а в смысле поворотного пункта всей истории психологии и ее будущего развития. Очищенная от заблуждения, истина этого учения, думается нам, пройдет сквозь строй основных проблем, выдвигаемых познанием психологической природы страстей и всей психологии человека, твердая и острая, и разрешит их, как алмаз режет стекло. Она поможет современной психологии в самом основном и главном — в образовании идеи человека, которая служила бы для нас типом человеческой природы.

8

Но вернемся снова к вопросу об истинности и ложности старой и новой теории эмоций.

Мы уже говорили, что в затянувшемся критическом пересмотре органической гипотезы накоплено огромное количество новых данных, которые настоятельно требовали объяснения и обобщения. Критика неизбежно должна была перейти к разработке новой гипотезы. Движение теоретической мысли встретилось и слилось в один поток с исследованиями, которые шли из другой области — из неврологии и клиники — и были проникнуты той же самой тенденцией к созданию иного объяснения для открытых фактов. Таким образом, из скрещения двух рядов исследований и возникло то, что можно сейчас считать наиболее общепринятой и

господствующей теорией эмоциональных реакций, которую, по ее центральному пункту, принято называть таламической теорией. Рассмотрим сначала в самых общих чертах второй ряд исследований, которые мы до сих пор оставляли без внимания.

Новая теория, как и теория Джемса—Ланге, исходит из чрезвычайно тесного родства, существующего между ощущениями и эмоциями. Однако она решает вопрос о взаимоотношении двух основных классов психических процессов иначе, чем органическая теория. Последняя растворяла эмоции в ощущениях, сводила первые ко вторым, видя в них лишь ощущения особого рода, именно ощущения, возникающие в результате раздражений внутриорганического характера. Новая теория обращает внимание прежде всего не на свед́ение чувства к ощущению, а на тесное сближение, иногда полное слияние того и другого. Это обстоятельство находит непосредственное выражение как в феноменологическом анализе нашего переживания, так и в автономии и физиологии мозга.

К. Штумпф ввел для обозначения слияния ощущения и чувства, непосредственно переживаемых, название «ощущение чувства». Лучше всего, говорит Э. Кречмер[49], это можно разъяснить на ощущении боли. Конечно, искусственно, логически можно сказать: боль есть чувственное ощущение «а», которое сопровождается определенным аффектом—чувством боли «б». Действительное, фактическое переживание, однако, совершенно другое: не «б» сопровождает «а», но «б» и «а» в переживании совершенно то же самое. Чисто феноменологически боль в такой же степени есть ощущение, как и чувство; они одновременны в едином нераздельном акте. Этот взгляд имеет основное значение и для нашего мышления в области физиологии мозга. Острое разделение ощущений и чувств логически необходимо, но, несмотря на это, на более низкой ступени небиологично и является в этом случае также нефеноменологической абстракцией. Впервые только на более высоких ступенях деятельности восприятия и представления выступают как содержание и аффект в более самостоятельном и изменчивом отношении друг к другу и позволяют рассмотреть себя потом действительно раздельными в переживании.

Факт недифференцированности ощущений и чувств в примитивном сознании на ранних ступенях развития изучен и разработан чрезвычайно обстоятельно и подробно в лейпцигской школе Ф. Крюгера[50], который сделал его исходной точкой всей своей психологии развития. Общей для большинства современных психологических направлений является мысль, что в начале развития мы встречаем не отдельные элементы развитой психической жизни, но целостные недифференцированные образования, которые только на высших ступенях развития начинают дифференцироваться на более или менее самостоятельные и определенно очерченные роды, виды и классы психических процессов. Г. Фолькельт, один из представителей лейпцигской школы[51],

говорит о таких образованиях, типичных для ранних ступеней развития: только тогда, когда удастся охарактеризовать эти действительно трудно поддающиеся описанию и относительно еще очень диффузные целостности, мы увидим, насколько эти примитивные целостности стоят близко к чувствам. В самом деле, никакой вид переживаний взрослого, кроме чувств, не подходит так близко к этим примитивным комплексам, находящимся в состоянии диффузии как внутри себя, так в известной мере и в отношении окружающего. Чем ниже мы спускаемся в мир примитивного, тем больше психические целостности как в их общей форме, так и в их строении приближаются к самой сущности чувства.

Эти эмоциональноподобные ощущения и восприятия были введены Крюгером в область явлений, которую он назвал «областью чувствообразного». В своем новом изложении учения о природе чувства этот автор видит сущность чувств, которая может стать основой систематической теории, в комплексе качеств, характеризующих переживания какого-либо целостного психического образования. Если в общей теории Крюгер придает чувству исключительное и доминирующее значение во всей организации психической жизни и тем самым расходится с многими психологическими направлениями, то в частном утверждении о слитности ощущения и чувства на ранних ступенях развития он находит поддержку со стороны огромного большинства современных исследователей. Для примера можно было бы указать только на положения, развиваемые современной структурной психологией, которая устами К. Коффки заявила, что на ранних ступенях развития предмет для сознания является в такой же мере страшным, как и черным, и что первые эмоциональноподобные восприятия должны считаться действительным исходным пунктом всего последующего развития. Теснейшее родство, иногда доходящее до полного слияния ощущения и чувства, не может не иметь анатомических и физиологических оснований.

Такие основания развиты в учении ряда выдающихся представителей современной неврологии. Общим результатом, к которому приходят эти исследователи (И. Мюллер[52], Херрик и др.), является положение, что все идущие от периферии к мозгу сенсибильные и сенсорные пути (за исключением обонятельных) входят в зрительный бугор и прерываются в нем. Таким образом, зрительный бугор анатомически образует большой распределительный центр для всех путей ощущения, в нем существуют широкие возможности для перегруппировки афферентных импульсов и распределения их по путям отдельных ощущений, идущих далее к особым проекционным полям коры головного мозга. С одной стороны, эта область имеет развитые ассоциативные пути, соединяющие ее с корой, с другой — эта область, если включить в нее не только сенсорные центры, но и моторные, и центр моторной координации, связана с внутренними органами и скелетной мускулатурой. Как говорит Херрик, никакой простой сенсорный им-

пульс не может при обычных условиях достигнуть мозговой коры без того, чтобы раньше не подвергнуться переработке в субкортикальных центрах, которые приводят в действие сложные комбинации рефлекторных актов и разнообразные автоматизмы в соответствии с их преформированной структурой.

В соответствии с этим Мюллер развил теорию относительно функций зрительного бугра (I. Müller, 1842). Согласно его теории, эта область рассматривается именно как то место мозга, где различные ощущения получают своеобразную эмоциональную окраску и чувственный тон. В этой области возникают телесные ощущения боли и удовольствия, в то время как мозговая кора важна только для локализации ощущения и восприятия. Эта область является вместе с тем передаточным пунктом, в котором возбуждения сенсибильных нейронов переходят на такие же нейроны вегетативной системы. С этой точки зрения, область зрительного бугра — главный центр сенсорных функций и неразрывно с ними связанной элементарной аффективной жизни. Вместе с близко к бугру расположенными центрами вегетативной нервной системы и психомоторными центрами мозгового ствола эта область образует центр для висцерально-аффективных реакций.

К сходным воззрениям еще раньше Мюллера пришел Хэд, который вместе с Г. Холмсом[53] приписывает этой области функции продуцирования сознательных состояний. Опираясь на свои наблюдения случаев с односторонними поражениями зрительного бугра, Хэд приходит к выводу, что этот орган есть центр сознания для известных элементов ощущения, отвечает на все раздражения, которые в состоянии вызвать удовольствие или неудовольствие или сознание изменения в общем состоянии. Эмоциональный тон соматических или висцеральных ощущений есть продукт его активности. Дальше всех в этом отношении идет Кюпперс, который, как мы видели, интерпретируя случаи с односторонним поражением зрительного бугра, выдвигает мысль, что такие больные имеют с одной стороны иную душу, чем с другой. Он, таким образом, склонен локализовать в этой области не только существенные психические функции, но едва ли не самую душу.

По-видимому, независимо от этого ряда исследований и, во всяком случае, опираясь на исследования другого рода, сходную теорию выдвинули Дана и Кеннон. Согласно их идее, эмоции возникают в результате активности зрительного бугра. Основное положение теории Кеннон формулирует в следующем виде: «Специфическое качество эмоций присоединяется к простому ощущению, когда возбуждаются таламические процессы» (W. B. Cannon, 1927, p. 120). Существенно новым в этом варианте таламической теории эмоций является идея взаимодействия коры головного мозга и зрительного бугра как действительного физиологического субстрата эмоциональных процессов. Мы уже цитировали выше выводы, которые делает Дана из своих наблюдений

над сохранностью эмоциональных переживаний при отсутствии телесных проявлений эмоций у больных. Вспомним, что основным пунктом этих выводов является мысль о центральной локализации эмоций, проистекающих из деятельности и взаимодействий коры и зрительного бугра. Эта теория, к которой Дана пришел независимо от Кеннона и которая, как мы видим, с удивительной согласованностью, с удивительным совпадением в отдельных деталях была развита одновременно некоторыми исследователями, снова напоминает нам, как и совпадение теорий Джемса и Ланге, мысль Гёте об идеях, созревающих в определенные эпохи, как плоды падают одновременно в разных садах. Очевидно, таламическая теория эмоций является действительно такой одновременно созревшей идеей нашей эпохи. Наибольшей степени созревания и разработанности в интересующем нас направлении она достигла в работах Кеннона, который попытался не только ее развить в систематическое психоневрологическое учение об эмоциях, но и со всей последовательностью и остротой сумел противопоставить ее старой теории Джемса—Ланге как единственное адекватное объяснение для огромного большинства известных нам и самых разнообразных фактов из области нормальной и патологической аффективной жизни. Поэтому мы в дальнейшем будем опираться на работы Кеннона в изложении этой теории и в обзоре главнейших доказательств, приводимых обычно в ее защиту.

Начнем с выяснения коренного расхождения между старой и новой теорией. На приводимом чертеже[54], который мы заимствуем у Кеннона, представлены схематически, с величайшим упрощением нервные механизмы, лежащие в основе эмоций, как они предполагаются органической и таламической теориями эмоциональных реакций. Как видно из чертежа, согласно теории Джемса—Ланге, какой-либо объект стимулирует рецепторные органы, афферентные импульсы направляются к коре, в результате чего происходит восприятие предмета; в коре возникают центробежные возбуждения, направляемые к мускулам и внутренним органам и вызывающие в них сложные и разнообразные изменения. Афферентные импульсы от внутренних органов и мускулов возвращаются снова в кору, благодаря чему просто воспринятый объект превращается в объект эмоционально переживаемый: чувствование телесных изменений так, как они протекают, и есть эмоция—совокупность ощущающих ассоциативных и моторных элементов объясняет все.

Согласно таламической теории, как это представлено на чертеже, неврологический механизм эмоциональной реакции отличается от только что рассмотренного в двух основных пунктах. Во-первых, в механизме отсутствуют пути 3—4, представленные на первом чертеже, т. е. пути, несущие афферентные импульсы от скелетной мускулатуры и внутренних органов обратно к коре—импульсы, являющиеся, согласно старой теории, единственным источником эмоционального переживания. Эти пути

опущены во второй схеме не потому, что они не существуют, но потому, что, по мнению новой теории, их значение для изучения эмоций является более чем спорным. Очевидно, главный источник эмоционального переживания новая теория ищет в другом месте, и в этом заключается второй пункт ее расхождения с первой схемой; согласно новой теории, сенсорные возбуждения, идущие от периферии к мозгу, прерываются в области зрительного бугра. Зрительный бугор рассматривается как координационный центр эмоциональных реакций, имеющий богатые связи с корой и с периферией. Процессы, возникающие в нем, являются источником аффективного переживания. Весь механизм возникновения и протекания эмоции рисуется Кенноном в следующем виде.

Внешняя ситуация стимулирует воспринимающие органы, которые передают возникающие возбуждения посредством импульсов, направляемых к коре. Импульсы в коре ассоциируются с условнорефлекторными процессами, которые определяют направление реакции. Или благодаря тому, что реакция возникает в виде определенной структуры и кортикальные нейроны вследствие этого возбуждают таламические процессы, или потому, что импульсы от рецепторов на своем центрипетальном пути сами возбуждают таламические процессы, последние оказываются активированными и готовы к разряду. То, что таламические нейроны действуют в определенной комбинации при данном эмоциональном выражении, доказывается стереотипностью реакции при различных аффективных состояниях. Эти нейроны не требуют детальной иннервации от высших центров для того, чтобы быть приведенными в действие. Первым условием для их функционирования является расторможение, тогда они производят разряд быстро и интенсивно. Нейроны внутри и в соседстве со зрительным бугром, участвующие в эмоциональном выражении, расположены близко к перерыву сенсорных путей от периферии к коре. Мы должны допустить, что, когда происходит разряд этих нейронов в определенной комбинации, они не только иннервируют мускулы и внутренние органы, но также возбуждают афферентные пути, идущие к коре, или путем прямой связи, или посредством иррадиации. Согласно теории, которая естественно вытекает сама собой, специфическое качество эмоций присоединяется к простому ощущению, если возбуждаются к действию таламические процессы.

Рассмотрим прежде всего главные и фактические основания новой теории. На первом месте должен быть поставлен тот факт, что после удаления у низших животных всего переднего мозга до зрительного бугра поведение, обычно обозначаемое как ярость, растормаживается; когда же удаляется и бугор, реакция исчезает. В 1887 г. В. М. Бехтерев высказал мысль, что эмоциональная экспрессия не зависит от коры головного мозга, потому что временами эта экспрессия не может быть произвольно подавлена (смех от щекотки, крик от боли), потому что висцеральные изменения всегда входят в состав этой реакции, будучи независи-

мы от коркового контроля, и потому, наконец, что эта реакция проявляется сейчас же после рождения, когда участие коры в организации поведения еще незначительно. Далее Бехтерев опубликовал результаты своих опытов с удалением больших полушарий у различных животных, у которых и после операции соответствующие стимулы продолжали вызывать реакции аффективного характера. Эти реакции исчезали только при удалении зрительного бугра. Отсюда Бехтерев сделал вывод, что бугор играет преобладающую роль в эмоциональных проявлениях.

Положение Бехтерева, значение которого пытались поколебать Р. Вудворт[55] (in: W. B. Cannon, 1927, p. 115) и Шеррингтон (1904), указывая на то, что в их опытах физиологические явления сильного возбуждения и так называемые псевдоаффективные реакции сохранялись у оперированных кошек с целиком удаленным таламусом, получило подтверждение в ряде новых исследований и, по-видимому, должно рассматриваться как одно из наиболее достоверных и прочных положений современного учения о локализации психических функций. Исследования Кеннона и Бриттона и более позднее исследование Барда целиком подтвердили положение Бехтерева и дали авторам повод для заключения, что зрительный бугор является областью, которая при уничтожении коркового контроля реагирует импульсами, вызывающими крайнюю степень эмоциональной активности, висцеральной и мускульной. Отличие этой аффективности от псевдоаффективных реакций животных в опытах Шеррингтона в первую очередь в том, что в последних животные обнаруживали очень узкие пределы координации поведения. Они никогда не доходили в реакциях до действительных актов нападения или бегства, в то время как при сохранении бугра аффективная реакция внешней стороны сохранялась во всей полноте.

Аналогичные явления описаны неоднократно и в клинических исследованиях. При некоторых формах гемиплегии больные неспособны к произвольным движениям лицевых мускулов на парализованной стороне, но когда эти больные оказываются во власти печального или радостного аффекта, мускулы, не поддающиеся произвольному контролю, вступают в действие и придают обоим сторонам лица выражение огорчения или радости. В этих случаях моторные пути прерваны в подкорковой области, но зрительный бугор остался неповрежденным.

Противоположные явления наблюдаются при одностороннем поражении зрительного бугра. Например, в результате односторонней опухоли зрительного бугра у больных наблюдается односторонний смех или односторонняя гримаса боли при соответствующих обстоятельствах, несмотря на то что кортикальный контроль этих же самых мускулов является двусторонним. Пациент, описанный С. И. Кирильцевым[56] (in: W. B. Cannon, 1927, p. 117), произвольно мог симметрично управлять движениями обеих сторон лица. Но когда он смеялся или проявлял гримасу боли, правая сторона его лица оставалась неподвижной. При аутопсии у него

была обнаружена опухоль в левой половине зрительного бугра.

Такая локализация центрального нервного аппарата, заведующего выражением удовольствия и страдания, связана с эмоциональными явлениями, наблюдаемыми обычно при псевдобульбарном параличе. В этих случаях имеется обычно двусторонний паралич лицевых мускулов. Лицевые мускулы, которые не могут быть произвольно сокращены, функционируют, однако, нормально при смехе или крике, при нахмуривании или сдвигании бровей. Эмоциональные проявления происходят как бы припадками, бесконтрольно и длительно. Так, был описан больной, который начал смеяться в 10 часов утра и продолжал с небольшими паузами до 2 часов пополудня. Ф. Тилней[57] и Д. Моррисон сообщают о 173 случаях этого заболевания (in: W. B. Cannon, 1927, p. 117). Среди них исследователи нашли такие пароксизмы плача и смеха в 17, только плача — в 16 и только смеха — в 15%. Эти пароксизмы происходили, по-видимому, без всякого соответствующего повода. Больные имели вид людей, сотрясаемых смехом, но не испытывали никаких переживаний, соответствующих этим телесным проявлениям.

С. Вильсон описал ряд подобных случаев, которые позволили ему установить следующее: чем более серьезен произвольный паралич лицевой и двигательной мускулатуры, тем более интенсивной оказывается непроизвольная иннервация того же самого механизма (S. Wilson, 1924). Бриссо приписывает эти расстройства поражению специальной части кортикоталамических путей, в результате которого зрительный бугор освобождается от коркового контроля. Бриссо полагает, что для появления спазматического непроизвольного смеха и плача необходима сохранность самого бугра. Вильсон возражает Бриссо, указывая на то, что описанные явления могут иметь место и тогда, когда сам бугор вовлечен в болезненный процесс. К толкованию этих случаев мы вернемся позже. Напомним еще несколько случаев Фелтона и Бейли, наблюдавших у больных полный эмоциональный негативизм при патологическом процессе центральной части зрительного бугра. Так, один из их пациентов, лишенный всякого выражения эмоции, обнаруживал и бессмысленное спокойствие ума с полным отсутствием оценки серьезности собственного физического состояния. В случае нарколепсии при поражении области третьего желудочка выражение и чувствование эмоции также могут почти полностью отсутствовать. Такие больные встречают насмешки и оскорбления с совершенным безразличием и не обнаруживают никакого эмоционального проявления при самых трагических происшествиях. В некоторых случаях у этих больных были найдены опухоли в нижней части зрительного бугра, часто поражающие весь зрительный бугор.

Наконец, третьим доказательством в пользу основного положения новой теории является факт растормаживания непроизвольных и часто продолжительных реакций плача и смеха при временном устранении кортикального контроля низших центров с

помощью анестезии или при нарушении этого контроля каким-либо болезненным процессом. Последнее доказательство, как замечает Кеннон, может иметь значение аргумента в пользу таламической локализации эмоциональных проявлений, если только рассматривать его в связи с первыми двумя соображениями, приведенными выше. Фармакологические эксперименты с анестезией коры головного мозга, когда устраняется контроль высших центров, показали, что игра эмоциональных реакций в этих случаях выражена чрезвычайно резко.

Описанные экспериментальные, клинические и фармакологические данные согласно приводят, во-первых, к признанию локализации эмоциональных проявлений в области зрительного бугра и, во-вторых, к гипотезе, которая пытается объяснить все эти явления исходя из того представления об организации церебральной деятельности, которое развил в свое время Д. Джексон[58]. Согласно Джексону, организация нервной системы представляет собой сложную иерархию высших и низших центров, где примитивные, архаические реакции старых частей мозга, которые могли бы всякий раз нарушать более дифференцированные и тонкие формы деятельности высших центров, испытывают тормозящее влияние со стороны последних, из-за чего при нормальных условиях не могут свободно проявлять активность и играть доминирующую роль в поведении. Когда в силу тех или иных условий корковый контроль над низшими центрами ослабевает или устраняется вовсе, последние — прежде подчиненные инстанции — становятся самостоятельными и свободно действующими, что и ведет к проявлению их непроизвольной и крайне интенсивной активности. Самые слабые стимулы могут вызвать при этих условиях крайне эксцессивные реакции.

Эмоциональные проявления, согласно новой гипотезе, представляют собой продукт деятельности низших подкорковых центров, организованных согласно представлению Джексона. По мнению Хэда, который развил учение Джексона, все непроизвольные эмоциональные проявления, описанные выше, должны рассматриваться как феномены расторможения низших центров в результате ослабления или уничтожения коркового контроля. В согласии с таким истолкованием находится крайняя интенсивность и легкая возбудимость животных и людей с нарушенным корковым контролем над низшими центрами. Необычайная интенсивность реакций указывает на то, что нервный аппарат, заведующий эмоциональными проявлениями, находится всегда в готовности к энергичному разряду и только высший контроль тормозит обнаружение его активности.

Против этой гипотезы говорят, пожалуй, только соображения Вильсона, который, в отличие от Бриссо, полагает, как мы видели выше, что непроизвольные пароксизмы смеха и плача могут возникать не только в результате перерыва кортикоталамических путей при сохранности зрительного бугра, но и при значительных разрушениях самого бугра. Однако эти возражения убедительно,

думается нам, опровергает Бард, указывая, что когда в болезненный процесс вовлекается основание таламической области, то и в существенной части, связанной с реакцией ярости, мы обычно наблюдаем отсутствие эмоциональных проявлений. Вильсон, упоминая об этих фактах, толкует их как результат перерыва кортикальных путей, но убедительность его доводов разбивается тем, что не наблюдался ни один случай эмоционального паралича в результате коркового поражения. Напротив, поражения, которые отделяют кору от низших центров, обычно вызывают экстраординарную активность эмоционального поведения. Таким образом, факты говорят скорее в пользу субкортикальной локализации эмоциональных проявлений. В полном согласии с этой идеей находятся и приведенные выше исследования Хэда и Холмса (in: W. B. Cannon, 1927, p. 118), показавшие, что односторонние поражения бугра приводят к тенденции эксцессивно-аффективно реагировать на обычные стимулы. Авторы объясняют это явление тем, что зрительный бугор освобождается от кортикального контроля. Их вывод гласит, что активность бугра является физиологическим субстратом аффективной стороны ощущения.

Если суммировать рассмотренные в настоящей главе фактические основания, на которых строится таламическая теория эмоций, и присоединить к ним соображения и факты, приведенные в прежних главах, нельзя не согласиться с Кенноном, что эта теория, альтернативная по отношению к теории Джемса—Ланге, находится в согласии со всеми известными нам сейчас фактами.

9

Если верно, что сила доказательности какого-нибудь аргумента познается только в сравнении с силой контраргументов, то новая теория может считать себя победоносно утвердившейся научной истиной, поскольку ей не противостоят сколько-нибудь серьезные фактические возражения. В недавнее время Е. Ньюмен, Ф. Перкинс и С. Вильсон попытались представить систематический свод критических возражений против новой теории и вместе с тем мобилизовать все то, что могло бы послужить для защиты органической теории. Достаточно посмотреть эту последнюю волну доказательств парадоксального тезиса Джемса—Ланге, чтобы увидеть всю безнадежность положения старой теории. Доказательства вращаются в том заколдованном кругу, который был очерчен самими создателями теории, здесь варьируют и перепевают их мотивы, но авторы не располагают никакими прямыми или косвенными данными, способными укрепить шатающееся здание органической теории. Однако даже в этом столкновении мнений рождаются отдельные проблески истины, мимо которых не может пройти ни один, кто желает объективно взвесить действительное право на существование и признание новой гипотезы.

Первое и, пожалуй, центральное с этой точки зрения возражение против новой теории заключается в указании на ее ахиллесову пяту, на ее действительно слабое место — именно на отсутствие всякого психологического анализа эмоций как таковых. Противоречие, которое заключается в фактическом обосновании новой теории, вероятно, было уже замечено читателем в ходе нашего предшествующего изложения. В самом деле, не может не броситься в глаза то, что новые исследователи пользуются эмоциональными проявлениями как доказательством наличия или сохранности эмоции и вместе с тем в результате своих работ приходят к полному отрицанию висцеральных и моторных моментов как источника эмоций. Спрашивается: что же тогда представляет собой эта иллюзорная вещь, эмоция? Это возражение во всяком случае сохраняет свою силу для всех опытов с животными, о которых рассказано выше.

Ответ на это возражение действительно приводит к уяснению существенного пункта новой теории, с одной стороны, и к более прочной консолидации ее фактического обоснования — с другой. Новая теория всецело принимает определение эмоции, данное Джемсом, как некоего чувственного тона, присоединяющегося к простому восприятию. Спор идет только об источнике эмоции. Старая теория видит его в ощущении телесных проявлений, новая полагает, что это специфическое качество присоединяется к восприятию в результате активности зрительного бугра. Здесь, однако, происходит разветвление внутри самой новой теории. В то время как одни, вслед за Хэдом, Кюпперсом и другими, приписывают зрительному бугру функции сознания эмоций и рассматривают его как центр сознания, другие вслед за Кенноном вносят в этот пункт теории существенное дополнение.

У. Кеннон не утверждает, что сознание эмоции прямо и непосредственно связано с активностью зрительного бугра. Напротив, подчеркивая, что анестезия, приводящая к полному уничтожению эмоционального сознания, оставляет ненарушенным эмоциональное проявление, имеющее таламическое происхождение, он тем самым возражает против локализации центра эмоционального сознания в подкорковой области. Как он указывает, эмоциональная реакция, возникающая и организующаяся в зрительном бугре, направляется по путям своего разряда не только к периферии, обусловливая эмоциональные проявления, но и к коре, в которой и возникает чувство, присоединяющееся к ощущению, как это видно при односторонних таламических поражениях. В этом варианте новая теория не утверждает, что зрительный бугор является центром аффективных переживаний, но утверждает только, что зрительный бугор должен рассматриваться как источник переживаний этого рода, подобно тому как изменения в ретине являются источником зрительных ощущений.

Таким образом, новая теория отличается от старой не тем, что старая допускала корковую, а новая выдвигает подкорковую локализацию аффективных переживаний. Указанное отличие мо-

жет быть отнесено только к упомянутым выше крайним сторонникам таламической теории. В том варианте новой теории, которая развивается Кенноном, Бардом и другими, как раз в этом пункте обе теории полностью сходятся. Как в одной, так и в другой в качестве физиологического субстрата эмоционального сознания привлекаются эмоциональные процессы, но их специфическая причина, специфический источник, способные объяснить нам, чем эти корковые процессы отличаются от других корковых процессов, являются субстратом интеллектуальных операций и локализуются обеими теориями различно. Одна видит этот источник в периферических изменениях, другая — в центральных процессах.

Тезис Джемса, который гласит, что не существует специальных центров в мозгу для эмоций, должен быть видоизменен в свете новых данных. Кора с одной стороны, рефлекторные дуги и периферические органы с другого конца как источник возвратных импульсов представляют собой слишком упрощенную организацию, не соответствующую действительной сложности эмоциональных реакций. Между корой и периферией расположен таламус — интегрирующий орган для эмоциональных процессов, в котором возникает стереотипная реакция эмоциональных проявлений, с одной стороны, и специфические возбуждения, направленные в кору, — с другой. Таким образом, взаимодействия корковых и подкорковых центров рассматриваются в новой теории как действительная основа эмоции. Альтернатива, выдвинутая Джемсом, — или существуют специальные центры эмоций, или эмоции возникают в общих моторных и сенсорных центрах коры — оказывается несостоятельной.

Новая теория утверждает вместо старого «или — или» существование и кортикальных процессов, и специальных центров эмоциональных реакций. Только то и другое вместе способны адекватно объяснить многообразие эмоциональных процессов. Ту же точку зрения защищает по существу и Дана. Эта теория, отмечает Бард, способна объяснить как то обстоятельство, что эмоции всякий раз при нормальных условиях сопровождаются стандартными телесными проявлениями (что и послужило поводом для возникновения периферической теории эмоций), так и то, что эмоциональные телесные проявления и эмоциональные переживания могут существовать при специальных экспериментальных и патологических условиях и порознь, независимо друг от друга. Лежащее в основе новой теории допущение, что эмоция является центральным по происхождению процессом, хорошо объясняет и третий ряд фактов — именно исчезновение и телесного проявления эмоции, и аффективного переживания при вовлечении всего зрительного бугра в болезненный процесс, как это имеет место в упомянутых выше случаях Фелтона и Бейли.

В полемике сторонников старой и новой теорий этот вопрос возник в форме проблемы взаимоотношения между эмоциональным поведением и эмоциональным переживанием, т. е. между субъективной и объективной сторонами эмоции. Согласно теории

Джемса — Ланге, обе стороны всегда нераздельны: не может быть эмоционального поведения без эмоционального переживания, так же как не может быть эмоционального переживания без периферических изменений. Новая теория объясняет, наконец, и четвертый ряд фактов — именно то, что наличие телесных проявлений, иногда даже искусственно вызываемых, при известных обстоятельствах может способствовать возникновению или усилению и самой эмоции. Короче говоря, объясняя достаточно убедительно как наличие связи, так и возможность раздельного существования периферических и центральных моментов эмоций, новая теория действительно справляется с задачей истолкования, единообразного и логически последовательного, всего богатства известных нам фактов, и в первую очередь дает убедительное разъяснение того факта, что телесные проявления, эмоциональная экспрессия часто помогают нам в нормальных условиях судить о наличии и соответствующего эмоционального переживания.

Мы не станем рассматривать столкновения противоположных мнений по поводу каждого пункта критики старой и обоснования новой теории. Мы отчасти затронули их в ходе нашего рассуждения, отчасти оставили без внимания, так как они едва ли могут сыграть сколько-нибудь значительную роль в окончательном признании той или другой теории. Укажем только, что все возражения касаются второстепенных аргументов, вроде положения Кеннона о чрезвычайно малой чувствительности внутренних органов вследствие малочисленности афферентных волокон в автономной нервной системе. В крайне низкой степени чувствительности внутренних органов (сенсорные волокна составляют в них примерно 1/10 моторных) Кеннон видел лишнее доказательство против того, чтобы рассматривать изменения, происходящие в этих органах, как источник эмоционального переживания. Его оппоненты указывают на ощущения в грудной клетке, в горле, в сосудах, в поджелудочной области. Как справедливо замечает Кеннон, речь идет здесь не о висцеральных органах в собственном смысле этого слова, а об ощущениях, которые возникают вне этих органов в областях, снабженных многочисленными сенсорными нервами, которые испытывают воздействие лишь в результате висцеральных изменений.

Если оставить в стороне второстепенные возражения, в полемике останутся попытки так или иначе спасти старую теорию, внося в нее те или иные коррективы в соответствии с новыми данными. Одну из таких попыток отказаться от висцеральных ощущений как от существенного момента эмоций и перенести весь центр тяжести старой теории на моторные, кинестетические, ощущения, мы рассмотрели выше. Другая попытка заключается в отождествлении двух теорий, поскольку в зрительном бугре новые авторы склонны локализовать центр тех двигательных и органических реакций, на которые указывал Джемс как на истинный и единственный источник эмоций. Но и эта попытка, как разъясняет Кеннон, по существу несостоятельна, поскольку

авторы не видят принципиального различия между периферической и центральной теориями эмоций — различия, в котором заключается вся сущность спора.

Мы остановимся еще только на трех моментах, которые выдвигают сторонники новой теории как ее существенные преимущества. Эти моменты могут представить для нас первостепенный интерес как с точки зрения оценки новой теории, так и со специально рассматриваемой нами в настоящем исследовании точки зрения.

Первый касается объяснения так называемых высших, или более тонких, эмоций. Как старая теория, так и новая имеют объектом исследования грубые, непосредственно связанные с инстинктами, в широкой степени общие животным и человеку, возникшие, по-видимому, на очень ранних ступенях развития, — короче говоря, низшие эмоции. В отношении специфических для человека высших эмоций Джемс замечает, что в них телесные проявления и интенсивность связанных с ними ощущений могут быть слабы. Правда, Джемс вынужден признать, что такие спокойные, протекающие без всякого телесного возбуждения эмоции, несомненно, могут быть констатированы у человека. Джемс, таким образом, не отрицает, что могут быть тонкие наслаждения, иначе говоря, что могут быть эмоции, обусловленные исключительно возбуждением центров, совершенно независимо от центростремительных токов. К таким чувствованиям он относит, наряду с эстетическими эмоциями, чувство нравственного удовлетворения, благодарности, удовлетворения после решения задачи.

У. Джемс, однако, пытается сейчас же взять назад свои признания, противоречащие всей его теории, и спасти ее указанием на то, что наряду с этими центральными эмоциями произведения искусства могут вызывать чрезвычайно сильные эмоции, в которых опыт вполне гармонирует с выставленными им теоретическими положениями. В эстетических восприятиях (например, музыкальных) главную роль играют центростремительные токи, независимо от того, возникают ли наряду с ними внутренние органические возбуждения или нет. Самоё эстетическое возбуждение представляет объект ощущения, и поскольку эстетическое восприятие есть объект непосредственного, грубого, живо испытываемого ощущения, постольку и связанное с ним эстетическое наслаждение грубо и ярко.

Еще более откровенно Джемс пытается взять реванш за мгновенное вынужденное признание существования чисто центральных эмоций в отношении других названных выше чувств. Он признает, что они могут быть чисто центрального происхождения. «Но слабость и бледность этих чувствований, когда они не связаны с телесными возбуждениями, представляет весьма резкий контраст с более грубыми эмоциями. У всех лиц, одаренных чувствительностью и впечатлительностью, тонкие эмоции всегда бывают связаны с телесным возбуждением: нравственная спра-

ведливость отражается в звуках голоса или в выражении глаз и т. п. ...» (1902, с. 317). Если телесное возбуждение не имеет места, то, по мнению Джемса, происходит просто интеллектуальное восприятие явлений, которое следует отнести скорее к познавательным, чем к эмоциональным, душевным процессам (там же).

Достаточно привести эти рассуждения Джемса о высших эмоциях, для того чтобы стало очевидным то внутреннее противоречие, в которое впадает автор при их объяснении. С одной стороны, он признает их как эмоции, принципиально отличные от низших эмоций, как эмоции, возникающие чисто центральным, а не центростремительным путем, как эмоции, не сопровождающиеся телесным возбуждением, и тем самым признает, что развитая им теория не может служить адекватным объяснением высших эмоций, а распространяется только на область грубых, или низших, не специфических для человеческой психики чувствований. С другой стороны, он отрицает их, относя их к интеллектуальным, а не эмоциональным состояниям сознания и полагая, что эмоциями они становятся только тогда, когда обнаруживают обязательные признаки грубых эмоций, т. е. телесное возбуждение и периферическое происхождение; следовательно, Джемс распространяет и на них свою основную теорию, отказываясь видеть принципиальное различие низших и высших эмоций. Таким образом, перед Джемсом открылись два исключающих друг друга пути: или открытый дуализм в истолковании природы высших и низших эмоций, или полное отождествление тех и других.

Как видно, Джемс все время колебался, на какой из двух путей встать. В позднейших изложениях своей теории автор признал ее недостатки и ввел в нее существенные изменения. Они касаются двух главных пунктов, которые с особенной настойчивостью подчеркивает русский исследователь Н. Н. Ланге[59]. Во-первых, в новом изложении Джемс допускает, «что самоё чувство удовольствия и страдания предшествует его телесным проявлениям и их вызывает, а не является их следствием, хотя в свою очередь эти телесные проявления оказывают обратное влияние, придавая эмоции яркость и интенсивность» (Н. Н. Ланге, 1914, с. 280).

Второе изменение касается природы телесных проявлений эмоций. Если прежде Джемс рассматривал их как комбинацию простых рефлексов, то в новом изложении он склонен видеть в них более сложные формы центробежных реакций. Они возникают не прямо из специфического характера внешнего раздражения, действующего на прирожденный нервный механизм, но всегда предполагают в индивиде сознание того особенного значения или смысла, которое он вкладывает в это внешнее впечатление. Эмоциональные реакции зависят от того, что внешнее впечатление понимается индивидом и является для него предметом страха или гнева. «Такие две поправки, введенные самим Джемсом в его новом изложении, означают в сущности полный отказ от узкого радикализма его прежней теории» (там же).

Нас сейчас может интересовать это шатание Джемса в окончательном изложении собственной теории исключительно как свидетельство внутренней ограниченности и противоречивости классической формулировки его гипотезы и ее неприложимости к объяснению высших эмоций. Как правильно замечает Кеннон, проблема высших эмоций, представлявшая непреодолимые трудности для теории Джемса, может найти себе удовлетворительное физиологическое объяснение при допущении таламической гипотезы. Вспомним, что у пациентов, описанных Хэдом, эмоции, возникающие из памяти или воображения, переживались более интенсивно на больной стороне, на которой таламус был освобожден от моторного контроля коры. Это показывает, что кортикальные процессы могут вызвать к жизни активность таламуса, который в свою очередь возвратно посылает аффективные импульсы в кору (W. B. Cannon, 1927, p. 121). Из этого факта Кеннон делает выводы относительно проблемы высших эмоций, как она представляется в свете новой теории. Всякий объект или ситуация, говорит он, могут тем самым придать аффективную окраску любому переживанию. Таким образом, мы можем понять всю необычайную сложность, богатство и разнообразие нашей эмоциональной жизни.

Но помимо того преимущества, которым обладает новая теория для объяснения высших эмоций, представлявших для старой теории критический пункт, где она или должна была изменить сама себе, или силой каких угодно натяжек свести низшие и высшие эмоции к одному знаменателю, новая теория выдвигает еще одно положение, открывающее возможность более адекватного объяснения ряда первостепенно важных явлений в области эмоциональной жизни. Это положение касается сложного взаимоотношения, устанавливающегося между корой и подкорковыми центрами при возникновении эмоциональных процессов.

С точки зрения старой теории, эмоциональный разряд происходит автоматически, рефлекторно, столь же автоматически и рефлекторно возникает эмоция. Аффективная буря разыгрывается между двумя полюсами: она, возникая в мозгу, сотрясает волнением тело, чтобы обратным потоком взволновать мозг. В эту простую схему никак не укладываются самые обычные и известные из повседневного опыта явления эмоциональной жизни. Назовем для примера только два таких явления. На первое обратил внимание Мак-Дауголл, который упрекает теорию Джемса—Ланге в том, что она выдвигает в центр сенсорный аспект эмоций. Она не обращает внимания на постоянно присутствующий и иногда главенствующий импульсивный характер эмоционального переживания. Упрек совершенно верен. Рассматривая эмоцию как осознание органических и периферических изменений, теория Джемса—Ланге сводит тем самым чувство к ощущению и вследствие этого достигает результата, как раз обратного тому, к которому стремится: основной целью ее устремлений было преодоление интеллектуализма в учении об аффектах, нахождение

того специфического признака, который отличает эмоциональное состояние от чисто познавательных, интеллектуальных состояний сознания. Но в результате логического развития исходной тезы теория приходит к полному растворению эмоциональных состояний в общей совокупности сенсорных процессов ощущения и восприятия. Чтобы спасти положение дела, она допускает, что самый объект этих ощущений — специфически отличный по сравнению с объектом всех остальных ощущений. Но различие объекта еще не делает различными самые ощущения по их психологической природе, и поэтому старая теория была обречена на то, чтобы рассматривать эмоцию в сущности как пассивный, сенсорный по психологической природе процесс, как ощущение особого рода и оставлять без внимания все те моменты в эмоциональном процессе, которые тесно вплетают в него стремление, побуждение к действию, импульс, делающие наши эмоции сильнейшими и влиятельнейшими мотивами поведения.

У. Кеннон полагает (W. B. Cannon, 1927, p. 123), что новая теория чрезвычайно легко избегает этого затруднения. Локализация стандартной реакции эмоциональных проявлений в области зрительного бугра — в области, которая, подобно спинному мозгу, действует непосредственно с помощью простых автоматизмов, если она не тормозится высшими центрами,— объясняет не только сенсорную сторону эмоционального переживания, но также динамическую сторону, тенденцию таламических нейронов к разряду. Наличие могущественных импульсов, возникающих в области мозга, не связанной с когнитивным сознанием, и возбуждающих благодаря этому слепым и автономным способом сильную эмоцию, объясняет, что такая эмоция не заключается в ощущении. Переживая эмоцию, мы как бы находимся во власти какой-то посторонней силы, которая заставляет нас действовать, не взвешивая последствий.

У. Кеннон выводит это объяснение из учения о двойном контроле, составляющем существенную часть новой теории. Из того же корня выводит он объяснение и второго феномена, непонятного с точки зрения теории Джемса: явлений конфликта, борьбы между сознательным намерением и эмоциональной тенденцией, или, проще говоря, взаимоотношений между произвольными функциями и эмоциями. И в самом деле, так же как и проблема импульсивной природы эмоций, эта проблема представляла для старой теории непреодолимое препятствие. Те совершенно своеобразные психологические отношения, которые существуют между сознательно действующей волей, проявляющейся в решении и намерении, и аффектом, овладевающим нашим сознанием, который, как мы увидим дальше, представляет собой истинный психологический и философский центр всего учения о страстях, не только оставались необъяснимыми с точки зрения старой теории, но просто не замечались и обходились молчанием.

Несмотря на замалчивание, ни у кого не оставалось сомнений в том, что эти явления никак не могут быть уложены в чрезвычай-

но упрощенную схему органической гипотезы и поняты с помощью того рефлекторного механизма, который выдвигался в качестве всеобъясняющего принципа всей эмоциональной жизни, во всем многообразии и богатстве ее проявлений. Согласно теории Джемса — Ланге, существенные процессы, лежащие в основе эмоций, вообще выносились за пределы мозга — этого главного органа мысли и сознательной воли,— помещались на периферии и превращали самый мозг в пассивный восприемник периферических изменений, в которых все прочие основные мозговые процессы не только не могли ничего изменить, но в которых они вообще активно не участвовали. Живые, каждый день происходящие в сознании каждого человека процессы взаимодействия между сознанием в целом и его эмоциональной частью были грубо перечеркнуты, объявлены несуществующими.

Периферическая теория именно из-за того, что она сводила эмоции к периферическим процессам, отражающимся в мозгу, вырыла пропасть между эмоциями и остальным сознанием: первые были отодвинуты на периферию, второе сосредоточено в мозгу.

Новая теория, устанавливающая чрезвычайно сложное взаимодействие подкорковых и корковых центров в процессах эмоции, приближается в значительной степени к тому, чтобы сделать возможным объяснение всей той сложности реальных отношений аффекта и сознания, которые составляют непреложный психологический факт. Она предполагает такую анатомическую и динамическую организацию эмоциональных процессов, при которой низшие центры, являющиеся истинным источником эмоциональных возбуждений, идущих к коре, и эмоциональных разрядов, идущих к периферии, сами находятся в сложной зависимости от высших центров, образуя их подчиненную и подконтрольную инстанцию, действующую под их управлением, в качестве не самостоятельной, но связанной силы. Только при функциональной слабости высших центров или при отделении их от подчиненной им инстанции последняя становится самостоятельной и начинает действовать свойственным ей автономным образом. В этом случае проявляется общий нейробиологический закон, который Э. Кречмер[60] сформулировал по отношению к истерии в следующем виде: если внутри психомоторной сферы действие высшей инстанции становится слабым в функциональном отношении, то получает самостоятельность ближайшая низшая инстанция с собственными примитивными законами.

Эта сложная иерархическая организация анатомического и физиологического субстрата аффекта действительно, как мы увидим, может быть легко приведена в согласие по крайней мере с основными психологическими фактами, центральными, как мы указывали, для всего учения о страстях. Остановимся сейчас только на одном моменте, характеризующем эту организацию, именно на учении о двойном контроле.

Как известно, Джемс сам пытался рассмотреть и опровергнуть два возможных возражения. Первое заключается в том факте,

что, «по словам многих актеров, превосходно воспроизводящих голосом, мимикой лица и телодвижениями внешние проявления эмоций, они при этом не испытывают ровно никаких эмоций. Другие актеры, согласно свидетельству У. Арчера[61], утверждают, что в тех случаях, когда им удавалось хорошо сыграть роль, они переживали все эмоции, соответствующие последней» (У. Джемс, 1902, с. 315). Джемс затрагивает здесь знаменитую и имеющую большую историю проблему сценического воспроизведения эмоций, к которой мы еще вернемся в ходе нашего исследования. Сейчас нас интересует в объяснении Джемса только его признание, что «в экспрессии каждой эмоции внутреннее органическое возбуждение может быть у некоторых лиц совершенно подавлено, а вместе с тем в значительной степени и самая эмсция, другие же лица не обладают этой способностью» (там же, с. 315). Джемс, таким образом, признает, говоря его же словами, «что некоторые лица способны совершенно диссоциировать эмоции и их экспрессию» (там же).

Другое возражение как бы обратно по отношению к только что изложенному. Оно состоит в том факте, что «иногда, задерживая проявление эмоции, мы ее усиливаем. Мучительно то состояние духа, которое испытываешь, когда обстоятельства заставляют удерживаться от смеха; гнев, подавленный страхом, превращается в сильнейшую ненависть. Наоборот, свободное проявление эмоций дает облегчение» (там же).

У. Джемс допускает возможность усиления внутреннего возбуждения «в тех случаях, когда экспрессия в мимике лица подавлена нами или возможность перерождения эмоции при произвольной задержке ее проявления в совершенно другую эмоцию, которая, быть может, сопровождается иным и более сильным органическим возбуждением» (там же). Превращение эмоций, являющееся следствием комбинации вызывающего ее объекта с задерживающим ее влиянием, происходит, по мнению Джемса, чисто физиологическим путем: возбуждение, не могущее оттекать через нормальные каналы, начинает отводиться другими каналами, вследствие чего возникает новое органическое состояние и соответствующая ему новая эмоция. «Если бы я имел желание убить моего врага, но не осмелился сделать это, то моя эмоция была бы совершенно иной сравнительно с той, которая овладела бы мной в том случае, если бы я осуществил мое желание» (там же, с. 316).

Нельзя не согласиться с Кенноном, что Джемс дает противоречивый, двусмысленный и в общем неудовлетворительный ответ на возможные возражения. С одной стороны, он отрицает эмоции вовсе. «Откажитесь от проявления страсти, и она умрет. Сосчитайте до 10, прежде чем обнаружить свой гнев, и повод к нему покажется вам смешным». С другой стороны, он считает, что органическое возбуждение при его произвольном подавлении не может уничтожиться и должно проложить себе новые пути, вызывая превращения одной эмоции в другую.

Новая теория предполагает наличие двойного контроля — кортикального и таламического — над телесными процессами. Такой контроль приводит к очень сложным отношениям между обеими контролирующими инстанциями. Ясно, что скелетные мускулы управляются двумя инстанциями — кортикальной и таламической. Например, мы можем смеяться спонтанно, в зависимости от смешной ситуации (таламический смех), но мы можем смеяться и в результате произвольного акта (кортикальный смех). Столь же ясно, что внутренние органы находятся только под таламическим управлением. Мы не можем прямым актом воли вызвать увеличение сахара в крови, ускорение сердцебиения или остановку пищеварения. При двойном контроле кортикальные нейроны в нормальных условиях, по-видимому, доминируют и могут не освободить для действия возбужденные нейроны зрительного бугра (хотя мы иногда плачем или смеемся вопреки собственному желанию). Из-за этого возможен конфликт между высшим и низшим контролем телесных функций. Но кора может затормозить только те телесные функции, которые в нормальных условиях находятся под произвольным контролем; так же как кора не может вызвать, она не может и приостановить такие бурные процессы, как увеличение содержания сахара в крови, ускорение сердцебиения, прекращение пищеварения, характерные для большого возбуждения.

Когда эмоция подавлена, она, следовательно, подавлена только во внешних проявлениях. Существуют факты, позволяющие думать, что при максимальных проявлениях имеет место и максимальное внутреннее возбуждение. Поэтому вероятно, что кортикальное подавление внешнего проявления возбуждения приводит в результате к ослаблению внутренних расстройств, которые были бы сильнее, если бы сопровождались свободным проявлением эмоций. Тем не менее при конфликте между кортикальным контролем и активностью таламических центров не подчиненные коре внутренние проявления эмоций могут достигать значительной силы. Правда, что касается не подчиненных коре функций, то положение здесь значительно более сложное, чем может показаться на основании приведенных соображений. Как замечает Кеннон в другом месте, если кора не имеет прямого контроля над внутренними органами и не может управлять их функциями, она может осуществлять над ними непрямой контроль. Например, мы можем пойти навстречу опасности и вызвать в себе таким образом дрожь, хотя мы не можем вызвать дрожь простым волевым решением. Сходным образом мы часто можем избегнуть обстоятельств, которые возбуждают страх, гнев или отвращение и сопровождающие их висцеральные расстройства. Для этого мы должны только не приближаться к волнующему нас пункту.

Мы развили учение о двойном контроле для того, чтобы показать, насколько более сложные условия взаимодействия между аффективными и сознательными произвольными процесса-

ми допускает новая теория по сравнению со старой. В применении к интересующему нас последнему критерию превосходства таламической теории эмоций над висцеральной это учение способно сказать решающее слово. То, что представляло непреодолимые трудности для висцеральной теории, допускает объяснение с точки зрения учения о двойном контроле.

«Если,— говорит Кеннон,— имеет место двойной контроль над поведением, то становится легко объяснимым как внутренний конфликт с его острым эмоциональным аккомпанементом, так и следующее затем частичное ослабление чувства в такой ситуации, когда мы испытываем интенсивный страх одновременно с патетическим чувством беспомощности, прежде чем произойдет какой-либо акт внешнего поведения, и когда едва только начинает проявляться соответствующее поведение, внутреннее волнение начинает спадать и телесные силы направляются энергично и эффективно для достижения полезного результата. Стандартные таламические процессы заложены в самой нервной организации. Они подобны рефлексам в смысле постоянной готовности к возбуждению моторных реакций, и, когда они могут проявить свою активность, они действуют с большой силой. Они, однако, подчиняются контролю кортикальных процессов, процессов, обусловленных предшествующими впечатлениями всевозможного рода. Кора, таким образом, может контролировать все периферические органы, за исключением внутренних» (Cannon, 1927, p. 123).

Заторможенные процессы в зрительном бугре не могут привести в действие организм, за исключением его частей, не находящихся под произвольным контролем, но возбуждение самих таламических центров может вызвать эмоции обычным способом и, возможно, с огромной силой именно благодаря торможению. Когда кортикальное торможение устранено, конфликт сразу оказывается разрешенным. Две контролирующие инстанции, которые прежде находились в противодействии, теперь начинают сотрудничать. Таламические нейроны, продолжая энергично активироваться, создают условия, необходимые для того, чтобы эмоция длилась, как этого требует Джемс, и во время ее проявления. Таким образом, новая теория не только избегает трудностей, на которые наталкивалась теория Джемса—Ланге, но объясняет удовлетворительно и факт острого эмоционального переживания во время как бы вызванного параличом бездействия.

Мы закончили утомительный и длинный путь исследования теоретической контроверзы, которая в течение последнего полустолетия стояла в центре психологического учения об аффектах и определяла в значительной степени все развитие научной мысли и научных знаний в этой области. Выводы, к которым мы приходим в результате исследования, прозрачны и ясны. В них нет никакой двусмысленности. Мы видели, что старая, периферическая, теория аффектов не только не может устоять перед сокрушающим натиском критических исследований, наносящих ей убийственные удары со всех сторон, но и давно уже пала.

Если собрать все аргументы, выдвинутые против этой теории на протяжении полувека, то, соединенные силой своей убедительности и доказательности, они действительно сделают ненужной и смешной затеей хоронить теорию Джемса — Ланге со сложными церемониями, по остроумному замечанию Бентлея. Воевать с ней — значит воевать с покойниками. И мы никогда не вздумали бы предпринять исследование, если бы его единственным результатом могло оказаться констатирование исторической смерти этого парадоксального и блестящего учения. Оправдание наших томительных изысканий мы видим в другом.

Исследуя и проверяя пункт за пунктом старое и отмирающее учение, мы могли шаг за шагом проследить и рождение новой теории, то, что было жизнеспособного у ее предшественницы, и адекватно объяснить огромное богатство новых фактов, накопленных неустанными полустолетними усилиями мысли. Сама по себе критика какого-либо отживающего учения, как бы плодотворна она ни была, никогда еще не может означать завершения целой исторической эпохи в развитии научной мысли. Только когда на обломках старого начинают пробиваться ростки новой жизни, завершается одна эпоха в истории научной мысли и начинается другая. Нахождение такого исторического рубежа, разделяющего две эпохи в учении о страстях, и было прямой и непосредственной целью нашего исследования.

Но вместе с тем мы как будто незаметно для себя пришли еще к одному выводу, который явно противоречит нашим ожиданиям. Мы предприняли исследование теории Джемса — Ланге исключительно потому, что в ней принято видеть живое научное воплощение спинозистских идей. Если верно, что учение Спинозы о страстях неразрывно связано с именами Ланге и Джемса и с их знаменитой парадоксальной теорией эмоций, то это учение, поскольку оно остается живой частью современной научной психологии, должно разделить судьбу идей, господствовавших более полувека и отмирающих на наших глазах. Оправдывается положение, с которым мы не хотели соглашаться и которое утверждает, что часть «Этики», трактующая о страстях, для психолога наших дней может представить разве только исторический интерес.

10

Но, может быть, следует подвергнуть сомнению самое положение о внутреннем духовном родстве, существующем между великим философским учением о страстях и психофизиологическим парадоксом, представлявшим в течение полустолетия научную мысль о природе человеческих эмоций? Может быть, они связаны между собой не знаком подобия, а знаком противоположности? Может быть, их объединяет не столько историческая преемственность, сколько необходимые и неизбежные в истории мысли волнообразные смены тезиса и антитезиса? И тогда может

оказаться, что отодвигание в область исторического прошлого пресловутой гипотезы не только не означает того же самого для судьбы спинозистского учения, но, напротив, открывает путь для его будущего развития в сфере психологической науки. Исследуем, так ли это.

Теория Джемса—Ланге, если внимательно исследовать ее идейный генезис и ее философскую природу, связана в действительности вовсе не с учением Спинозы о страстях, а с идеями Декарта и Мальбранша. Мнение о том, что теория Джемса—Ланге корнями своими восходит к «Этике», основано на заблуждении. Оно в действительности является не более чем мнением в том смысле, в каком употребляет это слово спинозистская гносеология, называющая так первый и низший род познания, потому что последнее подвержено заблуждению и никогда не имеет места там, где мы убеждены, но лишь там, где речь идет о догадке и предположении. Это заблуждение обязано своим происхождением, с одной стороны, философской беспечности самого Ланге, отчасти и Джемса, которых мало заботила мысль о философской природе созданной ими теории. Ланге высказал основанную на прямом незнании спинозистского учения догадку о том, что знаменитое спинозистское определение аффекта следует рассматривать как чуть ли не единственное предвосхищение его теории, во всяком случае более других приближающееся к его воззрению. Этой догадке все поверили, она укоренилась и приобрела характер научной истины с тех пор, как вошла в учебники и сделалась достоянием школьной мудрости.

С другой стороны, это ошибочное мнение могло быть принято всеми—без критики, исследования и проверки—за истину только благодаря тому, что отчасти в истории философии, но главным образом в истории психологии до сих пор господствует заблуждение более широкого характера: мнение о внутреннем родстве и исторической преемственности, существующих между учениями о страстях Декарта и Спинозы. В то время как в области метафизики противоположность идей Декарта и Спинозы достаточно осознана, в области психологии, в области учения о страстях по преимуществу, некоторое внешнее сходство и формальная близость обоих учений заслоняют до сих пор от глаз исследователей ту глубочайшую, основанную на самой сущности обоих учений противоположность, которая существует в действительности между этими учениями.

Конечно, факт, что мировоззрение Спинозы исторически развивалось в непосредственной зависимости от философии Декарта. Однако относительно общего духа спинозистского мировоззрения ни у кого не вызывает сомнений то, что обе системы связаны между собой так, как связаны утверждение и отрицание, тезис и антитезис. Великий гений, говорит Г. Гейне[62], развивается с помощью другого великого гения не столько путем ассимиляции, сколько путем борьбы. Один алмаз шлифует другой. Так, философия Декарта ни в какой мере не породила философию

Спинозы, но, скорее, требовала ее возникновения. В соответствии с этим Гейне правильно находит в качестве общего у обоих мыслителей момента метод, заимствованный учеником у учителя. Содержание же самого мировоззрения, его внутренний смысл и одушевляющий его пафос у обоих мыслителей скорее противоположны, чем схожи.

Но когда дело касается учения о страстях, большинство исследователей склонны видеть в Спинозе только ученика, развивающего и отчасти преобразовывающего идеи учителя. Исследователи склонны видеть простую эволюцию и реформу там, где на самом деле имела место одна из величайших революций духа, катастрофический переворот в прежней системе мышления. Наиболее радикально и последовательно проводит эту точку зрения К. Фишер[63].

«Было время,— говорит этот исследователь,— когда Спиноза был картезианцем в смысле жаждущего познания ученика. Мы должны прибавить: с известной точки зрения, Спиноза навсегда остался картезианцем и никогда не может перестать быть для нас таковым. Противоположность между мышлением и протяженностью, высказанная в такой точной форме с полной достоверностью, как объект яснейшего и отчетливейшего познания, образует ядро картезианского учения. ...Кто утверждает эту противоположность в такой ее форме, тот есть и остается картезианцем в одной из существеннейших черт своего миросозерцания. Кто отрицает эту противоположность, тот не есть картезианец» (К. Фишер, 1906, т. 2, с. 274).

Переходя к окончательному решению вопроса о происхождении и источниках учения Спинозы, Фишер снова встает перед вопросом, был ли Спиноза когда-либо картезианцем. Для ответа исследователь предлагает отличать узкую и более широкую постановку вопроса. Иначе самый вопрос остается неопределенным и шатким. Что Спиноза был картезианцем в узком смысле слова, нельзя доказать на основании литературных документов, но естественнее всего предполагать, что в его развитии была стадия, когда его исходная точка и составляла его миросозерцание. Если же, наоборот, брать картезианский образ мыслей в более широком смысле, значение и тенденции которого мы уже рассмотрели, то наш ответ гласит: Спиноза не только был картезианцем, но (в этом смысле) и никогда не переставал быть таковым.

Едва ли может возникнуть сомнение в том, что утверждение о картезианском образе мыслей Спинозы относится в первую очередь к учению о страстях, ибо критерий для такой квалификации спинозистского мировоззрения заключается для Фишера в идее противоположности мышления и протяженности, т. е. в идее психофизического параллелизма. Где же яснее и непосредственнее может проявиться эта идея, как не в психологическом учении Спинозы, не в его исследовании о природе аффектов? Если действительно в учении о происхождении и природе аффектов, в

учении о человеческом рабстве, или о силе аффектов, и в учении о могуществе разума (над аффектами), или о человеческой свободе, Спиноза последовательно развивал идею психофизического параллелизма, тогда нельзя не согласиться с Фишером, что Спиноза никогда не переставал быть картезианцем. Если, напротив, исследование привело бы нас к прочному выводу, что в этом учении Спиноза развил антитезу к параллелизму и, следовательно, к дуализму Декарта, мы неизбежно должны были бы признать мнение Фишера ложным. Это и составляет основное ядро всей проблемы настоящего исследования.

Правда, Фишер, имея в виду, по-видимому, не столько принципиальное содержание учения о страстях, сколько его конкретное выражение, называет это учение шедевром Спинозы и наиболее оригинальной частью всей его системы. Он говорит: «Учение о человеческих страстях есть шедевр Спинозы... Мы знаем, в какой мере Декарт в своем сочинении о страстях проложил путь нашему философу и насколько последний зависел от своего предшественника в своей первой обработке этой темы, хотя уже тогда он отрицал картезианское учение о свободе. В «Этике» также можно еще подметить следы этой многосодержательной предварительной работы, но методическое обоснование аффектов столь самостоятельно и своеобразно, что здесь философ обнаруживает полную свою оригинальность» (К. Фишер, 1906, т. 2, с. 432—435).

Но уже из этого следует, что оригинальность Спинозы Фишер признает только по отношению к методическому обоснованию аффектов, очевидно не распространяя это утверждение на самую суть принципиальных воззрений. В отношении принципиального содержания в учении о страстях Фишер, по-видимому, в отличие от методического обоснования аффектов, придерживается своей общей точки зрения, согласно которой Спиноза последовательно развивает основную мысль учения Декарта и преобразовывает соответственно ей свои принципы. Именно в этом эволюционистском и реформистском духе понимает Фишер историческую зависимость Спинозы от Декарта: «К приведенным весьма достоверным и точным биографическим свидетельствам, указывающим, что сочинения Декарта очаровали Спинозу и осветили его мысли, присоединяются внутренние основания, которые ясно и отчетливо обнаруживают, каким образом спинозизм возникает из картезианского учения. Для этого нужно было только признание задач, которые Декарт поставил философии, признание метода к разрешению этих задач и уяснению противоречий, в которых запуталась система учителя при этом разрешении. Эти противоречия были не скрыты, а явны, и путь к их разрешению был указан самим Декартом так ясно, что оставалось лишь без колебаний вступить на него» (там же, с. 276).

Таким образом, с точки зрения Фишера, даже там, где между учением Спинозы и Декарта имеется явное и непримиримое несогласие, Спиноза все же остается первым и последовательным учеником своего учителя, чистым картезианцем, который разре-

шает противоречия тем путем, который был указан самим Декартом. Трудно яснее выразить ту мысль, что, даже отрицая Декарта, Спиноза продолжает оставаться картезианцем.

Так как мы имеем здесь дело не с второстепенным, а с центральным пунктом нашего исследования, мы должны постараться выяснить со всей отчетливостью то мнение, в отрицании которого мы видим нашу главную задачу, то мнение, согласно которому Спиноза в учении о страстях является последовательным картезианцем. Выяснение этого не представляет больших трудностей, следует только обратиться к истории спинозистского учения об аффектах. В этой истории Фишер намечает две эпохи. В эпоху «Краткого Трактата...»[64] Спиноза находился в прямой зависимости от Декарта. В «Этике» он самостоятельно развил методическое обоснование аффектов и тем обнаружил полную оригинальность. Таким образом, «Краткий Трактат...» противостоит «Этике» как картезианская и оригинальная эпохи в истории развития спинозистского учения о страстях. Обратимся к указанным сочинениям.

В «Кратком Трактате...», как правильно замечает Фишер, «в перечислении и обозначении страстей Спиноза вполне следует за Декартом, трудом которого о страстях он, очевидно, руководствовался. Мы находим прежде всего те же шесть первичных страстей[65], которые Декарт признал основными формами страстей... Затем следуют почти совершенно в том же порядке те же группы и виды частных страстей, какие определил Декарт» (там же, с. 232). Из этого Фишер делает вывод, что Спиноза, развивая тему о страстях, следует за Декартом и опирается на него. «Мы могли бы удивиться,— по мысли Фишера,— что Спиноза не упоминает о своем предшественнике, у которого он столь много заимствовал. Однако мы должны принять во внимание и то, в какой мере Спиноза расходится с Декартом в своей оценке страстей. Он не объясняет их, как его предшественник, из соединения души с телом, а рассматривает просто как психические явления, которые обусловлены исключительно родом нашего познания. Он отрицает свободу человеческой воли, которую Декарт утверждал и которую он противопоставлял страстям, так что, по его мнению, страсти могут и должны быть подчинены свободе и сделаны ее орудиями. Поэтому суждение о пользе и ценности страстей в целом, как и в частностях, должно было выпасть у Спинозы иначе, чем у Декарта» (там же, с. 234).

Нам думается, что нельзя яснее, чем это сделано в приведенном отрывке, сказать то, что мы имели в виду выше, когда говорили о критерии, которым пользуется Фишер, квалифицируя спинозистское учение как картезианское. Оригинальность Спинозы ограничивается методическим обоснованием аффектов и рядом частных отличий, которые в целом придают другой вид всему учению об аффектах даже в «Кратком Трактате...». Весь спор как раз и заключается в том, что считать принципиальным содержанием и что — методическим обоснованием аффектов. Нам думает-

ся — и доказательству этого посвящено в основном наше исследование,— что дело обстоит совершенно обратным образом по сравнению с тем, как оно изображено у Фишера. Нам думается, что даже в отношении «Краткого Трактата...» тот факт, что Спиноза следует за Декартом в перечислении первичных и частных страстей, является скорее делом методического обоснования аффектов, чем принципиальной сущностью его учения, а тот факт, что Спиноза вступает в открытое противоречие с Декартом в отрицании свободы воли, в учении о влиянии и судьбе страстей, об их динамике в общей жизни сознания, в учении об отношении страстей к познанию и воле, наконец, в рассмотрении их психофизической природы, является вопросом именно принципиальной сущности спинозистского учения.

Мы постараемся в дальнейшем показать: несмотря на то что «Краткий Трактат...» еще не содержит в себе главнейших элементов учения о страстях, как оно развито в «Этике», он тем не менее в принципиальном содержании учения является уже действительной антитезой учения Декарта. Но, в сущности говоря, это вытекает непосредственно и из самих слов Фишера, если сопоставить их с его словами, приведенными выше. Повторим, что отличие «Краткого Трактата...» от учения Декарта Фишер видит в первую очередь в том, что Спиноза не объясняет страсти, как его предшественник, из соединения души с телом, а рассматривает их просто как психические явления, которые обусловлены исключительно родом нашего познания.

Как бы ни толковать эти слова, несомненно, что расхождение Спинозы с Декартом Фишер видит в первую очередь в понимании психофизической природы страстей, т. е. в отношении мышления и протяженности в человеческом существе, поскольку мы рассматриваем его аффекты. Проблема соединения души с телом, мышления и протяженности в психологической природе страстей составляет основной пункт расхождения между «Кратким Трактатом...» и учением Декарта. Но ведь именно в решении этой проблемы, как было указано выше, Фишер видел основание, по которому Спиноза, согласно нашему воззрению, всегда оставался картезианцем (оговариваемся: только в этом смысле). Кто решает проблему отношения между протяженностью и мышлением в духе Декарта, тот, говорил Фишер, есть и остается картезианцем. Кто отрицает эту противоположность, тот не есть картезианец. Но сам же Фишер утверждал, что в «Кратком Трактате...» Спиноза расходится с Декартом именно вследствие того, что отрицает то решение психофизической проблемы в применении к природе страстей, которое дал Декарт. Следовательно, если быть логичным и последовательным до конца, нужно признать, что Спиноза уже в «Кратком Трактате...», развивая свое учение о страстях, не был картезианцем.

Правда, Фишер впадает здесь в такую интерпретацию расхождения Спинозы с Декартом, которая в корне извращает самый смысл спинозистского решения вопроса об отношении души и

тела к проблеме аффекта. С этой интерпретацией нам придется еще встретиться в ходе нашего исследования. Отличие мыслей Спинозы от Декарта Фишер видит в том, что Спиноза отбрасывает объяснение страстей из соединения души с телом, а рассматривает их просто как психические явления, которые обусловлены исключительно родом нашего познания. Фишер утверждает, что Спиноза делает шаг вперед по сравнению с Декартом в направлении спиритуализма, превращая психологию страстей в чистую феноменологию сознания.

Подобное истолкование мыслей Спинозы встречается у многих исследователей не только в отношении «Краткого Трактата...», но и в отношении «Этики». Именно в эту ошибку впал Й. Петцольд[66] (1909), как замечает В. Ф. Асмус[67]. Идеалистические интерпретаторы Спинозы обычно довольствуются констатированием параллелизма. То же делают многочисленные представители популярной среди современных позитивистов теории психофизического монизма. Но это понимание недостаточно. Остановиться на параллелизме — значит не понять до конца Спинозу. Под оболочкой теории параллелизма Спиноза развивает по существу материалистическое воззрение. Если бы Спиноза ограничивался параллелизмом, то для него не было бы никаких принципиальных препятствий к тому, чтобы познание души со всеми ее состояниями вести исключительно под модусом мышления, рассматривая связь душевных состояний совершенно независимо от связи состояний телесных. Тогда Спиноза мог бы строить свою психологию как феноменологию чистых связей сознания, даже не прибегая к анализу телесных процессов. Вряд ли можно придумать что-либо более чуждое духу спинозизма.

Но именно это чуждое духу спинозизма феноменологическое истолкование «Краткого Трактата...» и дает Фишер. В этом он совпадает с Петцольдом, который в психологии Спинозы видит только параллелизм. Как замечает Асмус, «всякий, кто в объяснении Спинозы не идет дальше параллелизма, обязательно должен согласиться с Петцольдом» (1929, с. 54). Асмус видит заслугу Петцольда в том, что, «заострив свои выводы, он показал абсурдность всех идеологических интерпретаций спинозизма» (там же).

Пожалуй, значение интерпретации Фишера и Петцольда имеет и другую положительную сторону. Самая возможность такого истолкования Спинозы заставляет обратить внимание на замечательный факт, который до сих пор не нашел еще должной оценки: уже в первом наброске спинозистского учения о страстях в «Кратком Трактате...» нет ничего из декартова «Трактата о Страстях...»[68] в его принципиальном содержании, а есть нечто совершенно новое. Сама проблема повернута у Спинозы совсем другой стороной. Если у Декарта проблема страстей выступает прежде всего как проблема физиологическая и проблема взаимодействия души и тела, то у Спинозы эта же проблема выступает с самого начала как проблема отношения мышления и аффекта,

понятия и страсти. Это в полном смысле слова другая сторона луны, которая остается невидимой на всем протяжении учения Декарта. Уже одно это заставляет признать, что принципиальное содержание даже первоначального наброска Спинозы и «Трактат о Страстях...» его учителя не только не совпадают, но обнаруживают самые глубокие различия, какие только возможны при подходе к одной проблеме с двух противоположных концов.

В этом отношении учения Декарта и Спинозы полярны. Они действительно представляют собой два противоположных полюса единой проблемы, которые, как мы увидим дальше, всегда противостояли друг другу, на всем протяжении истории психологической мысли. Такая же поляризация научных идей составляет и основное содержание современной борьбы психологических направлений в учении о страстях. Если выразить это положение в понятиях и терминах современного исторического периода психологии, можно сказать, что в расхождении «Краткого Трактата...» и «Трактата о Страстях...» наметилось со всей определенностью то расхождение между натуралистическим и антинатуралистическим направлениями в учении об аффектах, между объяснительной и описательной психологией эмоций, которое представляет собой самое основное и центральное расхождение, разделяющее сейчас психологическую мысль на две непримиримые части. В этом расхождении Декарт стоял на стороне натуралистической и объяснительной, Спиноза — на стороне антинатуралистической и описательной психологии.

Раскрытие конкретного смысла и значения выдвигаемого нами положения будет дано в дальнейшем ходе нашего исследования. Можно даже сказать, что это составит основной его стержень, ибо без выяснения истинной противоположности между картезианской и спинозистской психологией аффектов нет и не может быть ни правильного понимания учения Спинозы в его отношении к современной психоневрологии, ни верного представления о ближайших путях развития самой науки о сознании человека.

Но уже сейчас нельзя не сказать, что в намеченном нами положении содержится нечто, что не может не показаться на первый взгляд крайне парадоксальным. На деле парадоксальность заключается в объективном положении вещей, а не в формулировке наших мыслей. Действительно, есть нечто парадоксальное в том, что имя Декарта связывается с естественнонаучным, каузальным, объяснительным, наиболее материалистическим по своим стихийным тенденциям направлением психологической мысли, а имя Спинозы — с феноменологическим, описательным, идеалистическим течением современной психологии. Но это действительно так. В известных отношениях сказанное соответствует объективному положению вещей, которое мы должны констатировать, и в этом констатировании заключается та доля истины, которая содержится в истолковании Фишера и Петцольда. Объяснение парадоксальности мы будем искать ниже, но уже сейчас отметим тот факт, что учение Спинозы о страстях началось не с

продолжения и развития картезианских идей, а с разработки той же проблемы с противоположного конца. Факт сам по себе немаловажный, выясняющий происхождение и общую оценку спинозистского учения. Не менее замечательно и то, что Спиноза с самого начала выдвигает в центр проблемы ту ее сторону, которая, как другая сторона луны, была невидимой для всех натуралистических учений в психологии и которая из-за этого почти на всем своем историческом пути разрабатывалась чаще всего с идеалистической точки зрения.

Может быть, именно потому, что центром спинозистского учения с самого начала сделалась проблема, которая резче других разделила идеалистические и материалистические течения в психологии, это учение сохранило до сих пор не историческое только, но живое значение, так что, обсуждая его, все время приходится вращаться в сфере самых острых и актуальных проблем современной психологии. Ведь задача истинного материализма заключается не в том, чтобы обходить проблемы, выдвигаемые идеалистической мыслью, и прятать от них голову в песок, подобно страусу, объявляя их несуществующими. Задача заключается в том, чтобы те же самые проблемы разрешить материалистически. В этом и состояла прямая историческая задача Спинозы. И здесь лишний раз оправдывается известное замечание о том, что умный идеализм стоит гораздо ближе к истинному материализму, чем глупый материализм.

К какому бы решению этого вопроса мы ни пришли в дальнейшем и какое бы объяснение ни нашли указанной выше парадоксальности, уже сейчас мы можем сделать прочный и, по-видимому, достоверный вывод, обратный выводу Фишера. Мы можем утверждать, что уже с самого возникновения учения Спиноза вполне следует за Декартом, трудом которого о страстях он, очевидно, руководствовался исключительно в методическом обосновании аффектов, во внешнем расположении их описания, в порядке классификации. Его самостоятельность и оригинальность обнаружились с самого начала в принципиальном противопоставлении своей идеи картезианской. Уже в «Кратком Трактате...» Спиноза не только не был картезианцем, развивающим и преобразовывающим систему учителя и распутывающим ее противоречие, но и сразу выступил как антикартезианец. Еще отчетливее антикартезианское острие спинозистского учения выступает в «Этике».

В предисловии к «Учению о происхождении и природе аффектов»[69] Спиноза противопоставляет свою точку зрения не только тем, которые «писали об аффектах и образе жизни людей и говорили, по-видимому, не о естественных вещах, следующих общим законам природы, но о вещах, лежащих за пределами природы, и представляли человека в природе как бы государством в государстве, веря, что человек скорее нарушает порядок природы, чем ему следует, что он имеет абсолютную власть над своими действиями и определяется не иначе, как самим собой.

Хотя среди всех, писавших об аффектах, были и выдающиеся люди, написавшие много прекрасного, тем не менее природу и силу аффектов и то, насколько душа способна умерять их, никто, насколько я знаю, не определил. Правда, славнейший Декарт, хотя он и думал, что душа имеет абсолютную власть над своими действиями, старался, однако, объяснить человеческие аффекты из их первых причин и вместе с тем указать тот путь, следуя которому душа могла бы иметь абсолютную власть над аффектами. Но, по крайней мере по моему мнению, он не выказал ничего, кроме своего великого остроумия, как это я и докажу на своем месте» (Спиноза, 1933, с. 81).

Так сам Спиноза понимал отношение своего учения к системе Декарта. В своем учении о страстях Спиноза сознательно стремился развить противоположную и исключающую точку зрения, которая доказала бы, что в знаменитом «Трактате» Декарта не выказано ничего, кроме великого остроумия его автора. После этого едва ли может остаться хотя бы тень сомнения в том, что оригинальность спинозистского учения сказалась не в методическом обосновании аффектов, а в принципиальном содержании.

В предисловии к «Учению о могуществе разума, или о человеческой свободе»[70] Спиноза снова со всей остротой противопоставляет свою мысль картезианской. Декарт, заявляет Спиноза, немало благоприятствует своим учением о взаимодействии души и тела посредством шишковидной железы тому ложному мнению, что аффекты абсолютно зависят от нашей воли и что мы можем безгранично управлять ими. Спиноза говорит, что он не может «достаточно надивиться тому, как философ, строго положивший делать выводы только из начал, которые достоверны сами по себе, и утверждать только то, что познает ясно и отчетливо, и так часто порицавший схоластиков за то, что они думали объяснить темные вещи скрытыми свойствами, как этот философ принимает гипотезу, которая темнее всякого темного свойства» (там же, с. 194). Возражая против этого учения Декарта, Спиноза заключает: «Наконец, я уже не говорю о том, что Декарт утверждал относительно воли и ее свободы, так как выше я достаточно показал, что все это ложно» (там же).

Как видим, здесь Спиноза противопоставляет свою точку зрения картезианской именно в том пункте, который Фишер выдвигает в качестве критерия для суждения о том, что Спиноза был и остался картезианцем: в учении о психофизической природе аффекта. Здесь мы видим часто повторяющийся в истории психологии случай, который обсуждает Г. Геффдинг[71] по отношению к исследованию чувств И. В. Нагловским[72] (J. Nahlovsky, 1862), психологом гербертовской школы[73]. «Здесь видно,— говорит автор,— как спиритуалистическая теория об отношении между телом и душой может вмешиваться в специальный психологический вопрос» (Г. Геффдинг, 1904, с. 186). Эти слова полностью и целиком применимы к рассматриваемому сейчас спору Спинозы с Декартом, который является как бы прототипом всех

тех споров в психологии эмоций, в которых спиритуалистическая теория об отношении между телом и душой вмешивается в решение специального психологического вопроса.

Нам думается, что сказанного вполне достаточно для выяснения первого интересующего нас вопроса о мнимом картезианстве Спинозы. Мы нашли верное отношение обоих учений, вскрыв их внутреннюю противоположность. Подобно тому как позже Гегель развил метафизические и рационалистические основы спинозистской философии, давая единственно возможное опровержение спинозизма, т. е. превращая субстанцию Спинозы в абсолютную идею, в абсолютный дух, и таким образом представил антитезу к спинозистскому учению, так в свое время Спиноза представил антитезу по отношению к Декарту, но антитезу материалистическую. За вскрытым нами отношением между двумя философскими учениями стоит тысячелетняя борьба двух основных направлений философской мысли — идеализма и материализма, борьба, которая нашла в этом случае наиболее полное и конкретное выражение в решении, казалось бы, специального психологического вопроса, имеющего, однако, высочайшее принципиальное значение.

Несмотря на невыясненность ряда важнейших моментов в генезисе спинозистского учения о страстях, несмотря на серьезные внутренние противоречия этого учения, все же в главном и основном оно выступает перед нами как учение, целиком противоположное картезианскому учению о страстях. Это должно послужить исходной и заключительной точками — альфой и омегой — всего нашего исследования. Оба учения противоположны друг другу, как только могут быть противоположны истина и заблуждение, свет и тьма: это и требуется доказать. Иное впечатление может возникнуть, правда, благодаря тому что оба мыслителя разрабатывают одну и ту же проблему и как бы с одной и той же конечной целью — разрешить проблему человеческой свободы. Но, как мы видели, сам Спиноза возражает в первую очередь против картезианского учения о свободе воли. Он говорит в одном из писем: ты видишь, что свободу я усматриваю не в свободном решении, а в свободной необходимости. И в самом деле, стоит только раскрыть понятие свободы у Декарта и Спинозы, для того чтобы увидеть: они совершенно отличны друг от друга и, говоря языком Спинозы, могли бы иметь сходство между собой только в названии, подобно тому как сходны между собой небесное созвездие Пес и пес — лающее животное[74].

Между тем эту противоположность плохо осознают еще многие историки психологии, в частности историки, анализирующие теорию Джемса и Ланге. Эти историки, основываясь на мнении, которое, согласно гносеологии Спинозы, подвержено заблуждению и никогда не имеет места там, где мы убеждены, но лишь там, где речь идет о догадке и мнении, часто называют Декарта и Спинозу рядом и совместно друг с другом, как истинных родоначальников органической теории аффектов. Как

все, пользующиеся этим первым и неадекватным родом познания, они, по выражению Спинозы, знают о предмете столько же, сколько слепой о цветах.

Но в сопоставлении двух великих имен есть и свой смысл, когда речь идет об исторической судьбе современного научного знания об аффектах, однако не тот, который обычно вкладывается в это сопоставление. Менее всего, как показано выше, Спиноза мог быть, наряду с Декартом, родоначальником господствовавшего в течение последнего полустолетия научного взгляда на природу человеческих эмоций. Этот взгляд может быть признан или картезианским, или спинозистским. Тем и другим одновременно он не может быть по самой природе вещей. И если мы в настоящей главе выдвинули тезис, который нам предстоит доказать, что теория Джемса—Ланге связана вовсе не с учением Спинозы о страстях, а с идеями Декарта и Мальбранша, то тем самым мы защищаем мысль о том, что эта теория антиспинозистская. Но было бы совершенно бесплодно и лишено всякого смысла уделять столько внимания в исследовании судьбы спинозистского учения в современном научном знании этой теории, как мы сделали, если бы в результате мы могли констатировать только то, что данная теория не имеет ничего общего с рассматриваемым учением.

Именно из-за того, что теория Джемса—Ланге может рассматриваться как живое воплощение картезианского учения, исследование ее истинности и исторической судьбы не может не стоять в начале исследования спинозистского учения о страстях. Как мы видели, в самом начале развития этого учения и в его центре стоит борьба против картезианской идеи. То, что произошло в психологии эмоций за последние полвека и что мы пытались рассмотреть в предыдущих главах, представляет собой не что иное, как историческое продолжение той борьбы, прототип которой мы усматриваем в противоположности обоих учений—картезианского и спинозистского. И так же точно, как без выяснения этой противоположности невозможно правильно понять спинозистское учение, без выяснения судьбы антиспинозистских идей в психологии аффектов невозможно правильно определить историческое значение спинозистской мысли для настоящего и будущего всей психологии.

Подобно тому как Спиноза не думал, что нашел лучшую философию, но знал, что познал истину, так в борьбе современных психологических теорий мы стараемся найти не ту, которая больше отвечает нашим вкусам, более удовлетворяет нас и потому кажется нам лучшей, но ту, которая более согласна со своим объектом и тем самым должна быть признана более истинной, ибо цель науки, как и цель философии, есть истина. Истина же есть свидетельство самой себя и заблуждения. Освещая исторические заблуждения психологической мысли, мы тем самым прокладываем путь к познанию истины о психологической природе человеческих страстей.

11

Нам предстоит сейчас выяснить, действительно ли теория Джемса—Ланге берет начало из учения Декарта о страстях. Иначе говоря, нам предстоит раскрыть картезианскую сущность этой теории. Таким образом, мы надеемся за борьбой конкретных и специальных психологических гипотез раскрыть принципиальную борьбу различных философских воззрений на природу человеческого сознания, в частности борьбу картезианской и спинозистской идей в живом современном научном знании.

Мысль, что не Спиноза, а Декарт действительный родоначальник висцеральной теории эмоций, начинает все глубже и глубже проникать в современную психологию, хотя и не осознается в ее истинном значении. Ей обычно приписывают значение лишь фактического корректива, поправки к тезису об исторической связи, существующей между гипотезой Джемса—Ланге и учением Спинозы о страстях, но не свойственное ей в действительности значение, состоящее в изменении всей принципиальной оценки философской сущности нашей теории. Мысль о том, что эта теория уже из-за происхождения и методологического основания является картезианской и тем самым не может быть признана спинозистской, целиком чужда современной психологии.

Таким образом, если психология осознала ошибочность того традиционного мнения, с изложения которого мы начали наше исследование и согласно которому предшественником Джемса и Ланге является Спиноза, то это осознание должно быть признано лишь частичным и недостаточным. Ошибочность этого мнения видят обычно в том, что наряду со Спинозой и вместе с ним среди предшественников нашей теории должен быть назван и Декарт. Никто еще, насколько нам известно, не высказал той мысли, что периферическая теория эмоций, будучи картезианской по сущности, в силу одного этого факта является антиспинозистской. Именно поэтому ряд исследователей, как уже упоминалось выше, называют Декарта рядом со Спинозой в качестве основоположников рассматриваемого учения.

Так, Титченер, перечисляя предшественников периферической теории эмоций, говорит, что у Декарта и Спинозы встречаются определения в том же направлении. Он ссылается на исследование Д. Айронса (D. Irons, 1895), выясняющее зависимость новых теорий эмоций от Декарта. В нем Айронс едва ли не первым пришел к установлению объективно правильного вывода о том, что теория Джемса представляет собой в современном научном знании ту самую идею, которую Декарт защищал более чем за 200 лет до возникновения новой гипотезы. Что бы ни говорили в наше время о современной науке, «Трактат о Страстях...», по словам Айронса, позволяет сравнивать изложенное в нем учение со всем тем, что было сделано за последние годы. Трудно найти трактат об эмоциях, который превосходил бы ее по оригинальности, глубине, внушительности. Декарт стоит на той же позиции, что и

Джемс, но он не удовлетворяется тем, чтобы в общих словах поддерживать мнение, что эмоция вызывается физическим изменением. Придя к заключению о существовании шести первоначальных страстей, он пытается доказать, что имеется специальное целое органических состояний, содействующих возникновению каждой из них.

Вслед за Айронсом[75] Ж. Ларгие де Бансель[76] утверждает, что теория Джемса — Ланге уже сполна содержится в учении Декарта. По замечанию Т. Рибо[77], с тех пор как была развита теория Ланге и Джемса, были взяты назад некоторые несправедливые нападки на мысли Декарта, высказанные им в трактате «Страсти Души» (Т. Рибо, 1897, с. 106—107). Таким образом, Рибо верно отмечает, что висцеральная теория эмоций не только явилась научным воплощением картезианского учения, но и привела к воскрешению и реабилитации этого учения перед судом научной мысли. Теория Джемса — Ланге воскресила в современном научном сознании старое и несправедливо осужденное картезианское учение, превратив его в эмпирически доказанное положение и поставив его тем самым в центр научной психологии эмоций. Так можно было бы сформулировать мысль Рибо. По его словам, преимущество Джемса и Ланге состоит в том, что они ясно изложили учение Декарта, постаравшись укрепить его экспериментальными доказательствами.

Более точные исторические исследования показали, что в смысле идейного генезиса теория Джемса — Ланге обнаруживает помимо прямой связи с учением Декарта еще и связь через позднейших представителей картезианства, развивших и доведших до логического конца идеи учителя. В первую очередь здесь называется имя Мальбранша, с теорией которого гипотеза Джемса — Ланге действительно обнаруживает несомненное совпадение в основных и существенных чертах. В сущности говоря, имя Мальбранша в этом отношении, как предшественника органической теории эмоций, ни в какой мере не может быть противопоставлено Декарту. Напротив, совпадение эмпирической научной теории Джемса — Ланге с теорией эмоций Мальбранша делает еще более несомненной и явной ее связь с Декартом и лишний раз обнаруживает ее картезианскую сущность.

Ж. Дюма, как мы видели, правильно выяснивший антианглийскую, антиэволюционную тенденцию теории Ланге, называет его позднейшим учеником французских приверженцев механистического мировоззрения. Разложение радости и печали на двигательные и психические явления, устранение призрачных сущностей, неясно определенных сил — все это сделано по традиции Мальбранша и Спинозы. В сочинении первого «Об исследовании истины» Ланге отыскал свою вазомоторную теорию и приводит это место с явным удивлением. Он мог бы найти там и другие столь же ясные места, подтверждающие его анализ психических и двигательных элементов эмоции.

Мальбранш называет страстями все эмоции, которые душа

естественно испытывает в случае необычайных движений жизненных духов и крови.

Устраните теологическое выражение об отношениях между телом и душой — и вы получите, в сущности, теорию Ланге: эмоция есть только сознание нервно-сосудистых изменений.

Это сравнение можно было бы провести гораздо далее и без особенного труда доказать, что, несмотря на различие языка, тот же дух присущ как картезианскому философу, так и датскому физиологу. Даже своими ошибками, отмечает Дюма далее, Ланге напоминает картезианцев. Его слишком суровая критика Дарвина и эволюционной психологии есть не что иное, как сознательное или бессознательное отвращение, которое всякий последователь механистического мировоззрения, в том числе и Декарт, естественно питает к историческим объяснениям.

В этом положении Дюма, думается нам, устанавливается нечто значительно большее, чем простое совпадение конкретного эмпирического содержания теории Ланге и теории Мальбранша. Само это совпадение в описании психофизиологического механизма эмоциональной реакции является не первичным фактом, а зависимым и производным. Оно вытекает как необходимое следствие того, что одно и то же механистическое и антиисторическое мировоззрение в науке одушевляет картезианского философа и датского физиолога. Как стремление объяснить психологию страстей чисто механистическим образом, так и сознательное или бессознательное отвращение к историческим объяснениям оба — и картезианский философ и датский физиолог — одинаково унаследовали от Декарта, этого истинного отца механистического мировоззрения в современной науке, и в частности в психологии.

Таким образом, Дюма едва ли не впервые сводит вопрос о связи между теорией Джемса — Ланге и картезианским учением о страстях не к выяснению того, как совпадают оба учения в конкретных определениях и описаниях самого психофизиологического механизма эмоций и фактического представления о его устройстве и деятельности, но к раскрытию общей методологической основы, общего научного мировоззрения, общей философской природы этих учений, отделенных друг от друга более чем двумя столетиями. Самое совпадение конкретных определений и фактических описаний эмоционального механизма только результат, только необходимое следствие этого общего для обеих теорий философского духа.

Такую постановку вопроса, думается нам, следует принять целиком. Независимо от того, какими конкретными историческими и биографическими путями могла осуществиться в действительности эта связь между родоначальниками механистического мировоззрения и создателями научной теории, независимо от того, в какой мере сами создатели теории осознавали и принимали духовное и идейное родство своего детища с трактатами Декарта и Мальбранша, их теория объективно является научным воплощением картезианского духа и должна рассматриваться как таковое.

Только идя этим путем, мы можем прийти к правильной постановке вопроса об отношении определенной философской системы к конкретной научной концепции и найти общий знаменатель, который позволяет исследовать их внутреннюю зависимость. Общим знаменателем между какой-либо философской системой и конкретной эмпирической гипотезой всегда оказывается, как и в данном случае, научное мировоззрение, заложенное во всяком более или менее обширном обобщении, сколько-нибудь поднимающемся над уровнем простого констатирования и описания фактов. По известному выражению Энгельса (см.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 366), хотят того естествоиспытатели или нет, но ими всегда управляют философы. Вскрыть управляющую всем построением теории Джемса — Ланге философскую идею и значит найти верный путь для выяснения ее связи с одной из двух внутренне противоположных философских систем.

В выводах Дюма содержится еще одно положение первостепенной важности. Оно устанавливает, в противоположность первому, точки расхождения между старым философским учением и его позднейшим научным воплощением. В первую очередь Дюма констатирует различие языка, на котором говорят Мальбранш и Ланге. Само по себе различие относится как раз к области фактического описания эмоционального механизма. Описание, мы уже сказали, следует рассматривать как результат совпадения в методологических предпосылках того и другого автора. Совершенно естественно, что если одна и та же идея направляла и картезианского философа, и датского физиолога, то она и приводит обоих исследователей к сходному и почти тождественному описанию механизма эмоциональной реакции на языке физиологии, современной каждому из ученых. Но за этим стоит и нечто большее, чем только различие языка,— различие конкретных физиологических представлений. В этом случае можно было бы ограничиться, как делает Дюма, простым переводом с одного языка на другой и заменить движение жизненных сил Мальбранша нервно-сосудистыми изменениями Ланге. Но, проделывая такой перевод, мы не только подставляем на место старых физиологических представлений XVII в. воззрения XIX в., современные Ланге, но и допускаем некоторое принципиальное изменение в самом духе старого учения. Для того чтобы перевод был возможен, необходимо, по выражению Дюма, устранить теологическое выражение об отношениях между телом и душой. Только проделав эту операцию над положением Мальбранша, мы получим теорию Ланге. Но проделать ее — значит не только заменить одни слова другими, но и внести существенные изменения в самую мысль, выраженную в старых словах.

Таким образом, Дюма, отмечая отличие нового и старого учения, указывает наряду с фактическими расхождениями и расхождения принципиального характера, как он это сделал при выяснении точек совпадения обоих учений. В этом смысле Дюма сохраняет во всей чистоте единственно возможную и единственно

правильную постановку вопроса. Вместе с тем он намечает во всей полноте совокупность тех проблем, с которыми сталкивается исследователь, желающий раскрыть действительное отношение между картезианским учением о страстях и органической теорией эмоций. Оба положения, выдвинутые Дюма,— совпадение и расхождение рассматриваемых теорий — получили развитие в позднейшей литературе. То и другое имеет свою фактическую и свою принципиальную сторону. При этом первая не может рассматриваться иначе, как результат второй. Если между обоими учениями существует совпадение или расхождение в каком-либо существенном для каждого из них фактическом положении, то за этим всегда следует искать совпадения или расхождения тех же учений в каком-либо из принципиальных оснований, если, разумеется, мы не имеем дела с определенным частным заблуждением мысли, с ошибкой логического или фактического характера.

Мы ограничимся в рассмотрении дальнейшего развития положения Дюма только главнейшими представителями этих исторических исследований, так как их выводы могут нас заинтересовать лишь в той мере, в какой они послужат для выяснения задач нашего исследования. К выводам, сходным с положением Дюма о совпадении философского духа обоих учений, приходит огромное большинство исследователей. Существенно важно при этом, что связь между учениями всегда выступает как связь через общее механистическое мировоззрение. В частности, именно эту связь как основную выдвигает Д. Бретт[78], исследуя историческое развитие теории эмоций.

«Декарт,— говорит этот автор,— страстно желающий развить свою физиологию, оживил метод Аристотеля, уподобившего животных машинам, которые движутся внутренними силами так, как приводятся в движение марионетки с помощью проволоки. Это был легкий путь для того, чтобы избегнуть многих трудных проблем и открыть возможность свед́ения эмоций к законам механики. Динамика расширения и сокращения казалась адекватной для объяснения аффективных или пассивных состояний. Эта точка зрения стала быстро распространяться, потому что вся теория была связана по времени с ясностью и отчетливостью идей, формулированных Галилеем. Это было обманчивое упрощение, но упрощение такого рода, которое часто принимается с большим успехом. Оно легко могло быть соединено с формулами, которые сохранились в аристотелевской традиции. Гоббс, воодушевленный Галилеем, стремился свести все психические явления к различным родам движений и воспроизвел дословно свой собственный перевод аристотелевской «Риторики». Мальбранш, отравленный картезианским вином, подчеркивал роль сокращения и расширения с такой настойчивостью, что был объявлен предшественником Джемса и Ланге,— открытие не весьма замечательное, если вспомнить, что Ланге сам ссылается на Мальбранша как на человека, действительно предвосхитившего его теорию. Она остается бесплодной теорией, свидетельством тщетности всех попыток

свести психический опыт к искусственным построениям механики» (D. S. Brett, 1928, p. 392).

Д. Бретт, таким образом, приходит в сущности к тому же выводу, что и Дюма, как в отношении прямой связи, имеющейся между картезианским вином и полустолетним опьянением психологической мысли — знаменитым парадоксом, так и в отношении того, что лежит в основе этой связи: грандиозной всеохватывающей идеи объяснения всего существующего, в том числе и человеческих страстей, с помощью механических законов. Другую сторону выводов Дюма развивают из более старых авторов Геффдинг, из современных — Денлап. Первый освещает преимущественно принципиальную сторону расхождения старой и новой теорий, Денлап — вытекающее из нее фактическое их разногласие.

Г. Геффдинг указывает на обратное отношение, существующее между качеством чувства и силой сопровождающих его органических изменений. При сильном душевном волнении качественная особенность чувства часто отпадает и уступает место общей возбужденности. Состояние, которое сначала обусловливалось главным образом характером раздражения, события или представления, теперь зависит исключительно от органических воздействий на мозг. Оно начинается идейно, но кончается чувственно. Во многих случаях при самонаблюдении можно различить две стадии возникновения чувства: первую, когда ясно обнаруживается влияние познавательных элементов и отсюда особенное качество чувства, и вторую, соответствующую органическому воздействию на головной мозг. Между тем нет основания, как делали некоторые авторы спиритуалистического лагеря, резко разделять эти две стадии, предполагая, что только последняя, но не первая, связана с физиологическими состояниями. Так, Декарт и Мальбранш описывали этот кругооборот как взаимодействие души и тела. В новейшее время, в полную противоположность спиритуалистическому взгляду, утверждают, что при всяком душевном волнении действительно даны только ощущения, соответствующие воздействию органов на головной мозг (Г. Геффдинг, 1904, с. 227).

Г. Геффдинг имеет в виду при этом теорию Джемса — Ланге, которую он считает невероятной на основании того, что в некоторых случаях наблюдается развитие чувства путем нескольких стадий. Он возражает и против того довода Ланге, что душевные волнения могут вызываться не только представлениями, но и чисто физическими средствами. Но ведь не все равно, полагает Геффдинг, сказываются ли в чувстве какие-то представления или нет. В первом случае чувство получает четкий характер и направление, во втором это только неопределенный процесс раздражения. Для самонаблюдения это различие имеет большое значение, хотя оно не бросается в глаза постороннему человеку.

Таким образом, сам Геффдинг исходит из положения, скорее противоположного гипотезе Джемса — Ланге, чем сходного с ней.

В то время как эта гипотеза сводит все чувство к чувственным ощущениям, Геффдинг устанавливает между ними обратное отношение: «...чем сильнее элемент чувства, тем больше исчезает собственно чувственно воспринимающий или познающий элемент... В своих самых элементарных формах чувство определяется главным образом силою раздражения и степенью, с какой оно вмешивается в ход органической жизни. Так это бывает особенно с раздражениями, вызывающими инстинктивные движения. Их качественная особенность затмевается чувственным побуждением и пылом, который они возбуждают. Но где качественная особенность ощущения может проявляться в такой силе, которая под стать органу чувств, там чувство соответственно ощущению получает определенную форму и характер. Что оно теряет в силе, то выигрывает в богатстве и разнообразной нюансировке, а также в независимости от непосредственной борьбы за существование. Та же самая сумма энергии, которая в чувстве жизни сосредоточивается на ее едином вопросе «быть или не быть», на органическом благосостоянии, распределяется качественными чувствованиями и разносится разными течениями. Поэтому выигрыш и проигрыш чувствования от качественного дифференцирования находится в зависимости от того, растет ли энергия жизни чувствований, взятая в целом, вместе с ее качественной нюансировкой» (Г. Геффдинг 1904, с. 196).

Подчеркивая психически познавательный момент как играющий главную роль в развитии чувствований от элементарных форм к высшим и отмечая убывание значения чисто органического момента, Геффдинг стал одним из тех, кто с самого начала занял в борьбе вокруг новой теории определенную позицию ее противника. К этим его соображениям нам еще придется вернуться в дальнейшем. Вместе с тем Геффдинг не может не констатировать, что теория Джемса — Ланге — полная противоположность спиритуалистическому взгляду Декарта и Мальбранша, которые описывали кругооборот страсти как взаимодействие души и тела. Легко видеть, что Геффдинг имеет в виду то же самое расхождение обоих учений, о котором говорил и Дюма, понимавший необходимость устранить теологический взгляд на отношение между душой и телом для того, чтобы от формулы Мальбранша можно было перейти к формуле Ланге. Таким образом, назван второй, на этот раз разделяющий обе теории, принцип научного мировоззрения: спиритуалистический взгляд на взаимодействие души и тела в механизме страсти, теологическая концепция психофизической проблемы эмоций. Вместе с названным раньше механистическим принципом он образует все методологическое основание картезианского учения о страстях.

Но так же точно, как из общей тенденции механистического объяснения страстей с неизбежностью вытекает совпадение картезианского учения с органической теорией в фактическом описании психофизического механизма эмоциональной реакции, из их принципиального расхождения во взглядах на психофизическую

природу эмоций вытекает как необходимый результат расхождение и в конкретном фактическом описании строения и хода эмоционального процесса. Только что описанную сторону дела особенно подчеркивает в последнее время, как уже сказано, Денлап, который видит в этом существеннейшем пункте противоположность учения Декарта и учения Джемса и склонен обвинять новую центральную теорию эмоций в возвращении к картезианской точке зрения.

«Джемс думал, что Г. Мюнстерберг[79] покончил со старой, предложенной Декартом теорией, согласно которой афферентные токи возбуждают интеллектуальные процессы, а эфферентные вызывают страсти души. По-видимому, Джемс ошибался» (K. Danlap, 1928, p. 154). По мнению Денлапа, старая теория возрождается в новом учении, противопоставляющем периферической гипотезе центральную гипотезу происхождения эмоций. Этот вопрос, говорит Денлап, есть водораздел, который отделяет картезианскую теорию (полагающую, что эмоция возникает благодаря процессам разряда, берущим начало от мозга, т. е. благодаря иннервационным ощущениям в старом смысле), с одной стороны, и теорию Джемса—Ланге (которая рассматривает эмоцию, так же как и восприятие, в качестве результата периферических ощущений)—с другой (ibid., p. 159—160).

К. Денлап принадлежит к числу тех последователей органической теории, которые пытаются преобразовать ее, так чтобы привести ее в согласие с новыми фактами. Он полагает, что при правильном истолковании новых фактов, выдвигаемых обыкновенно в качестве аргумента против этой теории, мы сумеем в них видеть скорее ее подтверждение, чем опровержение. Денлап признает, что Джемс никогда не принимал в полной мере собственной теории и не только придерживался психофизического параллелизма, но и сохранил немало духовных чувствований, которые он не хотел подчинять грубой телесной обусловленности. Как и другие последователи органической теории, Денлап справедливо подчеркивает фактическое расхождение картезианской и периферической теорий, и к нему полностью относится то, что сказано Ч. Спирменом[80] по поводу другой попытки воскресить теорию Джемса—по поводу теории Мак-Дауголла. Спирмен называет не только непосредственных предшественников этой теории—Уорда, Джемса и других, но и прямого ее родоначальника—Мальбранша (C. E. Spearman, 1928, p. 40).

К. Денлап действительно пытается сохранить теорию Джемса—Ланге, рассматривая эмоцию как динамический фон всех психических процессов. Вопрос относительно висцеральных изменений не кажется ему важным для психологии, поэтому новую теорию он склонен рассматривать как дальнейшее анатомическое развитие теории Джемса—Ланге. Денлап ставит себе в заслугу, что он предсказал на основе этой теории открытое впоследствии лабораторным путем единообразие висцеральных изменений при определенных эмоциональных состояниях. Все эмоции, с которы-

ми имел дело Кеннон, представляют собой возбуждающие эмоции, поэтому они необходимо должны иметь между собой больше сходства, чем различия (K. Danlap, 1928, p. 159).

Как бы то ни было, но результаты исследования Денлапа не могут не быть учтены при решении интересующего нас вопроса. Эти результаты представляются нам двойственными. С одной стороны, Денлап, поскольку он сохраняет в основном положение периферической гипотезы, сам опьянен, по выражению Бретта, картезианским вином, хотя и не сознает этого, с другой — он указывает на существенный пункт, в котором защищаемая им гипотеза противостоит со всей остротой картезианскому учению. К этому пункту — к проблеме иннервационных ощущений — мы должны будем еще вернуться в ходе нашего исследования, сейчас же мы хотели бы только отметить, что это, несомненно, существующее объективное расхождение между гипотезой Джемса и учением Декарта — прямое следствие принципиального расхождения обоих учений, на которое указал Геффдинг. В самом деле, нельзя не видеть, что делаемое Декартом допущение о возможности возникновения эмоций центробежным путем стоит в непосредственной зависимости от всей его концепции психофизического кругооборота страсти, концепции, в основе которой лежит спиритуалистический взгляд на отношения между душой и телом.

Этого вывода для нас сейчас достаточно, поскольку он завершает ряд проблем, стоящих перед этой частью нашего исследования. Мы могли бы собрать весь ряд воедино. Он охватывает две основные проблемы, из которых каждая распадается надвое — на принципиальную и фактическую части. В целом эти четыре вопроса, которые мы могли извлечь из изучения источников, исчерпывают в основном весь круг проблем, связанных с выяснением истинного отношения между картезианским учением и отмирающей на наших глазах психологической теорией. Вот этот ряд: механистический принцип объяснения эмоций — фактическое описание психофизиологического механизма эмоциональных реакций; спиритуалистическая концепция психофизической природы эмоций — вопрос о возникновении эмоции центробежным путем. Первые два элемента нашего ряда общи обоим учениям, вторые разделяют их.

Мы могли бы на этом закончить ту главу нашего исследования, единственной задачей которой является конкретная постановка проблемы идейной связи картезианского учения и теории Джемса — Ланге. Мы нашли все то, что искали. Но прежде чем заключить настоящую главу, мы считали бы нужным остановиться на мнении самих авторов этой теории о ее духовных предках.

У. Джемс, как мы видели раньше, не признавал их вовсе. Можно считать, хотя он нигде не говорит прямо, что он, во-первых, мало задумывался над философской сущностью своей гипотезы и, во-вторых, склонен был противопоставлять ее как эмпирическую научную концепцию всем метафизическим философским концепциям, существовавшим прежде. В этом отношении

он не делал различия даже между противоположными философскими учениями о страстях. Он отвергал их в одинаковой мере и не допускал мысли о том, что они могут иметь хоть какое-либо значение для судьбы развиваемой им гипотезы. Он говорит, что чисто описательная литература по интересующему его вопросу, начиная от Декарта и до наших дней, представляет самый скучный отдел психологии. Свою гипотезу Джемс противопоставляет всем старым теориям, вместе взятым, в которых он не видит никакого руководящего начала, никакой основной точки зрения, никаких логических обобщений. Он обвиняет старую литературу в том, что она рассматривала каждую из эмоций как какую-то вечную, неприкосновенную духовную сущность, наподобие видов, считавшихся когда-то в биологии неизменными.

Если к этому прибавить, что Джемс возражал против материалистического истолкования своей гипотезы и что он не без колебания соглашался признать принципиальное отличие психологической природы тонких эмоций от грубых, мы получим почти все сказанное Джемсом по поводу методологических основ его гипотезы. Как видим, это все есть весьма немногое. Методологическая беспечность Джемса стоит в прямой связи с общим направлением, которого он придерживался в психологии, и может быть обозначена как радикальный эмпиризм. В его глазах психология представляет собой не что иное, как «кучу сырого фактического материала, порядочную разноголосицу во мнениях, ряд слабых попыток классификации и эмпирических обобщений чисто описательного характера... Но ни одного закона в том смысле, в каком мы употребляем это слово в области физических явлений, ни одного положения, из какого могли бы быть выведены следствия дедуктивным путем... Короче, психология — еще не наука, это нечто, обещающее в будущем стать наукой» (У. Джемс, 1902, с. 412—413).

Таким образом, Джемс относился к психологическому исследованию как к собранию кучи сырого фактического материала и эмпирических обобщений описательного характера. В этом отношении он, по-видимому, не делал исключения и для своей теории эмоций. Поэтому он остался слеп к ее философской сущности и идейному происхождению. Он нигде не указывает на то, что ему были известны совпадения его гипотезы с картезианским или каким-либо другим философским учением — ни в смысле принципиального тождества ее оснований, ни в смысле фактического констатирования эмоционального механизма.

В этом отношении Ланге, анатом и физиолог, оказался прозорливее Джемса, философа по профессии и по призванию. Однако и прозорливость Ланге не дала ему возможности до конца осознать свою зависимость от философских учений прошлого. Но от его внимания не ускользнуло, что в этих учениях содержится описание эмоционального механизма, совпадающее с его собственным. Он пишет: «Замечательно, что уже 200 лет тому назад удалось создать полную вазомоторную теорию о телесных прояв-

лениях эмоций. Это сделал Мальбранш. С принципиальностью гения он открыл истинную связь между явлениями в такое время, когда только еще зарождались физиологические знания, когда не знали ни сосудистых мышц, ни сосудистых нервов» (Г. Ланге, 1896, с. 86).

Приведя объяснение эмоций, в котором Мальбранш следует за Декартом, Ланге заключает: «Переведенная на язык современной физиологии теория Мальбранша означает, что каждое сильное эмоциональное впечатление повышает вазомоторную иннервацию, а через это вызывается сужение артерий. Если такое сужение коснется мозговых артерий, то мозг получает слишком мало крови, а остальное тело слишком много; анемия мозга ведет к общим параличным явлениям. Но если, напротив, как это бывает при другого рода эмоциях, артерии головы остаются свободными, в то время как все остальные артерии тела суживаются, то голова и лицо переполняются кровью. В то время, когда физиология ничего не знала об активном видоизменении калибра сосудов, теория Мальбранша казалась необоснованной гипотезой и поэтому не обратила на себя никакого внимания. Несмотря на неизбежную неполноту и ошибки в частностях, она, однако, крайне замечательна по гениальному взгляду ее автора на расстройства кровообращения как на первичное явление, от которого зависят все другие физические проявления, сопровождающие эмоции» (там же, с. 87—88).

Г. К. Ланге, в отличие от Джемса, ясно видел, что за 200 лет до него удалось создать полную вазомоторную теорию о телесных проявлениях эмоций. Но он оказался только наполовину зрячим. Он обратил внимание на совпадение своей теории и теории Мальбранша с их фактической стороны. Принципиальная сторона дела оставалась для него темной и неясной. Мы уже приводили в одной из первых глав замечание Ланге о Спинозе, который, по его мнению, стоит ближе всех других к развитому им воззрению, так как Спиноза не только не считает телесные проявления эмоций зависящими от душевных движений, но ставит их рядом с ними, даже почти выдвигает их на первый план. Своего действительного родства с картезианским учением о страстях и своей полной противоположности учению Спинозы Ланге даже не подозревал, как и Джемс. По образному выражению Бретта, здесь действовало опьянение картезианским вином, как и в случае Мальбранша.

12

Начнем с обстоятельного рассмотрения более частного вопроса, того самого, который был ясен Ланге, несмотря на его опьянение картезианским вином и триумфом механистического мировоззрения в его собственной теории, того самого, который прежде всего бросился в глаза исследователям и критикам и привел к установлению родства между механистически-

спиритуалистической теорией и теорией страстей XVII в. и ее поздним воплощением в XIX в. Тождество фактов всегда бросается в глаза прежде, нежели тождество принципов. За различным физиологическим языком XVII и XIX столетий сравнительно нетрудно было рассмотреть и распознать тождественный в основе механизм эмоциональной реакции. Мы можем опереться на ряд исследований, которые с удивительным согласием приближают нас к одному и тому же выводу. Ни подобной опоры, ни подобного единодушия во мнениях мы не найдем, к сожалению, при решении вопроса о принципиальном совпадении обеих концепций. Здесь нам придется самим прокладывать себе дорогу. Поэтому вооружимся сперва ясным пониманием фактической стороны дела.

Д. Сержи, которому мы обязаны наиболее основательным и, пожалуй, окончательным исследованием этого вопроса, справедливо негодует на Джемса и Ланге за то, что они не знали или игнорировали истинного основателя физиологической теории эмоций — Декарта. В то время как Ч. Шеррингтон в исследованиях рефлекса детально упоминает о предчувствиях Декарта, Джемс его не называет вовсе, а Ланге открыто игнорирует. Он цитирует Спинозу, потому что забвение скандализировало бы читателей. У Декарта же он разыскивает наиболее антифизиологическую, наиболее интеллектуалистическую фразу из всего «Трактата о Страстях...», в котором содержатся корни его учения[81].

В этом отношении Ланге был открыто, явно и очевидно неправ. Уже общее определение страстей у Декарта не оставляет никаких сомнений в том, что его учение в неизмеримо большей степени, чем учение Спинозы, должно рассматриваться как наиболее приближающееся к вазомоторной теории. Декарт относит страсти к той группе психических процессов, которые он объединяет в своей классификации под именем восприятий, или перцепций, и которые отличаются в первую очередь пассивной природой. Наряду с восприятиями, относящимися только к телам,— все равно, к внешним или к нашему собственному телу,— такими, как ощущения, чувства (цвет, тон), телесные аффекты, как удовольствие и боль, и телесные позывы, как голод и жажда; наряду, далее, с восприятиями, которые относятся только к духу как непроизвольной перцепции нашего мышления или хотения, Декарт различает и восприятия третьего рода. Они характеризуются прежде всего тем, что относятся одновременно и к духу, и к телу; при этих восприятиях вследствие влияния и содействия тела страдает сама душа.

Этот род пассивных психофизических процессов Декарт называет страстями. Страсть, следовательно, для него является прямым выражением двойственной духовно-телесной человеческой природы. Она относится к человеку так же, как движение относится к телу. Страсть для Декарта отличается двойственной, духовно-телесной природой. За исключением страстей Декарт не находит других фактических данных, которые давали бы нам

возможность познать совместную жизнь духа и тела. В этом отношении страсти представляют собой третий основной феномен человеческой природы наряду с мышлением и движением. Ум и воля возможны только в духовной природе, движение — только в телесной, а страсти — только в человеческой, соединяющей в себе дух и тело. Двойственная природа человека есть единственное реальное основание страстей, они в свою очередь — единственное основание познания человеческой природы.

Если вспомнить, что для Декарта во всей природе существует только одно тело, связанное с духом, именно человеческое тело, что все прочие тела лишены духа и души, что все они, даже тела животных,— просто машины, то станет ясно, что человеческие страсти представляют для Декарта не только единственное проявление совместной жизни духа и тела в человеческой природе, но и вообще уникум — единственное во всей вселенной, во всем реально существующем явление, в котором соединяются две нигде более не соединимые субстанции. Понятно, что благодаря этому учение о страстях занимает совершенно исключительное место в системе Декарта: во-первых, страсти представляют собой единственное явление, в котором мы способны познать во всей ее полноте двойственную природу человека, совместную жизнь духа и тела; во-вторых, это учение представляет единственную во всей системе точку пересечения спиритуалистического учения Декарта о духе и его механистического учения о телах. Понятно и то, что благодаря такой постановке вопроса человеческие страсти в системе Декарта объявляются не только чем-то совершенно несравнимым со всеми остальными проявлениями человеческой жизни, но и чем-то не имеющим себе никакого подобия, чем-то абсолютно единственным во всей вселенной.

В согласии с таким пониманием Декарт определяет страсти как восприятия, как ощущения или как движения души, которые принадлежат собственно ей и вызываются деятельностью жизненных духов, поддерживаются и усиливаются ею. Если вспомнить, что жизненные духи не являются у Декарта посредниками между материей и духом, что это, по его собственному определению, только тела, тончайшие частицы крови, подвижнейшие и самые горячие, производимые в сердце как бы дистилляцией, то нам сразу станет ясна близость этого классического определения страстей с формулами Ланге и Джемса. Декарт уподобляет жизненных духов легкому ветру, чистому и живому пламени, непрерывно поднимающемуся в большой массе из сердца в мозг, отсюда через нервы входящему в мускулы и сообщающему движение всем членам. Эти подвижнейшие и легчайшие кровяные частицы, всегда материальные, движутся по механическим законам, производя в органах ощущения и движения, заведуя подлинными жизненными функциями. Они представляют собой в физиологии Декарта общее и достаточно смутное понятие, в котором недифференцированы еще кровообращение и протекание нервного возбуждения. Но, во всяком случае, не подлежит никакому

сомнению, что под именем жизненных духов Декарт разумел тончайший телесный механизм, вызываемый к действию теплотой сердца, движущийся по чистым законам механики, которые тождественны законам природы; механизм, который вместе с устройством наших органов определяет все действия и функции, общие у человека и животных, точно так же, как движение часов производится только силой их пружин и фигурой их колес.

Мы не станем приводить здесь подробно физиологическую концепцию Декарта. Она действительно имеет не более чем исторический интерес. Для нас важнее общая структура, общая идея построения того духовно-телесного механизма, которую Декарт кладет в основу объяснения человеческих страстей. По правильному замечанию Сержи, физиологические представления Декарта должны быть замещены новыми, его жизненные духи должны уступить место двигательным нервам. Маленький единственный нервный центр Декарта — шишковидная железа должна замениться неопределенно огромной иерархией многих центров, для того чтобы увидеть, что в результате такого перевода на современный физиологический язык учение Декарта остается той доктриной, которой мы живем и поныне. Для того чтобы убедиться в том, достаточно вспомнить: основной пафос всей аргументации Ланге заключается в разоблачении несостоятельности гипотезы о психической природе эмоций, ненужности этой гипотезы и в доказательстве того факта, что эмоции могут возникать чисто физическим путем, из одной только механики расстройств нашего вазомоторного аппарата.

Утверждение Ланге о том, что вазомоторной системе мы обязаны всей эмоциональной частью нашей психической жизни, нашими радостями и печалями, нашими счастливыми и несчастливыми днями, в сущности есть перевод на современный психологический язык формулы Декарта, гласящей, что страсти есть не что иное, как восприятия души, которые вызываются, поддерживаются и усиливаются деятельностью жизненных духов, т. е. легчайших и подвижнейших кровяных частиц. То же самое, как замечает Сержи, относится всецело и к другому пункту этого учения. Декарт отличает страсти от восприятий двух других родов постольку, поскольку мы относим их не к внешним объектам и не к нашему телу, а исключительно только к нашей душе.

Это положение целиком совпадает с идеей, установившейся в современной психологии и имеющей своим истоком теорию Джемса — Ланге. Ланге цитирует тезис Барда о том, что аффективные явления являются чисто субъективными и никак не могут быть использованы для познания внешней действительности, что они всегда переживаются как актуальное состояние нашего «я», а не как свойство определенных объектов.

С 1650 до 1923 г., когда были написаны эти слова, замечает Сержи, «я» и чисто субъективные феномены заменили душу. В других отношениях разница между старым и новым учениями

более значительна. Здесь она имеет чисто вербальный характер, и мысль Декарта остается нашей мыслью.

Еще два момента в этом общем определении страстей заслуживают нашего внимания: пассивный перцептивный характер эмоций и особенность, своеобразие того движения жизненных духов, которое возбуждает в душе эмоцию.

В том, что Ланге и Джемс в сущности сводят эмоцию к ощущению или восприятию органических изменений, едва ли может возникнуть какое-либо сомнение. В этом же заключается и наиболее слабая сторона всей теории, если рассматривать ее с чисто феноменальной стороны. Действительно, трудно понять, согласно этой теории, каким образом чувство может быть отождествлено с телесными ощущениями, с ощущением дрожи, усилением сердцебиения, льющимися слезами; перед нами в этих случаях выступают совершенно отчетливые или более смутные ощущения как таковые. Каким же таинственным образом совокупность ощущений, остающихся по строгому смыслу теории все время ощущениями, превращается в чувство, абсолютно неизвестно и едва ли допускает разумное и понятное с чисто феноменальной точки зрения объяснение. Совсем недавно Э. Клапаред указал на это затруднение: «Если эмоция есть только сознание периферических изменений в организме, почему она воспринимается как эмоция, а не как органическое ощущение? Почему, если я испуган, я переживаю страх, вместо того чтобы просто сознавать определенные органические впечатления: дрожь, сердцебиение и т. д.? Я не вспомню, чтобы кто-нибудь до настоящего времени пытался ответить на это возражение. Однако этот ответ,— по мнению Клапареда,— не представляет больших трудностей. Эмоция есть не что иное, как сознание формы, структуры этих многообразных органических впечатлений. Другими словами, эмоция есть сознание глобальной установки организма» (E. Claparede, 1928, p. 28). Такого рода общие и смутные восприятия целого, представляющие самую примитивную форму восприятия, Клапаред называет синкретическим восприятием. Но именно этот ответ обнаруживает всю несостоятельность перцептивной теории эмоций, рассматриваемой с феноменальной стороны. Все дело заключается в том, что, согласно теории Джемса—Ланге, эмоция—это совершенно бесструктурное, с психологической точки зрения, образование, составляющееся из совокупности психически совершенно разнородных, слагающихся по законам физиологической механики ощущений.

Мы склонны утверждать, что теория Джемса—Ланге является принципиально бесструктурной теорией эмоций. В самом деле, как может возникнуть страх в качестве единой, связной психической структуры, целостного переживания, из ощущений задержки дыхания, сердцебиения, холодного пота, поднимания волос, дрожи, сухости во рту, зевания и других телесных проявлений, которые Джемс вслед за Дарвином перечисляет в образчике лучшего описания симптомов эмоций? Ведь самый смысл этой

теории заключается в том, что страх, гнев и другие эмоции как целостные, нерасчленимые структуры оказываются простой иллюзией, что, если шаг за шагом вычесть из этих структур элементы телесных ощущений, структуры перестанут существовать. Таким образом, построение эмоции из отдельных атомов, из элементов телесных ощущений типично для этой теории и роднит ее с теми антиструктурными атомистическими теориями, которые трактовали восприятия как сумму ощущений. Структурной эта теория могла быть названа только в том случае, если бы она исходила из признания феноменального и объективного примата страха, гнева как таковых и лишь в составе целостного переживания находила бы место и значение для отдельных органических ощущений. Но наша теория идет обратным путем. Она признает феноменальную и объективную реальность, первичность только элементов и из них пытается построить совершенно бесструктурное целое, возникающее действительно синкретическим путем, т. е. путем любого соединения всего со всем.

Ведь Джемс рассматривал большинство эмоциональных реакций как случайные, ни биологически, ни тем более психологически не объединенные внутренней необходимой связью. В таком сложном организме, говорил он, каким является нервная система, должно существовать много случайных реакций. Таким образом, апелляция Клапареда к столь распространенному в современной психологии всемогущему объяснительному принципу, как принцип структуры, оказывается убийственной для теории, которую он склонен хотя бы отчасти защищать.

Знак равенства, который проводится между эмоциями и восприятиями, в свою очередь уравнивает теорию Джемса—Ланге с картезианским учением. Так как этот пункт центральный по значению для всей теории Джемса—Ланге, совпадение двух учений не может быть простой случайностью: ведь научные теории, в отличие от эмоции в представлении Джемса, не могут возникать чисто случайным путем, как хаотическое объединение чужеродных элементов; и если два учения совпадают в каком-то центральном для обоих пункте, это не может не свидетельствовать о структурном родстве, если не структурном тождестве, их обоих. Джемс настаивает на том, что не существует специальных центров, в которых могли бы быть локализованы эмоциональные процессы, что они протекают в общих моторных и сенсорных центрах коры и что, следовательно, они в принципе тождественны с обычными сенсорными процессами, вызывающими ощущения или восприятия. Денлап вслед за Джемсом настаивает на возможности объяснить эмоции, исходя из того же механизма, который лежит и в основе обычного восприятия. В непосредственной зависимости от этого стоит та особенность указанной теории, на которую обратил внимание Мак-Дауголл, упрекавший создателей теории в том, что они рассматривают только сенсорный аспект эмоций, оставляя без внимания ее импульсивный характер. И для Декарта этот пункт имеет центральное значение. Эмоции для него

суть восприятия или ощущения, т. е. пассивные по природе состояния, поэтому он и называет их страстями.

Декарт учит, что страсти возникают в душе таким же образом, как и объекты внешних органов чувств, и ощущаются ею точно таким же образом. До тех пор пока не прекращается волнение сердца, крови и жизненных духов, страсти представлены в нашем мышлении таким же образом, как и ощущаемые объекты, когда они действуют на органы наших внешних чувств. По поводу этого Сержи замечает: ничего более определенного, ничего более ясного не находим мы у невольных подражателей Декарта. Он заложил основы висцеральной теории эмоций с полным сознанием того, что он делал.

Если Декарт, таким образом, оказывается истинным основателем висцеральной теории, поскольку он сводил эмоцию к ощущению висцеральных изменений, то в такой же мере он заслуживает признания как настоящий основоположник теории и с точки зрения понимания самой висцеральной стороны эмоции. Сержи обращает внимание на то, что Декарт приписывает возникновение, поддержание и усиление эмоции особенному движению жизненных духов. За этими загадочными словами скрывается органическая теория страстей. Своеобразие эмоции, очевидно, имеет в качестве источника своеобразие соответствующих жизненных процессов. Мы способны к восприятию предметов благодаря определенному движению духов. Так же точно особенному движению духов мы обязаны возникновением воспоминания. В чем же особенность того движения духов, которое определяет возникновение страстей? Особенность для Декарта заключается в том, что это движение имеет висцеральное происхождение и висцеральную обусловленность.

Своеобразие метода Декарта при исследовании страстей заключается, как известно, в том, что он пытается рассмотреть сначала механизм страстей так, как он действовал бы в автомате или бездушной машине. Страсти, разумеется, были бы сведены исключительно к характерным для них движениям, не содержали бы в себе ничего психического и должны были бы называться другим именем. Только после выяснения автоматического, эмоционального механизма Декарт присоединяет к воображаемому бездушному автомату душу, способную испытывать страсти.

Такой способ рассмотрения представляет собой нечто гораздо более важное для всей концепции, чем просто методический прием анализа и расчленения сложной проблемы. Он имеет значение методологическое и принципиальное. Для оценки картезианского учения о страстях в целом он имеет поэтому первостепенное значение. Но самое поучительное для нашей цели, что мы узнаем из рассмотрения этого своеобразного анализа, разлагающего двойственную природу страсти на автоматический механизм и на душевные восприятия функций этого механизма, следующее: мы воочию убеждаемся; как интимно и неразрывно принципиальная сторона учения связана с его фактической физи-

ологической стороной. Физиологический анализ страстей бездушного автомата приобретает, таким образом, глубочайшее принципиальное значение.

«Такое объяснение страстей духовно-телесной природы человека,— говорит Фишер,— весьма характерно для учения Декарта как по допускаемому им предположению, так и по его принципиальному направлению. При помощи жизненных духов и органов души, каковым является мозговая железа, философ пытается обосновать происхождение страсти чисто механически. В этом центр тяжести и новизна его попытки» (К. Фишер, 1906, т. 1, с. 381).

Для того чтобы исследовать этот центральный для всего учения пункт проблемы, мы должны кратко напомнить главнейшее из психофизических допущений Декарта. Декарт рассматривает человеческое тело как сложную машину, части которой находятся в сложном взаимодействии друг с другом и поэтому образуют единое и известным образом неделимое целое. Поэтому организм для Декарта не что иное, как расчлененная машина, особый вид сложного механизма. В этой сложной машине есть одна часть, имеющая совершенно исключительное значение. Она является местопребыванием души, т. е. тем органом, который преимущественно связан с душой и через который душа сообщается со всем организмом. Органом души Декарт считает мозговую железу, расположенную в середине центрального органа нервов и являющуюся тем местом, в котором и происходит реальное взаимодействие между душой и телом. Здесь движения жизненных духов превращаются в ощущения и восприятия души. Здесь происходит и обратное превращение движений духа в телесные движения железы, распространяющиеся оттуда на все органы. Жизненные духи являются факторами ощущения и движения, опосредующими общение между душой и телом.

С помощью этого психофизиологического механизма, локализованного в мозговой железе, в силу ее центрального положения и единственности как непарной части мозга, Декарт объясняет естественное механическое происхождение страстей. Если вообразить, что автомат воспринимает какую-либо устрашающую фигуру, жизненные духи приводят в движение железу; она в свою очередь определяет направление их обратного течения, благодаря которому возникает хорошо известная картина движений, характеризующих страх и бегство. Одновременно с движениями течение жизненных духов вызывает и во внутренних органах ряд движений, которые в совокупности характеризуют автомат, находящийся в состоянии угрожаемости и бегства. Такая страсть машины — такое висцеральное состояние.

Каждой страсти соответствует своя особенная и определенная картина изменений во внутренних органах — в сердце, желудке, легких и т. д. Серджи резюмирует это положение Декарта в следующих словах: такая страсть — такая висцеральная формула — такая формула крови — такое направление жизненных духов;

или, переводя на наш язык: такая эмоция — такая формула крови — такая кортикальная формула.

Однако Декарт не довольствуется таким значительным выводом. Прежде чем присоединить к своей машине душу и рассмотреть страсти с психологической стороны, он должен развить еще один этап своей физиологической концепции. Он сказал: такая страсть — такое направление духов. Ему предстоит сказать: такое направление духов — такая страсть. И Декарт действительно делает этот дальнейший и решительный шаг. Зависимость между определенным родом страсти и определенным органическим состоянием обратима. Оказывается возможным полный кругооборот страсти. В прежде рассмотренном примере мозговая железа приводилась в движение извне, внешний объект воздействовал на духов при их выходе из железы. Теперь духи при их вхождении в железу, а не выходе из нее толкают ее то туда, то сюда. Причиной ее движения является уже не объект, который воздействует на духов, но кровь, которая определяет эти движения и — еще ранее — общее состояние организма. Восприятия опасности создали в машине органическое состояние страха, и духи, возникшие из этого состояния, поддерживают и усиливают его. Если перевести на язык более современной физиологии и заменить духов и железу соответствующими терминами, мы получим следующую картину: образ угрожающего объекта на сетчатке вызывает рефлексы бегства и определенные висцеральные рефлексы. Такова картезианская идея, заключает Сержи, лишенная ее устарелого внешнего выражения. При наличии эмоции определенное висцеральное состояние вызывает посредством висцеральных сенсорных путей рефлексы, которые продлевают и поддерживают это состояние.

Но таким представляется механизм страсти, рассматриваемый исключительно с физической стороны. Это еще страсть, разыгрывающаяся в совершенно бездушном автомате по чисто механическим законам. Следуя за Декартом, мы должны рассмотреть, что же произойдет с деятельностью этого механизма, если присоединить к нему душу, способную испытывать ощущения висцеральных изменений и эмоции. Здесь, в решающем пункте картезианского анализа, мы наталкиваемся на неслыханную вещь, неожиданную и способную смутить всякого читателя, готового к повороту всего учения. Оказывается, рассмотрев физическую сторону страсти, мы исчерпали тем самым почти все ее содержание. Присоединение души не вносит ничего существенно нового, как следовало бы ожидать, в кругооборот страстей, в деятельность эмоционального механизма.

Удивительно, но исследователь должен констатировать: различие между страстями машины, лишенной души, и страстями самой души не всегда достаточно отчетливо у Декарта. Декарт как будто остается верен своему первоначальному намерению, о котором он сообщает в предисловии трактата: «Мое намерение — отнестись к страстям не как оратор и не как моральный философ,

а как физик» (Декарт, 1914, с. XIV). Этот физикалистский, механический подход к страстям составлял, очевидно, с самого начала доминирующую идею Декарта, которую он выдерживает почти на всем протяжении исследования. Именно эта идея заставила его писать о своей теме так, как будто никто до него не касался ее, и противопоставлять свое исследование учению древних о страстях. Раньше человеческие страсти рассматривались с психологической стороны. Их телесная, механическая природа оставалась нераспознанной. Декарт сосредоточил все внимание именно на этой стороне проблемы, но, странным образом, она исчерпала собой почти всю проблему в целом.

Если мы проанализируем приводимый Декартом пример того, каким образом страсти возбуждаются в душе, мы увидим, что в рассмотренной нами выше картине страха и бегства мало что изменяется. В сущности мы уже раньше, говоря об уравнении между эмоцией и восприятием, коснулись того нового, что возникает в этом случае. Новое заключается только в том, что душа ощущает и воспринимает происходящие в теле перемены. Жизненные духи в этом случае, приводя в движение мозговую железу, являющуюся органом души, вызывают к жизни не только определенные двигательные и висцеральные изменения, о которых речь шла раньше, но и определенные ощущения души. Основным для Декарта остается его собственное положение, что страсти возникают в душе таким же образом, как и объекты, воспринимаемые внешними чувствами, и точно таким же способом осознаются ею.

В анализе своего примера Декарт приходит к выводу, что жизненные духи в ситуации страха вызывают определенное движение железы, которая по своей природе назначена к тому, чтобы определить душу к чувствованию этой страсти. Сходное происходит при всех других страстях, причиняемых движением жизненных духов, которые одни только способны вызвать телесную и душевную стороны эмоций. Направление духов в течении к нервам сердца оказывается достаточным, чтобы сообщить железе движение, посредством которого в душе возбуждается страх.

Трудно было, в самом деле, ожидать большего совпадения с висцеральной теорией эмоций. Декарт видит источник душевной страсти в том же самом движении жизненных духов, которое вызывает и определенные для каждой страсти изменения внутренних органов. Мы возвращаемся, таким образом, к исходному пункту всего учения — к определению страстей как ощущений или восприятий души, вызываемых деятельностью жизненных духов, которые одновременно вызывают ряд изменений висцерального характера, представляемых душой точно таким же образом, как она представляет объекты, воспринимаемые с помощью внешних органов чувств. Страсть оказывается не чем иным, как восприятием висцеральных изменений.

Если, таким образом, мы находим поразительное совпадение между основными положениями картезианской теории и перифе-

рической теорией эмоций, мы должны ожидать, что и те трудности, на которые наталкивается эта последняя, те неразрешимые противоречия, в которых она запутывается, те доведенные в ней до абсурда несообразности, которые с самого ее основания довлеют над ней, будут чрезвычайно близкими и учению Декарта. Так оно и оказывается на самом деле. Дюма верно показал, что теория Ланге всеми сильными и слабыми сторонами обязана картезианскому учению. Даже своими ошибками, по словам Дюма, Ланге напоминает картезианцев. Антиэволюционное направление этой теории Дюма ставит в связь с отвращением, которое всякий последователь механистического мировоззрения, в том числе и Декарт, естественно, питает к историческим объяснениям.

Остановимся кратко на выяснении ошибок, противоречий, несообразностей, в которых поразительно сходным образом запутываются обе теории. Во-первых, назовем фактическую бесплодность обеих теорий при реальном объяснении и описании страстей с помощью того метода их исследования, который мы смело можем определить как принципиально механистический. В самом деле, обе теории обнаруживают совершенно одинаковое и полное бессилие, если надо продвинуть вперед конкретное научное знание человеческих страстей и обогатить его в фактическом отношении.

Г. К. Ланге, как известно, подверг анализу семь основных эмоций. Он полагал, однако, что это только блестящее начало, за которым должно последовать научное исследование всего огромного многообразия эмоциональных реакций. Казалось, что, двигаясь шаг за шагом по намеченному им пути, мы сумеем с помощью данного им ключа раскрыть всю область человеческих чувствований. Возможности новой теории казались Ланге необозримыми и неисчерпаемыми. Он аргументирует тем, что старая гипотеза, совершенно произвольно схематизируя эмоции, насилует факты, устанавливая определенные формы там, где существует несметное количество незаметных переходов. Пользуясь старой гипотезой, мы часто затрудняемся определить, под какую обычную рубрику следует подвести данное минутное настроение.

Мы часто довольствуемся совершенно неопределенными выражениями, что в душе переживается какая-то эмоция, не будучи в силах подвести то, что чувствуем, под какую-нибудь из эмоций, для которых язык имеет название. Ланге надеялся вывести исследование из этого бесплодного состояния, поставив перед ним истинную научную задачу для данного ряда явлений, которая заключается в точном определении эмоциональной реакции вазомоторной системы на различного рода влияния. Он понимал, что достижение этой цели еще далеко впереди, и видел свою проблему только в том, чтобы указать, где следует искать ее разрешение.

С той поры прошло более полустолетия. Исследователи человеческих эмоций больше всего искали разрешения проблемы в направлении, указанном Ланге. Итог исканий был подведен в экспериментах Шеррингтона и Кеннона, в клинических наблюде-

ниях Вильсона, Дана, Хэда. Этот итог сформулировал Кеннон: можно считать, что телесные условия, которые, как это предполагали некоторые психологи, могут позволить отличить одни эмоции от других, непригодны для этой цели, что эти условия нужно искать где угодно, но не во внутренних органах (W. B. Cannon, 1927).

Многообразие телесных изменений при различных эмоциях казалось Ланге поистине огромным. Он полагал, что из этого возникает ряд различных комбинаций, представленных различными эмоциями. «Так как мы имеем дело с тремя различными мускульными системами, из которых каждая, вероятно, может быть возбуждена различным образом, а иногда только одна или две из них могут представлять иннервационные расстройства, то, по-видимому, можно насчитать 127 различных комбинаций для физического выражения эмоций, если даже принять в соображение одни только иннервационные расстройства» (Г. Ланге, 1896, с. 46).

Ожиданиям, как мы видели, не суждено было сбыться. Непрерывные 60-летние усилия, направленные на разыскание разнообразных комбинаций, не только не раскрыли тех 127, существование которых предполагал Ланге, но и показали, что для описанных им основных грубых эмоций существует, по-видимому, более или менее единообразная, стандартная стереотипная формула телесных эмоциональных проявлений. Самые противоположные с психологической стороны эмоции имеют поразительно сходные телесные проявления. Оказывается, как говорят новейшие последователи старой теории, например Денлап, этого и следовало ожидать с самого начала. Униформность органических изменений можно было предсказать на основании самой теории Джемса—Ланге с помощью чисто аналитического рассмотрения. Различие между эмоциями и должно было оказаться менее значительным, чем сходство. Эмоция, согласно новому варианту органической теории, вовсе не обнаруживает того бесконечного многообразия форм и переходов, о котором говорили создатели гипотезы. Она оказывается не более и не менее, как простым, динамическим фоном, однообразным задним планом, на котором разыгрываются психические процессы.

Точно такая же судьба постигла и теорию Джемса: те же огромные надежды и столь же полная бесплодность. Джемс не был скромен в ожиданиях. Он полагал, что он поймал жар-птицу с золотыми перьями, или, на языке английской сказки, гусыню, несущую золотые яйца. Всем его предшественникам не хватало самого главного: плодотворного руководящего начала, основной точки зрения, логического обобщения. Новая теория давала это в одной формуле. Рецепт возникновения эмоции был одинаков и для всех случаев в равной мере прост. Казалось, что фактические открытия в области эмоций должны следовать одно за другим, должны забить ключом из найденного, наконец, плодотворного руководящего начала. Но плодотворное начало оказалось бес-

плодным, как библейская смоковница.

У. Джемс не придавал большого значения установлению различия между эмоциями и их классификацией. Это приобретало в его глазах значение простых вспомогательных средств, что должны явиться сами собой, раз найден общий принцип. Он даже посмеивался над почтительным составлением каталогов различных особенностей эмоций, их степеней и действий, вызываемых ими: это все было необходимо до того, как в наших руках появился общий рецепт для всех эмоций. Джемс, повторяем, не был скромен в ожиданиях. Он полагал, что его теория должна сыграть в учении об эмоциях такую же роль, какую в биологии сыграла идея эволюции, так как и та и другая рассматривают различие видов как продукт более общих причин. Собственная гипотеза представлялась ему делом дарвиновского масштаба. Естественно поэтому, что конкретный анализ эмоций, фактическое описание их особенностей не могли занимать его. Это было дело последующего. Главное — в принципе. «Если у нас уже есть гусыня, несущая золотые яйца, то описывать в отдельности каждое снесенное яйцо — дело второстепенной важности» (У. Джемс, 1902, с. 303).

О золотоносном принципе Джемса можно повторить буквально то же самое, что нами уже сказано по поводу ожиданий, связывавшихся с теорией Ланге. Непрерывные 60-летние усилия не привели ни к чему. Описывать каждое отдельно снесенное яйцо оказалось делом невозможным. Мы затруднились бы назвать другую столь же бесплодную в фактическом отношении гипотезу, которая продержалась в науке столько лет. Не говоря уже о высших, сложных, тонких, специфически человеческих аффектах, даже в познании таких наиболее грубых форм эмоций, как гнев, страх, любовь, ненависть, радость, печаль, стыд, гордость (если привести только список, составленный самим Джемсом), мы не продвинулись ни на шаг с помощью нового золотоносного принципа. До сих пор все вращается вокруг обсуждения самого принципа. Путь от гусыни, несущей золотые яйца, к описанию каждого снесенного яйца оказался невозможным. В действительности не было никаких яиц. До сих пор различными способами описываются достоинства и преимущества самой необыкновенной гусыни.

У. Джемс обещал, что с помощью его гипотезы нам удастся при анализе эмоций подняться над уровнем конкретных описаний. Он полагал, что выдвигаемая им точка зрения объяснит удивительное разнообразие эмоций, что она даст возможность найти выход из области простых описаний и классифицирования. Вместо описания внешних признаков научное исследование сможет заняться выяснением причин эмоций. «От поверхностного анализа эмоций,— говорил он,— мы переходим, таким образом, к более глубокому исследованию, к исследованию высшего порядка. Классификация и описание суть низшие ступени в развитии науки. Как только выступает на сцену вопрос о причинной связи в

данной научной области исследования, классификация и описание отступают на второй план и сохраняют свое значение лишь настолько, насколько облегчают нам исследование причинной связи» (там же, с. 314).

Вероятно, сейчас нет ни одного последователя теории, который взялся бы защищать мысль, что за протекшие 60 лет со дня опубликования этой теории мы продвинулись хоть сколько-нибудь значительно в анализе причинных связей в сфере эмоциональной жизни, что мы действительно перешли к исследованию высшего порядка, сумели объяснить хотя бы малую толику из того бесконечного многообразия эмоций, раскрытия природы которых ожидал Джемс,— короче говоря, что пресловутая гусыня снесла хоть одно золотое яйцо. Хуже того, даже в области исследования низшего порядка, в столь презираемой Джемсом области конкретных описаний, выяснения частных особенностей и специфического действия каждой эмоции, в области классификации и номенклатуры не оказалось никакой возможности движения в развитии научного знания с помощью нового принципа.

Это не может не иметь общей причины. Мы думаем, что ее следует искать в принципиальной бесструктурности и непригодности золотоносного принципа. В самом деле, он с самого начала выдвигает в качестве объяснения нечто столь чужеродное по отношению к психической природе эмоций, нечто такое, что лежит в совершенно другом методологическом плане и что, следовательно, не способно ни при каких обстоятельствах служить ответом на вопрос о причинной связи эмоциональных процессов. Принцип, выдвигаемый Ланге и Джемсом, не способен по своему существу открыть никакой осмысленной связи между психической природой данной эмоции и органическими ощущениями, вызывающими ее. Основной пафос учения заключается в признании полной и принципиальной бессмысленности человеческой эмоции, принципиальной невозможности не только постигнуть и понять структуру соответствующего ей переживания, ее функциональную связь со всей остальной жизнью сознания, ее психическую природу, но даже поставить вопрос о том, что представляет собой данная эмоция как известное психическое состояние.

Здесь мы коснулись самого существенного, основного вопроса во всей критике теории Джемса—Ланге, а тем самым и картезианского учения, вопроса, который до сих пор оставлялся без внимания. Это вместе с тем и коренной вопрос нашего исследования, и коренной вопрос во всем учении Спинозы о страстях. Поэтому мы должны остановиться на его выяснении.

У. Джемс говорил: «Если мы не испытываем телесного возбуждения при виде справедливого или великодушного поступка, то наше душевное состояние едва ли может быть названо эмоцией. Де-факто здесь происходит просто интеллектуальное восприятие явления, которое относится нами к группе справедливых, великодушных и т. п. Подобные состояния сознания, заклю-

чающие в себе простое суждение, следует скорее отнести к познавательным, чем к эмоциональным душевным процессам» (там же, с. 317). Трудно в более ясной форме утверждать тезис о совершенной бессмысленности всякого чувства. Ведь, согласно теории Джемса, периферическое телесное возбуждение, воспринимаемое нашим сознанием, и составляет сущность эмоции. Без него чувство перестает быть чувством, а превращается в простое суждение. Спрашивается: что же значит утверждать, будто чувство справедливости и великодушия, поскольку оно является именно чувством, а не простым суждением, есть не что иное, как ощущение периферического телесного возбуждения определенного рода и в определенной комбинации элементов, как не принципиально обессмысливать чувство справедливости и великодушия? Что может объяснить нам в чувстве нравственной справедливости тот факт, что оно, по словам Джемса, отражается в звуках голоса или в выражении глаз?

У. Джемс обещал, что его гипотеза приведет нас к исследованию высшего порядка. Со старой точки зрения, единственно возможными задачами при анализе эмоций было классифицирование (к какому роду или виду принадлежит данная эмоция) или описание (какими внешними проявлениями характеризуется данная эмоция). Теперь же дело идет о выяснении причин эмоций: какие именно модификации вызывает в нас тот или иной объект и почему он вызывает в нас именно те, а не другие модификации. Оставим в стороне тонкие эмоции, как справедливость и великодушие, возьмем те грубые формы, о которых говорит все время Джемс. Спросим себя, какую психологическую ценность может иметь причинное объяснение, составленное нами из собственных слов Джемса и в соответствии с совершенно точным смыслом его примера: «Почему мы испытываем чувство ужаса при мысли о гибели дорогого нам существа?» — «Потому что мы ощущаем чувство, связанное с усиленным сердцебиением, коротким дыханием, дрожью губ, с расслаблением членов, с гусиной кожей и с возбуждениями во внутренностях».

Никто еще никогда не вдумался как следует в философскую природу знаменитой формулы Джемса, дающей классический прототип всякого причинного объяснения человеческих чувств. Иначе ее чудовищная несообразность была бы давно замечена. В самом деле, что означает, с точки зрения причинного объяснения, это положение: мы опечалены, потому что плачем; приведены в ярость, потому что бьем; испытываем страх, потому что дрожим? Разве не совершенно ясно, что с точки зрения действительного объяснения психологических фактов эта формула имеет такую же познавательную ценность, как и утверждение: Сократ потому сидел в тюрьме, что мускулы его ног сокращались и растягивались и, таким образом, привели его туда?

Этот знаменитый платоновский пример чудовищной несообразности причинного объяснения приводит один из виднейших представителей современной описательной психологии Э. Шпран-

гер[82], для того чтобы обнаружить несостоятельность так называемой естественнонаучной каузальной объяснительной психологии. Он, как и все представляемое им психологическое направление, исходит из того, что сама объяснительная психология лучше, чем это могли сделать любые ее противники, доказала невозможность каузальных объяснений в психологическом исследовании, так как забыла основное положение: психология должна разрабатываться психологическим методом.

Как ни очевидна полная несостоятельность чисто идеалистического вывода, делаемого описательной психологией на основании глубочайших заблуждений объяснительного психологического анализа, она не может умалить в наших глазах значения и справедливости основного критического возражения Шпрангера в адрес объяснительной психологии типа, представленного в теории Джемса,—возражения относительно логической невозможности причинных объяснений, примеры которых приведены выше.

Мы еще вернемся к проблеме объяснительной и описательной психологии чувств—этой в известном смысле центральной проблеме всего нашего исследования—и рассмотрим, какое принципиальное решение указанного вопроса мы находим в учении Спинозы о страстях. Но уже сейчас мы не можем не сделать некоторых существеннейших выводов. Нельзя не согласиться с тем, что причинное объяснение психологических фактов, как оно развивалось обычно в психологии, как оно представлено в теории Джемса, как оно вытекает непосредственно из самого смысла картезианского учения о страстях, не может привести ни к чему иному, как к признанию полной несостоятельности и невозможности такой объяснительной психологии. Если в психологии невозможно причинное объяснение иного рода, чем объяснение, приведенное выше, тогда невозможна сама объяснительная психология как наука.

Справедливо говорит В. Дильтей[83], один из первых осознавший чудовищную нелепость подобной объяснительной психологии и один из первых ставший на путь чисто идеалистической психологии как науки о беспричинных явлениях: «Этим самым, однако, объявляется банкротство самостоятельной объяснительной психологии. Дела ее переходят в руки физиологии» (1924, с. 34). Но ровно в той же мере, в какой Дильтей, Шпрангер и другие сторонники описательной телеологической психологии бесспорно правы в критике объяснительной психологии того рода, как психология эмоций Джемса, и ни на йоту меньше, они разоблачают всю шаткость и несостоятельность защищаемой ими идеи чисто описательной, лишенной всяких причинных объяснений психологии.

Они показывают не только с полной ясностью, но даже с каким-то идейным цинизмом и бесстыдством, что описательная психология питается только неудачами объяснительной. Телеологическое рассмотрение психологических фактов возникает как логический вывод из ошибок причинного анализа. Идеалистиче-

ская психология необходима в первую очередь потому, что материалистическая не справилась со стоящими перед ней задачами, потерпела банкротство и передает свои дела в руки физиологии. Таким образом, сторонники описательной психологии, стоящие, казалось бы, на диаметрально противоположной точке зрения и справедливо высмеивающие несообразности причинного анализа картезианской, по существу объяснительной, психологии, сами не только недалеко ушли от тех принципиальных предпосылок, которые неизбежно приводят к этим нелепостям, но целиком и полностью разделяют и принимают те же самые предпосылки.

В сущности описательная психология гораздо более родственна по своим объяснительным предпосылкам старой объяснительной психологии, чем может показаться с первого взгляда и чем этого, вероятно, хотелось бы Дильтею и Шпрангеру. Более того, их психология стоит целиком на тех же принципиальных позициях, что и отвергаемая ими каузальная психология. Они совсем не противники, скорее — близнецы. Ведь описательная психология тоже исходит из мысли, что единственно возможное в психологии объяснение есть объяснение, видящее причину того, что Сократ сидел в тюрьме, в мускульных сокращениях его ног. Представители описательной психологии даже признают до известной степени закономерность подобного рода объяснения, правда, для более ограниченной области элементарных психических явлений. Они только требуют естественного дополнения к такого рода объяснению, именно телеологического описательного анализа высших проявлений человеческого духа. Они не только не отрицают права на существование такой объяснительной психологии, но даже признают ее необходимость наряду с описательной. «Природу мы объясняем, душевную жизнь мы постигаем» (В. Дильтей, 1924, с. 8) — это основное для всей понимающей психологии положение Дильтея определяет необходимое разграничение сфер влияния и область взаимного сотрудничества каузальной и телеологической, объяснительной и описательной психологии[84].

Душевная жизнь имеет природную сторону и подлежит естественнонаучному изучению и причинному анализу. Это и есть задача объяснительной, или физиологической, психологии. Но ни одна существующая в настоящее время объяснительная психология не может быть положена в основу наук о духе. Она не в состоянии дать адекватного не только объяснения, но и описания сложных высших специфических для человека психических процессов. Поэтому наряду с ней должна существовать понимающая, структурная, телеологическая, описательная психология. Объяснительная психология как система не может ни теперь, ни в будущем привести к объективному познанию связей психических явлений. Именно отсутствие всякой осмысленной, понятной связи между чувством, сведенным к ощущению гусиной кожи и расширенных ноздрей, и всей остальной душевной жизнью, как мы видели, составляет самую отличительную черту объяснительной психологии эмоций, развиваемой Джемсом. Познание связей этих

психических явлений поэтому и должно составить предмет особой науки. Но эта особая наука не только означает упразднение старой объяснительной психологии, но даже, по мысли Дильтея, обеспечивает ей возможность дальнейшего плодотворного развития. Между объяснительной и описательной психологией устанавливается, таким образом, тесное сотрудничество на основе разделения труда и сферы познания.

Внутреннее родство двух, казалось бы, противоположных концепций отнюдь не случайно. Одна с необходимостью предполагает другую. Одна не может существовать без другой. Только вместе они образуют законченное целое. Кто сказал «а», должен сказать и «б». Кто признает только одну возможность анекдотического причинного объяснения психологии, неизбежно должен прийти к отрицанию каузальной психологии и к созданию психологии телеологической. То и другое растет из одного корня: из философии Декарта. Она построена на полной симметрии, на полном идейном равновесии механистического и спиритуалистического принципов. Нигде эта двойственность не обнаруживается так отчетливо, как в учении о страстях, рассматриваемых в качестве единственного проявления совместной жизни духа и тела, следовательно, в качестве явлений, подлежащих объяснению с точки зрения законов механики и принципов телеологии. Тело есть не что иное, как сложная машина, и, поскольку страсти отражают телесную природу человека, они должны быть объяснены согласно законам механики. Душа же есть вещь божественная, и потому ее жизнь должна трактоваться телеологически: кесарю — кесарево, а богу — божье.

Таким образом, идея объяснительной и описательной психологии уже содержится априори в учении Декарта о страстях. Признание полной бесструктурности и абсолютное обессмысливание рассматриваемой чисто механически страсти, как мы видели, с необходимостью привели теорию Джемса — Ланге к ряду непреодолимых трудностей и несообразностей, но они содержатся в сущности также в картезианском учении. Естественно, если новая и старая теории совпадают в этом важнейшем, принципиальном пункте, они неизбежно должны натолкнуться на совершенно одинаковые трудности по мере своего логического развития. Действительно, глубоко поучительно узнать, что история повторилась спустя два века и в этом отношении с удивительной точностью.

«Трактат о Страстях...» полон описаниями различных движений духов и органов: расширение и сужение сердца, различия в величине, числе и скорости кровяных частиц и духов, изменение в желудке и легких — Декарт, по выражению Сержи, жонглирует всем этим точно так, как Джемс жонглировал описанием гусиной кожи и раздувающихся ноздрей. Правда, Декарт осознает трудность задачи. Он делится с принцессой Елизаветой[85] своими сомнениями. Не легко, говорит он, изучить органические феномены, соответствующие каждой страсти, потому что они обычно смешаны.

Нужно расчленять факты и искать точные результаты, опираясь на статистику, сравнения, элиминирования. Если, например, обратиться к случаям, когда любовь сочетается с радостью, нельзя познать ни одну, ни другую из этих страстей. Но если сопоставить любовь-радость с любовью-печалью, различие должно выступить отчетливо. Трактат, таким образом, непосредственно предполагает экспериментальное продолжение, которое сам Декарт пытался и не мог осуществить из-за отсутствия средств, лаборатории и сотрудников. Он вынужден был пользоваться фактами, доступными его наблюдению. Как деликатно замечает Сержи, несмотря на то что Декарт внес ряд уточнений в наши знания о пульсе, которые немногим обогатились благодаря современным сфигмограммам, лучше обойти молчанием то, что говорит Декарт по поводу висцеральной картины, соответствующей каждой эмоции.

Но дело не в этих картинах. Декарт роет глубже. Дело в принципиальном направлении исследования. Он должен открыть причину описанных им движений духов при основных страстях. Эта причина оказывается очень простой. В любви и печали желудок проявляет значительную активность при пищеварении. В ненависти и радости эта деятельность, напротив, понижена. Почему? Потому что наши первые страсти имеют алиментарное происхождение. Это страсти, связанные с кормлением, они образовались вокруг пищеварительного канала. Их дальнейшая сублимация, их история является только надстройкой над этой неподвижной физиологической базой первых дней нашего существования: механизм страстей взрослого человека имеет свой прообраз в структуре и функционировании машины утробного плода. Это, пожалуй, единственное место в учении о страстях, где Декарт вступает на путь поисков исторического объяснения. Сколь бы наивными они ни представлялись современному взгляду, принципиальное значение этого обращения к истории развития как к источнику объяснения, наряду с физиологической механикой, заслуживает пристального внимания. На этой стороне дела мы еще остановимся ниже, но нельзя не отметить с самого начала, что проблему причинности в отношении страстей Декарт ставит совершенно так же, как и Джемс. Мы должны заняться, говорит Джемс, выяснением того, как могла произойти та или иная экспрессия страха или гнева, и это составляет, с одной стороны, задачу физиологической механики, с другой — задачу истории человеческой психики. Можно было бы подумать, что Джемс, как и Сержи, здесь просто излагает решение проблемы причинности, которое он нашел в готовом виде у Декарта.

Но как с законами физиологической механики, так и с историей человеческой психики дело оказывается одинаково безнадежным. Случайность, бесструктурность и бессмысленность связей между эмоциями и органическими изменениями сейчас же выступают на первый план и дают о себе знать, как только дело касается самой методологической возможности фактического

исследования, вытекающего из этих принципов. Декарт связывает голод с печалью и анорексию с радостью. Елизавета протестует. Декарт уступает и соглашается на совершенно противоположную группировку: полный желудок производит печаль, пустой — радость.

Беда заключается не в том, что фактические соображения Декарта были лишены всякого эмпирического основания и потому с легкостью, по первой прихоти принцессы, могли заменяться противоположными, беда заключается в том, что методологически, при допущении полной бессмысленности связи между эмоцией и ее органическим выражением, становится одинаково возможной любая связь. Одна не более понятна, чем другая. Противоположная столь же вероятна, как и прямая. Сержи понимает это. Он меланхолически замечает, что, если радость связывается то с анорексией, то с голодом, мы не можем уже больше сказать: таково висцеральное состояние — такова страсть. Все построение оказывается скомпрометированным. В наше намерение не входит исследовать сильные и слабые стороны висцеральной теории страстей. Отметим только, что Джемс, Ланге, Кеннон натолкнутся также на трудности этого рода, трудности, которые встречаются только на пути очень развитых теорий, а не интуиций предвосхитителей.

Законы механики, таким образом, отказываются служить новой теории. Они предают ее при первой же попытке вверить им управление ходом фактического исследования. Они не дают даже возможности построить какое-либо фактическое предположение. Они могут с одинаковой легкостью и произвольностью объяснить как то, так и другое. Законы физиологической механики, к которым одинаково апеллировали Декарт и Джемс, оказываются совершенно такими же, как и законы правовые, о которых пословица грубо говорит: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Но в этом бесплодии механистических законов в объяснении человеческих страстей нетрудно предугадать бесплодие, которое постигнет через 200 с лишним лет гусыню, обещавшую нести золотые яйца и не снесшую ни одного. Но, может быть, законы истории человеческой психики окажутся более милостивыми по отношению к висцеральной теории? Может быть, здесь мы найдем более основательное причинное объяснение, которое нельзя будет повертывать, как дышло, в противоположные стороны?

Мы уже знаем со слов Дюма, что Ланге развивал свою теорию в противовес эволюционной психологии, что он, как и Декарт, питал отвращение к историческим объяснениям, и все же мы находим у него глубоко поучительную попытку ответить, хотя бы в принципиальном плане, на одну из основных проблем всего учения о страстях — на проблему развития. Перед нами снова вопрос первостепенной важности.

К. Г. Ланге начинает и заканчивает исследование упоминанием об И. Канте, заключая, таким образом, весь трактат как бы в

философские рамки. И действительно, в этом начале и конце мы находим отчетливое выражение второй философской идеи висцеральной теории, которая наряду с первой — с принципами механистического научного мировоззрения — определяет философское основание всей теории. Но странным образом Ланге начинает с резкого возражения Канту, а заканчивает полным согласием с ним (Г. Ланге, 1896, с. 80). Поистине поразительно, как сам Ланге не заметил кричащего противоречия между началом и концом своего рассуждения. Как бы незаметно для самого себя он приходит к отрицанию того, с утверждения чего он начал. Развиваемая им теория имеет как бы собственную логику, не зависящую от логики ее автора. Она заводит его в сторону, как раз противоположную той, в какую он направлялся. Повторяется история с медведем, который ведет поймавшего его охотника туда, куда он, медведь, хочет. Повторяется история с Декартом и принцессой. Но на этот раз уступчивость должна быть проявлена не в области гибких и податливых, послушных и подчиненных больше законам светской вежливости, чем истинным законам механики, фактов, а в области философского осознания этих фактов, их принципиального освещения.

«Кант в одном месте своей «Антропологии»[86] определяет аффекты как болезни души»,— так начинает Ланге свой психофизиологический этюд «О душевных движениях» (там же, с. 13). «Великому мыслителю кажется, что душа здорова, только пока она находится под безусловной и бесспорной властью разума; все, что может поколебать эту власть, является в его глазах чем-то ненормальным, вредным для человека.

Более реальная психология, которая не знает абстрактного идеального человека, а «берет его таким, каков он есть», должна считать странной такую науку о душе, жалким то представление о человеке, которое рассматривает радость и горе, сострадание и гнев, смирение и гордость как душевные состояния, чуждые здоровому человеку, ненормальные, на которые не следует обращать внимания, когда хотят познакомиться с истинной сущностью человеческой природы» (там же).

К. Г. Ланге полагает, что согласиться с Кантом — значит ограничивать сферу нашей душевной жизни, если способность поклоняться великому, восторгаться прекрасным, чувствовать сострадание к несчастным будет считаться явлением болезненным, здоровым же, нормальным человеком для нас будет только бесстрастный счетчик, которому каждое новое впечатление дает лишь повод к умозаключению. Ланге кажется удивительным такое воззрение на взаимное отношение душевных сил, которое желает видеть нечто случайное в явлении, играющем в душевной жизни людей гораздо более значительную роль, чем здравый рассудок, в большей степени, чем последний, руководящем судьбой не только отдельных лиц, но и целых народов и всего человечества.

Если аффекты действительно, как предполагал Кант, являют-

ся только болезнями души, кто захочет лечить свою больную душу, спрашивает Ланге, если лечение должно лишить человека всех его эмоций, делающих его способным симпатизировать ближним, делить с ними радость и горе, восторгаться ими или ненавидеть их? Нет! Ланге представляется несомненным, что «мы не можем считать здоровым, цельным и настоящим человеком того, кто умеет лишь думать, познавать и рассуждать, но не способен страдать, радоваться и бороться,— хотя, может быть, эти страсти кое в чем и вредят его способности к исследованию и рассуждению.

Эмоции не только играют роль важнейших факторов в жизни отдельной личности, но они вообще самые могущественные из известных нам природных сил. Каждая страница в истории — как целых народов, так и отдельных лиц — доказывает их непреодолимую власть. Бури страстей погубили больше человеческих жизней, опустошили больше стран, чем ураганы. Их поток разрушил больше городов, чем наводнения» (там же, с. 14). Поэтому Ланге отказывается вслед за Кантом видеть в аффектах, этих величайших из всех сил, имеющих в то же время громадное значение для нашей внутренней жизни, просто ненормальность и болезнь (там же).

Казалось бы, после этих ясных, прозрачных, патетических и, строго говоря, прекрасных слов следовало ожидать, что Ланге в своем этюде раскроет нам сущность этих самых могущественных из известных нам природных сил, имеющих такое огромное значение в истории целых народов и личности, руководящих судьбой не только отдельных лиц, но и всего человечества, и тем самым покажет, во-первых, в силу чего и как именно страсти могут иметь такое первостепенное значение в жизни человека и, во-вторых, как у цельного и настоящего человека не только не исчезает в качестве случайного и ненормального явления способность страдать, радоваться и бояться, но как она возрастает и развивается вместе с историей человечества и развитием внутренней жизни человека. Но Ланге столь же недвусмысленно и столь же патетически обманывает наши ожидания и надежды, как раньше возбудил их.

Как известно, основным результатом исследования Ланге является положение, что всеми эмоциональными моментами нашей психической жизни, нашими радостями и печалями, нашими счастливыми и несчастливыми днями мы обязаны вазомоторной системе, точнее, ее периферическим рефлекторным изменениям. Эту основную мысль сопровождают две побочные, которые вскрывают ее методологическое содержание. Оказывается, что с точки зрения законов физиологической механики и с точки зрения развития человеческой психики существует антагонизм между интеллектуальной и аффективной жизнью человека. Этот антагонизм и позволяет нам выяснить более обстоятельно судьбу аффекта в жизни и развитии личности. Сама интеллектуальная жизнь также находится в зависимости от вазомоторных функций,

хотя несколько в другом роде, чем жизнь чувства. Интеллектуальная деятельность предполагает усиленный приток крови к мозгу и обусловливается им, причем кровь притекает, конечно, к другим частям мозга, чем те, которые преимущественно возбуждаются эмоциями.

Характер связи между вазомоторной деятельностью и умственной жизнью, с одной стороны, аффектами, с другой, в известном смысле противоположный. Первая влияет на вторую в буквальном смысле слова дериваторнокровоотвлекающим образом, и когда Герман фон Бремен считает до 20, то этой незначительной умственной работой он отнимает у моторной части своего мозга так много крови, что у него пропадает всякая охота драться со своей женой. Такова первая мысль, дополняющая основное положение Ланге (там же, с. 79). Вторая устанавливает такой же антагонизм между умственной и аффективной жизнью в ходе развития.

«Образование,— говорит Ланге,— действует в том же направлении. Цель воспитания, которое не следует смешивать с образованием, заключается в том, чтобы приучить личность обуздывать, побеждать и уничтожать те побуждения, которые являются результатом непосредственного воздействия нашей физической организации, но которые не соответствуют данным социальным отношениям. С физиологической точки зрения, можно рассматривать образование как развитие способности подавлять более простые первоначальные рефлексы или заменять их более высокими. Таким образом приучаемся мы с самого раннего детства так же управлять другими непристойными в приличном обществе рефлексами» (там же, с. 79). С этой точки зрения Ланге приравнивает судьбу эмоциональной реакции к судьбе рефлексов мочевого пузыря: розги одинаково отучают ребенка кричать от досады вследствие эмоционального спазма сосудов, как и неопрятно вести себя вследствие непроизвольных функций рефлексов (там же).

В противоположности между интеллектом и аффектом и в постепенном вытеснении чувства вместе с прогрессом умственного развития Ланге видит основной закон, находящий свое подтверждение не только в онтогенезе, но и в развитии человечества в целом. «Сама история обрекает жизнь чувства на постепенное увядание и почти окончательное отмирание. Эмоции — это вымирающее племя, которое постепенно вытесняется со сцены истории вместе с ростом цивилизации и культуры.

Возбудимость вазомоторного аппарата бывает очень различна у различных людей. В этом отношении встречаются не только индивидуальные, часто унаследованные, различия. Условия более общего характера нередко играют здесь чрезвычайно важную роль. Женщины делаются гораздо более легкой добычей эмоций, чем более сильный пол, вследствие более сильной возбудимости нервной системы, в особенности ее вазомоторного отдела. То же самое замечается у детей сравнительно со взрослыми. Общее правило гласит, что как отдельные лица, так и целые народы тем

более подвержены эмоциям, чем на более низкой ступени образованности они стоят.

Так называемые дикие народы более вспыльчивы и неукротимы, более необузданны в своей радости, более подавлены своим горем, чем цивилизованные народы. Такая же разница замечается между разными поколениями одного и того же племени. Мы мирны и кротки по сравнению с нашими варварскими предками, которым доставляло величайшее наслаждение предаваться безрассудным порывам, воинственной ярости, но которые так легко впадали в уныние при всякой неудаче, что лишали себя жизни из-за пустяков» (там же, с. 77—78).

Среди людей одного поколения Ланге находит проявление того же самого закона: несомненнейший признак образованности составляет то спокойное самообладание, с которым переносятся удары судьбы, вызывающие у необразованных людей необузданные взрывы страстей. И как бы для того, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения в том, что историческое развитие человеческой психики ведет к вымиранию эмоций, Ланге формулирует закон причинного отношения между одним и другим: «Это подавление аффективной стороны жизни под влиянием растущего образования, как у отдельных личностей, так и у целых поколений, не только идет рука об руку с возрастающим развитием умственной стороны жизни, но по большей части есть результат этого развития» (там же, с. 78).

Вместе с установлением этого положения Ланге неожиданно для самого себя оказывается перед окончательным итогом, который находится в непримиримом противоречии с его исходным пунктом. Поистине он начал за здравие, а кончает за упокой. Начал он с резких возражений против тезисов Канта, воззрения которого на аффекты как на болезнь души Ланге назвал жалким представлением о человеке; кончает он полной капитуляцией перед этим тезисом, перед воззрением на взаимные отношения душевных сил, желающим видеть нечто случайное в таком явлении, которое играет в душевной жизни основной массы людей гораздо более значительную роль, чем здравый рассудок, и которое в гораздо большей степени, чем последний, руководит судьбой не только отдельных лиц, но и целых народов и всего человечества.

Логика исследования оказалась сильнее логики исследователя. Медведь упорно ведет охотника. Ланге остается только признать это и пойти на полную капитуляцию перед Кантом, что он и делает в заключительных строках своего этюда. «С течением времени,— говорит он,— вазомоторные центры, вследствие постоянного сдерживания и недостаточного упражнения, все более и более теряют энергию своей эмоциональной деятельности. И этот результат воспитания умственной жизни передается путем наследственности следующим поколениям. Новые поколения являются на свет со все более и более вялой эмоциональной иннервацией сосудов и с более сильной иннервацией органов умственной деятельности.

Если наше развитие будет продолжать идти по принятому направлению, то в конце концов мы достигнем идеала Канта: явится чисто рассудочный человек, для которого все эмоции: радость и горе, тоска и страх — если он еще будет подвержен таким соблазнам — сделаются только болезнями или умственными расстройствами, одинаково неприличными для него» (там же, с. 77—80). Этой нотой безнадежности заканчивается все исследование Ланге.

Результат, к которому мы пришли, немаловажен в наших глазах. Мы сейчас со всей отчетливостью представляем себе, как решается проблема развития аффектов в рассматриваемой теории. Ланге имел мужество до конца следовать за логикой развития своей основной мысли, довести ее до предела и тем самым вскрыть ее истинную философскую сущность. Джемс, более беспечный в этом отношении, оставляет и большую неясность в этом пункте. Однако и он, как мы видели, апеллирует, наряду с законами физиологической механики, к истории человеческой психики. Следовательно, он не только не может обойти проблему развития, но вменяет в заслугу своей теории то, что эта проблема выдвигается там на первый план. Как мы помним, Джемс сравнивает основной принцип своей теории, эту знаменитую гусыню, несущую золотые яйца, с эволюционной идеей Дарвина. Поэтому для нас не может быть безразличным тот ответ, который дает Джемс на вопрос о происхождении эмоциональных реакций.

Рассматривая этот вопрос, Джемс приводит «догадки Спенсера ...нашедшие подтверждение со стороны других ученых. Он был также, насколько мне известно,— пишет Джемс,— первым ученым, высказавшим предположение, что многие движения при страхе и гневе можно рассматривать в качестве рудиментарных остатков движений, которые первоначально были полезными» (У. Джемс, 1902, с. 336). В этом же направлении идут объяснения Дарвина, П. Мантегацци[87], В. Вундта, которые приводит Джемс (там же, с. 337—338). В равной мере Джемс ссылается и на другой принцип, развитый Вундтом и Т. Пидеритом[88] (T. Piderit, 1886), принцип, которому Дарвин, может быть, не отдает полной справедливости. Он заключается в аналогичном реагировании на аналогичные чувственные стимулы (У. Джемс, 1902, с. 338). Согласно последнему принципу, можно рассматривать, как это делает, например, Вундт, «многие из наиболее выразительных реакций на моральные мотивы как символически употребляемые выражения вкусовых впечатлений. Это все те душевные состояния, которые язык метафорически обозначает горькими, терпкими, сладкими и которые характеризуются мимическими движениями рта, представляющими аналогию с выражениями соответствующих вкусовых впечатлений» (там же, с. 338).

Но оба принципа, даже взятые вместе, не могут удовлетворить Джемса. Его собственный ответ на вопрос о происхождении эмоциональных реакций с другой несколько стороны, но удиви-

тельным образом совпадает с решением проблемы развития, которую мы нашли у Ланге.

Если некоторые из наших эмоциональных реакций, говорит Джемс, «могут быть объяснены при помощи двух указанных нами принципов (а читатель, наверно, уже имел случай убедиться, как проблематично и искусственно при этом объяснение весьма многих случаев), то все-таки остается много эмоциональных реакций, которые вовсе не могут быть объяснены и должны рассматриваться нами в настоящее время как чисто идиопатические реакции на внешние раздражения. ... По мнению Спенсера и Мантегацци, дрожь, наблюдаемая не только при страхе, но и при многих других возбуждениях, есть явление чисто патологическое. Таковы и другие сильные симптомы ужаса — они вредны для существа, испытывающего их. В таком сложном организме, каким является нервная система, должно существовать много случайных реакций. Эти реакции не могли бы развиваться совершенно самостоятельно в силу одной лишь полезности, которую они могли представлять для организма. Морская болезнь, щекотливость, застенчивость, любовь к музыке, наклонность к различным опьяняющим напиткам должны были возникнуть случайным путем. Было бы нелепо утверждать, что ни одна из эмоциональных реакций не могла бы возникнуть случайным путем» (там же, с. 339).

Как ни различествует объяснение Джемса с учением Ланге об антагонизме между интеллектуальной и аффективной жизнью по конкретному содержанию, они совпадают друг с другом полностью в двух основных и решающих пунктах, как две равные геометрические фигуры при наложении одной на другую.

Первое совпадение заключается в том противоречии между основной предпосылкой и заключительным выводом, в которое одинаковым образом и в равной мере впадают оба автора. Проявление этого противоречия у Ланге мы только что имели случай выяснить. У Джемса оно столь же обнажено и выступает в столь же незамаскированном виде, поэтому не стоит никаких усилий разглядеть его. Напротив, нужна большая доля оптимистического доверия к его теории, для того чтобы не заметить этого вопиющего противоречия.

У. Джемс, как мы помним, обещал с помощью своей гипотезы поднять научное исследование эмоций на уровень глубокого исследования, исследования высшего порядка. Он пренебрежительно отвергает классификацию и описание как низшие ступени в развитии науки. Благодаря своему плодотворному руководящему принципу он обещает открыть путь к выяснению причинной зависимости эмоциональных реакций. Источником такого причинного объяснения он считает физиологическую механику. В этом отношении он жестоко обманулся, наткнувшись на полную фактическую бесплодность причинного объяснения и различения эмоций с этой стороны. Остается другой источник — история человеческой психики. Задачу исторического причинного объяснения

эмоций Джемс считает по существу разрешимой, хотя найти ее решение трудно. Однако мы только что имели возможность убедиться: лишь дело доходит до фактического осуществления этой надежды, она лопается как мыльный пузырь. Объяснения, исходящие из принципов Спенсера, Дарвина, Вундта, оказываются проблематичными и искусственными. Но, главное, остается много эмоциональных реакций, которые вовсе не могут быть объяснены. Это буквальные слова самого Джемса.

Таким образом, проблема исторического объяснения эмоций оказывается, вопреки оптимистическим ожиданиям, неразрешимой, что было ясно уже Джемсу. 60 лет, протекшие со времени его пессимистического заключения, целиком подтвердили это. Едва ли в каком-нибудь другом пункте теория Джемса настолько оправдала себя, как именно в этом. Эмоциональные реакции должны рассматриваться, говорит Джемс, как чисто идиопатические реакции, т. е. необъяснимые, как реакции на внешнее раздражение. Их биологическое значение не только проблематично, но очень часто положительно должно быть отвергнуто. Это случайные реакции, которые вообще не поддаются причинному, историческому объяснению. Спрашивается: что же тогда остается от иллюзий исследования высшего порядка? Что остается, кроме классификации и описания, кроме поверхностного анализа эмоций, кроме описания их внешних признаков? Самая остроумная теория, по-видимому, не может дать больше того, что в ней содержится.

Второе совпадение двух самостоятельно возникших вариантов единой теории затрагивает сущность решения проблемы развития. Ланге должен был сдаться на милость победителя — Канта и признать вслед за ним, что аффекты являются не чем иным, как болезнями души. Джемс также склоняется к рассмотрению аффектов в качестве патологических явлений, вредных для существ, испытывающих их. Ланге меланхолически повествует о судьбе вымирающего племени страстей. Джемс также вынужден рассматривать их в качестве рудиментарных остатков, которые первоначально были полезными, но выродились в ходе развития, превратившись в ненужные, бессмысленные придатки нашего психического аппарата, никак не связанные с остальной его деятельностью. Кто начал с принципиального обессмысливания эмоций, тот в результате неизбежно должен прийти к признанию бессмыслицы единственным правом их на существование. Но от начала и до конца исследования бессмыслица всей эмоциональной жизни возрастает, постепенно увеличиваясь с каждым новым шагом развертывания теории, достигая в заключение поистине патетической силы — в признании эмоций рудиментарными, патологическими, случайными, необъяснимыми явлениями. Кто сеет ветер, тот необходимо пожнет бурю.

Нам остается выяснить последнее обстоятельство, связанное с проблемой развития эмоций, как она поставлена и разрешена теорией Джемса — Ланге: остается выяснить только внутреннюю

необходимость, логическую неизбежность именно такой постановки и именно такого решения.

Дело, конечно, не в том отвращении к историческим объяснениям, которые, по словам Дюма, должен питать всякий представитель механистического мировоззрения, идущий по стопам Декарта. В конце XIX в., после Дарвина, такое отвращение едва ли могло бы объяснить нам неспособность какой-либо эмпирической теории к разрешению проблемы развития. Как мы видели, Ланге и Джемс очень хотели бы найти ключ к историческому объяснению эмоций. Они, однако, не смогли этого сделать, как хотел и не смог ответить на этот вопрос основоположник висцеральной теории эмоций — великий Декарт. Очевидно, в логике самой теории заложена антиисторическая тенденция, которая парализовала все усилия исследователей, идущих в этом направлении. Их благие намерения разбивались всякий раз о внутреннее непроницаемое ядро собственной теории.

Это ядро действительно абсолютно антиисторично. Оно совершенно исключает по самому существу всякую возможность истории человеческих эмоций. Ядро всей теории составляет, как нам известно, идея, согласно которой источником и действительной причиной эмоций являются рефлекторные, периферические изменения внутренних органов и мускульной системы. Тем самым ядро теории сейчас же обрастает двумя плотными и непроницаемыми, неотделимыми от него идейными оболочками. Первая возникает сама собой из того непреложного факта, что телесные проявления, принимаемые за истинную причину, за действительную сущность эмоциональной реакции, оказываются тем ощутительнее, чем с более грубой эмоцией мы имеем дело. Следовательно, чем примитивнее, чем ниже на ступени развития стоит эмоция, чем архаичнее она, тем больше она обнаруживает черты подлинной страсти.

Эмоции, таким образом, по смыслу основного положения теории должны быть отнесены к самому отдаленному доисторическому, дочеловеческому периоду психической эволюции. У человека они выступают только в роли рудиментов, бессмысленных пережитков темного наследия животных предков. В истории человеческой психики не только невозможна никакая перспектива развития эмоций, но, напротив, они осуждены на последовательное регрессирование и в конечном счете на умирание.

Телесные проявления, образующие сущность эмоций, неизмеримо богаче, ярче и осязательнее у животных, чем у человека; у примитивного человека — чем у культурного; у ребенка — чем у взрослого. О каком же развитии, как не об обратном, не о свертывании, может идти речь по отношению к эмоциям? Их эволюция есть не что иное, как инволюция. Их история есть история их отмирания и гибели. Таким образом, самое понятие развития оказывается неприложимым к эмоциям и невозможным в области их исследования, если принять основное допущение висцеральной гипотезы. К этому, как мы видели, одинаково

вынуждены прийти, следуя логике собственной теории, и Ланге, и Джемс.

Вторая оболочка, которой обрастает ядро их теории, возникает из того отрыва эмоций от всего нашего сознания, который содержится уже в самом ядре теории. Отрывая эмоции от мозга, вынося их на периферию, сводя их к периферическим изменениям внутренних органов и мускулов, теория тем самым гипотетически создает для них органический субстрат, отличный и отдельный от материального субстрата остального сознания. Ведь внутренние органы — сердце, желудок и легкие — представляют собой ту часть человеческого организма, которая никак не может сравниваться, с точки зрения ее участия в историческом развитии человека, с центральной нервной системой, в частности с корой головного мозга.

Историческое развитие человеческого сознания связано в первую очередь с развитием коры головного мозга. Это, разумеется, ни в какой мере не означает того, что организм в целом и все прочие его органы никак не участвовали в эволюции. Однако едва ли может вызвать какое-либо сомнение тот факт, что, когда мы говорим об историческом развитии человеческого сознания, мы имеем дело в первую очередь и главным образом именно с корой головного мозга как с материальной основой развития, которая в этом отношении качественно выделяется из всех остальных частей организма, будучи ближайшим и непосредственным образом связана с психическим развитием человека. Во всяком случае это положение общепризнано для всех высших, специфически человеческих функций сознания.

Периферическая теория эмоций, видящая их источник в деятельности внутренних органов — этих наиболее исторически неподвижных, неизменных, наиболее удаленных от непосредственной органической основы исторического развития сознания частей организма, тем самым вырывает эмоции из общего контекста психического развития человека и ставит их в изолированное положение. Они оказываются как бы островом, отделенным от основного материка сознания и окруженным со всех сторон морем чисто вегетативных и анимальных, чисто органических процессов, в контексте которых они и получают свое истинное значение. Удивительно ли после этого, что телесные проявления, составляющие, согласно висцеральной теории, самую сущность эмоциональной реакции, оказываются более родственными с такими вегетативными расстройствами, которые мы наблюдаем при холоде, лихорадке, асфиксии, чем с такими эмоциональными состояниями, как страх и гнев? Самая локализация источника эмоций, из которого берет начало специфическое качество чувства, вне мозга, на периферии, уже предполагает выключение аффектов из всего того комплекса связей, из всей той системы отношений, из всей той функциональной структуры, которые составляют истинный предмет психического развития человека.

Таким образом, это положение, содержащееся в самом ядре теории, обрастает новой оболочкой в такой же мере, как и первое, отделяющее теорию от проблемы развития. Как ни странно, но на это обстоятельство обращалось очень мало внимания. Биологическая видимость теории внушала иллюзию, что она не только не противоречит эволюционной идее в психологии, но прямо предполагает ее. Лишь отдельные голоса, критикующие теорию с этой стороны, раздаются в современной психологии.

Так, Бретт справедливо говорит, что «во всей литературе об эмоциях наибольшее внимание уделяется эндосоматическим реакциям и тем самым совершенно очевидно выделяется только один аспект эмоции в целом.

Когда мы обращаемся от экспериментального исследования к клиническому, нам кажется, что мы попали совершенно в другой мир. У нас возникает впечатление, что необходимо строго различать эмоции, как они обычно изображаются, и тот род переживаний, которые описывает клиническая психология. Влияние зоопсихологии и физиологических школ страшно затемняет вопрос о возможности развития эмоций. Нет никаких априорных данных, которые объяснили бы нам, почему эмоции не должны развиваться. Это допущение кажется простым недоразумением. Если же эмоции развиваются, то самая очевидная ошибка заключается в неразличении отдельных уровней развития. Это и является худшим результатом той интерпретации, которая обычно дается в теориях, подобных теории Джемса—Ланге. Именно потому, что они бесспорно правы до определенного пункта, они впадают в заблуждение, как только выходят за его пределы. Многие авторы злоупотребляют словом *биологический*. Совершенно верно, что инстинкты и их висцеральные спутники являются тем, что они есть, благодаря их биологическому значению. Но, собственно говоря, это значение известно только теоретику. Животное, конечно, не проявляет страха или ярости по той причине, что самосохранение есть первый закон жизни. Слово *биологический*, если мы хотим придать ему особый смысл, означает отношение между каким-нибудь актом и его последствиями для индивида или рода. Это отношение еще не составляет части поведения до тех пор, пока мы не допустим, что поведение направляется памятью или стремлением. Поведение является биологическим только для ученого наблюдателя. Для самого действующего животного оно является психологическим.

С этой точки зрения, необходимо было бы попытаться развить сравнительное исследование эмоций. Возможно, все теории правильны, но они должны быть отобраны с точки зрения эволюционного принципа. На одном конце этой сравнительной шкалы тип реакции будет приближаться к типу сложного рефлекторного ответа. Инстинкт и эмоция окажутся еще не дифференцированными настолько, что должен будет отпасть самый спор об этих терминах. Общее диффузное возбуждение будет одинаково характерно для всех форм поведения на этой ступени развития. Эмоция

как дифференцированный фактор выступит только в том месте этой шкалы развития, где можно будет установить, что ситуация имеет какой-либо смысл, если употребить это слово для обозначения любой формы связи между данной ситуацией и другими ситуациями, все равно — вспоминаемыми или антиципируемыми. На высшем уровне, определенном в конечном счете развитием мозга, должны иметь место модифицированные формы примитивной реакции. Телесные проявления и психическое напряжение должны здесь оказаться эмоциональными в собственном смысле слова... Отношение между идеями должно выступить на первый план, и характер эмоций в силу этого должен измениться...

Исторический обзор теории эмоций заканчивается запутанной картиной, настоятельно требующей полной реконструкции психологии эмоций. Все новейшие усилия в этом направлении ведут нас по пути, указанному эволюционным методом. Человек достиг современного состояния развития путем медленного процесса роста и интеграции, в которых мы видим объяснение специальных познавательных функций. Нет никаких оснований отрывать эти функции от общих органических состояний, но нет и никакого смысла игнорировать возможность величайших различий, зависящих от степени мозгового развития и интеграции. Здесь, по-видимому, заключается верный элемент теории Джемса, который улавливает различия между грубыми и более тонкими эмоциями. Но в таком виде это различие не вполне отвечает духу научной психологии. Вместо того чтобы противопоставлять один класс эмоций другому, следует допустить, что каждая эмоция может иметь различные формы, как различаются, например, ярость животного и справедливое негодование. Так как одна форма развивается из другой, в зависимости от общего развития человека она может легко сохранить связь с более примитивным типом эмоций или с другими связанными с ней реакциями.

Во всяком случае, отношение между эмоцией и ее выражением становится менее фиксированным и неподвижным по мере того, как организм развивается, удаляясь от инстинктивных и стереотипных форм реакции. Более сложные (тонкие) эмоции, не имеющие специфической, связанной с ними реакции (типичной для поведения животного), допускают различные выражения, и экспрессия теряет непосредственную связь с сознательным элементом эмоции — обстоятельство, которое может помочь теории в объяснении, почему мы плачем одинаково как от радости, так и от горя» (D. S. Brett, 1928, p. 393—396).

Мы умышленно привели несколько затянувшееся заключение исторического очерка развития психологических идей о природе эмоций, чтобы опереться на объективные свидетельства историка науки по поводу состояния проблемы развития в современной психологии эмоций. Краткий смысл этого длинного высказывания заключается в том, что психология эмоций не располагает сейчас даже самыми первоначальными зачатками теории развития, что она представляет собой запутанную картину, в которой не

проведено различения высших и низших, животных и человеческих, инстинктивных и сознательных эмоций, картину, которая переносит нас, по выражению Бретта, единым махом из одного мира в другой.

Из первых и робких попыток генетического исследования эмоций в их онтогенезе мы узнаем нечто большее, чем простое констатирование того факта, что старая теория исключала априори возможность эмоционального развития. Мы узнаем из них и содержание априорного антиисторического ядра теории. Оно может быть охарактеризовано в свете упомянутого исследования двумя основными чертами: допущением сенсорно-рефлекторной природы эмоциональной реакции и отрицанием ее связи с интеллектуальными состояниями. Первое допущение исключает развитие из-за того, что рефлекторные реакции представляют собой самый стабильный, самый неизменный элемент всего поведения, и из-за того, что сведéние эмоций к простым ощущениям внутри органических изменений лишает эмоции всякой действенной, активной роли в сознании человека.

Если сущность страха заключается в ощущениях дрожи и гусиной коже, нет оснований допускать, что эти явления будут существенно разными у ребенка и взрослого. Равным образом отрицание связей между эмоциональными и интеллектуальными состояниями исключало заранее всякое участие эмоций в общем развитии сознания, в котором изменения интеллекта занимают центральное, значительнейшее место. Это отрицание уже заранее предполагало такую постановку вопроса о природе эмоции, которая целиком и полностью исключала самую возможность проблемы эмоции человека в ее отличии от эмоции животного. Животное и человек, животное и человеческое в самом человеке оказались разорванными, грубые и тонкие эмоции оказались принадлежащими, по выражению Бретта, двум различным мирам (ibid., p. 393), и только слепой не увидел бы в этом самого непосредственного, самого прямого, самого неприкрытого воплощения старых идей, лежащих в основе картезианского учения.

Декарт как бы незримо присутствует на каждой странице психологических сочинений об эмоциях, которые написаны за последние 60 лет. Если верно, что мы являемся сейчас свидетелями коренного поворота 60-летнего пути психологии эмоций, полного банкротства идей, определивших его направление и исход, то современный кризис учения об эмоциях и намечающийся в нем коренной поворот к научному исследованию и самому пониманию природы эмоций не может иметь другого смысла, кроме антикартезианского. Этот вывод вытекает с необходимостью из каждого шага научной мысли, сделанного в новом направлении. Каждый конкретный вопрос новой теории эмоций упирается в необходимость преодоления картезианских принципов, тяготеющих над всей этой областью психологии. Ограничимся только одним примером такого рода.

В новой психологии эмоций все больше выступает на первый

план проблема динамической природы аффекта. В исследовании К. Левина и М. Принца[89] динамический, активный, энергетический аспект эмоции выдвигается как единственный способ понимания аффекта, допускающий действительно научное, детерминистическое и истинно каузальное объяснение всей системы психических процессов. С логической необходимостью такое понимание предполагает преодоление дуалистического подхода к аффективной жизни и выдвигает понимание аффекта как целостной психофизиологической реакции, включающей в себя переживание и поведение определенного рода и представляющей единство феноменальной и объективной сторон.

Исследование динамического аспекта эмоций не могло не прийти в столкновение с теорией Джемса—Ланге, исключающей по своему существу монистическое понимание эмоций как энергетических и мотивационных побуждений, детерминирующих переживание и поведение. «Рассмотрение эмоций как динамических процессов само собой исключает понимание их роли, как «простых сенсорных восприятий» висцеральных функций... как это предполагается теорией Джемса—Ланге, по которой их разряды сами по себе должны детерминировать поведение определенного рода. Эмоция поэтому не может рассматриваться как эпифеномен, связанный с рефлексами, как это делают бихевиористы, но сама должна пониматься как необходимый момент, участвующий в нервных разрядах, так или иначе определяющий характер реакции.

Эмоция, следовательно, не может играть пассивную роль эпифеномена. Она должна делать нечто. С этой точки зрения становится более понятной функция эмоции по отношению к организму, чем если эмоция не представляет собой ничего иного, кроме сознания нервного разряда энергии или пассивного сенсорного осознания висцеральной деятельности. С последней точки зрения, мы могли бы совершенно обойтись без эмоции, без гнева, или страха, или любого другого чувства, так как мы действовали бы как автоматы» (M. Prince, 1928, p. 161—162).

В доказательство этого положения Принц приводит несколько соображений. «Во-первых, повседневное наблюдение убеждает нас в том, что эмоция внутренне связана с разрядом энергии, направляемым во внутренние органы и в произвольную мускулатуру. Но как связана? Есть основание полагать, что эмоция протекает синхронно с разрядом, который длится до тех пор, пока в сознании длится сама эмоция. С точки зрения теории Джемса—Ланге, рассматривающих эмоцию как пассивное сенсорное восприятие, эмоция должна следовать за висцеральной реакцией. Если эмоция является таким излишним чистым эпифеноменом, не способным ничего определять в нашей реакции на ситуацию, становится непонятным самый факт синхронности, который представляет собой важную проблему, ожидающую своего решения. Это второй аргумент.

Третий состоит в том, что эмоция как эпифеномен была бы

совершенно бесполезным в биологическом отношении явлением, которого эволюция так же не терпит, как «природа пустоты». Наконец, последним аргументом является свидетельство непосредственного опыта, который убеждает нас, что страсть движет нами, что она дает энергию нашим мыслям и нашим действиям. Мы сознаем, что эмоция и чувство активируют нас. Это сознание есть непосредственный факт, не зависящий от его дальнейшего истолкования. Все эти соображения, вместе взятые, заставляют автора рассматривать эмоцию во внутренней неразрывной связи с энергетическими процессами, совершающимися в организме, ибо без понятия энергии поведение вообще не может быть объяснено» (ibid., p. 162—164).

Не неожиданно для нас Принц в этой связи упоминает имя Декарта и ссылается на картезианское учение о страстях, ибо вопрос действительно из области частного исследования переходит в план философской проблемы психофизической природы эмоций. Но действительно неожиданным является утверждение Принца, что защищаемая им против теории Джемса—Ланге концепция является по существу картезианской. Второй раз уже мы встречаемся с попыткой рассматривать теорию Джемса—Ланге как антитезу к картезианскому учению. Первый раз эту мысль мы встретили у Денлапа, который противопоставлял центростремительную гипотезу периферической теории центробежной теории возникновения эмоций, развитой Декартом. Здесь, таким образом, противопоставление обеих теорий касалось конкретного вопроса о физиологическом механизме, являющемся субстратом эмоции. К этому вопросу мы еще вернемся.

Но сейчас речь идет о чем-то большем. Картезианское учение противопоставляется теории Джемса—Ланге с точки зрения принципиального понимания отношения, существующего в эмоции между телесными и психическими процессами. Обе теории, таким образом, оказываются в противоречии уже не с точки зрения частного практического описания, но с точки зрения их принципиальных оснований. Вопрос этот заслуживает самого принципиального выяснения. Последуем поэтому дальше за Принцем.

В своей концепции, рассматривающей эмоцию как энергию, Принц, противопоставляющий эту точку зрения теории Джемса—Ланге и связывающий ее с картезианским учением, применяет точку зрения эмерджентной эволюции[90] — нового идеалистического учения, пытающегося найти выход из тупика альтернативы — механицизм или витализм, в который упирается все современное естествознание. Эмерджентная эволюция исходит из допущения внезапных, якобы диалектических скачков в развитии, внезапного появления новых качеств, необъяснимого превращения одних качеств в другие. С этой точки зрения Принц объясняет две возможности, существующие для его концепции. Либо мы должны допустить, что эмоциональные разряды энергии связаны с электронами в высшей степени сложной атомной структуры нервной системы. Эти разряды эмерджируют как эмоции, так как

они сами в себе содержат энергию, не констатируемую объективно, но являющуюся результатом крайне сложной организации огромного числа единиц нервной энергии. Либо мы должны принять, что кинетическая центростремительная нервная энергия, будучи имматериальной, превращается в такую же имматериальную психическую энергию, которая при обратном течении, как звено в цепи всего процесса, снова превращается в имматериальную, центробежную энергию, подобно физическому закону превращения энергии. То, что непознаваемо при помощи объективных методов, эмерджирует как доступное психологическому познанию, как состояние сознания (ibid., p. 166).

Достаточно привести эти положения для того, чтобы стал ясен смысл связи, существующей между теорией Принца и картезианским учением. Допущение имматериальной, психической энергии, которая действует, однако, совершенно как материальная, физическая энергия и находится с ней в простом механическом взаимоотношении, представляет собой, как мы подробно рассмотрим ниже, существенную составную часть картезианского учения о страстях, двойственного по самой своей основе. Принц, таким образом, противополагает один принцип картезианского учения — спиритуалистический — другому принципу того же учения — механистическому. С этим мы уже встречались раньше. Намечая совокупность проблем, выдвинутых современным исследованием о соотношении теории Джемса — Ланге и картезианского учения, мы упоминали, ссылаясь на Дюма, и об этой проблеме. Дюма называл ее теологическим принципом, воспринятым Мальбраншем от Декарта и разделяющим старое и новое учение. В борьбе Принца против Джемса мы имеем, таким образом, как бы две непримиримые, внутренне противоречивые части картезианского учения, которые поляризовались современной психологией и восстали друг против друга как последовательно спиритуалистическая и последовательно механистическая концепции эмоций.

Это бесспорно. С этим нельзя не согласиться. Дух картезианского учения проявляет себя не только в механистических теориях, подобных теории Джемса, но и в новых теориях, пытающихся преодолеть несовершенство прежних гипотез с помощью другой стороны того же самого учения, которое породило идеи их противников. Они не подозревают при этом, что изгоняют дьявола именем Вельзевула и не только не выходят за пределы того замкнутого круга, в котором вращается вся современная психология эмоций, но еще теснее замыкают этот круг, пытаясь полностью реализовать старинное картезианское учение. Их заслуга состоит в том, что они с полным сознанием борются за торжество картезианских принципов современной психологии. Они только дополняют несколько старомодного Декарта наисовременнейшей теорией эмерджентной эволюции. Но и она, как мы увидим дальше, не только не чужда духу картезианского учения, но непосредственно связана с ним, что, впрочем, признает и сам Принц.

С установлением этого вся картина идейной борьбы в современной психологии эмоций окончательно проясняется. Это, конечно, монизм, говорит Принц о своей концепции,— единственная альтернативная гипотеза — есть дуализм и параллелизм, т. е. эпифеноменализм и человеческий автоматизм (ibid., p. 166—167). С этим нельзя не согласиться. Вся ошибка заключается только в том, что обе гипотезы рассматриваются как альтернативные. На самом деле в учении Декарта они взаимно предполагают друг друга и только в совокупности образуют истинное ядро его теории страстей. Здесь есть, конечно, известная логическая непоследовательность, но только того рода, на который неизбежно наталкивается всякое идеалистическое учение, стремящееся превратиться в научное объяснение реальных фактов, происходящих в материальной действительности, и не желающее порывать с этими фактами. Такой монизм (спиритуалистический) и такой дуализм (параллелистический) не только не представляют истинной альтернативы, но, скорее, взаимно предполагают друг друга, во всяком случае в учении Декарта и его последователей, Джемса и Принца.

Мы помним, что точно таков же был метод исследования, примененный Декартом к познанию природы страстей. Он сперва рассматривает человека как бездушный автомат и исследует механизм страстей, как он действует в этой сложной машине, совершенно безотносительно к ее сознанию. Этим Декарт предвосхитил теорию Джемса. Затем он присоединяет к автомату душу, заранее предопределяя, что ее восприятия, возникающие из автоматической деятельности бездушного механизма, не могут быть не чем иным, как эпифеноменами, и вводя спиритуалистический принцип обратного действия души на телесный автомат, устанавливая, таким образом, механистическое взаимодействие между душой и телом; этим он предвосхитил теорию Принца. Нетрудно видеть, что предполагаемая Принцем эмердженция психического из физического и обратное превращение духовной энергии в телесную ежеминутно совершаются в том чудовищном агрегате, составленном из чистого духа и сложной машины, который сконструирован Декартом в его теории. Он только не называл этого ежеминутно происходящего чуда эмердженцией и откровенно сознавал, что оно представляет собой самый темный, неясный и трудный пункт его учения.

Все развивается последовательно и логично в этой дуалистической теории, пока дух и тело рассматриваются порознь. Они для Декарта две субстанции, исключающие друг друга. Но как только встает проблема соединения обеих субстанций в человеческом существе, и притом в том пункте, где двойственность человеческой природы сказывается непосредственным образом,— в страсти, мрак необъяснимости охватывает проникнутое светом разума стройное рационалистическое учение. На этот пункт в учении Декарта нападал, как мы помним, в первую очередь Спиноза, называя гипотезу о соединении души и тела в шишковидной

железе темной, «темнее всякого темного свойства... Весьма было бы желательно,— говорил Спиноза,— чтобы он объяснил эту связь через ее ближайшую причину. Но Декарт признал душу настолько отличной от тела, что не мог показать никакой единичной причины ни для этой связи, ни для самой души, и ему пришлось прибегнуть к причине всей вселенной, т. е. к богу» (1933, с. 199). В этом и заключается тот теологический принцип в объяснении страстей, о котором говорил Дюма.

Сам Декарт на вопрос принцессы Елизаветы, как объясняется соединение души и тела, сослался на непознаваемость этого соединения. Но разве не то же самое имеет в виду и эмерджентная эволюция? Декарт ссылается на непознаваемое чудо. Новая теория ссылается на необъяснимую эмердженцию. За 300 лет изменилось только слово, но не идея. Но что слово? Звук пустой.

Человеческий дух, говорит Декарт в ответ на роковой вопрос, неспособен постигнуть отчетливо различие существа души и тела и вместе с тем их соединения так, как он должен был бы понимать их: как единое существо и вместе с тем как два различных существа, а это противоречит одно другому. Можно поэтому утверждать, что проблема страстей была единственным камнем преткновения для всей системы Декарта. Не будь этого проклятого вопроса, не существуй в природе человек с его страстями (животные для Декарта только автоматы), учение о двух исключающих друг друга субстанциях — духовной и материальной — развивалось бы стройно и логически последовательно. Но страсти, этот основной феномен человеческой души, суть прямые проявления двойственной человеческой природы, соединяющей дух и тело в одном существе. Более того, страсти представляют собой единственный во всей вселенной феномен совместной жизни духа и тела. Они поэтому необходимо требуют для своего объяснения соединения спиритуалистического и механистического, теологического и натуралистического принципов. Декарт должен был отнестись, вопреки собственным словам, к страстям не только как физик, но и как теолог. Но раз в этом пункте системы должно было произойти смешение двух противоположных принципов, вся система не только должна была потерять свою чистоту, но и пойти по пути дальнейшего взаимного проникновения двух ее полярных оснований. По образному выражению К. Фишера, протяжение навязчиво. Если, говоря образно, душа даст ему мизинец, то оно схватит всю руку. Если мыслящая субстанция где-нибудь имеет свое местопребывание, то ее независимость и отличие от телесной субстанции уже потеряны, и не только в одном, а во всех отношениях. Если душа локализуется, то она тем самым материализуется и механизируется. Спиритуалистический принцип сам начинает нуждаться в дополнении механистическим принципом, так как душа вовлекается в механический круговорот страстей и так как она не может участвовать в деятельности этого механизма, не выступая в

качестве механической силы (К. Фишер, 1906, т. 1, с. 446).

Но вместе с тем должно произойти и обратное. Навязчиво не только протяжение, но и дух. Если один только, самый незначительный телесный орган — шишковидная железа — окажется способным приходить в движение под влиянием чисто духовной силы, то человеческий автомат неизбежно окажется простым орудием мыслящей субстанции, игралищем спиритуалистической энергии.

Таким образом, картезианское учение оказывается не случайно, но принципиально дуалистическим, и дуализм в учении о страстях — только проявление общего онтологического и гносеологического дуализма Декарта. Как правильно отмечает Фишер, в учении Декарта соединены теологическая и натуралистическая системы (1906, т. 1, с. 439). Забегая вперед, скажем, что в двойственности картезианского учения содержится уже целиком и полностью дуализм объяснительной и описательной психологии. Нас не может здесь интересовать вопрос о том, насколько логически прочно и стройно объединены обе части системы, мы рассмотрим это объединение только в учении о страстях. Здесь оно проявляется с наивысшей силой и полностью раскрывает свою природу.

С одной стороны, Декарт полностью переносит на человеческие страсти свое общее положение, что мышление и протяжение различаются субстанционально. В том именно и состоит существо субстанций, говорит Декарт, что они исключают друг друга. «В действительности,— говорит Фишер,— дух и тело совершенно отделены друг от друга, нет никакого общения между ними: я познаю это при свете разума» (там же, с. 443). Тело действует как бездушный автомат, всецело подчиненный законам механики. Душа обладает абсолютной и неограниченной свободой воли, образующей наше богоподобие. Воля или свобода воли, говорит Декарт, есть единственная из всех способностей, которая по моему опыту так велика, что я не могу себе представить большей. Эта способность и есть главным образом то, благодаря чему я считаю себя подобием бога. К обоим этим положениям всецело применимы слова Фишера, сказанные им по поводу онтологической концепции Декарта. В первом утверждении выражается натуралистический характер системы, во втором — теологический. Дуалистический характер системы вызывается принципом, а потому является принципиальным.

Все благополучно в проведении этого дуалистического принципа, пока Декарт не наталкивается на неоспоримый факт соединения обеих, исключающих друг друга субстанций в одном явлении, в страстях человека. Они, как мы видели, с несомненностью обнаруживают непреложный факт единства духа и тела в одном феномене, в одном существе. Здесь логика дуалистической системы необходимо должна потерпеть окончательное крушение.

«Ничему меня природа не учит так явственно,— говорит Декарт,— как тому, что я имею тело, которому бывает худо,

когда я ощущаю боль, и которое нуждается в пище и питье, когда я испытываю голод или жажду. Я не могу сомневаться в том, что в этих ощущениях есть нечто реальное. Мои аффекты и инстинкты делают мне ясным, что я нахожусь в собственном теле, не как пловец в лодке, а связан с ним самым тесным образом и как бы смешан, так что мы некоторым образом образуем как бы одно существо. Иначе я, в силу моей духовной природы, не ощущал бы боли при повреждении тела, а только опознавал бы это повреждение как объект познания, подобно тому как корабельщик усматривает, когда что-либо в судне ломается. Когда тело нуждается в пище и питье, я знал бы об этих состояниях и не имея неясных ощущений голода и жажды. Эти ощущения в самом деле неясные представления, происходящие от соединения и как бы смешения духа с телом» (там же, с. 371)[91].

По совершенной и прозрачной ясности и энергии высказанных здесь Декартом положений они могли бы, в сущности говоря, конкурировать с его знаменитым cogito, ergo sum и претендовать на то, чтобы стать архимедовым пунктом, единственной прочной точкой опоры всего философского познания. Как известно, философия Декарта начинается с принципиального сомнения и с поисков принципа достоверности. «Только одной неподвижной точки опоры,— говорит он,— требовал Архимед для того, чтобы поднять землю. Мы также можем надеяться на многое, если только найдено хоть самое малое, установленное прочно и непоколебимо» (там же, с. 305)[92]. Эту неподвижную точку опоры Декарт, как известно, находит в положении: «Я мыслю, следовательно, существую», в положении, которое в тот момент, когда я его высказываю или мыслю, необходимо истинно. Зачем мне создавать себе другие фантазии, спрашивает себя Декарт, я не есмь тот организм, который называется человеческим телом, я также — не то тонкое, проникающее члены эфирное вещество, не ветер, не огонь, не пар или дыхание, ничто из всего того, что я есмь в моем воображении[93].

Но, как мы видели, сам Декарт вынужден признать, что ничему природа не учит нас так явственно, как тому, что мы имеем тело. Мы не можем сомневаться в реальности испытываемой нами боли, голода или жажды. Наши аффекты делают нам ясным, что мы составляем вместе с нашим телом одно существо. Именно страсти образуют основной феномен человеческой природы.

В них проявляется человек с наибольшей полнотой, так как мышление возможно и в одной только духовной природе, а движение — в одной только телесной. По-видимому, если бы учение о страстях стояло не в конце, а в начале картезианской философии, ее архимедов пункт должен был бы заключаться в непосредственной очевидности и достоверности проявляющегося в аффектах единства телесной и духовной природы. Так непреложная истина, содержащаяся в приведенных выше словах Декарта, освещает лучше, чем всяческие апологии, самое себя, и лучше,

чем всяческие критические возражения, коренные заблуждения его системы.

Итак, страсти представляют собой для Декарта не только основной феномен человеческой природы, но и совершенно невозможное, немыслимое с точки зрения его системы, а потому необъяснимое явление — соединение в одном существе исключающих друг друга противоположных субстанций. Человеческие страсти невозможны с точки зрения системы Декарта: это есть коренной и центральный по значению факт, из которого как необходимое следствие вытекает положение о том, что невозможна никакая психология страстей как наука.

Но если противоположность или разделение между духом и телом в учении Декарта мыслимы ясно и отчетливо, то соединение обоих в естественном свете разума должно казаться уже немыслимым и невозможным, а если таковое фактически существует, то оно противоречит основаниям системы и объяснение его подвергает учение Декарта самому трудному испытанию. Нужно исследовать, выдержит ли философ это испытание без отрицания своих принципов. Результат такого исследования показывает, что это испытание роковое для всей системы Декарта и что ее дуализм разбивается о понятие и факт существования человека. Противоречие настолько очевидно, что его допускает и сам философ.

Мы не станем приводить высказывания Декарта, в которых проявляется противоречивость его взглядов. Высказывания, в которых он то признает соединение души и тела в человеке субстанциональным единством и переносит основное свойство одной на другое, считая один раз душу протяженной, другой раз человеческое тело неделимым, утверждая, что душа и тело, рассматриваемые сами по себе, так же не составляют целого, как рука не составляет всего человеческого тела, и потому нуждаются друг в друге для своего дополнения, будучи неполными субстанциями, то отрицает, что их соединение образует единство природы, видя в нем только единство сложения и сохраняя целиком дуализм своей системы.

Для нас представляет интерес другое: необходимое и вынужденное взаимопроникновение теологического и натуралистического принципов в учении о страстях, принципов, которые предполагают друг друга, как правое предполагает левое, и которые так же не могут существовать один без другого, как верх без низа. Для нас важно показать, что разделение обоих принципов, которое стремится осуществить современная научная психология в самостоятельном существовании объяснительной и описательной психологии, в противопоставлении эмерджентной теории эмоций Принца, в механистической гипотезе Джемса есть не более, чем иллюзия. То и другое оказывается нераздельным в картезианском учении и в психологической науке.

Человеческие страсти, как мы видели, невозможны в том мире, который сконструировал в своей системе Декарт. Для

объяснения их он должен изменить собственным принципам и допустить смешение мышления и протяжения. Здесь начинается грехопадение его философии, здесь начинается смешение теологии и натурализма. Декарт вынужден допустить, что душа должна соприкасаться с телом, он находит место этого соприкосновения в мозговой железе, через которую тело воздействует на душу, а душа на тело. Пункт, где она соприкасается с телом или вступает с ним в связь, должен быть пространственным, местным, телесным: теперь душа локализуется и сама становится в этом отношении пространственной. Не видно, в каком же отношении она остается еще непространственной или не материальной. Иное значение приобретает теперь картезианское положение, что только тела способны к движению и, независимо от первой движущей причины, могут быть приводимы в движение только телами же. Судя по этому положению (движущееся и приведенное телом в движение), душа должна сама быть телесной, она делается материальной вещью, несмотря на все уверения, что она мыслящая, совершенно отличная от тела, субстанция. Механическое влияние и связь, имеющие место только между телами, распространяются теперь и на душу, и на тело.

Сложение обеих субстанций, как правильно заметила принцесса Елизавета, не может быть мыслимо без протяжения и материальности души. Картезианская антропология противоречит не только дуалистическим принципам метафизики, но и механистическим принципам натурфилософии, что количество движения остается в мире постоянным, что акция и реакция, действие и противодействие равны. Эти фундаментальные положения учения о движении теряют силу, коль скоро в телах движения могут порождаться не материальными причинами. Как бы мы ни мыслили соединение обеих субстанций в человеческой природе — как единство или как сложение, и в том и в другом понимании оно противоречит принципиальному дуализму, необходимо приводит к его противоположности.

Невозможно сказать, в какую сторону больше сдвигаются основные положения системы: к чистой теологии или к чистому натурализму. Допустив чистое взаимодействие души и тела на маленьком участке мозговой железы, Декарт в одинаковой мере вовлекает душу в механический кругооборот страстей и подчиняет тело спиритуалистическому воздействию нематериальной энергии. Так же как и в онтологическом учении, порой кажется, что в учении Декарта о страстях теологический элемент достигает такого исключительного, преобладающего значения, что тут августинизм одерживает победу над натурализмом; порой, наоборот, представляется несомненным, что натуралистические принципы целиком проникают в область учения о душе. То и другое совершается в абсолютно равной мере, потому что то и другое представляет собой только два следствия одного и того же положения о возможности механического взаимодействия души и тела в человеческих страстях.

Поэтому ошибкой исследователей, в частности Фишера, следует признать то, что они переоценивают победу натуралистического принципа над теологическим в учении Декарта. Рассматривая борьбу этих принципов в онтологическом учении Декарта, Фишер говорит: чем более натуралистический элемент отступает и исчезает перед теологическим, «чем более самостоятельность вещей растворяется в самостоятельности бога, тем более в теологическом элементе появляется вновь натуралистический, тем более картезианский бог перестает быть сверхъестественным существом, тем более натурализуется это понятие бога и отдаляется от августиновского, превращаясь даже в его полную противоположность. Из дуалистической формулы: бог и природа — вырастает уже монистическая: бог или природа. Декарт только касается ее, Спиноза же дает ей преобладающее значение. По-видимому, приближаясь к Августину[94], Декарт на самом деле приближается к Спинозе. Он идет ему навстречу и заходит так далеко, что уже выражает формулу, заключающую в себе спинозизм.

Чувствуя себя по своим личным склонностям влекомым к отцу церкви и к настроенному на августиновский лад теологу и радуясь тому, что в его учении замечают согласие с августинизмом, Декарт подготовляет духом своего учения такое направление, которое завершает натурализм и противопоставляет его в самой резкой форме теологической системе. Судьбы философии сильнее, чем лица, являющиеся ее носителями и орудиями. Декарт стоит на пути, ведущем к Спинозе, думая между тем, что он обосновал религиозное учение церкви. Основное положение его системы, проникающее насквозь и подчиняющее себе теологическую систему, есть направление натуралистическое» (К. Фишер, т. 1, с. 439—440).

Бесспорная правильность этих положений Фишера заключается в том, что натуралистический и августиновский принципы в системе Декарта настолько взаимно связаны в едином противоречии, которое они образуют, что они непрестанно и непрерывно заставляют колебаться перед нашими глазами все основные понятия системы, наподобие известных изображений, которые представляются нам то в прямой, то в обратной перспективе. Ошибочность положений Фишера заключается в одностороннем подчеркивании торжества натуралистического принципа и в недооценке силы и живучести теологической системы в учении Декарта. Ошибка возникает из того, что Фишер ограничивает рассмотрение этого вопроса очень короткой исторической перспективой. Верно, что объективное развитие философской мысли выдвинуло на первый план не теологическую, обращенную к средним векам, а натуралистическую систему Декарта и вызвало к жизни такое направление, которое завершает натурализм и противопоставляет его в самой резкой форме теологической системе. Но совершенно неверно, что дальнейшее развитие философской мысли предопределено самим учением Декарта.

Историческая победа натуралистического направления произошла не только независимо от Декарта, но и вопреки ему. Внутри же его системы вовсе не намечается эта победа. Внутри его системы натуралистическое направление вовсе не проникает насквозь и не подчиняет себе теологическую систему. Последняя не является в картезианском учении простым теологическим привеском, как в системе Спинозы. Между Спинозой и Декартом в этом отношении существует не столько преемственность, сколько разрыв. Направление, которое завершает натурализм и противопоставляет его в самой резкой форме теологической системе, противостоит одновременно в такой же резкой форме и теологической системе самого Декарта. Но здесь мы снова возвращаемся к уже исследованному нами пункту, где наши пути резко разошлись с исследователями, желающими, подобно Фишеру, видеть в Спинозе мыслителя, который был и всегда оставался картезианцем. В зависимости от этой основной ошибки Фишер односторонне оценивает и результаты борьбы механистического и теологического принципов в картезианском учении о страстях. Он указывает на то, что благодаря смешению духа и тела в человеческой страсти душа локализуется и механизируется. Но, как мы помним, не против этого пункта в картезианском учении направлял основное возражение Спиноза. Он стремился преодолеть спиритуалистический принцип в картезианском учении о страстях.

Правда, Декарт пытается смягчить резкость того противоречия, в которое он впадает с принципами своей натурфилософии, утверждая, что движения мозговой железы, а через них и движения всего тела, могут быть вызваны прямым воздействием воли на этот привилегированный и единственный орган нашего тела. Он пытается свести почти на нет это воздействие духа на автоматическую деятельность тела, ослабить, смягчить, количественно умалить его. Ему представляется, что таким путем принципиальное значение его гипотезы взаимодействия будет парализовано. Он начинает с того, что ограничивает территориально смешение духовной и телесной субстанции в человеке. Таким образом, представляется ему, он только в одном ограниченном участке изменяет собственным принципам, сохраняя их значение для всей остальной огромной территории человеческого тела. По образному выражению Фишера, он дает телу только мизинец души, при этом забывая, что, если анатомическая территория, где происходит это смешение, и оказывается пространственно крайне незначительным и ограниченным пунктом, принципиальное значение его допущения сохраняет всю свою универсальную и абсолютную величину (там же, с. 446). По выражению Геффдинга, если допустить, что мысль как таковая способна сдвинуть хотя бы один мозговой атом на одну миллионную долю миллиметра, все законы природы уже нарушаются.

Декарт пытается представить дело таким образом, что душа сообщает телу в этом ничтожном пространственном пункте также ничтожные по силе движения. Мозговая железа, по его мнению,

как говорит Спиноза, «таким образом подвешена в середине мозга, что она может приводиться в движение малейшим движением жизненных духов» (Спиноза, 1933, с. 197). Железа может вращаться легко и разнообразно, так как она находится в висячем положении. Более того, Декарт допускает, что душа меняет только направление физического движения, не вызывая самого движения. Эта идея Декарта, усвоенная в последнее время Максвеллом[95], известным физиком, позволяет как будто согласовать представление о механическом воздействии души на тело с законом сохранения энергии, который «учит, что когда сила оказывает действие перпендикулярно направлению движения тела, то она не совершает работы, а изменяет только направление, но не величину скорости. Поэтому действительная энергия, измеряемая квадратом скорости, остается прежней. Но таким выводом,— говорит Геффдинг,— могут воспользоваться только те, которые в состоянии найти смысл в утверждении, что душа действует перпендикулярно направлению движения мозговых частичек, и во всяком случае нам не отделаться от трудности, вытекающей благодаря закону косности, если его понимать так, что для каждого изменения в направлении движения необходима внешняя, т. е. телесная, причина. Вся задача, в конце концов, сводится к вопросу, имеет ли закон косности в том смысле, как мы его тут понимаем, значение и для тех процессов в мозгу, с которыми связаны явления сознания. От решения этого вопроса зависит признание той или другой гипотезы. И когда думают, что можно уклониться от этого вопроса, то вместе с тем отвергают и всю проблему о душе и теле» (1904, с. 60).

Наконец, идя в том же направлении, Декарт пытается смягчить противоречие, возникающее из того, что он помещает душу в середине мозга в конарион, где она как воспринимает, так и производит движение жизненных духов, откуда приводит тело в движение и сама приводится им в движение. Душа и тело смешаны не в действительности, а только некоторым образом. Они просто сложены вместе, но не объединены в истинном значении этого слова. Их различие гораздо большее, чем их соединение. Нетрудно видеть, что все эти попытки стушевать истинное значение положения о механическом взаимодействии души и тела говорят только о глубокой тревоге, которую внушал Декарту этот пункт собственного учения, о полном бессилии его справиться с ним сколько-нибудь удовлетворительным образом, с непростительной для этого великого мыслителя наивностью, с которой он количественными смягчениями своих утверждений пытался свести на нет их принципиальное значение, и о полной невозможности примирить этот пункт с основными принципами всей его системы. Декарту остается только (как он и ответил на вопрос Елизаветы о том, как объясняется соединение души и тела) признать, что мы не способны постигнуть отчетливо различие существ души и тела и вместе с тем их соединение, так как одно противоречит другому.

13

Мы можем считать теперь вполне выясненными два из четырех намеченных нами вопросов относительно связи между картезианским учением о страстях и периферической теорией эмоций: 1) вопрос о почти полном тождестве фактической описательной схемы самого механизма эмоциональной реакции в обоих учениях и 2) вопрос об общности механистического принципа как основного объяснительного принципа обеих теорий. Но в ходе разрешения этих двух вопросов мы необходимо должны были затронуть и третий вопрос, непосредственно связанный со вторым, именно вопрос о том, насколько спиритуалистический принцип, непосредственно связанный в картезианском учении с механистическим, соединяет или разъединяет обе теории. Для решения этого вопроса мы должны более точно выяснить отношение, представленное в одном и другом учении, между эмоцией и другими психическими процессами.

Начнем с учения Декарта, в котором центральное место занимает проблема отношения между страстями и волей. Как мы уже видели, Декарт допускает существование абсолютной и неограниченной свободы воли как чисто духовной силы, обусловливающей наше богоподобие. Основное положение, которое, как мы увидим впоследствии, явится пунктом противопоставления спинозистского учения картезианскому, Декарт формулирует в виде тезиса, гласящего, что воля поэтому больше, чем ум. Декарту ум представляется ограниченным, так как многое недоступно его пониманию, многое же он постигает смутно и неясно. Но нет ничего такого, к чему воля не могла бы отнестись утвердительно, или отрицательно, или индифферентно. Сфера ее действия поэтому ничем не ограничена. Она распространяется как на познанное, так и на непознанное, определяя своими решениями всю судьбу духовной и телесной жизни человека. Она представляет собой безусловную величину, совершенно не знающую естественных пределов и образующую последнюю и подлинную причину всего совершающегося в нашей душе.

Из идеи об изначальной, абсолютной, ничем не ограниченной и не подчиняющейся никаким естественным законам воле вытекает и ее отношение к страстям. Декарт обосновывает происхождение страсти, как мы видели, чисто механически. Он противопоставляет свое учение старым заблуждениям, которые рассматривали страсти как психические феномены и не умели разглядеть в них их телесной природы. Только с установлением двойственной, духовно-телесной природы страсти становится понятно, почему страсти могут овладеть духом и поработатить его свободу. Таким образом, страсти противоречат самой сущности нашего духа. Обычно для объяснения этого факта разделяли самое душу на две части: «на разумную и неразумную, на высшую и низшую и приписывали страсти только последней. При этом терялось единство души, ее неделимость, душа как бы расщеплялась на

разные части, складывалась из разных личностей или душ, чем отрицалась и самая ее сущность» (К. Фишер, 1906, т. 1, с. 381).

Декарт по-новому ставит вопрос о борьбе разума или воли со страстями. Он признает центральное значение этого факта, но полагает, пишет Фишер, что эта борьба имеет место не в духовной природе человека, которая как бы восстает против самой себя. На самом деле борьба происходит между двумя противоположными по направлению движениями, которые сообщаются мозговой железе, этому органу души: одно — телом через жизненных духов, другое — душой через волю; первое движение непроизвольно и определено исключительно телесными впечатлениями, второе движение произвольно и мотивировано намерением, устанавливаемым волей. Телесные впечатления, возбуждаемые жизненными духами в органе души через него и в самой душе, и превращаются в нем в чувственные представления. Если они относятся к классу обыкновенных восприятий, они оставляют волю в покое, и поэтому душе нет никакого основания бороться с ними. Если же они встревоживают и возбуждают нашу волю своим непосредственным отношением к нашему бытию, они представляют собой страсти, которые обрушиваются на волю и вызывают с ее стороны противодействие.

Воздействие вытекает из телесных причин. Оно происходит с естественно необходимой силой и совершается по механическим законам; в его интенсивности заключается сила страстей; противодействие свободно, оно действует духовной, бесстрастной самой по себе силой. Оно может поэтому бороться и победить страсти: крепостью этой силы обусловлена власть ее над последними. Душа, осаждаемая впечатлениями жизненных духов, может начать испытывать страх, но, ободренная собственной же волей, может сохранить мужество и побороть страх, внушенный вначале страстью. Она может дать противоположное направление органу души, а с ним вместе жизненным духам, благодаря чему члены побуждаются к борьбе, между тем как боязнь побуждала их к бегству. Теперь ясно, какие силы борются в страстях друг с другом. То, что принимали за борьбу между низшей и высшей природой души, между вожделением и разумом, между чувственной и мыслящей душой, на самом деле есть конфликт между телом и душой, между страстью и волей, между естественной необходимостью и разумной свободой, между природой (материей) и духом. Даже самые слабые души посредством воздействия на орган души могут овладеть движением жизненных духов и тем самым направить страсти таким образом, чтобы быть в состоянии добиться полного господства над ними. Двойственная природа человека обусловливает двойственную природу страстей. Они возникают и воздействуют на волю как механические силы, но они могут быть побеждены противоположно направленной духовной энергией воли. Теперь совершенно понятно основоположение, на которое в картезианской системе опирается теория страстей (там же, с. 282—283).

Совершенно ясно, что натуралистический и теологический принципы в объяснении страстей не находятся у Декарта в противоречии, что они дополняют друг друга и что, только будучи взяты вместе, они могут служить основой для его теории взаимодействия между душой и телом, в котором страсти являются посредующим звеном, переводящим механическую энергию в духовную и духовную в механическую. В этом отношении страсть в учении Декарта играет в системе психических сил такую же роль, как мозговая железа в системе органов. Как железа представительствует душу в теле, так точно страсть представительствует тело в душе.

Основная идея Декарта, задающая тон всей музыке его учения о страстях, состоит, таким образом, в признании абсолютной власти нашей воли над страстями. Уже одного этого совершенно достаточно для того, чтобы навсегда отказаться от мысли, защищаемой Фишером, что натуралистический принцип в системе Декарта подчиняет себе теологическую систему. Положение о безусловном и абсолютном господстве воли над страстями говорит как раз об обратном, о том, что натуралистический принцип в объяснении страстей целиком подчинен абсолютному богоподобному произволу духа. Уже по одному этому законы природы оказываются раз и навсегда нарушенными в жизни человеческого существа. Сверхъестественное распоряжается естественным, и принцип натурализма оказывается окончательно скомпрометированным.

Именно против этого пункта направляет Спиноза всю силу своей критики и, что является самым замечательным для правильного понимания его учения, начинает с опровержения идеи об абсолютной власти воли над страстями ссылкой на опыт. «Хотя стоики и думали, что аффекты абсолютно зависят от нашей воли и что мы можем безгранично управлять ими, однако вопиющий против этого опыт заставил их сознаться, вопреки своим принципам, что для ограничения и обуздания аффектов требуется немалый навык и старание» (Спиноза, 1933, с. 197). Мнение Декарта совершенно совпадает с этим учением стоиков. Он признает, что благодаря соединению с шишковидной железой душа воспринимает посредством ее все движения, возбуждаемые в теле, и может приводить тело в движение единственно с помощью воли. «Наконец, Декарт утверждает, что хотя каждое движение этой железы по природе связано, по-видимому, с самого начала нашей жизни с отдельными актами нашего мышления, однако навык может связать их с другими... Отсюда Декарт приходит к такому заключению, что нет души настолько бессильной, чтобы не быть в состоянии при правильном руководстве приобрести абсолютную власть над своими страстями. Ибо страсти эти, по его определению, состоят в восприятиях, ощущениях или движениях души, специально к ней относящихся и производимых, сохраняемых и увеличиваемых каким-либо движением жизненных духов. А так как со всяким желанием мы можем

соединять какое-нибудь движение железы, а следовательно, и жизненных духов, то и определение воли зависит от одной только нашей власти; определив нашу волю известными прочными суждениями, согласно которым мы желаем направлять действия нашей жизни, и соединяя с этими суждениями движения желаемых страстей, мы приобретаем абсолютную власть над нашими страстями» (там же, с. 197—198).

Спиноза возражает против приведенного выше примера Декарта относительно воли над страстями. Он говорит: «Далее я весьма желал бы знать, сколько степеней движения может сообщить душа этой самой мозговой железе и с какой силой может она удерживать ее в ее висячем положении, так как я не знаю, медленнее или скорее движется эта железа душой, чем жизненными духами, и не могут ли движения страстей, тесно соединенные нами с твердыми суждениями, снова быть разъединены от них телесными причинами. А отсюда следовало бы, что хотя душа и твердо предположит идти против опасностей и соединит с этим решением движения смелости, однако при виде опасности железа придет в такое положение, что душа будет в состоянии думать только о бегстве. В самом деле, если нет никакого отношения воли к движению, то не существует также и никакого соотношения между могуществом или силами души и тела и, следовательно, силы второго никоим образом не могут определяться силами первой» (там же, с. 193).

Сила спинозовского возражения представляется нам неотразимой. Если допустить, что воля побеждает страсти, выступая в качестве механической силы, естественно возникает вопрос о том, что эта сила может победить силу жизненных духов и сообщить железе противоположное движение только в том случае, если она окажется — именно как механическая сила — больше силы жизненных духов. Ничего не поделаешь: если душа вовлекается в механический круговорот страсти и действует как механическая сила, она должна подчиняться основным законам механики. Приходится, следовательно, допустить, что воля всегда и при всех обстоятельствах, даже воля самой слабой души, будет действовать с энергией, превосходящей силу жизненных духов. Но при этом возникает второе возражение, столь же неотразимое, как и первое. Ведь сама воля возбуждается к борьбе со страстями жизненными духами, движением которых причиняется страсть, и, следовательно, при виде опасности железа может прийти в такое положение, что душа будет в состоянии думать только о бегстве. Снова ничего нельзя поделать: если страсти возникают в душе чисто механическим путем, они, следовательно, определяют деятельность самой души и лишают ее присущей ей абсолютной свободы принимать те или иные определения и решения воли.

Но, сколь ни неопровержимыми представляются эти возражения, они, в сущности говоря, бьют мимо цели. Они сохраняют силу только до тех пор, пока мы, сохраняя спинозистскую постановку вопроса, остаемся в плане естественного и логическо-

го объяснения. Но если только мы, как это делает Декарт, кладем в основу объяснения страстей сверхъестественное и иррациональное, тогда чудовищная несообразность его объяснения становится естественно присущей тому богоподобному чуду, которое проявляет всякий раз наша душа, побеждая страсти.

Что Декарт сознательно прибегает к чуду при объяснении абсолютной власти воли над страстями, что он сознательно избегает всякого естественного и рационального объяснения этого вопроса, что он, таким образом, сознательно подчиняет натуралистический принцип теологическому, явствует из того различения, которое он проложил между возможным естественным и принимаемым им сверхъестественным объяснением власти воли над страстями. Отдаленная и смутная возможность такого естественного объяснения брезжит в различных частях картезианского учения. Несомненно, она неоднократно представлялась Декарту, но он всякий раз решительно отвергал ее.

В сущности говоря, смутная возможность такого естественного объяснения содержится уже в приведенном нами примере, в котором воля, возбуждаемая страхом к бегству, дает противоположное направление органу души, побуждая тело к борьбе, между тем как боязнь побуждала его к бегству.

Напомним тот пункт в учении о страстях, в котором Декарт оставляет рассмотрение страстей, как они протекали бы у бездушного автомата, и переходит к рассмотрению реальных страстей человека, присоединяя к сложной машине, производящей страсти, душу, способную испытывать ощущения или восприятия движения жизненных духов. Движения жизненных духов при восприятии опасности действуют, как мы помним, двояким образом: с одной стороны, они вызывают поворот спины и движение ног, служащие для бегства, с другой — вызывают такие изменения сердца, которые в свою очередь с помощью жизненных духов вызывают в железе эмоцию страха, вызывая и соответствующее этой эмоции движение, предназначенное самой природой к тому, чтобы производить в душе эту страсть. Таким образом, при возбуждении всякой эмоции душа оказывается вовлеченной в ее круговорот. При восприятии опасности и одновременно с представлением объекта возникает и представление опасности. Непроизвольно стремится воля защищать тело бегством или борьбой; непроизвольно поэтому приводится в движение орган души и течению жизненных духов дается тот импульс, который настраивает члены или к борьбе, или к бегству. Воля к борьбе есть храбрость, желание бежать есть трусость. Храбрость и трусость суть не простые ощущения, а волевые возбуждения. Они не просто представление, а движение души или страсти (К. Фишер, 1906, т. 1, с. 380—381). Таким образом, воля участвует во всякой эмоции. Естественно поэтому допустить, что в рассматриваемом случае, когда воля побеждает внушенный страстью страх и побуждает тело к борьбе, между тем как боязнь побуждала его к бегству, мы имеем дело просто с борьбой двух страстей: ведь

храбрость и трусость суть одинаково страсти, которые могут быть одинаково возбуждены восприятием опасности. Воля как бы просто сталкивает две страсти — храбрость и трусость друг с другом, побеждая силой одной из них другую.

В другой части учения Декарт еще ближе подходит к этой возможности естественного объяснения. Он различает, как известно, шесть первоначальных, или примитивных, страстей, из которых могут быть выведены, как их производные или комбинируемые формы, все остальные особенные, или партикулярные, страсти. Шесть примитивных страстей, лежащих в основе всех остальных, следующие: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль. В этом списке изначальных страстей одна страсть, именно удивление, занимает совершенно исключительное место. Все первоначальные страсти являются позитивными или негативными, поскольку, согласно учению Декарта, страсть возбуждается не объектом самим по себе, а его ценностью, т. е. пользой или вредом, которые мы получаем от него. Но есть объекты, с неудержимой силой привлекающие нашу душу мощью и новизной впечатления, нимало не возбуждая нашего вожделения. Эти-то объекты и возбуждают в нас удивление, которое, таким образом, оказывается единственной страстью, не являющейся ни позитивной, ни негативной. «Из всех наших страстей ни одна не является столь теоретической и столь удобной для познания, как удивление. Декарт соглашается с Аристотелем[96], что философия начинается удивлением, которое руководит нашей волей к познанию. Удивление непроизвольно дает воле теоретическое направление и склоняет ее к познанию. Поэтому в глазах нашего философа оно не только первая между примитивными, но и самая важная из всех страстей» (там же, с. 394—395).

«Другие страсти,— говорит Декарт,— могут служить тому, чтобы заставить нас обратить внимание на полезные и вредные объекты, одно только удивление обращает внимание на редкие объекты»[97]. Таким образом, Декарт подходит чрезвычайно близко к естественному объяснению высшей, не механической стороны в жизни страстей. Он не только допускает, что сама воля направляется первоначально к познанию удивлением, т. е. страстью, и, следовательно, определяется к действованию не сама из себя, не в силу своей абсолютной свободы, а по необходимым законам духовно-телесной природы человека, которым подчинены все страсти, в том числе и удивление. Более того, он допускает смутную и неясную возможность того пути в объяснении высшей природы человека, по которому впоследствии пойдет Спиноза.

Некоторые исследователи, более проницательные, чем Фишер, отмечают именно этот пункт в картезианском учении о страстях как действительное внутреннее соединительное звено между теориями Декарта и Спинозы, которое в гораздо большей степени, чем внешняя классификационная схема страстей, сближает оба учения. Эти исследователи впадают в другую крайность, ошибочно полагая, что в указанном пункте оба учения полностью

совпадают, и упуская из виду, во-первых, то, что самая идея естественного объяснения действия воли на страсти принадлежит у Декарта еще к числу смутных и неясных идей, и, во-вторых, то, что сам Декарт решительно прошел мимо возможности естественного объяснения и открыто стал на сторону теологического принципа.

Так, С. Ф. Кечекьян[98] именно в том пункте, где учение о страстях естественно подходит к объяснению высшей стороны жизни наших чувствований и где психология сходится непосредственно с этикой, видит прямую преемственность между Декартом и Спинозой. Излагая решение рассматриваемого нами вопроса в картезианском учении, исследователь говорит: «Изучить механизм человеческих страстей, выясняя их значение для освобождения духа,— это значит выполнить задачу этики. Именно в том пункте этика сходится с психологией, где возникает задача найти такое душевное свойство, такую страсть, которая определяла бы сама по себе нравственный образ жизни. Как позднее Спиноза будет учить, что аффекты могут быть подавляемы только другими аффектами же, так и Декарт утверждает, что в самом механизме страстей можно найти такую страсть, которая приведет к высшему благу — свободе человеческой воли. Важно отметить, что у Декарта мораль получает значение науки и, как всякая наука, следует единственному правильному методу, методу дедукции, который признан за метод естественного познания» (С. Ф. Кечекьян, 1914, с. 8—9).

Автор, правда, не может не видеть, что в учении о свободе воли Спиноза стоит на противоположных с Декартом позициях, но, по его мнению, здесь сказывается только непоследовательность Декарта, не больше. «Спиноза необходимо приходит к отрицанию свободной воли, и здесь опять Спиноза оказывается последовательней Декарта. Мысль о тождестве воли с утверждением и отрицанием принадлежит Декарту. Но последний не сделал из нее выводов, опасных для свободы воли, и сохранил за волей ее независимость от познания и неограниченный произвол ее определений. Напротив, Спиноза, восприняв мысль Декарта, нашел нужным слить волю и познание в одно и в этом усмотрел новый аргумент в защиту отстаиваемого им детерминизма.

Итак, о свободе воли в системе Спинозы не может быть и речи. Свобода, как противоположность природе, не может найти в ней места. Свобода может быть лишь элементом той же природы, не противоположностью природной необходимости, а лишь одним из видов той же необходимости. «Свобода не уничтожает необходимости, но предполагает ее»,— говорит Спиноза[99] (там же, с. 111).

Таким образом, совпадение двух учений кажется более чем сомнительным, потому что в центральном пункте они коренным образом расходятся, как только могут расходиться детерминизм и индетерминизм, спиритуализм и материализм, естественное и сверхъестественное объяснение господства воли над аффектом. В конце концов вопрос идет о том, допускает ли высшее в человеке,

его свободная и разумная воля, его господство над собственными страстями, естественное объяснение, не сводящее высшее к низшему, разумное к автоматическому, свободное к механическому, а сохраняющее все значение этой высшей стороны нашей психической жизни во всей его полноте, или для объяснения этого высшего мы неизбежно должны прибегнуть к отрицанию законов природы, введению теологического и спиритуалистического принципа абсолютно свободной воли, не подчиненной естественной необходимости. Иными словами, речь идет о том, возможно или невозможно научное познание высших форм сознательной деятельности, возможна или невозможна психология человека как наука, а не как прикладная метафизика, какой она является у всех последовательных идеалистов, начиная с Декарта, продолжая Лотце и кончая Бергсоном.

Бесспорно, что Декарту представлялась такая возможность научного, естественного объяснения высшей природы человека, хотя бы очень смутно и неясно, но в целом он отверг ее и окончательно принял вторую часть нашей альтернативы. Спиноза развил первую. Таким образом, даже сблизившись до некоторой степени в одной точке своего пути, оба мыслителя разошлись далее в противоположные стороны, завершив в классической форме два полюса человеческой мысли, стремящейся познать свою собственную природу. Поэтому мы должны считать ошибкой дальнейшее развитие тезиса о преемственности между учением Спинозы и Декарта. Рассматривая решение проблемы свободы в учении Спинозы, Кечекьян приходит к заключению, что «путь, начертанный Спинозой, есть путь не от рабства к свободе, а, с его же точки зрения, от одного вида рабства к другому» (там же, с. 146). Здесь удивительным образом наш исследователь повторяет почти слово в слово мысль самого Декарта, отождествляя всякую естественную необходимость с рабством и допуская только метафизическое решение этой проблемы в смысле признания абсолютно противоположной естественной необходимости свободы воли.

«В этом отношении Спиноза повторяет ошибку Декарта. Согласно последнему, высшее благо должно в известном смысле стать предметом нашего вожделения и потому должна существовать такая страсть, которая сама по себе определяет нравственный образ жизни. Вот тот пункт, где психология и мораль тесно сплетаются друг с другом. То же самое, как мы видели, и у Спинозы. Разум должен действовать как аффект, чтобы обеспечить нравственную жизнь. По Декарту, великодушие есть та страсть, которая держит в своих руках узду нравственной жизни. Пока душа отдается вожделению, до тех пор она является игралищем страстей и может преодолеть одни страсти не иначе, как подчиняясь другим. Таким образом, какая-либо из страстей необходимо господствует в душе. Свободу прокладывает великодушие. Декарт как бы забывает, что ведь великодушие есть страсть, правда, другого рода, чем прочие, но все же страсть.

Поэтому вместо свободы мы в сущности попадаем в новое рабство, из огня в полымя: не освобождаемся окончательно, а лишь меняем господина» (там же, с. 146—147).

К попытке скомпрометировать учение Спинозы о свободе и доказать, что свобода у этого мыслителя есть не что иное, как иной вид рабства, к попытке, основанной на признании психофизического параллелизма основной точкой зрения спинозистского учения и на чисто картезианском определении понятий свободы и рабства, мы еще вернемся. Оставим это пока в стороне. Нас сейчас должно интересовать другое: сам Декарт развивал свою идею точно таким же образом, как современные картезианские критики Спинозы. Эта попытка приблизиться к естественному объяснению человеческих страстей действительно была для Декарта не более чем простой ошибкой, которую он сейчас же пытался исправить, оставаясь верным духу своего учения.

Основа нравственной жизни, по Декарту, заключается в регулировании наших желаний. Так как страсти толкают нас к действию посредством возбуждаемого ими желания, то следует регулировать наши желания — в этом состоит главная польза морали. Напомним, что Декарт признает два средства против наших суетных желаний, из которых первое состоит в высоком и истинном самочувствии, а второе — в рассуждении о предвечной определенности хода вещей божественным провидением. Первое из этих средств относится к области страстей, второе — к познанию. Таким образом возникает эта призрачная возможность естественного объяснения свободы воли как продукта высшего развития ума и страсти. Декарт заканчивает сочинение о страстях души указанием на средство для обуздания наших страстей и для превращения их в источник радостной жизни. Это единственное средство есть мудрость. Но путь к мудрости пролегает через темную и опасную долину страстей. Между всеми примитивными страстями, как мы помним, Декарт отметил удивление в качестве самой первой и по отношению к остальным возвышенной страсти. Эта теоретическая по природе эмоция и является естественным импульсом, заставляющим нас идти по пути, цель которого составляет мудрость[100].

«Пока мы возбуждены силой нового и непривычного впечатления, мы совершенно не ощущаем полезности или вредности объекта, что составляет основную тему всех других страстей. Поэтому удивление предшествует им, оно есть первая из страстей и не имеет ничего общего с допускающей противоположное природой остальных» (К. Фишер, 1906, т. 1, с. 389). Среди производных, или партикулярных, форм страсти Декарт различает отдельные виды удивления в зависимости от объекта, редкостность которого нас поражает, смотря по тому, состоит ли его из ряда вон выдающийся характер в величии или в ничтожестве, смотря по тому, являемся ли этим объектом мы или другие свободные существа. Таким образом, удивление приводит к оценке других, сказывающейся в уважении или презрении, и к

самооценке, проявляющейся как великодушие и гордость или малодушие и приниженность.

Декарт придает совершенно особенное значение собственной самооценке. «Ничто так не бросается в глаза в поведении человека, в выражении лица, в жестах и в походке, как необычайно приподнятое или подавленное чувство своей личности. Как то, так и другое может быть истинным и ложным. Истинным самоуважением является великодушие, ложным самоуважением, напротив того, гордость. Истинное смирение он называет малодушием, ложное — приниженностью. Критерий, который позволяет отделить истинное от ложного в нашей самооценке, заложен исключительно в объекте этих страстей. Только свободные существа могут служить предметом и уважения, и презрения, и есть только один объект, поистине достойный уважения: это наша свобода воли, благодаря которой в нашей природе господствует разум, а страсти подчиняются. Кто достиг этой свободы воли и тем самым господства над самим собой, тот обладает величием души, из которого вытекает истинно высокое и единственно верное самочувствие — настроение великодушия. ... Всякое уважение к себе самому, не проистекающее из чувства величия души и свободы, ложно, как и всякое смирение, основывающееся на других ощущениях, а не на чувстве бессилия своей воли» (там же, с. 389—390).

Таким образом, свобода воли, приводящая к господству над страстями, есть единственный объект, способный вызвать в нас ту возвышенную страсть великодушия, которая является производной формой удивления и частным случаем нашей самооценки. Но Декарт допускает и обратную зависимость. Если только что свобода воли признавалась единственным источником и причиной самой возвышенной страсти, то сейчас же вслед за этим Декарт готов признать, что сама эта возвышенная страсть является источником и причиной нашей свободы. Порочный логический круг, который описывает здесь его мысль, разрешается совершенно неожиданным образом, путем внезапного оставления естественного объяснения отношения между волей и страстями и возвращения к сверхъестественному объяснению с помощью теологического принципа.

Мы помним, что удивление является, по Декарту, чисто теоретической страстью, которая заставляет нас идти по тому пути, в конце которого лежит мудрость. Эта страсть освобождает от уз инстинкт познания, заставляя его идти к истинному самопознанию и к истинной самооценке. Таким образом из инстинкта удивления рождается влечение к познанию, из последнего вытекает сомнение в самодостоверности, а отсюда при свете разума — то удивление, объектом которого является величайшее и самое возвышенное из всех достояний — свобода воли. Отсюда проистекает то движение души, которое Декарт назвал величием души и которое держит в своих руках узду нравственной жизни.

Порочный логический круг совершенно очевиден: с одной

стороны, из удивления рождается влечение к познанию, самопознание и самооценка, которая прокладывает путь к свободе воли; с другой — из свободы воли проистекает великодушие — эта самая возвышенная из страстей. Удивление прокладывает путь свободе воли, свобода воли вызывает тот особый вид удивления, который называется величием души. Иными словами, один раз страсть прокладывает путь к свободе воли, другой раз свобода воли порождает страсть.

Остается только разрушить единым взмахом этот порочный круг, для того чтобы выйти из него. Декарт и делает это в учении о собственном оружии души, которым она побеждает страсти. Пока душа отдается страстям, она является их игралищем, она может преодолеть одни, в то же время подчиняясь другим, и таким образом меняет одного господина на другого. Такой триумф призрачно торжествует не душа, а одна из ее страстей, она же сама остается несвободной. Если, напротив, душа силой своей воли и свободы, при посредстве ясного и отчетливого познания поднялась над уровнем этих вожделений, то тогда она побеждает своим собственным оружием, и потому победа ее истинна. Такая победа есть торжество свободы духа. «То, что я называю ее собственным оружием, поясняет Декарт, суть незыблемые и достоверные суждения о добре и о зле, сообразно с которыми душа решила поступать. Только самые слабые души не платят дани познанию, позволяют своей воле следовать за различными страстями то в одном, то в противоположном направлении. Эти страсти обращают волю против самой себя и доводят душу до самого бедственного состояния, в каком только она может очутиться. Так, с одной стороны, страх являет нам смерть величайшим злом, которого можно избежать только при помощи бегства, тогда как, с другой стороны, честолюбие заставляет нас смотреть на такое постыдное бегство как на еще худшее зло, чем смерть. Обе страсти влекут волю по различным направлениям, и она подпадает то под влияние одной, то под влияние другой, постоянно борется сама с собой, делая, таким образом, положение души рабским и бедственным» (там же, с. 397—398; ср.: Р. Декарт. Страсти души, ч. 1, § 48).

В этой философеме, утверждающей, что воля побеждает страсти своим собственным оружием, а не сталкивая их друг с другом, не с помощью страсти великодушия, которую Декарт называл как бы ключом всех прочих добродетелей и главным средством против опьянения страстей, Декарт, по правильному замечанию Фишера, «возвращается к своим глубочайшим основоположениям» (1906, т. 1, с. 398), т. е. к учению о полной противоположности между духовной и телесной природой человека и к идее абсолютно независимой воли. Победу воли над страстями Декарт снова считает победой духа над природой; он мог бы снова повторить тезис, на который нападал Спиноза: нет души настолько бессильной, чтобы не быть в состоянии при правильном руководстве приобрести абсолютную власть над своими страстя-

ми, даже самые слабые души посредством воздействия на орган души могут овладеть движением жизненных духов и тем самым направить страсти таким образом, чтобы быть в состоянии добиться полного господства над ними.

Возможность естественного объяснения высшего в человеке, человеческой свободы, оказалась действительно призрачной. Как тончайшая паутина, как бесплотная тень его натуралистического принципа она просвечивает за прочными основными нитями его системы и обрывается, не будучи доведена до конца. Вот почему Декарт, как мы видели, не может всегда отчетливо провести различие между страстями души и страстями бездушной машины. Победа воли над страстями оказывается поэтому, по верному замечанию Фишера, не победой высшей природы души над низшей, возвышенных страстей над низменными, но победой воли над страстью, свободы над необходимостью, духа над природой (там же, с. 398—399).

14

Отношение между страстями и волей, как оно рисуется в картезианском учении, представляется нам теперь в истинном и настоящем свете. Для выяснения всей проблемы остается еще рассмотреть отношение между страстями и мышлением, между познавательными и эмоциональными элементами нашей психической жизни.

Самые различные исследователи долгое время представляли себе картезианское учение о страстях как высшее торжество интеллектуализма, сводящего чувства к чисто познавательным процессам. Декарт действительно отводит такое место в учении о страстях роли интеллектуальных элементов, что, по верному замечанию Сержи, исследователь вроде Ланге может не заметить в его «Трактате о Страстях...» ничего, кроме этих элементов, и будет вполне добросовестно считать себя изобретателем висцеральной теории. Сержи в стремлении представить истинным основателем этой теории Декарта готов даже несколько сожалеть о том, что тот везде понемногу рассеивает в своем «Трактате» положения, согласно которым восприятия, воспоминания, мнения, идея какого-либо любимого, ненавистного или устрашающего объекта есть причина любви, ненависти, гнева или страха. Так, радость, по Декарту, происходит из мнения, что мы владеем каким-либо благом.

Д. Сержи старается успокоить свою тревогу и замечает: зрелый в физиологическом мышлении читатель не может ничего иметь против утверждения Декарта, что мнение есть причина эмоций. Но Сержи должен признать, что все шло просто и прямо, пока мы видели в человеке, состоящем из тела и души, только машину, способную испытывать страсти благодаря одной лишь игре внутренних органов. Путь висцеральной теории становится тяжелым и трудным в тот момент, когда ей приходится учесть все

прочие части машины и все прочие стороны души, в частности когда наряду со страстями ей приходится считаться с отношением страстей к другим психологическим феноменам. И действительно, здесь наша теория встречает неслыханные трудности.

Теория явно начинает колебаться между двумя возможными причинными объяснениями эмоций. С одной стороны, причина эмоции усматривается в своеобразном органическом состоянии, которое через жизненных духов и мозговую железу воспринимается душой как страсть. С другой стороны, в качестве причины эмоции выступает ощущение, восприятие, мнение, идея. Висцеральное и интеллектуалистическое толкования эмоции как бы уравновешивают друг друга на чашах картезианских весов. Но это только видимое равновесие. На самом деле чаша с висцеральным объяснением явно перевешивает.

Декарт вводит различение ближайших, или последних, причин и отдаленных, или первопричин. Последней (ближайшей) причиной страстей души, говорит Декарт, является исключительно движение, которое духи производят в маленькой железе, расположенной в середине мозга. Необходимо исследовать источники страстей и рассмотреть их первопричины. Первопричинами оказываются ощущения и идеи. Висцеральная теория при этом различении, как находит Сержи, не уступает интеллектуализму ни пяди своей территории. Доказательство этому он видит в том, что теория способна обойтись вовсе без отдаленных причин, которые могут отсутствовать в каких-то случаях, обусловленных только ближайшей причиной: игрой духов, определяемой общим состоянием организма. Когда мы вполне здоровы, мы испытываем чувство веселия, которое не вызывается никакой функцией, но исключительно впечатлениями, производимыми в мозгу движением духов. Точно так же мы чувствуем себя печальными, когда нам нездоровится, хотя мы еще не знаем совершенно, что с нами.

Таким образом Декарт сохраняет в чистоте свое первоначальное объяснение и проводит резкое разграничение между сенсорными и интеллектуальными состояниями, которые предшествуют эмоциям, с одной стороны, и страстям, с другой. Ощущение и чувство представляются ему до такой степени разделенными, что даже там, где они настолько нераздельно слиты, что, как мы видели, дают повод многим исследователям вслед за Штумпфом выделить особый класс переживаний ощущений чувства (например, ощущение боли), он не находит никакой внутренней связи между одним и другим элементами сознания.

Верный своему принципу, признающему полную бессмысленность эмоционального переживания, Декарт не находит никакой понятной, объяснимой, вообще возможной и психологически переживаемой связи между эмоцией как таковой и сенсорным или интеллектуальным состоянием, которое феноменально переживается нами как моменты, непосредственно сливающиеся с сопровождающим их чувством. Оперируя мертвенными, формально-логически разграниченными абстракциями, Декарт считает одина-

ково возможной, одинаково понятной для сознания любую математическую комбинацию между ощущениями и чувствами, любую перестановку известных нам по непосредственному опыту соединений ощущения и чувства в одном переживании.

Так, Декарт делает строгие различия между радостью и печалью, с одной стороны, и удовольствием и болью — с другой. Первые, как страсти, не только отличны от вторых, как ощущений, но могут быть и полностью отделены от них. Легко можно себе представить, что самая живая боль будет переживаться с таким же эмоциональным безразличием, как самое банальное ощущение. Если до конца проникнуться смыслом картезианского метода, можно даже удивляться тому, что боль так часто сопровождается печалью, а удовольствие — радостью, что ощущение голода и желание, сказывающееся в аппетите, представляют собой сопутствующие и внутренне связанные между собой явления.

Нельзя яснее и острее выразить тезис о полной бессмысленности, абсолютной случайности, совершенной бесструктурности и бессвязности, которые царят в области отношений между страстями и познавательными процессами. Любая комбинация оказывается равно бессмысленной и потому равно возможной. Даже связь между голодом и аппетитом оказывается непонятной и бессмысленной, вызывающей наше удивление, как, впрочем, и всякая связь между ощущением и желанием, между восприятием и чувством. Здесь, где утверждение бессмыслицы страстей достигает апогея, где любое соединение всего со всем становится единственным руководящим принципом психологического объяснения, где алгебраические комбинации мертвых абстракций празднуют высший триумф, где вытравлено последнее веяние живой психической жизни, где музыка страстей, говоря языком пушкинского Сальери, разъята, как труп[101],— здесь, строго говоря, Декарт только доводит до логического конца основную идею механического происхождения страстей.

Правда, как мы уже отмечали, ему не удается при этом избежать того, чего он боится больше всего,— сенсуалистического по существу объяснения эмоций. С этим должен согласиться и Сержи, стремящийся во что бы то ни стало доказать торжество висцеральной теории в картезианском учении о страстях. Он даже полагает, что в этом критическом пункте пути Декарта и Джемса расходятся в противоположные стороны. Этот критический пункт всего учения открывается нам в ту минуту, когда, разграничив самым резким образом страсти от восприятия и ощущения внешних объектов, мы волей-неволей должны признать, что в конечном счете страсть есть не что иное, как смутное, недифференцированное, глобальное ощущение общего состояния организма. Тогда оказывается, что не существует больше страстей или эмоций, но существуют одни только ощущения. Испугавшись этого результата, рассуждает Сержи, Джемс впадает в спинозистскую теорию и отклоняется от пути, начертан-

ного Декартом. Что это не так, мы видели раньше, установив вслед за Клапаредом, что и теория Джемса неизбежно приводит нас к такому растворению эмоций в ощущениях. Пытаясь спасти это положение, Клапаред выдвигает созданное им понятие синкретического восприятия. Если эмоция есть только сознание периферических органических изменений, почему она воспринимается как эмоция, а не как органические ощущения? Почему, когда я испуган, я переживаю чувство страха, а не простые органические ощущения сердцебиения, дрожи и т. д.?

Таким образом, об этот сенсуалистический подводный камень разбивается одинаково теория Джемса, как и теория Декарта. Клапаред пытается спасти положение с помощью модного сейчас структурного принципа — этой новой гусыни, несущей золотые яйца. Эмоция оказывается структурой, объединяющей многообразные органические ощущения. Она есть не что иное, как смутное и общее восприятие ряда объединенных ощущений, которое автор обозначает как синкретическое восприятие. Другими словами, эмоция есть сознание общего состояния организма. Как видим, истолкование Декарта и Джемса отличается только в одном: в признании структурного или бесструктурного характера тех ощущений, к которым оба мыслителя, против собственной воли, вынуждены свести эмоцию. Если вспомнить, что сам Джемс великолепно обходился без добавляемого Клапаредом структурного корректива к его теории и что во всем остальном Сержи и Клапаред, истолковывая каждый теорию своего предшественника, совершенно сходятся, вплоть до буквального и дословного совпадения итоговой формулы, сводящей эмоцию к глобальному ощущению общего органического состояния, можно считать согласие между Джемсом и Декартом, которое Сержи пытался поколебать в этом пункте, снова восстановленным. Они идут по одному пути, и нет ничего удивительного в том, что наталкиваются на одни и те же трудности.

Расхождение между Джемсом и Декартом действительно имеет место, но оно происходит не там, где его хочет видеть Сержи: не в отношении к сенсуалистическому объяснению эмоций, а в некоторой, правда существенной, детали фактического описания самого эмоционального механизма. В этом пункте теория Ланге выдерживает более строго и последовательно линию картезианского учения, чем гипотеза Джемса. Как известно, Джемс причисляет к телесным проявлениям эмоции, служащим ее источником и истинной причиной, наряду с висцеральными изменениями также и двигательные: мимические, пантомимические и проявление эмоций в действиях и поступках. Как правильно замечает Сержи, Декарт в этом отношении близок Джемсу. В движениях, в которых проявляется эмоция, Декарт всегда различает внутреннее движение (оно причиняет самоё эмоциональное переживание) и внешнее движение (оно является выражением эмоции или служит интересам испытывающей страсти машины). Для Декарта, как и для обычного взгляда, бегство не есть

причина страха и агрессивность не есть причина гнева.

Мы можем продолжать испытывать страх и гнев, произвольно прекратив движение бегства и нападение. Страсти остаются представленными в душе до тех пор, пока не прекращается вызвавшее их органическое состояние, и единственное, что может сделать воля,— не согласиться с вытекающими из этих страстей действиями. Как мы помним, воля может дать органу души направление, противоположное тому, которое определено страхом, благодаря чему тело побуждается к борьбе, между тем как боязнь побуждала бы его к бегству.

Мимика, сопровождающая наши эмоции, возникает, по мнению Декарта, случайным образом, благодаря связи заведующих ею нервов с пищеварительным и дыхательным аппаратом, благодаря тому, что лицевой нерв и шестая пара нервов берут начало из соседних участков мозга и приводятся одновременно в движение жизненными духами. Сержи с удовлетворением отмечает, что и в объяснении мимики Декарт остается до конца верным основной идее, не находя в ней ни выражения, ни причины, ни полезных спутников эмоции, вообще не находя в ней никакого смысла и видя в ней лишь случайный и безразличный аккомпанемент, сопровождающий игру эмоциональных реакций. Он видит заслугу Декарта в том, что тот остается более верным точке зрения физиолога, физика, чем Дарвин, Вундт и Спенсер.

15

Только в одном пункте теории Джемса и Ланге, по-видимому, радикально расходятся с картезианским учением. Вопрос о возможности эмоций при полном отсутствии периферических, в частности висцеральных, изменений разделяют обе теории. Этот вопрос непосредственно связан с возможностью существования центробежных ощущений. Как известно, Джемс резко выступал против теории Вундта, допускавшей такую возможность в виде наличия иннервационных ощущений.

Эта же возможность допускается и Декартом. В его учении физиологическое направление, как говорит Сержи, на каждом шагу скрещивается с другими направлениями и не представляет никакого труда извлечь из его «Трактата» интеллектуалистическую или финалистскую, т. е. телеологическую, теорию эмоций. Если эти ответвления от основного пути не могут в главном поколебать генеральную концепцию Декарта, то в одном пункте скрещение висцеральной теории с интеллектуалистической выступает настолько отчетливо, что его никак нельзя обойти. Обе теории скрещиваются как раз в вопросе о возможности эмоциональных состояний, возникающих не висцеральным путем. Возможно ли допустить наряду с эмоциями-чувствованиями существование интеллектуальных эмоций, свободных от всякого смешения с телесным состоянием? Возможно ли переживание страсти при полном молчании внутренних органов?

Декарт отвечает утвердительно на этот вопрос. Он допускает, что все восприятия, включая и эмоции, могут возникать не только центростремительным, но и центробежным путем. Он повторяет много раз, что последней материальной причиной восприятия является специфическое движение духов при их выходе из железы по направлению от центра к нервам. Ближайшей материальной причиной восприятия оказывается не центрипетальное, а центрифугальное движение. Таким образом, в картезианском учении содержится в наиболее общей форме центрифугальная теория психических явлений. Обычно, чтобы побудить духов к выходу из железы, как это нужно для восприятия, необходимо изменение в сетчатке, в ухе, в коже, во внутренних органах. Но галлюцинации, сновидения, иллюзии ампутированных показывают, что дело может происходить и другим образом и что духи могут вызывать ощущения, не будучи возбуждены каким-либо предметом. Декарт порой обобщает это и заставляет думать, что движения духов, вызывающие все восприятия, могут иметь другие причины, чем те, которые обусловливают их в нормальных случаях.

Идеи движения наших членов, говорит Декарт, состоят только в том, что духи выходят из железы, направляясь наружу определенным образом. Движения членов и их идеи могут быть взаимно причиной друг друга. Достаточно того, чтобы духи вышли из железы и направились к оптическому нерву, чтобы мы восприняли какой-нибудь предмет. Достаточно духам направиться в двигательный нерв, для того чтобы мы почувствовали движение. Достаточно духам направиться к сердечному нерву и быть способными сжать его, для того чтобы мы испытывали чувство печали. Страсти причиняются духами постольку, поскольку они направляются к шестой паре.

Для того чтобы произошло движение членов, необходимо, чтобы духи достигли мускулов, но для возникновения восприятия этого движения достаточно, чтобы духи вышли из железы соответствующим образом. Для возникновения эмоции поэтому не необходимо, чтобы духи вызвали на периферии, в грудной клетке и в брюшной полости, соответствующую висцеральную бурю. Достаточно, чтобы духи покинули железу таким способом, как полагается. Результатом этого оказывается возможность страсти при полном молчании висцеральных органов.

Однако Декарт сам не осознает всего значения и всей важности центрифугальной теории эмоций. Он не делает из нее необходимых выводов. По замечанию Сержи, к Декарту в этом отношении всецело применимы его собственные строгие слова, сказанные об Аристотеле: только случайно ему удается сказать что-либо, приближающееся к истине. Самое существенное следствие центрифугальной теории — возможность эмоций при отсутствии висцеральных изменений — было замечено только последователями Декарта. Сам он прошел мимо этого вывода. Все же однажды он как бы почувствовал его. Мы встречаем как бы

мимоходом сделанное замечание Декарта: когда объект любви, желания, ненависти, печали или радости настолько занимает душу, что все духи, находящиеся в железе, участвуют в процессе его представления в душе и не могут поэтому служить для какого-либо двигательного проявления, тело остается инертным. Это экстаз, это большие эмоции без всяких внутренних и внешних проявлений.

Этого одного замечания достаточно для того, чтобы взорвать все прежнее построение. Оно действует, как искра на порох, заключенный в центрифугальной теории эмоций. Оно вызывает катастрофу. «Что это значит?» — вопрошает растерянно Сержи. Перед нами эмоция, которая развертывается во всем своем великолепии, не только без всякого участия висцеральных органов, но даже без вмешательства двигательных нейронов, без возможности прибегнуть даже к центрифугальной теории. Это полное разрушение висцеральной теории, низвергающее нас в чистый сенсуализм или интеллектуализм. Мы возвращаемся к классическому различению между страстями как чувствованиями и интеллектуальными эмоциями, не зависящими от тела. Здесь открываются новые горизонты, представляются новые точки зрения, дорога становится более извилистой и трудной.

Центрифугальная теория эмоций, открывающая возможность полного отрицания противоположной ей центрипетальной теории, составляющей ядро картезианского учения о страстях, также нашла своих наследников и продолжателей в современной экспериментальной психологии, которая до сих пор целиком настолько проникнута идеями Декарта и настолько живет ими, что может с полным правом рассматриваться как его родное детище. Можно показать — и в этом задача настоящей части нашего исследования, — что все главные противоречия современной психологии, как лежащие в основе ее кризиса, так и касающиеся отдельных и частных ее проблем, представляют собой противоречия, заложенные в картезианском учении о страстях. В этом смысле мы не знаем другой книги, исследование которой было бы столь же центральным по своему значению для понимания действительного исторического смысла всего прошлого психологической науки и ее современного кризиса, как последняя, завершающая работа Декарта — его «Трактат о Страстях...». Можно с полным правом утверждать, что этот мало кому известный сегодня и далеко не центральный среди всех произведений Декарта «Трактат» стоит в самом начале всей современной психологии и всех раздирающих ее противоречий.

Все противоречия картезианской системы, собранные, как в фокусе, в его учении о страстях, являются — если применить музыкальные термины — основной темой, по отношению к которой вся современная психология представляет собой не что иное, как вариации, несущие и развивающие эту основную тему. В ходе развития психологической науки картезианское учение распалось на ряд отдельных концепций и направлений, которые по внешнему

виду, как они разработаны у отдельных исследователей или в отдельных психологических системах, представляют собой как бы самостоятельные, логически завершенные, обособленные течения научной мысли, резко противостоящие другим течениям, берущим начало из того же картезианского источника, и вступающие с ними часто в непримиримую борьбу. Внутренне противоречивая в самой своей основе система психологических идей Декарта не могла не распасться в ходе научного развития на отдельные самостоятельные и враждующие друг с другом теоретические направления психологической мысли. Вот почему мы не встретим ни в одной из современных психологических систем полного и всецелого воплощения картезианского учения. Всюду куски, всюду только части внутренне расколотой грандиозной постройки этого учения.

Но если выйти за границы отдельных психологических направлений и отдельных ученых, если подняться над ними и в плане исторического исследования рассмотреть истоки и корни противоборствующих систем, если с помощью теоретического, по существу философского, исследования основных проблем современной психологии раскрыть их внутреннее единство и связь и показать, что за этой борьбой мнений стоят противоречия, заложенные в самом картезианском учении, тогда часто полярные теории представятся не столько как враги, сколько как близнецы, не столько как противоположности, исключающие друг друга в плане эмпирического знания, сколько как соотносительные понятия, предполагающие друг друга и невозможные одно без другого, как невозможно правое без левого. Мы это видели уже на примере основного противоречия всего современного психологического кризиса — на проблеме объяснительной и описательной психологии. Сейчас мы будем иметь случай снова убедиться в этом в связи с анализом приведенного выше учения Декарта о первых и последних, ближайших и отдаленных причинах страстей, ибо проблема причинного объяснения есть основная проблема возможности психологии как науки, породившая историческое разделение на объяснительную и описательную психологию. В этом отношении проблема причинности является краеугольным камнем всего психологического кризиса.

Истинное знание возможно только как причинное знание. Возможна ли психология как каузальная наука и вообще возможно ли принципиально применять причинное объяснение, лежащее в самой основе научного познания закономерности и детерминированности всего совершающегося, к миру высшей психической жизни человека? Возможно ли, следовательно, научное познание высшего в человеке? Возможна ли вообще психология человека как наука или она возможна только как прикладная метафизика? Об этом вопросе, и исключительно о нем, идет спор между объяснительной и описательной психологией. В этом смысле можно сказать, что видимая противоположность двух близнецов современного психологического знания заключена уже в зерне, в

единстве противоречивого учения Декарта о первопричине и ближайших причинах страстей.

Но так же как за этой общей принципиальной проблемой, от которой зависит все бытие, вся судьба психологии как науки, стоят не разрешенные в картезианском учении противоречия этой системы, проводящей, с одной стороны, строго последовательный, абсолютный, математический принцип механического причинного объяснения, а с другой — опрокидывающей тот же принцип в одном только ничтожном пункте бесконечного протяжения — в мозговой железе человека, точно так же неразрешенные противоречия картезианского учения о страстях, на этот раз противоречия фактического характера, как противоречия между центрипетальной и центрифугальной теориями страстей, которые мы констатировали только что, стоят за конкретной и частной психологической контроверзой между учениями, допускающими только периферическое происхождение ощущений, возникающих из воздействия внешнего мира на наши органы чувств, и между учениями, допускающими наряду с периферическим происхождением ощущений также и центральное их происхождение, позволяющее духу непосредственно знать, какая деятельность происходит в его главном органе, в головном мозгу человека.

В этом отношении, думается нам, неопровержимым и фундаментальным по значению является вывод, к которому приходит Денлап в историческом исследовании теоретического аспекта психологии. Декарт, который признан всеми, говорит этот исследователь, как первый из основателей современной психологической теории, создает своей правой рукой объект психологии, в то время как своей же левой рукой он, может быть не намеренно, разрушает его основы и придает всей структуре этой науки решительный крен вправо, который удерживается на длительный период дальнейшего развития. В «Трактате о Страстях души» он закладывает краеугольный камень физиологической психологии и всей современной реактологической теории, хотя его частная реактологическая теория и была отброшена. В рассуждении о методе, однако, так же как и в своих «Принципах...», он склоняется к обоснованию объекта в психологии в соответствии со здравым смыслом и предуготовляет, таким образом, дорогу для пагубных учений психофизического параллелизма и эпистемологического дуализма, которые были непосредственно развиты Мальбраншем, от него переняты Д. Локком и которые явились архитектурным планом для развития психологии на ближайшие три столетия.

Мы имеем удивительное совпадение двух исследований, ведущих с двух противоположных концов к установлению того факта, что весь спор о судьбе периферической теории эмоций, в сущности говоря, порожден противоречием между периферической и центральной теориями страстей, которые отнюдь не только по недосмотру великого автора мирно объединены в картезианском учении. Одно из этих исследований мы уже имели случай

цитировать. Оно, как мы видели, с убедительностью показывает, что в известном отношении старый и современный спор между периферической и центральной теориями происхождения ощущений и эмоций, т. е. старый спор между Джемсом и Вундтом и новый спор между последователями Джемса и основателями современной центральной теории эмоций, как Кеннон, Дана, Хэд и другие, есть на самом деле возобновление в новой форме и на новом этапе развития психологической науки той же самой контроверзы, которая заключена в учении Декарта о страстях.

Д. Сержи приходит к установлению этого факта, прослеживая судьбу картезианского учения в современной психологии эмоций. Говоря относительно центрифугальной теории страстей, содержащейся в картезианском учении наряду с центрипетальной теорией, Сержи правильно упоминает Вундта и его знаменитую теорию иннервационных ощущений. Согласно этой теории, помимо периферических двигательных ощущений допускается существование моторных ощущений центрального происхождения, возникающих благодаря взаимодействию моторных и сенсорных центров и позволяющих сознанию непосредственно ощущать моторные импульсы в момент их зарождения. Это непосредственное знание о зарождении моторного импульса и есть ощущение иннервации. В случаях паралича и при отсутствии всякого возбуждения чувствительных нервов нашей мускулатуры, следовательно, при полном отсутствии и даже невозможности всякого телесного движения мы можем все же сохранить ощущение наших моторных импульсов, наших моторных намерений. Благодаря этому гемиплегик может иметь двигательную галлюцинацию.

Принципиальное значение теории иннервационных ощущений не было до конца ясно ни самому Вундту, ни его противникам. Она только возбуждала в авторе сознание совершенно нового принципа, вводимого ею в физиологическую психологию, принципа, стоящего в резком противоречии с общепризнанным и нашедшим свои бесспорные фактические подтверждения учением о периферическом возникновении всякого ощущения, наконец принципа, позволяющего представить в более сложном виде отношение между психическими и физиологическими процессами в акте волевого намерения.

Она, эта теория, открывала новые, хотя и совершенно неясные горизонты. Она позволяла смутно надеяться на то, что с ее помощью сложные волевые процессы сумеют получить естественное, каузальное, психофизиологическое объяснение, что они не будут сведены, с одной стороны, к простому механизму привычки, строящейся на кругообороте центральных и периферических моментов какого-либо двигательного акта, и, с другой, не будут отданы целиком на усмотрение спиритуалистических, исключающих всякую возможность естественнонаучного объяснения теорий. Это чувствовали и ее противники. Теория поэтому встретила с их стороны такую жестокую критику, которая не может сравниться с критикой в адрес периферической теории эмоций

Джемса. Противники так же мало сознавали, как и сам автор теории, ее принципиальное значение и сражались больше доводами фактического, чем философского порядка.

Только впоследствии стало до конца ясно, что теория иннервационных ощущений, нигде видимо и открыто не противопоставленная периферической теории эмоций, в сущности есть ее принципиальный антагонист, так как выражает противоположную философскую тенденцию, проявляющуюся в ней. За Вундтом и его теорией иннервационных ощущений стоял Декарт с его центрифугальной теорией страстей, так же точно как за Джемсом и его периферической теорией эмоций стоял все тот же Декарт с его центрипетальной теорией механического происхождения движений души как ощущений и восприятий висцеральных изменений.

Здесь произошло то, о чем мы говорили выше: противоречивая система картезианского учения распалась на составные элементы, и каждому из противников на долю досталась честь развития и защиты одной ее части против другой. Джемс боролся против Вундта и казавшейся ему фантастической теории центральных ощущений. Вундт отвергал периферическую теорию эмоций Джемса. В обоих случаях одна часть картезианского учения восставала против другой, картезианская система разрывалась от раздиравших ее противоречий, но и там, и там физиологическая психология не вышла за заколдованный круг этой системы, который казался роковым пределом, положенным развитию психологической мысли; его же не прейдеши.

Д. Сержи все время стремится доказать, что теория Джемса—Ланге целиком находится в своем принципиальном и фактическом содержании в учении Декарта. Это удается до тех пор, пока Сержи рассматривает одну сторону учения. Как только ему приходится коснуться другой стороны, содержащей теорию центробежного происхождения эмоций, ему, по собственному признанию, приходится забыть на некоторое время Джемса и Ланге и обратиться к противоположному всему духу их теории тезису (которого Джемс не любил и против которого он боролся), для того чтобы разыскать следы этой полузабытой части картезианского учения, затерявшейся в современной психологии. Упомянутый тезис, говорит Сержи, подвергся жестокой критике, но автор развил его в совершенном виде, и он мог бы возродиться. Предсказание, как мы увидим дальше, действительно сбылось. Но прежде чем говорить об этом, следует ближе рассмотреть связь вундтовской теории с картезианским учением.

То, что мы находим у Декарта, говорит Сержи по поводу теории иннервационных ощущений, имеет гораздо более общее значение и включает, наряду с двигательными ощущениями, весь класс восприятий, охватывающий также и страсти. Декарт повторяет, что последней материальной причиной восприятия является всякий раз особенное движение духов при их выходе, при их истечении из железы, когда они покидают ее, направляясь от

центра к нервам. Ближайшей материальной причиной всякого восприятия он признает не центростремительное движение, а центробежное, и центрифугальная теория психологических феноменов, таким образом, содержится целиком в его учении о страстях, и притом в наиболее общей форме.

В стремлении к полной апологии картезианского учения, столь типичном для определенного направления современной психологии, желающего видеть в этом учении возможность примирения натуралистического и теологического подходов к человеческой душе, Сержи защищает следующую мысль. Там, где Джемс выступает противником Декарта, там, где он расходится с центробежной теорией страстей, там правда оказывается на стороне великого философа и продолжателей его дела, т. е. создателей иннервационной теории ощущений — этого позднейшего воплощения картезианской идеи. Сержи находит для этого и фактические подтверждения. Ему представляется, что естественным следствием идеи о центральном происхождении ощущений является признание того факта, что возможно существование страсти при абсолютном молчании внутренних органов, так как духи вызывают страсть, даже не достигая в каких-то случаях этих органов и не производя в них никаких изменений. Это утверждение приводит нас непосредственно и прямо к опытам Шеррингтона: когда собака в известном отношении как бы отделена от висцеральных органов, она сохраняет все же способность испытывать и проявлять эмоцию.

Теория Джемса не в состоянии избежать сделанных Шеррингтоном возражений иначе, как с помощью ссылки на возможность аффективных галлюцинаций. Подобно тому как возможно галлюцинаторное восприятие, абсолютно не периферического происхождения, так же возможны и галлюцинаторные эмоции, т. е. галлюцинаторные восприятия телесных изменений, в которых обычно эмоция проявляется, при отсутствии этих изменений в действительности. Декарт решительно отвергает такую возможность, хотя его центрифугальная теория эмоций, казалось бы, прямо приводит нас к необходимости допустить аффективные галлюцинации. Не ссылаясь на них, оставаясь верной внутренней логике своей системы, теория XVII в. менее болезненно, чем ее младшие собратья по успеху, приспосабливается к современному опытному знанию.

Было бы, однако, большим заблуждением считать, что в данном случае Джемс оказывается на противоположном полюсе по отношению к картезианскому учению. Легко убедиться как раз в обратном: в том, что, и расходясь с известной частью этого учения, он целиком остается в пределах его системы. Для доказательства мы хотели бы сослаться на два обстоятельства. Первое связано с упомянутым уже учением Джемса об аффективных галлюцинациях, которое представляет собой как бы теоретический эквивалент центробежной теории страстей, как бы другой вариант решения той же проблемы, которая заставила и самого

Декарта отказаться от последовательного проведения механистической периферической теории происхождения эмоций. Второе связано с методологическим значением центробежной теории Декарта. Рассмотрим оба обстоятельства.

Ж. Дюма, исследующий историю развития учения об аффективных галлюцинациях, говорит, что физиологический эксперимент только не подтверждает теории Ланге—Джемса, но не служит ее прямым опровержением; психологическое же и клиническое наблюдение позволяет занять более негативную позицию по отношению к этой теории, так как располагает рядом фактов, в объяснении которых периферическая теория представляется совершенно беспомощной. На первом месте здесь приходится назвать проблему высших, или тонких, эмоций, от которой Джемс пытался отделаться бездоказательным утверждением, что они сводятся или к физическому удовольствию и страданию, или к суждениям, в то время как благодаря отсутствию или незначительности периферических проявлений они представляются нам как эмоции центрального происхождения.

На втором месте приходится поставить патологические проявления радости, которые не похожи ни на радостное возбуждение, ни даже на спокойно переживаемое радостное чувство, потому что первые совершенно пассивны: это экстатическая радость, блаженство святых. Из этих фактов можно извлечь серьезный довод против периферической теории радости. Самонаблюдение отмечает обычно в этих случаях как бы каталиптическое состояние. Святая Тереза[102] так описывает свои состояния: «Даже в моменты высшего восхищения тело часто представляется как бы мертвым и охваченным бессилием: оно остается в том же положении, в котором его застает это состояние, стоящим или сидящим с раскрытыми или сведенными руками. Мне случалось при этом иногда почти совершенно терять пульс. Так, по крайней мере, уверяют сестры, которые в эти минуты были возле меня».

П. Жанэ[103] чрезвычайно детально описал патологические состояния экстаза, когда психическое переживание радости сопровождалось замедлением всех жизненных функций. Движения отсутствуют, дыхание ослаблено, кровообращение задержано, тело совершенно неподвижно. Миньяр клинически исследовал состояние пассивной радости, которое он наблюдал даже у идиотов, больных со старческим слабоумием, у прогрессивных паралитиков. В результате исследования он приходит к выводу, что в плане психических изменений радость может сопровождаться замедлением всех сознательных функций, интеллектуальных, аффективных и активных, иногда с полной инерцией, а в плане физических изменений радость может сочетаться со всеми симптомами, которые рассматриваются обычно как характерные признаки депрессии: с замедлением дыхания и кровообращения, понижением артериального давления, понижением температуры и задержкой пищеварения. Наконец, в еще более общем виде радость может соединяться с резко выявленными состояниями

кахексии и деменции, т. е. состояниями физического и морального упадка.

Миньяр дает чрезвычайно вероятное объяснение этих состояний, связывая их, совершенно так же, как и активную радость, с отсутствием торможения и с полной реализацией тенденций. Существуют стремления к покою, точно так же, как и стремление к деятельности, и сон есть потребность, реализация которой не перестает быть приятной. Пассивное блаженство, описываемое и объясняемое Миньяром, очень близко подходит к целям эпикурейцев.

У. Джемс, видевший все трудности, на которые наталкивается его теория, не мог обойти молчанием возражение, основанное на наличии экстатической радости. Он сам приводит и другие состояния радости, по-видимому еще более богатые и, однако, малохарактерные с органической точки зрения. «Если действительно существует,— говорит он,— чисто духовная эмоция, я был бы склонен ограничить ее церебральным ощущением полноты и легкости духа, ощущением акивности мысли, которая не встречает никаких препятствий. Если существуют случаи независимых эмоций, я полагал бы, что следовало бы их искать в этих восторгах чистой мысли» (1902, с. 317).

Это положение Джемса содержит в себе то же объяснение независимых эмоций с помощью полной реализации тенденций, но вместе с тем оно заключает и концепцию церебральной синестезии, которая по существу говорит против чисто периферической теории эмоций. Несомненно можно допустить, что в такого рода случаях мы имеем дело с галлюцинаторными явлениями. Джемс выдвигает эту гипотезу, чтобы объяснить то исключение, которое представляет, с точки зрения его теории, состояние экстаза, но, поскольку гипотеза не имеет никакого другого основания, кроме защиты предвзятого теоретического мнения, она может иметь только значение простой ссылки.

Нетрудно видеть, что в учении о независимых эмоциях, о чисто духовных аффектах все равно, будем ли мы рассматривать их как аффективные галлюцинации или как совершенно реальные аффекты во всей полноте их психологической природы, Джемс, в сущности говоря, приходит буквально к тому же самому, к чему пришел и Декарт,— именно к допущению эмоций чисто центрального происхождения. Очевидно, логика известной системы, логика фактов, которые пережили самую систему, имеет свое необходимое внутреннее развитие. Кто принял одну ее часть, тот неизбежно должен принять и вторую, сколько бы труда он ни положил на то, чтобы вытравить всякий ее след в научной психологии и каким бы блестящим психологом он ни был.

Мы можем сейчас с полным правом утверждать, что последовательное проведение механистического принципа в периферической теории страстей заставило Декарта развить противоположный спиритуалистический принцип в учении о центральном происхождении эмоций. Подобно этому и в теории Джемса, если взять

ее во всей полноте, законы физиологической механики, к которым он апеллировал как к последнему источнику объяснения природы человеческих чувств, необходимо предполагают в качестве дополнения идею независимых эмоций, идею церебральных, т. е. центральных, ощущений, идею чисто духовной эмоции, которая делала для Джемса непереносимой теорию иннервационных ощущений Вундта. Механицизм и спиритуализм снова оказались воссоединенными в одном учении, как они были некогда соединены в учении Декарта о страстях души.

Поэтому, думается нам, Денлап неправ, когда, обсуждая разделяющий современных психологов спор относительно центральной или периферической концепции происхождения ощущения эмоций, только одну часть этой альтернативы связывает с Декартом. Денлап, этот верный последователь Джемса, говорит: я рассматриваю эмоцию как процесс, и, когда я пытаюсь узнать, как он возникает, единственное, что я могу найти,— это изменение в висцеральных органах. Верно, что Джемс никогда не принимал свою собственную теорию сполна и до конца. Он не только придерживался психофизического параллелизма, но он также сохранил множество спиритуалистических чувств, которые он не хотел подчинить грубой телесной обусловленности. Вы знаете, что мы обычно воспринимаем наш желудок и кишки как нечто низкое и вульгарное. Курьезно, что мы не допускаем, будто мозг, который биологически не столь уж значительно возвышается над ними, является чем-то низменным по отношению к нашим чувствам. Старая теория, предложенная Декартом, согласно которой афферентные токи причиняют интеллектуальное состояние, а эфферентные — страсти души, казалась Джемсу окончательно опровергнутой Мюнстербергом. Очевидно, Джемс ошибался (K. Danlap, 1928, p. 159).

Возрождение старой теории Декарта Денлап видит в современной таламической гипотезе о происхождении эмоций. Таким образом, современный спор висцеральной и таламической теорий представляется ему только в одной своей части восходящим к картезианскому учению. Критерием, который позволяет Денлапу разделить, с одной стороны, картезианскую теорию, допускающую иннервационное чувство, и теорию Джемса — Ланге, с другой, является для него вопрос о механизме возникновения эмоций — центробежном или центростремительном.

Неправильность такого изображения возникает вследствие двух причин. Во-первых, Денлап игнорирует то обстоятельство, что в теории Декарта содержится не только центробежное, но и центростремительное происхождение эмоций. В этом мы могли достаточно убедиться на протяжении всего предыдущего рассмотрения вопроса. Таким образом, альтернатива — центральное или периферическое происхождение эмоций — целиком в обеих частях заключена уже в картезианском учении. Одни исследователи, как Сержи, выдвигают на первый план в картезианском учении именно периферическую теорию эмоций. Другие, как Денлап и

Принц, отводят первое место в этом учении центральной гипотезе. Наконец, третьи, как Спирмен, видят в Мальбранше, прямом продолжателе картезианской линии, общего родоначальника всех современных теорий эмоциональной жизни — Мак-Дауголла, А. Бэна[104], Джемса, Вундта (С. Е. Spearman, 1928, р. 40). Действительно, Мальбранш, как мы видели, в глазах самого Ланге был единственным человеком, которому за 200 лет до него удалось создать полную вазомоторную теорию о телесных проявлениях эмоций, благодаря тому что он с проницательностью гения открыл истинную связь между явлениями. Во-вторых, Денлап и в другом своем исследовании с полным основанием видит в Мальбранше истинного отца всей современной интроспективной психологии. Мы знаем уже, что Мальбранш унаследовал эту двойственность от Декарта. Таким образом, необходимой поправкой к приведенному выше анализу Денлапа должно явиться положение, согласно которому оба члена антитезы — центральная и периферическая теории эмоций — в одинаковой мере обязаны происхождением Декарту, в учении которого они отнюдь не представлены как альтернатива, как антитеза, как противоположные, исключающие друг друга концепции.

Вторая поправка сделана в сущности самим Денлапом. Он должен согласиться, как мы видели, с тем, что Джемс никогда не принимал до конца своей собственной теории, что наряду с периферической теорией эмоций он сохранял полностью и чисто спиритуалистическую концепцию в отношении духовных чувствований, допуская их центральное происхождение, а вместе с тем и возможность центральных ощущений. Таким образом, и Джемс, столь решительно отвергавший теорию иннервационных ощущений, на самом деле соединял, не умея примирить их, обе противоположные части картезианского учения. Замечательно совпадение Джемса с Декартом не только там, где это совпадение так блестяще доказал и обосновал Сержи, т. е. не только в висцеральной гипотезе происхождения эмоций, но и там, где Сержи видит — на этот раз вместе с Денлапом — противоположность между обоими исследователями. Декарт, как мы помним, пытается примирить содержащиеся в его учении противоположные взгляды на происхождение эмоций с помощью различения между страстями-чувствованиями, возникающими вследствие изменений во внутренних органах, и интеллектуальными эмоциями, совершенно независимыми от тела. Джемс почти теми же словами говорит о независимых эмоциях, возникающих из ощущения активности чистой мысли, не встречающей никаких препятствий.

С этими двумя существенными поправками картину, нарисованную Денлапом, и его исторический анализ можно признать в основном верными. Заслуга его состоит в том, что он сумел, идя с конца, противоположного тому, с которого начал свои исследования Сержи, прийти к тем же результатам. Сержи шел от Декарта и пришел к современной психологии с раздирающим ее противоре-

чием между противоположными концепциями эмоций. Денлап шел от этой современной научной контроверзы и пришел к Декарту с его противоречивой теорией страстей. Оба исследования, таким образом, идя с противоположных концов, встречаются в одной точке и совпадают в окончательных результатах и выводах. Это может служить лишним доказательством того, насколько главные картезианские проблемы являются не случайными и побочными реминисценциями в современной психологии эмоций, а единственными подлинными и действительными ее основаниями, насколько вся современная психология эмоций, со всеми ее достижениями и противоречиями, является картезианской в истинном смысле слова, не только из-за исторической связи с учением Декарта, но и из-за того, что она до сих пор живет и дышит, борется и страдает в заколдованном кругу этого учения. Декарт для современной психологии эмоций не отдаленное прошлое, а самая живая действительность сегодняшнего дня. Как известный герой Мольера, сам того не подозревая, говорил настоящей прозой, так современная психология эмоций, сама того не сознавая, говорит классической и чистой прозой картезианского «Трактата о Страстях души».

Но оба исследования — Сержи и Денлапа — совпадают еще в одном пункте первостепенной важности. Денлап, как мы видели, вынужден признать, что Джемс, допуская существование чисто духовных и независимых эмоций, дополняя свою периферическую *теорию спиритуалистической концепцией, придерживался* фактически психофизического параллелизма. Безотносительно к Джемсу Сержи устанавливает ту же самую связь центрифугальной теории эмоций в учении Декарта с параллелизмом. Таким образом, фактическое совпадение Декарта и Джемса перерастает в глубочайшее, философское родство обоих мыслителей. Центрифугальная теория восприятий, говорит Сержи, занимает весьма определенное место в истории картезианского параллелизма. Картезианское учение о страстях и теорию Джемса объединяет не только наличие периферической и центральной гипотез о происхождении эмоций, но и нечто гораздо более важное, именно общее решение психофизической проблемы, общий ответ, который они дают на *вопрос об отношении мышления и протяжения, души и тела в* человеческом чувстве. Без этого пункта наш анализ обоих учений был бы неполон. Поэтому рассмотрим в заключение главы этот последний пункт настоящей части нашего исследования.

До сих пор по ходу нашего исследования мы односторонне подчеркивали только один аспект в картезианском решении психофизической проблемы применительно к теории страстей. Мы стремились изучить гипотезу происходящего в мозговой железе взаимодействия между духом и телом и вытекающие из этой гипотезы следствия. Но, как мы уже говорили, допущение прямого воздействия духа на тело и тела на дух является скорее исключением, чем правилом в системе Декарта. Оно находится в *непримиримом противоречии с основными положениями всей его*

системы, согласно которой мышление и протяжение представляют собой противоположные и исключающие друг друга субстанции. Истинной основой картезианской психологии является поэтому не гипотеза взаимодействия, но теория психофизического параллелизма.

Противоположность духа и тела является для Декарта основным пунктом всей его системы. Ничто мыслящее не протяженно. Ничто протяженное не мыслит. Мышление и протяжение различаются, как выражается Декарт в споре с Гоббсом[105].

Но если противоположность или разделение между духом и телом мыслимы ясно и отчетливо, то соединение обоих в естественном свете разума должно казаться уже немыслимым и невозможным; а если такое соединение фактически существует, то оно противоречит основаниям системы и его объяснение подвергает учение Декарта самому трудному испытанию. Нужно исследовать, выдержит ли философ это испытание без отрицания своих принципов.

Мы видели уже, что система Декарта не выдерживает испытания и вынуждена в гипотезе взаимодействия изменить самой себе, встав на путь отрицания собственных основоположений. Мы не станем повторять сейчас всего того, что было сказано по этому поводу выше. Напомним только: именно из-за того, что психофизическая проблема оказалась совершенно неразрешимой с точки зрения абсолютного дуализма картезианской системы, Декарт был вынужден допустить взаимодействие, всячески пытаясь его ограничить единственным во вселенной пунктом, ничтожной территорией мозговой железы, сохраняя для всей остальной бесконечной вселенной в полной силе принцип дуализма.

Таким образом, гипотеза взаимодействия оказывается не только не основным принципом системы, но ее камнем преткновения, не ее основанием, а местом ее полного крушения и гибели. Нет более сильных возражений против данной системы, чем неопровержимые факты самой природы. Отрицательной инстанцией полного дуализма духовной и телесной природы является человек, так как он — то и другое вместе. Философ объясняет: в действительности дух и тело совершенно отделены друг от друга, нет никакого общения между ними, я познаю это при свете разума. Человеческая природа убеждает в противоположном, ибо она представляет собой такое общение. По понятиям дуалиста, естественные вещи суть или духи, или тела. Человек — живое доказательство противного: он естественное существо, являющееся одновременно и тем и другим. Голос его самодостоверности говорит человеку: ты дух. Голос его естественных влечений и потребностей говорит так же явственно: ты тело. Субстанциональность духовной и телесной природы, а вместе с тем и их дуализм разбиваются о понятие и факт существования человека. Противоречие настолько очевидно, что его допускает и сам философ.

Мы видели, что гипотеза взаимодействия находится в резком противоречии со всеми основами картезианской системы. Пра-

вильно понятая, она приводит к полному их отрицанию. Душа локализуется, тем самым она материализуется и механизируется. Движущаяся и приведенная телом в движение, душа должна сама быть телесной, она делается материальной вещью, несмотря на все уверения, что она мыслящая, совершенно отличная от тела субстанция.

Картезианская антропология противоречит не только дуалистическим принципам метафизики, но и механистическим принципам натурфилософии. Что количество движения в мире остается постоянным, что акция и реакция, действие и противодействие равны — эти фундаментальные положения учения о движении теряют силу, коль скоро в телах движения могут порождаться нематериальными причинами. Как бы мы ни мыслили соединение обеих субстанций в человеческой природе — как единство или как сложение,— в том и в другом понимании оно противоречит принципиальному дуализму и необходимо приводит к его противоположности.

Мы напомнили эти уже однажды рассмотренные нами положения исключительно для того, чтобы показать, в какой мере гипотеза взаимодействия противоречит всей картезианской системе и, следовательно, не может рассматриваться как основное для данной системы решение психофизической проблемы. Это, повторяем, не более как уникум, единственное в мире исключение из общего закона об отношениях между мышлением и протяжением.

Каков же общий закон? Ответ не может оставить никаких сомнений. Этот общий закон есть закон параллельного и независимого существования нигде не встречающихся и не вступающих друг с другом в общение, абсолютно противоположных и исключающих друг друга субстанций мышления и протяжения. В самом деле, что иное представляет собой параллелизм, как не утверждение, содержащееся в формуле Декарта, что в действительности дух и тело совершенно отделены друг от друга и нет никакого общения между ними? Что иное может означать параллелистическая гипотеза, как не абсолютный дуализм психических и физических процессов?

Нас сейчас интересуют два момента, непосредственно связанных с учением о страстях. Можно было бы подумать, что Декарт сохраняет гипотезу параллелизма для всей системы, за исключением ее психологической части, в которой он отвергает параллелизм и остается всецело на позиции гипотезы взаимодействия. Но думать так — значило бы впадать в грубое заблуждение. Для доказательства этого мы, как уже сказано, ограничимся рассмотрением двух моментов, связанных с приложением гипотезы параллелизма к объяснению человеческих страстей. Первый из них отмечал уже Сержи и связан с центрифугальной теорией происхождения эмоций. Второй непосредственно связан с проблемой ощущений в учении Декарта и определением их природы. Рассмотрим их.

Если возможны, как допускает картезианская центрифугаль-

ная теория, страсти чисто духовной природы, не имеющие никакого отношения к телесным состояниям, если существуют интеллектуальные эмоции, чистые экстазы духа, высокие чувства без всяких внешних или внутренних проявлений, с одной стороны, если, с другой, возможны чувственные страсти, возникающие чисто механическим путем, так же точно, как они возникали бы у бездушного автомата, страсти чисто телесной природы, которые, как мы видели, сам Декарт не мог последовательно и строго различить от страстей души, из этого не может быть сделано никакого другого вывода, кроме вывода об абсолютной независимости и параллельности духовной и телесной сторон человеческих страстей. В чувственных страстях, разыгрывающихся по механическим законам совершенно одинаково у бездушного автомата и одаренного сознанием человека, и в интеллектуальных эмоциях, абсолютно независимых от тела, говоря словами картезианской формулы, дух и тело в действительности совершенно отделены друг от друга и нет никакого общения между ними. Это и есть чистый параллелизм.

Но параллелизм простирается в картезианском учении о страстях гораздо дальше. Допускаемое этим учением взаимодействие между духом и телом составляет только мгновенное нарушение закона о параллельности в момент, когда жизненные духи заставляют душу испытывать страсть, мгновенное грехопадение души, вступающей в связь с телом. До этого ничтожного мгновения и после него тело и дух, испытывающие страсть, живут совершенно самостоятельной, независимой жизнью, подчиненной противоположным законам. Чтобы убедиться в этом, нужно вспомнить три рассмотренных выше конкретных примера, которыми пользуется Декарт для развития своей мысли.

Первый касается эмоциональной реакции, как она разыгрывается в бездушной машине. Как мы помним, Декарт рассматривает устрашающую фигуру, воздействующую на бездушный автомат и вызывающую в нем ряд двигательных изменений в мускулах и во внутренних органах. Создается картина устрашаемой и обращающейся в бегство живой машины. Таким образом, страсть не имеет еще в себе ничего психического. Она разыгрывается по чисто механическим законам и объясняется исключительно с помощью натуралистического принципа. Все происходит так, как если бы душа была совершенно не нужна и тело представляло собой совершенно действующий автомат.

Этот пример непосредственно приводит нас ко второму, в котором Декарт возвращает живому автомату отнятую у него прежде душу. Присоединение психической активности к телесной ничего по существу не меняет в автоматизме страсти. Просто к одному ряду явлений, протекающих в теле, присоединяется другой ряд, протекающий в духе и состоящий из телесных ощущений, возникающих точно таким же образом, как и ощущения внешних объектов. Свед́ение страстей к ощущениям и восприятиям превращает их в пассивные душевные состояния,

которые ничего не меняют в течении автоматической страсти. Декарт со всей ясностью развивает идею двойных эффектов, утверждая, что движение жизненных духов, возбуждаемое восприятием устрашающей фигуры, производит два независимых друг от друга эффекта: с одной стороны, приводит в движение телесный автоматизм страсти, с другой — вызывает, поддерживает и усиливает в душе эмоцию. Здесь параллелизм достигает полной и законченной формы.

Наконец, от этих двух примеров, в которых эпифеноменализм психической эмоции выступает с максимальной отчетливостью, в которых душевный и телесный эффекты настолько разъединены друг с другом, что могут рассматриваться совершенно порознь, мы переходим к третьему примеру — к борьбе воли со страстями. Мы знаем уже, что душевная и телесная страсти возникают при виде устрашающей фигуры как два самостоятельных, независимых и параллельных ряда явлений. Две параллельные линии встретились, пересеклись в одной точке совершенно необъяснимым образом и развиваются дальше совершенно самостоятельно, каждая по собственным законам. Если бы живой автомат был вовсе лишен души и способности испытывать страсти, в возникновении и судьбе эмоции ничто бы не изменилось. Вот почему Декарту, оказывается, не под силу провести строгое разграничение между страстями автомата и страстями души.

В третьем примере Декарт присоединяет к автомату не только пассивную, способную испытывать восприятия и эмоции сторону нашей души, но и ее активную сторону — волю. Здесь мы имеем то же самое положение, только в обратном виде. Душа, побуждаемая движением жизненных духов, испытывает страх, но воля может побудить ее побороть страх и дать противоположное направление органу души, а вместе с ним и жизненным духам, вызывающим движения тела, дать направления, противоположные тем, которые были первоначально внушены страстью. Вместо бегства тело побуждается к борьбе. Опять параллельные линии пересекаются на одно мгновение, с тем чтобы дальше вновь принять параллельное направление и развиваться по собственным законам. В учении о власти воли над страстями телесный ряд, характеризующий страсть, сам превращается в эпифеномен.

Как мы помним, борьба воли со страстями происходит для Декарта не в духовной природе человека — в душе не имеет места никакая борьба, а исключительно между духовной и телесной сторонами человеческой природы. На самом деле происходит конфликт между двумя противоположно направленными движениями, которые сообщаются органу души: одно телом через жизненных духов, другое — душой через волю. Первое движение непроизвольно и определено исключительно телесными впечатлениями, второе произвольно и мотивировано намерением, устанавливаемым волей. Душа побеждает страсти своим собственным оружием и по своему определению направляет движение тела.

Все три примера находят завершение в учении о чисто

духовных эмоциях, которые могут возникать и протекать независимо от тела. Итак, в двух крайних случаях мы можем рассматривать, согласно Декарту, страсти то как чистый продукт телесного автоматизма, то как чистый результат духовной активности. В двух средних то и другое встречается на мгновение, с тем чтобы дальше снова вернуться к исходному, независимому положению. Достаточно охватить одним взглядом эти примеры, взятые вместе, для того чтобы убедиться: параллелизм лежит в основе не только всей системы Декарта, но и той ее части, которую составляет учение о страстях. И в страсти, как и во всей вселенной, протяжение и мышление совершенно независимы друг от друга и между ними нет никакого общения, кроме мгновенного пересечения параллельных линий. И в страсти ничто протяженное не мыслит, ничто мыслящее не протяженно. Параллели на мгновение пересеклись и снова остались параллельными до следующего мгновенного пересечения. Только для объяснения этого мгновения и вводится гипотеза взаимодействия, которая является не чем иным, как вынужденной уступкой по отношению к неопровержимому факту соединения протяжения и мышления в человеке. Но эта уступка есть мгновенная слабость самой системы, немало смущающая ее автора, как бы измена самой себе, а никак не ее основание. Истинным основанием остается параллелизм.

Еще более глубокое доказательство параллелизма, лежащего в основе учения о страстях, мы находим в учении Декарта об отношении между страстями и ощущениями. Рассмотрение этого вопроса составляет последнюю задачу настоящей части нашего исследования.

Два пункта в учении Декарта о страстях являются в этом отношении принципиально важными: во-первых, сведéние страсти к ощущению и восприятию внутриорганических изменений, во-вторых, признание страстей исключительным достоянием человеческой природы и отрицание их у животных. Как мы помним, Декарт относит страсти души к пассивным состояниям нашего сознания, рассматривая их как частный случай восприятия. Он говорит о страстях как о восприятиях и ощущениях души, вызываемых ощущением жизненных духов; в других местах «Трактата» он неоднократно возвращается к этой мысли, утверждая, что страсти возникают в душе точно таким же образом, как и ощущения объектов, представляемых внешними органами чувств, и таким же точно образом осознаются ею. Страсти суть ощущения, только ощущения особого рода, представляющие сознанию изменения, происходящие не во внешнем мире, а изменения собственного организма.

Животные, по Декарту, также представляют собой живые автоматы. Декарт строго разделяет понятие жизни и понятие одушевленности. Живое тело не есть тело одушевленное, душа не является физическим принципом. Тело живет не потому, что душа движет и согревает его, и умирает не потому, что душа его

оставляет. Жизнь не состоит в связи души и тела, смерть не является их разъединением. Жизнь и смерть есть необходимое следствие физических причин. Жизнь есть простой механизм, смерть — уничтожение этого механизма. Как говорит сам Декарт, смерть никогда не наступает вследствие того, что разрушается один из главных органов тела. Поэтому можно сказать, что тело живого человека отличается от тела мертвого так же, как часы (или автомат другого рода, т. е. какая-нибудь самодвижущаяся машина), несущие в себе наряду со всеми необходимыми для их деятельности условиями телесный принцип движений, которые они должны совершать, отличаются от сложного часового механизма, в котором движущий принцип перестал действовать.

Животные представляют собой живые тела, но неодушевленные. Это чистые автоматы. Однако они обладают чувственными ощущениями и инстинктами, которые должны рассматриваться как телесные движения, происходящие и объясняющиеся по механическим законам. Поэтому все общее для человека и для животных должно неизбежно рассматриваться как явление чисто телесной природы. Поэтому ощущения, влечения вообще (значит, и по отношению к человеку) остается считать механическими явлениями, не имеющими ничего общего с психической деятельностью.

Дуализм между животными и человеком толкает Декарта к неизбежному выводу, что животные лишены страстей, так как страсти он рассматривает как движения души. Здесь возникает одно из самых неразрешимых противоречий всей системы, охватывающей проблему ощущения. Учение Декарта колеблется по отношению к ощущениям и из-за дуалистических и антропологических принципов идет по трем совершенно различным направлениям. Первые размышления трактуют ощущения и чувственные восприятия как психические факты и относят их только к духу. Последние размышления считают их антропологическими фактами и относят к связям духа и тела, а сочинение о страстях придает им значение только телесных психических фактов и относит ощущения и инстинкты исключительно к телу.

Попытка объяснить проблему запутывает нас в тенетах антиномии и дилеммы. Ощущение то признается за чисто телесный факт, подлежащий механическому объяснению, то за чисто духовный, требующий спиритуалистического рассмотрения. Оставаясь в пределах системы, так же невозможно допустить ощущение, как невозможно его отрицать. Короче говоря, с точки зрения учения Декарта, факт ощущения не объяснен и необъясним. Нас сейчас интересует это противоречие исключительно в связи с учением о страстях. Здесь противоречие оказывается еще более чудовищным. С одной стороны, бездушный автомат, как мы видели, полностью способен испытывать страсти, с другой — животные лишены страстей. С одной стороны, страсть представляет собой не что иное, как ощущение, возникающее в душе, с другой — ощущение есть не что иное, как чисто телесный фено-

мен. Единственный вывод, который может быть сделан, следующий: Декарт, поскольку он руководится в учении о страстях натуралистическим принципом, неизбежно приходит к признанию чистого эпифеноменализма и человеческого автоматизма в возникновении и развитии страстей, ибо, определяя страсть как ощущение, а ощущения как телесный феномен, он утверждает, сам того не замечая, что страсть не может существовать как основное явление человеческой, т. е. двойственной духовно-телесной, природы. С одной стороны, все страсти, имеющие отношение к телу, остаются чисто телесными феноменами, ибо даже ощущение, которым в сущности является страсть, рассматриваемая с психической стороны, присуще животному и представляет собой механическое явление, возникающее в движущейся машине. С другой стороны, существуют независимые от тела чисто духовные страсти. Дуализм мышления и протяжения, чистый и последовательный параллелизм сказал в этом пункте свое последнее и решительное слово. Есть телесные страсти, и есть духовные страсти. Невозможна никакая страсть, которая была бы одновременно и телесной, и духовной, в которой было бы возможно действительное общение, действительная связь между духом и телом, как невозможно, чтобы что-либо протяженное мыслило, а что-либо мыслящее было протяженным.

Мы подходим, таким образом, к последнему пункту всего картезианского учения о страстях, пункту, завершающему грандиозной катастрофой, полным крушением всю эту героическую попытку объяснить природу человеческих страстей исходя из дуалистических принципов системы. Конец учения является полным и всецелым отрицанием его начала. Страсти оказываются поделенными между духовной и телесной природой человека, причем каждая природа действует совершенно независимо от другой. Где же в этом учении остается место для страсти как основного феномена двойственной духовно-телесной природы человека, являющейся единственным реальным основанием страстей? Спиритуализм и натурализм оказываются и в учении о страстях двумя противоположными полюсами. Дуализм и параллелизм выступают в качестве действительной основы учения о страстях. Эпифеноменализм и человеческий автоматизм являются началом и концом, первым и последним словами всей психологии страстей.

16

Что параллелизм был действительно завершающей все размышления о природе человеческих страстей мыслью философа, можно убедиться из последнего сочинения Декарта, посвященного этому вопросу,— его письма о любви. В нем он отвечает шведской королеве[106], в чем состоит сущность любви и что хуже — безмерная любовь или безмерная ненависть. Письмо представляет краткое изложение последних мыслей Декарта о сущности любви,

а вместе с тем и о сущности всякой человеческой страсти. «Письмо это — маленький шедевр, о котором всякий знаток философа, не знающий об авторе и мотивах письма, а только обращающий внимание на ход исследования, на характер идей, на подбор выражений, тотчас же сказал бы: это настоящий Декарт. Нет другого сочинения такого же маленького объема (ибо оно не выходит из рамок письма), по которому можно было бы лучше узнать этого мыслителя» (К. Фишер, 1906, т. 1, с. 258).

В письме Декарт прямо начинает с различения интеллектуальной и аффективной любви, делая, таким образом, исходным пунктом то различение духовных и телесных страстей, которое в «Трактате о Страстях...» явилось лишь заключительным пунктом. Есть любовь как духовная страсть, и есть любовь как чувственная страсть. Первая возникает из того, что мы представляем объект, присутствие и обладание которым причиняет нам радость, отсутствие и потеря которого — страдание. Поэтому мы стремимся к такому объекту с полной энергией нашей воли. Мы хотим соединиться с ним или образовать с ним одно целое и быть только частью такого целого. Любовь необходимо связана с радостью, со скорбью и с желанием. Эти четыре направления воли имеют свои корни в природе духа и свойственны душевной связи с телом. Они заключены в познавательной потребности мыслящего существа. Радость. и страдание интеллектуальной любви суть поэтому не страсти, а ясные идеи.

Если бы даже анализ «Трактата о Страстях...» не привел нас к выводу о наличии в учении Декарта допущения чисто духовных страстей, письмо должно было бы убедить нас в этом. Последовательно развивая мысль о чисто духовной природе интеллектуальной страсти, Декарт устанавливает, что только от затемнения ее может возникнуть аффективная и чувственная любовь, исходящая из связи души с телом. Это суть телесные состояния и изменения, которым соответствует известное стремление в нашей душе, причем сходство и связь между ними не явствуют нам. Так возникают неясные чувственные аффективные желания, имеющие известные объекты, ощущающие радость от обладания одними и болезненное страдание от присутствия других, любящие предметы стремлений и ненавидящие предметы отвращения: радость и скорбь, любовь и ненависть — таковы основные формы чувственных желаний, элементарные и главные страсти, из смешения и изменения которых созидаются все остальные; они единственные, которые мы имели еще до рождения, ибо они проявляются уже во время питания в эмбриональной жизни.

Интеллектуальная любовь совпадает с потребностью познания в мыслящей природе, чувственная коренится в питательных потребностях органической природы. Есть представления достойных стремления объектов (интеллектуальная любовь) без чувственного возбуждения и чувственного желания, равным образом последнее может иметь место без познания. Есть любовь без страстей и есть страсть без любви. В обыкновенном смысле в

человеческой любви соединены оба элемента. Тело и душа соединены таким образом, что определенные состояния представления и воли сопутствуют определенным состояниям телесных органов и вызывают друг друга взаимно, как мысль и слово. Таким же образом любовь находит в возбуждении сердца при учащенном движении крови свое непроизвольное телесное выражение. Эта духовно-чувственная любовь, это соединение понимания и стремления образует то ощущение, о сущности которого спросила королева.

Таким образом, изначальная независимость интеллектуальной и чувственной, духовной и телесной страсти, непонятная и необъяснимая, параллельное, сопутствующее развитие той и другой, полная возможность их раздельного существования, случайность их объединения, которое приводит только к затемнению интеллектуальной любви, короче, все основные положения картезианского параллелизма в учении о страстях, параллелизма, приводящего к полному разделению спиритуалистического и натуралистического принципов, которые философ тщетно пытался объединить в своем «Трактате», выступают здесь с ясностью, не оставляющей никакого сомнения в истинной природе учения о страстях Декарта.

Но кто идет картезианским путем, неизбежно должен прийти к его конечной точке, к картезианским выводам. Мы видели уже, что Джемс не только встал на этот путь, но неизбежно должен был дополнить свою автоматическую теорию эмоций учением о независимых от тела интеллектуальных чувствах. Он должен был допустить наличие эмоций и ощущений чисто центрального происхождения сначала для объяснения экстатической радости. Но точно так же, как правильно замечает Дюма, вопрос должен ставиться в отношении не только пассивной радости, но и активной. Если мы один раз допускаем возможность церебральной синестезии для объяснения экстаза, мы лишаемся всякой возможности утверждать, что она не играет никакой роли и во всех прочих эмоциях. Если следовать до конца, говорит Дюма, за теорией Ланге и Джемса, мы можем утверждать, что активная радость сводится к сознанию мускульного тонуса и всех периферических реакций. Но мы только что видели: наличие церебральной синестезии, вызывающее радость, было допущено для объяснения экстаза, и поэтому мы должны различать в активной радости сознание органического возбуждения и сознание этой церебральной синестезии. То же самое относится к пассивной и активной печали.

Продолжая в сущности мысли Джемса, Дюма допускает, опираясь на опыты Шеррингтона, на факты пассивной радости и меланхолического ступора, концепцию церебрального чувства удовольствия и страдания, которые не поддаются периферическому объяснению. Против этого допущения говорит прочно установленный в физиологии факт отсутствия сознательной чувствительности во время электрических и травматических возбуждений

мозга. Но между этими грубыми и неспецифическими и специфическими функциональными возбуждениями существует большое различие, и мы можем, не впадая в противоречие с физиологией, постулировать синестезию мозга. Как мы видели, к этому же приходит и современная таламическая теория эмоций, видящая в таламусе действительный источник возникновения специфического эмоционального тона. Ту же точку зрения поддерживают и ряд других исследователей, опирающихся на данные хронаксии и конструирующих гипотетический механизм этой центральной синестезии.

Сам Дюма считает, что, постулируя эмоции чисто центрального происхождения, он только развивает и дополняет теорию Джемса. Отводя место теории Ланге — Джемса в трудной проблеме природы эмоций, мы стремимся внести в эту теорию уточнения, могущие сделать ее более сложной и более гибкой, и таким образом отказаться от парадоксальных и упрощенных формул, которыми Джемс хотел поразить наше воображение.

Нам остается показать только, что Джемс, оставаясь, по верному замечанию Денлапа, последовательным параллелистом, не принимающим до конца собственной периферической теории и допускающим существование чисто спиритуалистических чувствований, сохранял в то же время в своей второй спиритуалистической теории все принципиальные основания своей главной гипотезы. Мы помним, что в этой гипотезе Джемс рассматривает исключительно сенсорный, пассивный аспект эмоциональных реакций и приходит к эпифеноменализму и автоматизму. Эмоции в его глазах представляют собой ненужные рудименты давно отмерших животных приспособлений или случайные реакции патологического или идиопатического характера, не допускающие никакого осмысленного объяснения. В своем учении о чисто духовных эмоциях Джемс не только открыто становится на точку зрения чистого спиритуализма, но и доводит до чудовищных размеров тезис об эпифеноменализме психической стороны нашей эмоции.

Развивая основную гипотезу, Джемс утверждал, что человеческая эмоция, лишенная всякой телесной подкладки, есть пустой звук. Таким пустым звуком, по мнению Джемса, естественно должны оказаться все высшие чувствования, которые он не может до конца подчинить законам физиологической механики. Таким пустым звуком в еще большей степени оказываются те наиболее духовные эмоции, которые возникают из активности чистой мысли и которые Джемс рассматривает как не зависящие от тела. Джемс, защищая свою основную гипотезу, не утверждает, что такая эмоция есть нечто противоречащее природе вещей и что чистые духи осуждены на бесстрастное и интеллектуальное бытие. Он хочет только сказать, что эмоция, отрешенная от всяких телесных чувствований, есть нечто непредставимое. Чем более мы анализируем свои душевные состояния, тем более убеждаемся, что грубые страсти и влечения, испытываемые нами,

в сущности создаются и вызываются теми телесными переменами, которые мы обыкновенно называем их проявлениями или результатами; и тем более нам начинает казаться вероятным, что, сделайся наш организм анестетичным, жизнь аффектов, как приятных, так и неприятных, станет для нас совершенно чуждой и нам придется влачить существование чисто познавательного или интеллектуального характера. Хотя такое существование и казалось идеалом для древних мудрецов, но для нас, отстоящих всего на несколько поколений от философской эпохи, выдвинувшей на первый план чувственность, оно должно казаться слишком апатичным, безжизненным, чтобы к нему стоило так упорно стремиться (У. Джемс, 1902, с. 316—317).

Три момента могут интересовать нас в качестве окончательных итогов, вытекающих из сопоставления этих двух теорий Джемса — механистической и спиритуалистической. Первый заключается в том, что основная гипотеза Джемса допускает существование эмоций, лишенных всякой телесной подкладки, только в бесстрастном интеллектуальном бытии чистых духов, и исключает его в человеческом бытии. Но если во второй теории Джемс рассматривает высшие эмоции души как возникающие из активности чистой мысли, не встречающей препятствий, как не зависящие от тела, он тем самым становится на позиции чистого спиритуализма, принимая наличие в человеческом сознании эмоций, свойственных исключительно абсолютно духовному бытию.

Второй момент касается оценки той роли, которую играет духовная сторона наших эмоций. Если она в основной гипотезе Джемса выступает как ненужный придаток, как побочное явление, никак не участвующее в реальной жизни человека, как простое осознание периферических изменений, она должна быть обесценена до такой абсолютной степени, что всякое человеческое чувство, представляющее собой не что иное, как простое осознание дрожи и ощущения расширенных ноздрей, должно казаться пустым звуком, апатичной и безжизненной деятельностью сознания, которой суждено влачить жалкое существование чисто познавательного характера. Этот эпифеноменализм в учении об эмоциях достигает гомерических размеров в гипотезе Джемса, согласно которой все высшие, чисто духовные чувствования центрального происхождения должны рассматриваться просто как аффективные галлюцинации. Объявить высшую жизнь чувства простым сплетением галлюцинаторных переживаний, объявить высшую эмоцию галлюцинацией — значит довести до крайнего предела содержащийся уже в основной гипотезе Джемса эпифеноменализм. Если высшая доступная человеку радость есть не что иное, как галлюцинация, то этим сказано последнее слово в обессмысливании человеческого чувства.

Наконец, третьим моментом, который выступает из принятого нами способа рассмотрения, когда одна теория Джемса освещает другую, является удивительное совпадение его с Ланге в определении окончательной судьбы чувства в истории развития человека.

Мы уже старались показать выше, что теория Джемса исключает всякую возможность развития эмоций. Сейчас мы могли бы дополнить это положение, показав, что она в сущности предполагает их полное отмирание как единственно реальный исход исторического развития человека. Джемс, как и Ланге, начинает с гимна в честь чувственных эмоций. Индивид без чувств кажется ему апатичным и безжизненным, существование без них жалким и невозможным для человека. Но, если мы спросим, чем же являются эти насыщающие смыслом и оживляющие нашу жизнь чувства, окажется, что они представляют собой только жалкие рудименты животной жизни, бледные метафоры наших чувственных реакций, проблематичные и искусственные, идиопатические и патологические привычки человеческого рода, просто случайные реакции организма, пассивно отражающиеся в сознании, будь то морская болезнь и щекотливость, застенчивость и любовь.

Как утопающий, Джемс хватается за соломинку первого попавшегося под руку телесного переживания, лишь бы оно было подлинным, живым, несомненным. Это он породил во всей позднейшей психологии повышенное внимание к мельчайшим, едва заметным, ничтожным телесным проявлениям. Он — вдохновитель той мысли, что в напряжении голосовых связок и языка следует видеть истинную основу человеческого мышления. Он, как справедливо отмечает Г. Стаут[107], отождествляет духовную активность с известными мускульными ощущениями. Пытаясь показать, чтó представляет собой центральное ядро активности, которую мы называем нашей, Джемс снова пытается, как и в учении об эмоциях, ухватиться за соломинку, которая спасла бы его от гибели. Это ядро, по его словам, он нашел в некоторых интракефальных движениях, которые мы, как субъективные, противополагаем обыкновенно активности надтелесного мира.

Джемс говорит в оправдание, что он поднял лишь вопрос о том, какая активность заслуживает названия *нашей*. Поскольку мы являемся личностями, противоположными окружающей среде, движения, происходящие в нашем теле, фигурируют в качестве нашей активности, и Джемс не может указать на какие-нибудь другие активности, которые были бы нашими в строго личном (личностном.— *Ред.*) смысле слова. Джемс выдвигает совершенно верное положение: поскольку мысли и чувствования сами по себе не могут быть активны, они становятся таковыми, лишь возбудив деятельность тела. Тело есть центр циклона, начало координат. Все вращается вокруг тела, все чувствуется с его точки зрения.

Все это бесспорно. Все это непреложно истинно. Трагизм положения Джемса, а с ним вместе и всей современной психологии заключается только в том, что они не могут найти никакого пути к пониманию действительно осмысленной связи между нашими мыслями и чувствованиями, с одной стороны, и активностью нашего тела — с другой. В конце концов, говоря языком Джемса, весь вопрос мог бы уместиться в скорлупе ореха: как

связано наше сознание и наша реальная живая жизнь? Без понимания этой связи сознание неизбежно оказывается эпифеноменом, жалким и никчемным придатком к автоматической деятельности нашего тела, пассивным отражением протекающих в нем изменений, в лучшем случае — цепью галлюцинаций грезящего духа. Но беда заключается в том, что вопрос о сознании, и в частности об эмоциях, ставится и решается Джемсом и всей современной психологией так, что полная невозможность найти какую-нибудь осмысленную связь между страстями души и реальной жизнью человека предрешена заранее. Вот почему Джемс не может найти пути от наших мыслей и чувствований, от нашей духовной активности к реальной жизни человека во всем неисчерпаемом богатстве ее действительного содержания. И он должен хвататься, как утопающий за соломинку, за свидетельство внутреннего опыта о том, что духовная активность состоит в движениях, происходящих в голове.

В самом деле, никакой понятный и осмысленный путь не ведет нас от эмоций в понимании Джемса — с лежащими в их основе ощущениями возбуждения во внутренних органах, расслабления членов, короткого дыхания — к поступкам и действиям человека, к его внутренней и внешней борьбе, к его живой любви и ненависти, к его страданию и торжеству. Если сущность эмоции страха действительно заключается, как утверждает Джемс, в ощущениях усиленного сердцебиения, короткого дыхания, дрожи губ, расслабления членов, гусиной кожи и возбуждения во внутренностях, то никакая психология, кроме верящей в чудеса, никогда не сможет нам объяснить той страшной слабости человеческого духа, которую мы называем отречением и предательством из страха. Если чувство нравственной справедливости состоит, как говорит Джемс, в изменениях звука голоса и выражения глаз и т. п., то психология никогда не сумеет объяснить, почему Сократ сидел в темнице, а не бежал, как советовали ему друзья, и не испытывал чувства страха с расслаблением членов и коротким дыханием.

Страшный результат, к которому приводит нас современная психология эмоций, есть полное обессмысливание страстей души и полное отсутствие надежды на то, что мы когда-либо поймем жизненное значение страсти, а с ней вместе и всего человеческого сознания. В сущности этот результат уже содержится целиком и полностью в картезианском учении, которое мы только что рассмотрели.

Основное и самое страшное в этом учении заключается в том, что душа с начала и до конца полагается вне жизни. Она вообще не участвует в жизни тела. Общее у нас и у животных — жизнь принадлежит всецело к протяжению и тем самым исключает всякую возможность той интимности, о которой говорит Джемс, возможность всякой заинтересованности и участия души в реальном существовании и в реальной судьбе того автомата, которым представляется наше тело. Хотя, по заявлению Декарта, аффекты

делают нам ясным, что мы находимся в собственном теле не как пловец в лодке, а связаны с ним самым тесным образом и как бы смешаны, так что мы образуем одно существо[108], всем своим учением о страстях он утверждает обратное. Его воля управляет страстями подобно тому, как управляет корабельщик, когда что-либо в судне ломается.

Декарт на примере интеллектуальной и чувственной любви показывает всю бессмысленность, чудовищность, непостижимость и необъяснимость связи между одной и другой формами страсти. Что может быть общего между основными формами чувственных страстей, которые мы имели еще до рождения и которые коренятся в потребностях питания в период эмбриональной жизни, и возвышенными страстями духа, источником которых является потребность познания, заложенная в нашей мыслящей природе? Нам понятно утверждение Декарта, что они могут и должны существовать раздельно, но нам абсолютно непонятно, как они могут существовать вместе. Сам Декарт утверждает, что сходство и связь между ними не явствуют нам.

Таким образом, параллелистическое решение психофизической проблемы — дуализм тела и духа, дуализм между животными и человеком — неизбежно приводит к этой самой страшной мысли Декарта, к полному разделению сознания и жизни. Жизнь, согласно Декарту, не только не включает в себя возможности и необходимости сознания, но совершенно исключает эту возможность. Душа с самого начала полагается вне жизни. Этот факт приводит к тому, что психофизическая проблема в решении Декарта, эта, казалось бы, отвлеченнейшая из всех проблем, оборачивается здесь вопросом о роли и значении страстей души в жизни человека, вопросом, который получает самое безнадежное решение из всех когда-либо представлявшихся человечеству: жизнь оказывается абсолютно бессмысленной, страсти — абсолютно безжизненными.

Но не к тому ли самому приводит нас и современная психология эмоций? С одной стороны, теория врожденных эмоций, существовавших еще до нашего рождения, коренящихся в животной природе человека, архаических, рудиментарных, случайных, абсолютно бессмысленных и ненужных органических чувствований. С другой — теория независимых эмоций — этих безжизненных галлюцинаций духа. Прав М. Принц, когда говорит, что современная психология стоит перед дилеммой: или пробиться к какому-нибудь пониманию, хоть самому отдаленному и смутному, единства эмоционального сознания и жизни, или принять альтернативную гипотезу дуализма и параллелизма, т. е. эпифеноменализма и человеческого автоматизма (M. Prince, 1928, p. 167). Современная психология, как буриданов осел, стоит между этими гипотезами, не в силах выбрать одну из них, не в силах решить самый основной вопрос, проблему проблем, которую Мак-Дауголл формулирует в двух словах: человек или автомат.

Вся современная психология эмоций, без преувеличения ровно

в такой же мере, как и картезианская, есть или психология страстей бездушного автомата, или психология независимых эмоций безжизненных духов. Вся современная психология эмоций поэтому может быть признана всем чем угодно, но только не психологией человека. То, что произошло в современной психологии эмоций, может быть лучше всего выражено безнадежным возгласом одного из героев чеховской драмы — дряхлого старика, оставленного в покинутом доме, в котором заколачивают окна: «Человека забыли!»[109] Пафос абсолютной бессмысленности органических чувствований и абсолютной безжизненности независимых галлюцинаторных эмоций может питать только психологию бездушных автоматов или психологию того чисто рассудочного человека, который составлял идеал Канта и приход которого предсказывал на основании своей теории Ланге, психологию тех чистых духов, которые осуждены на бесстрастное интеллектуальное бытие, казавшееся, по словам Джемса, идеалом древним мудрецам.

Смерть есть последнее слово всей современной психологии эмоций, которая вслед за Декартом с самого начала полагает душу вне жизни. Остается только покрепче заколотить окна в пустом и оставленном доме, в котором, по утверждению всех действительных знатоков человеческого духа, всегда шумела живая и страстная жизнь и который сейчас является только последним обиталищем забытого человека.

Но в этом заключительном акте драмы, при зрелище такого безнадежного финала классической психологии эмоций, нас охватывает чувство удивления, с которого, по утверждению Аристотеля, а вслед за ним и Декарта, начинается философия. Это чувство удивления, чреватого философским размышлением, запечатлел один из русских поэтов. Он увидел прокаженного, евшего зерна спелой белены, отравлявшегося их ядом и испытывавшего то состояние высшего блаженства, которое Миньяр наблюдал у идиотов, у больных, страдающих слабоумием, кахексией и деменцией, у паралитиков и юродивых в состояниях полного психического и морального упадка. Если судьба высшей радости быть уделом идиотов и юродивых, то невольно возникает мысль о полной бессмысленности человеческих страстей, а вместе с ними и всей жизни сознания.

17

Нам остается подвести итоги затянувшегося рассмотрения философской природы современной психологии эмоций и в сжатых выводах определить судьбу картезианского учения о страстях в развитии психологического знания и основные проблемы, которые возникают перед психологией будущего в связи с окончательным разложением господствующей в этом разделе научного опытного знания картезианской мысли. Нам думается, что весь ход предыдущего исследования с достаточной ясностью

показал правильность главного нашего тезиса: теория Джемса — Ланге и вся развернувшаяся вокруг нее система критических исследований, приведших на наших глазах к построению новой теории эмоций, непосредственно связана, если выяснить ее идейный генезис и методологические основания, не с учением Спинозы о страстях, а с идеями Декарта и Мальбранша. Нам остается только сделать выводы из этого положения и теоретически оценить значение этого факта для дальнейшего развития психологии как науки. Мы оценим прежде всего принципиальную метафизичность всего того философского и научного направления мысли, которое объединяет и связывает в одно течение теории Декарта и Джемса.

Мы уже выше имели случай подробно выяснить, что теория Джемса и теория Ланге, как они ни кажутся с первого взгляда строго и последовательно биологическими теориями, даже в известном смысле высшим торжеством биологической идеи в психологии, на самом деле являются теориями антибиологическими по существу, поскольку их характеризуют две основные черты: 1) полное отсутствие и принципиальная невозможность приложения идеи развития к изучаемой ими сфере действительности; 2) лежащее в основе этого эпифеноменалистическое представление о значении эмоций. Мы не станем повторять того, что уже сказано по этому поводу. Мы должны только проследить корни этой метафизической концепции, исключающей всякую возможность развития в области эмоций и всякую осмысленную и понятную связь между эмоциями и сознанием в целом, между эмоциями и реальной жизнью человека. Эти корни, как легко понять, заложены в картезианском учении о страстях души.

Как известно, Декарту не была вовсе чужда идея развития. Несмотря на то что космология и физика Декарта, как правильно отмечает В. Ф. Асмус, неизменно механистичны, что взаимодействие понимается Декартом не как динамическое противодействие, а как механическая передача движения от тела к телу, все же Декарт вносит в космологию идею развития, его космология есть в то же время космогония. «Он действительно построил первый в новое время грандиозную по широте синтетического охвата космогоническую теорию» (В. Ф. Асмус, 1929, с. 35). Однако даже в области космологической проблемы Декарт в гораздо большей степени остается последовательным приверженцем теологического и механистического принципов своей системы, чем принципа развития. Он остается в полном согласии с церковным учением о сотворении мира, которое для него есть незыблемая истина. «Несомненно,— говорит он,— что мир изначала создан был во всем своем совершенстве, так что в нем существовали солнце, земля, луна и звезды. На земле имелись не только зародыши растений, но и сами растения. Адам и Ева были созданы не как дети, а как взрослые. В этом ясно убеждают нас христианская вера и природный разум» (Декарт, 1914, с. 7). Так же точно Декарт сохраняет полную верность механистическому

принципу объяснения мира, который он представляет бесконечным агрегатом механически воздействующих друг на друга тел. Основным законом природы остается для него закон косности. Все тела бесконечно делимы. Как правильно замечает Фишер, декартово объяснение природы покоится всецело на математически-механических принципах.

Еще более метафизично, еще более подчинено механистическому и теологическому принципу объяснение жизни и сознания в философии Декарта. Правда, и здесь мы находим робкие намеки на проблему развития, которая сама стучалась в двери, но для которой двери картезианского учения оказались наглухо закрытыми. Чтобы лучше понять природу растений или животных, говорит Декарт, гораздо предпочтительнее рассуждать так, будто они постепенно порождены из семени, а не созданы богом при начале мира. Мы можем при этом открыть известные принципы, просто и легко понятные. Из последних, как из зерна, можем показать происхождение звезд, земли и всего постигаемого нами в видимом мире.

Как известно, Декарт занимался проблемой эмбрионального развития. Для него решение антропологической проблемы охватывало физиологический, психологический и этический вопросы. Физиологический вопрос, касающийся органов и функций человеческого тела, находился для него в тесной связи с зоологическим. Устройство человеческого тела должно быть познано из возникновения его, из истории развития эмбриона, а последнее — опять-таки из истории образования животных организмов. В эту область философ неустанно и ревностно стремится проникнуть с помощью анатомических исследований сравнительного характера. Здесь он черпает непосредственно из источника природы. Он анатомировал животных и пытался таким образом найти на опытном пути решение физиологической проблемы. Что Декарт искал разрешение тайн жизни с помощью сравнительной анатомии и эмбриологии, является удивительнейшим свидетельством методичности его мышления, которое при суждении о его биологических работах должно быть поставлено выше большой или малой ценности результатов этих занятий.

Уже рано он интересовался возникновением животных и написал сочинение о человеческом теле. Это его трактат о человеке, рассматривающий пищеварение, кровообращение, дыхание, мускульное движение, действия органов чувств и ощущения, внутренние движения и функции мозга. Из переработки трактата возник новый, обнимавший животных и человека труд: описание функций человеческого организма и объяснение образования животного, или, как гласит заглавие, «Трактат об образовании эмбриона»[110].

Что идея происхождения животных и эмбрионального развития была близка Декарту, явствует из его письма Елизавете, в котором он затрагивает вопрос о только что упоминавшейся переработке старого «Трактата». Он сообщает, что даже осмелил-

ся в описание животных и человеческих функций ввести и развить историю образования животного от начала его возникновения. Он говорит о животном вообще, так как то, что касается человека в особенности, за недостатком надлежащего опыта он разработать не может. В письме Декарт с полной ясностью намечает границы своей идеи развития. Не подлежит никакому сомнению, что проблема развития животных и эмбриона смутно предносилась его сознанию. Однако и здесь он занимался указанной проблемой по отношению к животным вообще, а не к человеку в особенности. Этому помешал не только недостаток опыта, как объясняет Декарт, но и нечто гораздо более принципиальное и существенное. Самое основоположение картезианской психологии совершенно исключает возможность возникновения даже смутной идеи развития. Иное дело — животные. Известно, что Декарт рассматривает организм как самодвижущийся механизм, всецело подчиненный законам природы и требующий поэтому натуралистического объяснения. В психологической проблеме Декарт, напротив, связан теологическим принципом.

Из того, что Декарт с самого начала полагает душу вне жизни, а проблему жизни рассматривает в исключительно механистическом плане, из того, что он устанавливает абсолютный дуализм человека и животного, из того, наконец, что он рассматривает мышление и протяжение в человеке как совершенно отдельные и исключающие друг друга субстанции, вытекает следующее: он не только оказывается перед принципиальной невозможностью внести в свое учение о страстях души хотя бы самые смутные начатки и предчувствия исторического объяснения, но вынужден развить это учение в плане принципиального антиисторизма, как чисто метафизическое учение.

Декарт, как мы уже видели, учит, что наши примитивные страсти коренятся в истории эмбрионального развития. Это страсти, берущие начало из жизненной потребности эмбриона в питании. Они возникают вокруг пищеварительного тракта. Как бы они ни усложнялись впоследствии, вся их история есть только надстройка над неизменной физиологической базой первых дней. Механизм страстей взрослого человека имеет свой источник в структуре и функционировании эмбриональной машины. Как мы помним, именно это обстоятельство дало повод Декарту решить проблему причинного объяснения висцеральной природы наших страстей. В этом отношении Декарт был просто более последователен, чем его позднейшие ученики. Если страсть есть не что иное, как изменение внутренних органов (желудка, кишок, сердца), то встает задача сделать связь между ними осмысленной и понятной, найти ее ближайшую причину. Декарт решает задачу, находя причину и смысл этой связи в эмбриональном происхождении страстей. В отличие от более поздних последователей, он не довольствуется простым описанием механизма страсти, но хочет объяснить, почему в любви и печали желудок проявляет большую пищеварительную активность, а в ненависти и радости активность понижается.

Неважно, что Декарт столь же охотно допускает и противоположную связь между пищеварением и страстями. Сейчас безграничная уступчивость мысли позволяет принять, что эмбрион испытывает печаль, потому что он получает несоответствующее питание, и предается радости, потому что его желудок предуготовляется к приему хорошей пищи. Какова бы ни была устойчивость объяснений и их фактическая убедительность, принципиальное положение дела от этого не меняется ни на йоту. Важно, и притом принципиально важно, что Декарт пытается дать причинное объяснение желудочному происхождению любви и ненависти, радости и печали и что эту причину основных страстей души он находит в эмбриональной жизни.

В этом полном принципиального значения положении висцеральная теория страстей находит завершение и раскрывает самые глубокие и последние основания. Мы не можем согласиться с Сержи, который считает, что неустойчивость фактических объяснений Декарта, его легкая уступчивость, его готовность заменить установленные связи между страстями и питательными потребностями эмбриона компрометируют все его построение. Напротив, только в этом пункте система приобретает свое истинное значение и смысл. Именно здесь выступает Декарт в качестве физика, каковым он и хотел быть в «Трактате о Страстях души».

Только принимая во внимание учение об эмбриональном происхождении наших основных страстей души, мы можем верно оценить всю концепцию Декарта и понять ее истинное отношение к современным висцеральным теориям эмоций. Основные страсти души заложены уже в эмбриональной жизни человека, т. е. существуют до рождения. Все позднейшие сложные и производные страсти представляют собой не что иное, как вариации и модификации эмбриональных состояний. В письме о любви Декарт прямо говорит, что основные формы чувственных желаний, элементарные и главные страсти, из смешения и изменения которых созидаются все остальные, проявляются уже во время питания эмбриональной жизни, коренятся в питательных потребностях организма. Поэтому-то эти страсти и представляют собой простое отражение в сознании сложных органических состояний.

Нельзя полнее и яснее развить теорию врожденных страстей, чем это делает Декарт. Рассуждения, касающиеся этого вопроса, представляют непосредственную аналогию с его учением о врожденных идеях. Идея бога, как известно, представляется в учении Декарта как изначально данная, не опосредованная ни чувствами, ни каким-либо иным образом, т. е. как прирожденная идея, которую бог запечатлел в нас, как художник в своем произведении. Основные страсти оказываются в такой же мере врожденными особенностями телесной природы человека, как основные идеи — врожденными особенностями его духовной природы. Я не утверждаю, говорит Декарт, что дух младенца в утробе матери размышляет о метафизических вопросах, но у него есть идеи о боге, о себе самом и о всех истинах, которые известны сами по

себе, как они есть у взрослых людей, когда они вовсе не думают об этих истинах.

Подобно тому как Декарт признает врожденными и присущими уже духу младенца в утробе матери основные идеи, которые известны сами по себе, он признает, что дух младенца в утробе матери уже испытывает основные страсти души — любовь и ненависть, радость и печаль, как взрослые люди.

Учение о том, что основные страсти души коренятся в питательных потребностях эмбриональной жизни и вследствие этого являются врожденными, не только не отводит Декарта в сторону от его основного пути, не только не представляет измены всей его основной концепции, но, напротив, образует завершающую точку его исследования. Он пришел к тому пункту, к которому все время направлялся. Идея врожденных страстей впервые придает всему учению значение принципиальной концепции, законченного философского построения, верного основным принципам всей системы Декарта, и поднимает его над уровнем простых и неизбежно устаревающих со временем физиологических соображений и догадок. Как ни смутны были представления Декарта о действительной физиологии человеческого организма, его философская идея о природе страстей была для него прозрачной и ясной до конца и остается такой и для нас. Только поэтому она и могла пережить века и сохраниться в качестве живой части всей позднейшей психологии. Эта идея, как уже сказано, придает единственно возможный смысл всей висцеральной теории эмоций. Только она дает возможность понять осмысленную связь, существующую между страстями души и деятельностью внутренних органов. Поэтому она представляет собой последнее слово висцеральной теории, без которого, как мы увидим ниже, остаются неполными все остальные варианты этой гипотезы. Врожденность страстей — последнее основание висцеральной теории.

Здесь мы решительно расходимся с Сержи, который проходит мимо этой идеи, не понимая ее принципиального значения, и потому склонен видеть в ней скорее отступление от общей концепции, чем ее завершение. Он называет Декарта истинным основателем висцеральной теории эмоций, опираясь исключительно на чисто физиологические представления философа. Между тем только учение о врожденных страстях, увенчивающее все построение, дает нам право рассматривать Декарта как действительного отца всей современной психологии эмоций, поскольку она вращается, как вокруг своей оси, вокруг органической гипотезы о природе человеческого чувства.

За финалистической видимостью, за учением об интеллектуальных эмоциях, почти чуждых человеку, за ощущениями, воспоминаниями, суждениями, резюмирует Сержи содержание картезианского учения, действует механизм, который можно схематически изобразить в нескольких словах. Внешнее возбуждение и психологические, интеллектуальные феномены не могут возник-

нуть без в высшей степени разнообразных центрифугальных нервных токов; некоторые из них обеспечивают более или менее удачное приспособление человеческой машины к внешним обстоятельствам, другие направляются к глубоко расположенным органам, и вызываемые там изменения переводятся в сознании или на язык висцеральных ощущений, или на язык оригинальных и не сводимых ни к чему другому эмоций, говорит Сержи, обходя совершенно вопрос о врожденных страстях. Дорога, которую он избрал, продолжает Сержи, которую он проложил и сделал проходимой на таком большом расстоянии, была впоследствии протоптана многочисленными исследователями и остается современной сейчас больше, чем когда-либо. Часто снисходительно говорят, что он был предшественником, но если перевести его архаизмы на наш язык, если освободить мысль, которая его воодушевляла, от фактических ошибок, представляющихся теперь совершенно безобидными, он должен получить свой истинный титул основателя теории, утверждает Сержи.

С этим нельзя не согласиться, если иметь в виду не только то, о чем говорит на протяжении своего исследования Сержи, но и философское значение основанной Декартом теории, завершающейся в учении о врожденных страстях. Именно эта часть учения пережила остальную теорию и легла в основу современных вариантов висцеральной гипотезы.

Как это ни странно, но до сих пор не замечался тот факт, что теория Джемса—Ланге представляет собой теорию врожденных эмоций. Телесные проявления—этот источник и сущность эмоционального переживания—возникают чисто рефлекторным путем. Как и все прочие рефлексы, они есть врожденные реакции организма, предустановленные и предуготовленные всем ходом зоологического и эмбрионального развития. Они присущи человеку в силу устройства его организма и, строго говоря, исключают всякую возможность развития.

У. Джемс, как известно, видел особое преимущество своей теории в том, что она дает возможность причинного объяснения эмоций (которое он находит в рефлекторных актах), и в том, что это объяснение делает для нас понятным удивительное разнообразие эмоций.

Мы уже знаем, что Джемс, живи он сейчас, должен был бы глубоко разочароваться в ожиданиях, связанных с возможностью объяснения на основании своей теории удивительного разнообразия эмоций. Он должен был бы узнать, что телесные проявления эмоций чрезвычайно униформны и стереотипны и по одному этому не могут служить источником объяснения всего многообразия эмоциональных реакций. Но для нас сейчас представляет интерес не это. Для нас гораздо важнее установить, что, видя причину эмоций в бесчисленных рефлекторных актах, Джемс тем самым утверждал в современной психологии картезианское учение о врожденных страстях. Верно, что возможны весьма различные действия рефлекса и что эти действия варьируют до

бесконечности. Но еще более верно, что рефлекторный акт представляет собой врожденную реакцию организма, наиболее общую у всех индивидов данного рода, что он является наиболее неизменным и абсолютным из всех остальных форм человеческого поведения.

Если причиной эмоций являются рефлекторные акты, перед нами не остается никакой другой возможности объяснения эмоций, кроме признания их врожденными страстями. При всех изменениях эмоции остаются вечными, неприкосновенными сущностями, наподобие видов, считавшихся когда-то в биологии неизменными. Джемс приходит, как мы видим, к отрицанию того, с чего он начал. Как виды считались когда-то неизменными сущностями из-за отсутствия идеи развития, теории эволюции, так теория эмоций, исключающая возможность развития, неизбежно приводит нас к признанию эмоций вечными, неприкосновенными, неизменными сущностями. Мы уже пытались показать выше, что эта теория коренным образом исключает всякую возможность развития. Не эволюция, а инволюция, не развитие, а свертывание, не усложнение и превращение в более высокие формы, а отмирание и превращение в рудиментарные остатки, не прогенетические, имеющие будущее, а дегенерирующие, архаические, являющиеся пережитками отдаленнейшего прошлого функции — вот что представляет собой теория Джемса. Ее последнее слово гласит, что эмоция есть случайная патологическая реакция, бесполезный и ненужный пережиток древности, не способный ни к какому развитию. Еще отчетливее выступает это в теории Ланге, который останавливается перед фактом, что эмоции вызываются большей частью не простым впечатлением от какого-либо органа чувств, но психическими причинами, воспоминанием и ассоциацией идей, если даже ассоциация сама вызвана чувственным впечатлением. Для объяснения этого Ланге развивает теорию совершенно в духе учения об условных рефлексах, показывая, что рефлекторный акт, первоначально связанный с непосредственным чувственным впечатлением, связывается впоследствии, благодаря сочетанию полученного впечатления с другими стимулами, с новыми условными раздражителями, которые в силу этого становятся способными вызывать его.

«Как пример простейшего случая,— пишет Ланге,— я хочу представить факт, верность которого подтвердит каждая мать. Ребенок кричит, когда увидит ложку, из которой его заставляли несколько раз принимать невкусное лекарство. Как это происходит? Аналогичные случаи довольно часто разбирались с психологической точки зрения и на наш вопрос можно найти очень различные ответы. Одни говорят: кричит, потому что считает ложку причиной своего прежнего страдания; но этим дело нисколько не разъясняется. Другие: потому что ложка пробуждает воспоминание о прежнем страдании; это может быть совершенно справедливо, но не переносит вопрос на почву физиологии. Дают еще такой ответ: потому что ложка возбуждает страх

будущего неприятного чувства; вопрос заключается именно в том, каким образом вид ложки способен из-за прежнего ее употребления производить страх, т. е. вызвать определенного рода деятельность в вазомоторном центре» (1896, с. 70).

Объяснение Ланге заключается в том, что «каждый раз, когда ребенок принимает лекарство, его чувства, вкусовое и зрительное, получают одновременное впечатление — первое от лекарства, второе от ложки. Оба впечатления связываются, сочетаются, благодаря чему воспоминания имеют способность вызывать эмоции... Если показать ложку ничего не подозревающему ребенку, который раньше не испытывал горечи содержащегося в ней лекарства, то он вместо того, чтобы поднять крик, постарается схватить эту ложку. Однако если ребенок несколько раз видел ложку с лекарством и заметил, что это явление каждый раз приносит с собой отвратительное вкусовое ощущение, то тогда один только вид ложки (сам по себе) получает способность заставлять ребенка кричать, другими словами, приводит в действие его вазомоторный центр» (там же, с. 70—71).

К. Г. Ланге развивает гипотезу об установлении новой, раньше не существовавшей функциональной связи между двумя центрами благодаря прокладыванию нового мозгового пути. Лучший ученик Павлова не мог бы более последовательно объяснить происхождение психических эмоций условнорефлекторным путем. Но Ланге последовательнее современных физиологов и имеет смелость понять до конца, что допущение условнорефлекторной эмоциональной реакции ничего по существу не меняет в природе самой эмоции. Все дело заключается только в «гораздо более длинном кружном пути, который должен проделать получаемый извне импульс, прежде чем он доходит до вазомоторного центра. Но насколько могу судить,— говорит Ланге,— основные черты физиологического процесса остаются постоянно одними и теми же: проведение возбуждения из центральных органов чувств к клеткам коркового вещества, а от последних к вазомоторным клеткам продолговатого мозга» (там же, с. 74). Иными словами, условный рефлекс остается в полной и абсолютной мере рефлексом, хотя он и вызывается новыми стимулами.

«Я имел, следовательно, право сказать, что разница между эмоциями физического происхождения и эмоциями, вызванными психическими причинами, не заключает в себе с физиологической точки зрения ничего положительного, ничего существенного. Главное, все обусловливающее явление при возникновении обеих эмоций одно и то же: возбуждение вазомоторного центра. Различие заключается только в пути, по которому импульс доходит до этого центра. К этому присоединяется еще то обстоятельство, что в непрямых психических эмоциях сила импульса увеличивается от прежде возбужденной и еще не угасшей мозговой деятельности, которая сочетается с импульсом от внешнего впечатления» (там же, с. 74—75).

В самом деле, если мы принимаем эмоцию за врожденную

рефлекторную реакцию организма, возможность ее развития или усложнения имеет чисто иллюзорный характер. В чем состоит развитие условного рефлекса? Исключительно в том, что изменяются стимулы, вызывающие его и приводящие в движение рефлекторный механизм. Собака в опытах Павлова выделяет слюну определенного количества и определенного качества при введении пищи. Далее, когда установлен условный рефлекс, она начинает отвечать той же реакцией на новый, прежде нейтральный и безразличный стимул, например на синий свет. Но сама слюнная реакция осталась при этом совершенно неизменной. Собака продолжает выделять слюну в том же количестве и того же качества, но только по другому поводу. То же самое всецело приложимо и ко всем остальным рефлекторным актам, в частности к эмоциональным реакциям.

Эмоциональная реакция страха вызывается первоначально непосредственным воздействием устрашающей причины. Впоследствии она может вызываться любым другим стимулом, который сочетается несколько раз с первопричиной. Ребенок первоначально реагирует криком и страхом при приеме горького лекарства. В дальнейшем один вид ложки способен вызвать у него ту же самую реакцию. Непосредственный повод реакции несомненно изменился, но реакция страха как таковая осталась неизменной. В общей форме мы могли бы выразить ту же мысль следующим образом: если сущность эмоции составляют, согласно Джемсу, бесчисленные рефлекторные акты, то единственно возможное изменение эмоций заключается в том, что могут изменяться вызывающие их стимулы, замещая друг друга по принципу условных раздражителей, но сама эмоция, чувство, переживаемое человеком, остается всегда тем же, всегда равным самому себе, так что в истории развития эмоций могут изменяться конкретные поводы для их проявления, но не могут изменяться сами эмоции.

Поэтому Ланге с полным основанием утверждает: «...в действительности разница между яростью отравленных мухоморами или маниаков и гневом тех, которым нанесли кровную обиду, заключается только в различии причин, а также в присутствии сознания о соответствующих причинах или в отсутствии такого сознания» (1896, с. 65).

Таким образом, висцеральная теория и у ее создателя Декарта, и у его невольных продолжателей не только проходит мимо проблемы развития, но фактически решает эту проблему в смысле полного и абсолютного отрицания всякой возможности эмоционального развития человека. Это неизбежный вывод из учения о врожденных страстях.

18

Непосредственно связан с проблемой развития эмоций центральный для нашего исследования вопрос о своеобразии эмоций человека по сравнению с эмоциями животных. Это вопрос о том,

в какой мере учение об эмоциях может стать главой в психологии человека. В решении данного вопроса невольные последователи Декарта, по-видимому, резко расходятся со своим учителем. Декарт устанавливает резкое, непроходимое различие между животными и человеком. Он разделяет бездной человеческий организм, способный испытывать эмоции, и животные организмы, абсолютно лишенные страстей. Всякая страсть есть уже отличительное преимущество человека. В животной природе не существует вообще ничего подобного страстям души, ибо в ней не существует самой души. Таким образом, картезианское учение о страстях целиком и полностью относится к человеку, и только к нему одному. Перед нами на первый взгляд учение о страстях, разработанное с точки зрения психологии человека.

У Джемса и Ланге, напротив, теория эмоций относится к человеку лишь в той мере, в какой он представляет собой высшее животное. Их теория в сущности зоопсихологическая теория эмоций, относящаяся к человеку лишь постольку, поскольку он сам есть биологическое существо. Это явствует с несомненностью из учения о животном происхождении человеческих страстей, из утверждения общности основных эмоций у животных и человека и, наконец, из основного представления всей теории о врожденной, рефлекторной, животной природе эмоций.

На эту сторону вопроса мало обращали внимания, потому что проблема человека вообще не вставала перед современной психологией. Но уже с самого начала и авторы теории, и их критики понимали, что в висцеральной гипотезе речь идет в сущности о животной природе человеческих эмоций. Мы сошлемся на Шабрие, выдвинувшего эту идею в наиболее полной форме. Вместе с этим вопросом, говорит Шабрие, мы проникаем в самую сердцевину проблемы и касаемся капитального возражения, которое возникает против периферической теории. Когда речь идет об инстинктах, перед нами абсолютно и неизменно установленный механизм, который автоматически приводится в действие, как только возникает соответствующее возбуждение. Возможно, что это верно и в отношении примитивных эмоций ребенка, но оно не может быть таким в отношении обычных эмоций взрослых людей.

Дело не только в том, что сами по себе органические состояния, вызывающие ту или иную эмоцию, непосредственно зависят от организации сознания, от числа и систематизации идей, с помощью которых перерабатываются внешние впечатления. Дело не только в том, что наши эмоции выражают состояния тела, а сами состояния тела являются выражением порядка наших восприятий. Дело касается в первую очередь и главным образом проблемы эмоций, специфических для человека. Джемс сам склонялся к тому, чтобы ограничить свою гипотезу областью грубых эмоций и не распространять ее на более тонкие и высшие чувства. Однако, кажется, все человеческие эмоции должны быть отнесены к классу тонких эмоций, ибо, если оставить в стороне идиотов, самый ограниченный человек всегда связан каким-либо

более или менее смутным идеалом, каким-либо более или менее ощутительным сознанием. Самые низменные чувства возникли под влиянием традиций, верований или религиозных предрассудков. Они не таковы, чтобы их можно было рассматривать как инстинктивные реакции на возбуждения, не зависящие от установившейся системы идей. Поэтому, если несколько нажать на формулу нашего автора, можно заставить его признать, что его теория не в состоянии ничего объяснить в чувствованиях человека. По крайней мере он сам не озаботился тем, чтобы оправдать намечаемые им различия, и сам опрокидывает их собственными примерами.

У. Джемс одинаково ссылается, как на пример, к которому может быть применена его теория, на страх человека перед медведем и горе матери, узнавшей о смерти сына. Но если первый случай относится к группе грубых эмоций, то этого нельзя сказать о втором случае и нельзя не удивиться, что автор не относит его к классу тонких чувствований. Если Джемс не проводит демаркационной линии, это возможно потому, что она для него не существует. Кажется, что он принимает классическое традиционное различение между высшими моральными чувствованиями, относящимися к таким идеальным объектам, как добро и красота, и возникающими из чисто духовной активности, и низшими физическими чувствованиями, начало и конец которых связаны с телом и которые поэтому подлежат физиологическому объяснению.

Шабрие вполне справедливо ссылается на то, что чувство голода, рассматриваемое обычно в группе низших телесных чувствований, у цивилизованного человека уже является тонким чувством с точки зрения номенклатуры Джемса, что простая потребность в пище может приобрести религиозный смысл, когда она приводит к возникновению символического обряда мистического общения между человеком и божеством. И обратно, религиозное чувство, рассматриваемое обычно как чисто духовная эмоция, у благочестивых каннибалов, приносящих божеству человеческие жертвы, едва ли должно быть отнесено к группе высших эмоций. Не существует, следовательно, эмоции, которая по своей природе была бы высшей или низшей, как не существует эмоции, которая по природе была бы независима от тела и не связана с ним. Книга самого Джемса «О многообразии религиозного опыта» неоспоримо показывает, насколько высшие чувствования тесно связаны со всеми фибрами нашего тела.

Поэтому нельзя рассечь огромную область эмоций на две части, из которых к одной была бы применима периферическая гипотеза, а к другой она не могла бы найти себе приложения. Не существует чувств, которые из-за привилегии рождения принадлежали бы к высшему классу, в то время как другие самой природой были бы причислены к низшему классу. Единственное различие есть различие в богатстве и сложности, и все наши эмоции способны возвышаться по всем ступеням сентиментальной

эволюции. Каждую эмоцию можно квалифицировать не иначе, как с точки зрения степени ее развития. Поэтому только та теория эмоций может быть признана удовлетворительной, которая может быть применена ко всем ступеням развития чувства.

Отрывая эмоции от развития системы представлений, устанавливая их зависимость исключительно от органической структуры, Джемс неизбежно приходит к фаталистической концепции эмоций, которая одинаково охватывает животных и человека. Глубокие различия, которые обнаруживают эмоции человека в зависимости от эпохи, степени цивилизации, отличие мистического обожания рыцарем своей дамы от благородной галантности XVII в., остаются необъяснимыми с точки зрения этой теории. Если представить себе, говорит Шабрие, бесконечно богатую природу самой бедной эмоции, если менее обращать внимания на воображаемую психологию одноклеточных организмов, чем на замечательные анализы романистов и писателей, если просто воспользоваться драгоценными данными, доставляемыми наблюдениями над окружающими нас людьми, нельзя не признать полной несостоятельности периферической теории. Действительно, невозможно допустить, чтобы простое восприятие женского силуэта автоматически вызвало бесконечный ряд органических реакций, из которых могла бы родиться такая любовь, как любовь Данте к Беатриче, если не предположить заранее весь ансамбль теологических, политических, эстетических, научных идей, которые составляли сознание гениального Алигьери.

Сторонники органической теории забыли в своей гипотезе не более чем человеческий дух. Всякая эмоция есть функция личности: именно это выпускает из виду периферическая теория. Таким образом, чисто натуралистическая теория эмоций требует в качестве дополнения настоящей и адекватной теории человеческих чувств. Так возникает проблема описательной психологии человека, противопоставляющая себя объяснительной, физиологической психологии эмоций. Она ищет научного пути к тем проблемам человеческого духа, которые решаются великими художниками в романах и трагедиях. Она хочет сделать доступным исследованию в понятиях то, что эти писатели сделали предметом художественного изображения.

Проблема высших чувствований, связанная с учением о ценностях, рассматривается обычно как область, совершенно недоступная психологии, занимающейся психофизическим и психофизиологическим исследованием элементарных процессов сознания и их телесного субстрата. Так возникает телеологическая описательная психология высших чувствований, непосредственно порождаемая полной несостоятельностью современной объяснительной психологии эмоций. Если верно, как это утверждает один из крупнейших исследователей современной сравнительной психологии, что высшего развития по сложности, тонкости и разнообразию проявлений эмоции достигают у человека, но что их генезис, их эволюция и психологическая природа остаются теми же, что у

высших животных, то необходимость какой-то иной, необъяснительной психологии действительно неизбежна. Даже с точки зрения самого сложного аффекта наиболее близко стоящей к человеку человекоподобной обезьяны невозможно объяснить самые элементарные человеческие страсти. Поэтому большая психология должна резко порвать с естественнонаучной, каузальной психологией и искать своего пути где-то вне и помимо ее. Для этой психологии, как говорит З. Фрейд[111], необходим совершенно иной подход к проблеме чувствований, чем тот, который веками складывался в официальной школьной психологии, в частности в психологии медицинской.

Там, по-видимому, говорит Фрейд, интересуются прежде всего тем, какими анатомическими путями развивается состояние страха. Говоря о том, что он много времени и труда посвятил изучению страха, Фрейд отмечает, что ему не известно ничего, что было бы безразличнее для психологического понимания страха, чем знание нервного пути, по которому проходит его возбуждение.

Что в динамическом отношении представляет собой аффект? — продолжает он. Аффект, во-первых, включает определенные моторные иннервации, или оттоки, энергии, во-вторых, известное ощущение двоякого рода: восприятие имевших место моторных действий и непосредственное ощущение наслаждения и неудовольствия, дающих, как говорят, аффекту основной его тон. Но из этого не следует, что все перечисленное составляло сущность аффекта. При иных аффектах кажется, что можно заглянуть и глубже и открыть объединяющее перечисленный ансамбль ядро.

Так возникает «глубинная» психология аффектов, пытающаяся раскрыть их внутреннее ядро и делающая героическую попытку сохранить строго детерминистическую каузальную психологию аффектов путем полного самозамыкания в сферу чистой психической причинности. Она возникает, эта особая и своеобразная ветвь чистой психологии, идущей вглубь, как необходимая реакция научной мысли на несостоятельность академической психологии, разрабатывающей одну только поверхность явлений. Естественно, что она не находит общего языка с физиологической психологией. Не думайте, говорит Фрейд, что только что сказанное об аффекте является общепризнанным достоянием нормальной психологии. Наоборот, это взгляды, выросшие на почве психоанализа и признанные только там. То, что вы можете узнать об аффектах в психологии, например в теории Джемса — Ланге, для нас, психоаналитиков, является чем-то просто непонятным и не подлежащим обсуждению. Так попытка сохранить строго каузальное рассмотрение психологических фактов и вместе с тем не привести к банкротству психологию как самостоятельную науку и не передать ее дела в руки физиологии приводит глубинную психологию к признанию полной субстанциональной самостоятельности психических процессов и автономности психической причинности.

Другое направление современной психологии эмоций, возникшее как реакция на несостоятельность рефлекторной теории эмоций, решает ту же задачу адекватного психологического познания аффектов другим путем. Оно принципиально отказывается от причинного рассмотрения чувств и развивается как чисто описательная феноменология эмоциональной жизни. По словам М. Шелера[112] (M. Scheler, 1923), одного из виднейших представителей указанного направления, давно было забыто, что наряду с причинными законами и психофизическими зависимостями эмоциональной жизни от телесных процессов существуют также самостоятельные смысловые законы так называемых высших эмоциональных актов и функций, отличных от ощущений чувства. Интенциональная и ценностно-познавательная природа жизни наших высших чувств была вновь восстановлена впервые Лотце, однако не была им развита, так как он утвердил только в самом общем виде эту логику сердца, но не рассмотрел ее в подробностях. Ему принадлежит мысль и изречение, что наш разум обладает в чувстве ценности вещей и их отношений столь же серьезным и значительным способом откровения, как в основах рационального исследования незаменимым орудием опыта.

Сам Шелер уже в первых работах воспринял, развил и сделал фундаментом своей этики старую и великую мысль Б. Паскаля о порядке сердца, логике сердца, разуме сердца. С этой точки зрения он подверг анализу этические, социальные, религиозные чувства, в которых, по его мнению, истинная и глубокая мысль Паскаля нашла себе строгое доказательство. Идя дальше в том же направлении, он считает необходимым подвергнуть такому же феноменологическому анализу сущность и формы чувства стыда, страха и ужаса, чувства чести и т. д. Он предусматривает в своей системе изучение важнейших дериватов указанных выше родовых чувств, так что, наряду с психологическим и ценностно-теоретическим рассмотрением их, находит свое место проблема порядка развития названных чувств в индивидуальном и родовом плане и выяснение их значения для построения и сохранения, оформления и образования различных форм человеческой совместной жизни.

Таким образом, наряду с механистической теорией низших эмоций, построенной по законам физиологической механики, современная психология создает чисто описательное учение о высших, специфических для человека, исторически возникших чувствах; учение, которое развивается в совершенно самостоятельную отрасль знания, строящуюся на фундаменте, противоположном физиологической теории. Последними корнями это учение, как замечает и Шелер, связывается с метафизикой и само превращается в определенную метафизическую систему, которая кладет в основу признание генетической невыводимости истинно духовных проявлений чувства, принципиально отличающихся от его витальных проявлений. Так как Шелер применяет это учение к теории человеческой любви, он возвращается в сущности к

картезианскому разделению духовной и чувственной страсти.

Таковы два основных ответа, которые дает современная психология на неразрешимый, с точки зрения рефлекторной теории, вопрос о природе чувств человека. Современная психология ищет разъяснения загадки или в метафизических глубинах человеческой психики, в шопенгауэровской воле[113], или на метафизических высотах, на которых страсть оказывается совершенно оторванной от витальных функций и находит свое истинное основание в надземных сферах.

Но метафизика, будет ли она искать последнее основание страстей в подземных или надземных сферах, будет ли она вместе с Фрейдом охотно пользоваться образами подземного царства, ада и крайних глубин человеческого духа, или вместе с Шелером будет обращать взоры к звездной музыке небесных сфер, все же остается метафизикой, которая и в своей теистической, и в своей пандемонистической форме оказывается неизбежным дополнением к поверхностной психологии эмоций, сводящей их к ощущению висцеральных и моторных реакций. Интенциональность высших чувств, понятная связь чувства с объектом, без которой высшее чувство перестает, по замечанию Фребеса, заслуживать это имя, смысл человеческого чувствования, доступный нашему пониманию так же, как понятно нам развитие заключений из посылок, голос человеческого чувства требуют объяснения и находят его в телеологической, описательной психологии.

Таким образом, если взять современную психологию чувств во всей ее полноте, если понять, с какой необходимостью механистическая теория низших чувств предполагает телеологическую теорию высших чувствований, как неизбежно учение о животной природе эмоций требует в качестве своего дополнения учения о вневитальных, внежизненных чувствах человека, станет ясно: современную психологию чувств, взятую в целом, никак нельзя обвинять в расхождении с картезианским учением. Напротив, она является его живым воплощением, продолжением и развитием в наукообразной форме. Нужды нет, что на долю Джемса — Ланге выпала задача развить только один из двух принципов этого учения, что их теория ограничилась приложением натуралистической точки зрения к объяснению эмоций. Так же точно, как в системе самого Декарта натуралистическое объяснение страстей души приводит к спиритуалистическому учению об интеллектуальных чувствах, так наиболее последовательная и натуралистическая теория эмоций в современной психологии создает на другом полюсе, в качестве своего противовеса, телеологическое учение о логике откровения высших чувств.

Равновесие, на котором держится картезианская система, снова восстанавливается в современной психологии эмоций, в которой натуралистический и телеологический принципы уравновешивают друг друга. Если прибавить, что Джемс не только не был враждебен второму способу рассмотрения человеческих чувств, но и весьма близко подошел к нему в учении о

независимых от тела эмоциях и в исследовании многообразия религиозного опыта, можно легко убедиться в том, что и сам автор физиологической теории эмоций в сущности принимал картезианское учение во всей его полноте, хотя и развил преимущественно одну из его сторон. Таким образом, если говорить о принципиальной стороне дела, то и это расхождение Джемса с Декартом иллюзорно.

Окончательно убедиться в этом можно, вернувшись снова к картезианскому учению. Как мы установили раньше, его видимое расхождение с теорией Джемса начинается с проблемы человека. Декарт приписывает страсти только человеку и отрицает их у животных. Джемс, напротив, рассматривает эмоции человека как проявление его чисто животной жизни. Действительное, а не мнимое расхождение заключается только в том, что Джемс вместе со всей современной наукой отвергает картезианский взгляд на абсолютную раздельность человека и животных. Но если вспомнить, в чем состоит существо учения Декарта о страстях, легко видеть, что он решает проблему человеческих страстей совершенно в том же духе и в том же принципиальном плане, что и Джемс.

Иллюзорным оказывается и представление, будто Декарт, принимая страсти за основной феномен человеческой природы, присущий исключительно ей одной, в какой-либо мере не то что решает, но хотя бы ставит проблему человеческих чувствований во всей их специфичности. Дуализм между высшими и низшими чувствованиями, как мы старались установить выше, неизбежно приводит к тому, что человек с его живыми и осмысленными страстями забывается и запирается наглухо в безжизненной психологии бесплотных духов и в бессмысленной психологии бездушных автоматов.

К Декарту, таким образом, целиком применимы слова Шабрие, сказанные им по поводу теории Джемса: если нажать несколько на формулы автора, можно заставить его признать, что его теория ничего не может объяснить в человеческих чувствованиях. Дуалистическое решение проблемы человеческих страстей в картезианском учении, неразрешимость, с точки зрения этого учения, проблемы развития, проблемы человека и его жизни содержит уже в себе в сущности распадение современной психологии эмоций на объяснительную и описательную теорию человеческого чувства. За теорией Джемса—Ланге, прибегающей к законам физиологической механики как к последней объяснительной инстанции, и за теорией Шелера, прибегающей в качестве этой инстанции к метафизике телеологических интенциональных связей, снова встает во весь рост грандиозное противоречие, которое заложил великий философ в основу учения о страстях души.

19

Второй наиболее общей проблемой, с точки зрения которой мы должны подвести итоги нашему исследованию последних оснований

старой и современной картезианской психологии страстей, является проблема связей, зависимостей и отношений между страстями и остальной телесной и духовной жизнью человека. Эта проблема непосредственно связана с только что рассмотренной проблемой развития и специфических особенностей человеческих чувствований. Как мы уже видели, в ней на первый план выдвигается вопрос о причинном объяснении эмоций.

Истинное знание возможно только как причинное знание. Без него невозможна никакая наука. Выяснение причин принадлежит, как замечает Джемс, к исследованию высшего порядка, оно образует высшую ступень в развитии науки. Естественно поэтому, что и в психологии страстей, начиная с Декарта и кончая Джемсом и современными исследователями, проблема причинного объяснения человеческих чувствований выдвигается как центральная и основная проблема учения о страстях. Как же возможно причинное рассмотрение фактов эмоциональной жизни человека?

Мы уже упоминали язвительное замечание Шпрангера, одного из виднейших представителей описательной психологии, о том, что причинное объяснение, даваемое объяснительной психологией, чрезвычайно напоминает знаменитую пародию Сократа на неадекватное объяснение[114]. Этот пример может служить парадигмой в нашем рассмотрении проблемы причинности в картезианской и спинозистской психологии страстей и в их современных ответвлениях.

Как мы стремились показать выше, возможность причинного объяснения эмоций покупается Джемсом и Ланге очень дорогой ценой — ценой полного отказа от всякой осмысленной связи эмоций с остальной психической жизнью человека. То, что теория выигрывает таким образом в установлении, по мнению ее авторов, истинной причинной связи между физиологическими проявлениями и эмоциональными переживаниями, она теряет в возможности установить какую-либо понятную и осмысленную связь между чувством как функцией личности и всей остальной жизнью сознания. Не удивительно поэтому, что приводимое этой теорией причинное объяснение резко противоречит нашему непосредственному переживанию, действительной связи эмоций со всем внутренним содержанием нашей личности. Непосредственно переживаемая связь, выдвигаемая основателями описательной психологии как основа всякого постижения фактов духовного, исторического и общественного порядка, действительно неизбежно должна сделаться предметом совершенно особой науки, если причинное объяснение того типа, которое содержится в теории Джемса — Ланге, является единственно возможным в объяснительной психологии.

«От всех изложенных выше затруднений,— говорит Дильтей,— освободить нас может лишь развитие науки, которую я, в отличие от объяснительной и конструктивной психологии, предложил бы называть описательной и расчленяющей. Под описательной психологией я разумею изображение единообразно проявляющихся во

всякой развитой человеческой душевной жизни составных частей и связей, объединяющихся в одну единую связь, которая не примышляется и не выводится, а переживается. Таким образом, этого рода психология представляет собой описание и анализ связи, которая дана нам изначально и всегда в виде самой жизни. Из этого вытекает важное следствие. Предметом такой психологии является планомерность связи развитой душевной жизни. Она изображает эту связь внутренней жизни в некоторого рода типическом человеке» (1924, с. 17—18).

«Единообразие, составляющее главный предмет психологии нашего века, относится к формулам внутреннего процесса. Могучая по содержанию действительность душевной жизни выходит за пределы этой психологии. В творениях поэтов, в размышлениях о жизни, высказанных великими писателями, как Сенека, Марк Аврелий, Блаженный Августин, Макиавелли, Монтень, Паскаль, заключено такое понимание человека во всей его действительности, что всякая объяснительная психология остается далеко позади» (там же, с. 18).

Таким образом, открытая объяснительной психологией возможность причинного объяснения эмоций настолько исключает по своему существу возможность исследования переживаемой внутренней душевной связи эмоций, настолько закрывает двери к исследованию их содержания, что остается либо признать непосредственное свидетельство внутреннего опыта, переживаемое ежеминутно каждым человеком, за не имеющую никакого научного значения иллюзию, либо развить построенную на совершенно противоположных принципах вторую психологию, которая ценой отказа от причинного объяснения сумеет постигнуть внутреннюю связь «могучей по содержанию» действительности наших чувств со всей остальной внутренней жизнью личности.

Это обстоятельство не могли не заметить сами авторы органической теории, гордые открытой ими возможностью причинного объяснения. «Я не сомневаюсь,— говорит Ланге,— что мать, оплакивающая смерть своего ребенка, будет возмущаться, может быть, даже негодовать, если ей скажут, что то, что она испытывает, есть усталость и вялость мускулов, холод в обескровленной коже, недостаток силы у мозга к ясным и быстрым мыслям — только все это освещено воспоминанием о причине, вызвавшей указанные явления. Однако горюющей матери нет никакого основания возмущаться: ее чувство одинаково сильно, глубоко и чисто, из какого бы источника оно ни истекало» (1896, с. 57).

Сказанные слова, пожалуй, самые простые, самые человечные и самые глубокие изо всего содержащегося в этом маленьком этюде. Несмотря на то что они говорят о банальном примере из школьных учебников психологии, они содержат глубочайшую проблему. В основе ее лежит несомненный для самого Ланге факт, требующий научного объяснения. Негодование и возмущение матери непосредственно вытекает из самого несомненного,

самого очевидного сознания своего горестного переживания. Неужели оно, это непосредственное переживание горя, должно быть признано целиком и полностью ложным? Почему в таком случае мать, оплакивающая смерть ребенка, чувствует горе, а не «усталость и вялость мускулов и холод в обескровленной коже»?

Мы так подробно остановились на этом банальном примере, потому что он в наших глазах приобретает принципиальное значение, равного которому мы не могли бы признать ни за каким другим моментом рассматриваемой теории. В сущности говоря, воображаемую тяжбу матери, потерявшей сына, с механистической психологией продолжает уже в действительности вся описательная психология. Ее начальный и конечный пункты, весь смысл ее существования, единственное основание ее правоты, которого не может оспаривать ни один психолог, может быть, даже ни один человек, переживший когда-либо реальное горе, составляют тот факт, мимо которого с такой легкостью и чувством превосходства проходит Ланге. Вот уж поистине, если факты не согласуются с теорией, тем хуже для фактов.

Переживание горя есть факт живой и осмысленный. Сам Ланге понимает, что его нельзя счесть за не существующий в действительности призрак, за бред расстроенного воображения. Ведь он же не допускает сомнения в том, что мать, узнавшая о том, какое истолкование получает ее горе в свете периферической теории, будет возмущаться и негодовать, т. е. будет реагировать эмоционально. Возмущение и негодование — такие же несомненные эмоции, как и горе, хотя бы они и проявлялись в совершенно других мускульных и кожных ощущениях. Эмоции, возникающие из психических причин, по Ланге, ничем существенным не отличаются от подлинных эмоций, вызываемых физическим воздействием. Следовательно, переживание горя, способное вызвать у матери реальные эмоции гнева и негодования, есть самый доподлинный, самый реальный, самый неоспоримый факт психологической жизни.

Научная задача заключается в том, чтобы дать причинное объяснение этой непосредственно переживаемой связи. Здесь именно и сказывается окончательное банкротство современной психологии эмоций, распадающейся при первом столкновении с самым банальным, простым случаем человеческого чувства на две ничего не знающие друг о друге части, из которых одна не находит ничего лучшего, как повторить сократовскую пародию на причинное объяснение. Другая беспомощно разводит руками перед горем матери, не умея научно понять ту непосредственно испытываемую связь чувства с остальной жизнью сознания, которая придает ему смысл и значение, объявляя эту связь выходящей за пределы научного познания.

В первом случае, следуя за объяснительной психологией, надо вырвать с корнем всякие свидетельства непосредственно внутреннего опыта и — «рассудку вопреки, наперекор стихиям» — рассматривать плачущее существо, согласно картезианскому пра-

вилу, как бездушный автомат, измеряя силу, глубину и чистоту его мускульных и кожных ощущений и утешаясь на развалинах живой психологической жизни сомнительным утешением, что эти ощущения могут быть такими же сильными, глубокими и чистыми, как и самая безграничная печаль. Во втором случае, идя вслед за описательной психологией, нам не остается другой возможности, как отказаться от гордого желания научного познания и объяснения и непосредственно слиться с плачущей матерью, полностью перенестись в ее душевное состояние, вчувствоваться в переживаемую ею скорбь и объявить это простое сочувствие постороннего прохожего человека новой психологией, которая, наконец, способна превратить наши познания психической жизни в науку о духе.

В первом случае для того, чтобы сохранить жизнь чувства, мы должны отказаться от его смысла. Во втором случае, чтобы сохранить переживание и его смысл, мы одинаково должны отказаться от жизни. В обоих случаях мы одинаково должны отказаться от всякой надежды когда-либо научно постигнуть человека и настоящее значение его внутренней жизни.

Путь объяснительной психологии эмоций, который заводит нас в тупик бессмысленного причинного объяснения, мы уже исследовали тщательно и подробно. Он известен нам во всех своих точках, и к нему можно более не возвращаться. Коротко проследим путь, ведущий к другому тупику — к отказу от всякого причинного объяснения и к признанию абсолютной безжизненности чувства, т. е. путь описательной психологии эмоций. Описательная психология эмоций начинается с вопроса о природе высших чувствований. Представляют ли высшие эмоции сложные комбинации и модификации элементарных или нечто новое, что требует совершенно особого научного подхода? Описательная психология принимает в качестве основной предпосылки вторую часть дилеммы, выдвигая интенциональность высших чувствований, их направленность, их осмысленную понятную связь со своим объектом как главнейшее отличительное свойство. Без осмысленной связи с объектом, непосредственно переживаемой нами, высшее чувствование перестает быть самим собой.

В одной из ранних работ Шелер именно на этом основывает проводимое им различение между высшими и низшими чувствами. Связь низших чувств с объектами оказывается всегда опосредованной, устанавливаемой последующими актами отнесения. Этому чувству не имманентна никакая направленность. Иногда приходится даже отыскивать предмет нашей печали. Напротив, высшее чувство всегда направлено на нечто совершенно так же, как представление. Это осмысленный процесс, принципиально доступный только пониманию, в то время как элементарные чувственные состояния допускают лишь констатирование и каузальное объяснение.

Когда я радуюсь или печалюсь, переживания ценности вызывают определенные чувства. Интенциональными в строжай-

шем смысле, как указывал уже Ф. Брентано[115], являются любовь и ненависть. Мы любим не о чем-либо, а что-либо.

Таким образом, высшие чувствования требуют не констатирующего и каузально-объясняющего психологического исследования, но только понимающей психологии, не имеющей другой цели, кроме постижения непосредственно переживаемых связей. Переживание ценности вызывает определенные высшие чувствования не по логической связи между тем и другим, наподобие связи, объединяющей в силлогизме посылки и заключения. Связь здесь оказывается телеологической. Природа сознательной жизни организована таким образом, что я отвечаю радостью на все переживаемое, как имеющее известную ценность, что тем самым моя воля побуждается к соответствующим стремлениям. Эта связь допускает только понимание, соединенное с переживанием ее целесообразности; напротив, для нас остается непонятной та связь, согласно которой сладкое вызывает удовольствие, а горькое — неудовольствие. Эти связи я могу только принять как факты, которые сами по себе не являются для меня понятными.

Принципиальная непонятность основных, или примитивных, чувствований, как мы уже упоминали, составляет один из краеугольных камней картезианского учения о страстях. Декарт утверждает, что печаль и радость как страсти не только отличны от боли и удовольствия как ощущений, но и могут быть полностью отделены от них. Можно себе представить, что боль будет переживаться с тем же эмоциональным безразличием, как самое обычное ощущение. Можно даже удивляться тому, что боль так часто сопровождается печалью, а удовольствие — радостью. Можно удивляться тому, что голод, это простое ощущение, и аппетит, это желание, так интимно связаны между собой, что всегда сопутствуют друг другу. Современная описательная психология эмоций, таким образом, только повторяет устами Шелера старый картезианский тезис о полной бессмысленности элементарных эмоций, принципиально исключающих всякую возможность их понимания, утверждая привилегию только в отношении высших чувствований.

Учение об интенциональной природе высших чувствований, развитое Брентано, Шелером, А. Пфендером[116], М. Гейгером[117] и другими, заложило основы современной психологии эмоций. С помощью этого учения описательная психология эмоций пытается преодолеть зашедшую в тупик натуралистическую теорию чувства, которая склонна рассматривать высшие чувствования как комплекс или продукт развития более простых психических элементов. Ошибку данной теории Шелер видит не в том, что она неверно объясняет факты из жизни высших чувствований, а в том, что она просто не видит этих феноменов, слепа по отношению к ним. Если бы натуралистическая теория просто видела феномены святой или душевной любви, она бы вместе с тем видела, что их никак нельзя ни понять из любых фактов, относящихся к сфере витальной любви, ни вывести из них. Но в

том и заключается основной недостаток этого и других мнений натуралистической теории: вся ее установка делает ее слепой к тому, что в ходе развития жизни человека возникают совершенно новые акты и качества, что они могут постоянно возникать, что эти качества представляются нам возникшими в самом существенном содержании скачкообразно и никогда не могут рассматриваться как простое, постепенное развертывание старых форм, как это допустимо по отношению к телесной организации живого существа. Установка натуралистической теории делает ее слепой по отношению к тому, что в ходе жизненного развития могут выступать принципиально новые и более глубокие ступени бытия и ценности и на их основе могут развиваться новые области объектов и ценностей для саморазвивающейся жизни, что только по мере развития жизни эти новые области бытия и ценности начинают раскрывать и заключать в себе всю полноту определяющих их качеств. Каждое новое качество означает для этой теории новую иллюзию. Она, как и всякая натуралистическая философия, представляет собой принципиальную спекуляцию, играющую на понижение.

В жизни чувств описательная психология находит самый глубокий и живой объект. «Тут мы видим перед собой подлинный центр душевной жизни. Поэзия всех времен находит здесь свои объекты. Интересы человечества постоянно обращены в сторону жизни чувств. Счастье и несчастье человеческого существования находятся в зависимости от нее, поэтому-то психология XVII в., глубокомысленно направившая свое внимание на содержание душевной жизни, и сосредоточилась на учении о чувственных состояниях — ибо это и были ее аффекты» (В. Дильтей, 1924, с. 56).

В. Дильтей исходит из того, что чувственные состояния настолько же упорно противостоят расчленению, насколько они важны и центральны. Наши чувства по большей части сливаются в общие состояния, в которых отдельные составные части уже неразличимы. Наши чувства, как и побуждения, не могут быть произвольно воспроизведены или доведены до сознания. Возобновлять душевные состояния мы можем только так, что экспериментально вызываем в сознании те условия, при которых соответствующие состояния возникают. «Из этого следует, что наши определения душевных состояний не расчленяют их содержания, а лишь указывают на условия, при которых наступают данные душевные состояния. Такова природа всех определений душевных состояний у Спинозы и Гоббса. Поэтому нам надлежит прежде всего усовершенствовать методы этих мыслителей. Определение, точная номенклатура и классификация составляют первую задачу описательной психологии в этой области. Правда, в изучении выразительных движений и символов представлений для душевных состояний открываются новые вспомогательные средства: в особенности сравнительный метод, вводящий более простые отношения в чувства и побуждения животных и первобытных народов, позволяет выйти из пределов антропологии XVII в. Но даже

применение этих вспомогательных средств не дает прочных точек опоры для объяснительного метода, стремящегося вывести явления данной области из ограниченного числа однозначно определяемых элементов» (там же, с. 57).

Здесь Дильтей допускает логически никак не оправдываемое смешение трех положений, которые совпадают в практических выводах, но которые с теоретической стороны не только не могут быть объединены, но, напротив, представляют самый яркий образец внутренне противоречивой анекдотической логики. Во-первых, он устанавливает, что фактические попытки объяснения жизни наших чувств находятся между собой в состоянии борьбы, выхода из которой решительно не предвидится. Уже основные вопросы об отношении чувств к побуждениям и воле и об отношении качественных чувственных состояний к сливающимся с ними представлениям не допускают убедительного решения. Таким образом, объяснительная психология чувств оказывается фактически несостоятельной и еще не осуществленной на деле.

Фактическую неудачу объяснительной психологии чувств Дильтей сейчас же делает основанием для заключения о ненужности и невозможности объяснять чувство. Если бросить взгляд, говорит он, на поразительно богатую у всех народов литературу, касающуюся душевных состояний и страстей человеческих, то нельзя не увидеть, что все плодотворные и освещающие эту область положения не нуждаются в подобного рода объяснительных допущениях. В них описываются лишь сложные и выдающиеся формы процессов, в которых упомянутые различные стороны связаны друг с другом, и нужно только достаточно глубоко войти в анализ видных фактов в этой области, чтобы убедиться в бесполезности здесь таких объяснительных гипотез. Дильтей ссылается в доказательство этой мысли на пример эстетического наслаждения, вызываемого художественным произведением и характеризуемого большинством психологов как состояние удовольствия. Но эстетик, говорит он, исследующий действия различного рода стилей в различных художественных произведениях, окажется вынужденным признать недостаточность такого понимания. Стиль какой-нибудь фрески Микеланджело или баховской фуги вытекает из настроения великой души, и понимание этих произведений искусства сообщает душе наслаждающегося определенную форму настроения, в которой она расширяется, возвышается и как бы распространяется (там же, с. 57—58).

Если фактическую несостоятельность объяснительной психологии эмоций Дильтей смешивает с принципиальной бесполезностью объяснительных гипотез в этой области и с принципиальной невозможностью причинного объяснения высших форм настроения, в которых душа расширяется, возвышается и как бы распространяется, то сейчас же вслед за этим он возвращается снова к фактическому положению вещей и готов признать, что объяснительная психология еще просто не созрела для решения проблемы чувств и что, следовательно, описательная психология

должна подготовить и расчистить для нее путь. В этом его третье положение. Поэтому, говорит Дильтей, область душевной жизни в действительности еще не созрела для полной аналитической обработки. Необходимо, чтобы до того описательная и расчленяющая психология завершили свою задачу на частностях.

Таким образом, смешение трех различных по содержанию утверждений удивительно напоминает логику анекдота, приводимого Фрейдом в его исследовании остроумия. Женщина, которую соседка обвиняет в том, что она разбила одолженный у нее горшок, приводит в свое оправдание для большей убедительности три аргумента сразу: во-первых, говорит она, я у тебя не брала никакого горшка; во-вторых, когда я взяла его, он уже был разбит; в-третьих, я тебе его вернула совершенно целым.

В. Дильтей говорит: во-первых, объяснительная психология не дала до сих пор удовлетворительного объяснения жизни наших чувств; во-вторых, такое объяснение совершенно бесполезно, не нужно и вообще не может быть дано; в-третьих, объяснительная психология сумеет дать это объяснение после того, как описательная психология завершит до конца задачу расчленения и анализа.

Такое же смешение разнородных по содержанию положений заключается и в позитивной программе исследования, которую Дильтей намечает для описательной психологии чувств. Исследование должно двигаться преимущественно по трем направлениям. Оно отображает основные типы течения душевных процессов. То, что великие поэты, в особенности Шекспир, дали нам в образах, оно стремится сделать доступным для анализа понятия. Оно выделяет некоторые основные отношения, проходящие через жизнь чувств и побуждений человека, и пытается установить отдельные составные части состояний чувств и побуждений (там же, с. 58). Преимущество описательного и расчленяющего метода перед объяснительным Дильтей видит в том, что он ограничивается рассмотрением разрешимых задач. Очевидно, задача объяснительной психологии чувства кажется ему неразрешимой. Горшка вообще не было — ни разбитого, ни целого, несмотря на то что мы только что утверждали, что горшок был взят разбитым и возвращен в целости.

Этого противоречия избегает другой исследователь, Мюнстерберг, который столь же отчетливо, как Дильтей и многие другие, проводит различение между каузальной и телеологической психологией как двумя самостоятельными и равноправными науками. Эта идея, подсказанная всем историческим ходом развития современной психологии, созрела одновременно у различных исследователей: так яблоки, по словам Гёте, падают одновременно в разных садах. Но Мюнстерберг последовательнее Дильтея, и, хотя всю свою конкретную работу он посвятил разрешению задач объяснительной психологии, тем не менее он с наибольшей полнотой развил программу и план исследования описательной психологии.

«Бедственное состояние современной психологии, выражающееся в том, что мы несравненно больше знаем о психологических фактах, чем когда-либо до сих пор, но гораздо меньше знаем о том, что собственно есть психология... Психология наших дней борется с предрассудком, будто существует только один вид психологии... Понятие психологии заключает в себе две совершенно различные научные задачи, которые следует принципиально различать и для которых лучше всего пользоваться особыми обозначениями. В действительности существует двоякого рода психология, но если господствует предрассудок, что науке достаточно одной из них, то естественно, что одни психологи культивируют только первую форму психологии, а вторую оставляют в стороне, другие же заботятся как раз об этой второй форме и пренебрегают первой, или же, наконец, обе формы смешиваются в мнимое единство, причем между ними произвольно разделяется материал, или же одна из них более или менее вплетается в другую. Все эти возможности представлены в современной научной психологии.

Само собой разумеется, что столь несходные друг с другом формы психологии не могли бы существовать друг подле друга и находиться в духовной связи, если бы между ними не было ничего общего. Это общее заключается прежде всего в том, что всякая психология имеет дело с переживаниями индивида. Этим она отличается от наук о телесной природе и от нормативных наук. Личность является, таким образом, решающим исходным пунктом для всякой психологии» (Г. Мюнстерберг, 1924, с. 7—8).

За этим общим исходным пунктом начинается принципиальное расхождение двух возможных психологий. В каждом биении пульса нашего жизненного опыта нам становится очевидным, что свою собственную внутреннюю жизнь мы можем понимать двояко, приобретая, таким образом, двоякое познание ее. А именно: в одном случае мы постигаем смысл нашего чувства и желания, нашего внимания и мышления, нашего воспоминания и представления. Все это мы пытаемся уразуметь и удержать в том качестве, которое имеется налицо в каждом переживании, т. е. в качестве деятельности нашего «я», как направленного к известной цели намерения нашей личности. Мы можем тогда проследить, каким образом одно хотение заключает в себе другое, как одно представление указывает на другое, как в нашем духе раскрывается мир внутренних отношений. Но мы можем и совершенно иначе взглянуть на свои переживания. Мы можем противопоставлять себя своим переживаниям не в качестве духовно действующей личности, а в качестве простого зрителя, и тогда переживания становятся для нас содержаниями нашего восприятия. Конечно, эти содержания отличаются от содержаний природы. Мы отграничиваем их от внешних содержаний как содержания нашего сознания, но мы интересуемся ими так же, как интересуют нас внешние вещи и процессы. И содержания сознания мы рассматриваем только с точки зрения наблюдателя, который описывает их

течение и постигает их необходимую связь, т. е. пытается объяснить их. Посредством этого описания содержание сознания становится комбинацией элементов, посредством объяснения эти элементы становятся цепью причин и действий. Так приходим мы к совершенно иному пониманию той же самой душевной жизни. В одном случае — к уразумению внутренних отношений и постижению внутренних намерений и связи между ними, в другом — к описанию и объяснению элементов и их действий.

Если мы в обоих направлениях проведем до конца эти различные способы понимания нашей внутренней жизни и придадим им научно завершенную форму, мы действительно должны будем получить две принципиально различные теоретические дисциплины. Одна из них описывает душевную жизнь как совокупность содержания сознания и объясняет ее. Другая интерпретирует и понимает ту же самую душевную жизнь как совокупность целевых и смысловых отношений. Одна есть каузальная психология, другая телеологическая и интенциональная. Здесь нет никакого разграничения материала между той и другой психологией, так как всякий материал нужно рассматривать с обеих точек зрения. Всякое чувство, всякое воспоминание и всякое хотение можно понимать столько же в категории причинности — как содержание сознания, сколько и с интенциональной точки зрения — как духовную деятельность (там же, с. 8—9).

В исторической и современной психологии обе формы смешиваются в мнимое единство, причем каждая из них редко выявляется действительно чисто и последовательно. По большей части телеологическая психология находится в каком-либо внешнем слиянии с элементами каузальной психологии. В таком случае процессы памяти, например, изображаются как причинные, а процессы чувства и воли как интенциональные — смешение, легко возникающее под влиянием наивных представлений повседневной жизни... Итак, мы можем наряду с каузальной психологией говорить об интенциональной психологии, или о психологии духа наряду с психологией сознания, или о понимающей психологии наряду с объяснительной (там же, с. 9—10).

В этом разграничении задач двоякого рода психологии Мюнстерберг последовательно развивает мысль до логического конца. Он совершенно исключает всякую надобность и возможность причинного объяснения в описательной психологии, которая допускает только понимание и постижение целевых и смысловых отношений между переживаниями и, следовательно, требует рассмотрения духовной деятельности как совершенно автономной области действительности, лежащей вне природы и вне жизни, которая, говоря языком Спинозы, является не естественной вещью, следующей общим законам природы, но вещью, лежащей за пределами природы, как бы государством в государстве. Но стоит только вглядеться и вдуматься в аргументацию Дильтея и Мюнстерберга, для того чтобы сразу раскрыть ее силу и слабость, ее положительные и отрицательные полюсы, ее безус-

ловную правоту и столь же безусловную ошибочность. Сила и правота их аргументации — исключительно в признании несостоятельности, недостаточности, принципиальной неадекватности тех объяснений, которые выдвигались до сих пор физиологической психологией по отношению к высшим проявлениям психической жизни человека. Ее правота и ее сила — исключительно в том, что она выдвигает на первый план первостепенно важные проблемы высшего в человеке и таким образом впервые вообще ставит во весь рост проблему психологии реального живого человека.

Но в этом же пункте заключается слабость и ошибочность рассматриваемой аргументации. В сущности говоря, новая психология не столь уж отлична от старой. Кое в чем, и даже, пожалуй, в самом центральном и главном, они совершенно совпадают друг с другом, несмотря на видимую противоположность. Именно описательная психология целиком и полностью принимает основную идею объяснительной психологии (причинное объяснение не может быть не чем иным, кроме механического сведения сложных и высших процессов к атомистически разрозненным элементам душевной жизни). Тем самым новая психология полностью становится на те же самые позиции, исходя из которых развивалась все время старая психология.

Признание механистической причинности единственно возможной категорией объяснения психической жизни, ограничение причинного объяснения психологии узкими пределами сократовской пародии — тот общий пункт, в котором встречаются и совпадают новая и старая психология. Единственным, таким образом, справедливым аргументом в пользу развития самостоятельной описательной психологии является несостоятельность объяснительной психологии, не сумевшей выйти за пределы механистической причинности в объяснении душевной жизни. В разбитом горшке своей соседки новая психология видит единственный довод в пользу того, что она должна варить мясо в собственном и совершенно особом горшке. Аргументация от разбитого горшка составляет одновременно силу и слабость сторонников новой психологии. Совершенно бесспорно, что объяснительная психология, по верному замечанию Шелера, не то что давала ложное объяснение подлинным проблемам человеческой психологии, но просто не замечала этих проблем и была слепа по отношению к ним. Столь же бесспорно, что эти проблемы должны быть выдвинуты перед научной психологией как первоочередные и центральные задачи, настоятельно требующие разрешения. Но из сказанного, логически рассуждая, никак нельзя вывести другого заключения, кроме необходимости коренным образом перестроить основания, на которых покоится современная психология. Умозаключать же от этих посылок к необходимости передать разрешение данных проблем какой-то новой и совершенно особой науке, которая вообще принципиально исключает возможность причинного объяснения,— значит целиком и полностью оправдать современное состояние объяснительной пси-

хологии со всеми ее ошибками, целиком разделить с ней ее заблуждения, не подняться над ней и не преодолеть ее, а просто попросить ее потесниться и построить на том же гнилом фундаменте, на котором не может держаться ничто, кроме воздушного замка или карточного домика, призрачное здание психологии духа.

Поэтому теория Джемса—Ланге с ее пародией причинного объяснения человеческих чувств неизбежно порождает теорию Шелера с ее полным отказом от всякого объяснения высших чувствований, заменяемого пониманием телеологической связи. Но Шелер так же недалеко ушел от Джемса, как вся новая психология от старой. Вместе с Джемсом он, по-видимому, допускает, что единственное доступное психологии объяснение есть объяснение из законов физиологической механики. Поэтому он, как и вся описательная психология, не разрешает проблему, а обходит ее. На поставленный перед современной психологией вопрос, который мы рассматриваем как прототип всех основных проблем, требующих причинного объяснения, на вопрос, почему Сократ сидел в афинской темнице, теория Джемса—Ланге отвечает ссылкой на растяжение и ослабление мускулов, сгибающих члены, а теория Шелера—указанием на то, что пребывание в темнице имело целью удовлетворить высшее чувство ценности...

И то и другое одинаково бесспорно и столь же очевидно, сколь и бесплодно. И то и другое одинаково далеко от действительно научного ответа на вопрос. И то и другое не обращает внимания на истинную причину.

Реальное горе матери, оплакивающей смерть ребенка, если вспомнить пример Ланге, непосредственно тесно связано с ее слезами, хотя оно могло бы совершиться в ее душе, не сопровождаясь слезами, а слезы могли бы быть и проявлением противоположного чувства, например радости. Все это бесспорно, но усматривать в этом причину было бы, говоря словами Платона, глупо вдоль и поперек. Так же совершенно бесспорно и очевидно, что решение Сократа оставаться в темнице было связано с преследованием определенной жизненной цели и удовлетворением определенного чувства ценности. Но тот же целевой и ценностный характер имело бы и противоположное по смыслу событие—его бегство.

В сущности, отказ от всякого причинного объяснения и попытка обойти проблему, опираясь на телеологический анализ, не только не продвигают нас вперед по сравнению с объяснительной психологией чувства, при всех несомненных ее несовершенствах, но, напротив, уводят нас далеко назад. Определение, точная номенклатура и классификация, утверждал Дильтей, составляют первую задачу описательной психологии в этой области (1924, с. 57). Он забывает при этом, что путь определения и классификации, который проделывала психология на протяжении нескольких столетий, привел к тому, что психология чувств оказалась самой бесплодной и скучной из всех глав науки, как справедливо писал Джемс.

В. Дильтей последовательно зовет нас обратиться к антропологии XVII в. и усовершенствовать ее методы. Примечательно, что он берет у мыслителей XVII в., в частности у Спинозы, наиболее устаревшее, отмершее и безжизненное: его номенклатуру, классификацию и определение, которые не раскрывают содержания наших аффектов, а лишь указывают на условия, при которых наступает данное душевное состояние[118].

Таким образом, из учения Спинозы о страстях описательная психология привлекает на свою сторону не живую, обращенную к будущему, но мертвую и обращенную к прошлому ее часть. Единственную возможность, позволяющую новой психологии выйти за пределы антропологии XVII в., Дильтей видит в применении сравнительного метода, в изучении выразительных движений и символов душевных состояний (1924, с. 57). Но то и другое предоставляет в наше распоряжение только новое вспомогательное средство для решения старой задачи, не выводя нас принципиально за пределы психологии страстей XVII в. Таким образом, зачеркивается одним взмахом пера почти 300-летнее развитие психологической мысли и знания, и движение вспять, назад к XVII в., в глубь истории, объявляется единственным путем научного прогресса психологии.

В известном смысле описательная психология, выдвигающая на место причинного объяснения телеологическое и спиритуалистическое рассмотрение душевных явлений, возвращает нас к эпохе философской мысли, господствовавшей до Спинозы. Именно Спиноза боролся за естественное детерминистическое, материалистическое, причинное объяснение человеческих страстей. Именно он боролся против призрачного объяснения с помощью цели. Именно он явился тем мыслителем, который впервые философски обосновал самую возможность объяснительной психологии человека как науки в истинном смысле этого слова и начертал пути ее дальнейшего развития.

В этом смысле Спиноза противостоит всей современной описательной психологии как ее непримиримый противник. Это он боролся с возрождаемыми в современной описательной психологии картезианским дуализмом, спиритуализмом и телеологизмом. В этом отношении мы должны будем противопоставить наше понимание действительной связи учения Спинозы о страстях с современной психологией эмоций мнению Дильтея. Замечательно, что, выдвигая основные проблемы психологии человека, новое направление должно было обратиться к психологии XVII в., глубокомысленно направившей свое внимание на подлинный центр духовной жизни, на содержание наших аффектов, и назвать имя Спинозы как маяк, освещающий путь для новых исследований. У Спинозы сторонники нового направления находят не только номенклатуру и классификацию страстей, но и некоторые основные отношения, проходящие сквозь всю жизнь чувств и побуждений, имеющие решающее значение для уразумения человека и составляющие темы для точного описательного метода. Таково,

например, основное отношение, заключающееся в том, что и Гоббс, и Спиноза обозначали как инстинкт самосохранения или роста «я»: стремление к полноте духовных состояний, к изживанию себя, к развитию сил и побуждений. Таким образом, не только метод, но и содержание спинозистского учения о страстях выдвигается в качестве руководящего начала для развития исследований в новом направлении — в направлении уразумения человека.

В этом утверждении, в этом обращении к Спинозе истина смешана с ложью в такой мере, что ее с трудом можно отделить от заблуждения. Чтобы сделать это, необходимо вспомнить, что мы уже однажды сталкивались с подобным же, смешанным из истины и заблуждения указанием на связь спинозистского учения о страстях с современной психологией эмоций. Чтобы понять значение мысли Дильтея о том, что описательная психология чувств должна быть преемницей психологии Спинозы, следует вспомнить, что и Ланге называл Спинозу мыслителем, больше всех приближающимся к развитой самим Ланге физиологической теории эмоций, из-за того что Спиноза «телесные проявления эмоций не только не считает зависящими от душевных движений, но ставит их рядом с ними, даже почти выдвигает их на первый план» (Г. Ланге, 1896, с. 89).

Таким образом, Ланге и Дильтей, описательная психология и объяснительная психология эмоций, образующие два противоположных полюса современного научного знания о чувствах человека, одинаково обращаются как к своим истокам к спинозистскому учению о страстях. Совпадение не может быть случайным. В нем заключается глубочайший исторический и теоретический смысл. Уже сейчас мы должны извлечь кое-что существенное для наших целей из факта совпадения двух противоположных учений в едином устремлении к спинозистской мысли, как к своему идейному началу.

Относительно связи теории Ланге с учением Спинозы о страстях мы уже говорили. Мы могли установить, что в значительной части признание прямой и непосредственной исторической и идейной связи между учением Спинозы об аффектах и теорией Джемса — Ланге основывается на иллюзии. Сам Ланге смутно понимал ошибочность своего указания на близость спинозистского учения к его теории. С чувством восхищения он находит полную вазомоторную теорию о телесных проявлениях эмоций у Мальбранша[119], который «с проницательностью гения открыл истинную связь между явлениями» (там же, с. 86). Мы действительно встречаем схему эмоционального механизма, выраженную на смутном языке тогдашней физиологии, которая допускает перевод на язык современной физиологии и в таком виде может быть сближена с гипотезой Джемса — Ланге. Такое же фактическое совпадение было очень рано установлено Айронсом, который показал, что Декарт стоит на той же позиции, как и Джемс. Мы видели, что позднейшие исследования, в частности

работы Сержи, полностью подтвердили это мнение. Но этого мало. В ходе нашего исследования мы стремились выяснить, что не только фактическое описание механизма эмоциональной реакции роднит эти теории, разделенные почти тремя столетиями, но и что само фактическое совпадение является следствием более глубокого методологического родства между ними, родства, основанного на том, что современная физиологическая психология целиком унаследовала от Декарта натуралистический и механистический принципы истолкования эмоций. Картезианский параллелизм, автоматизм и эпифеноменализм — истинные основания гипотезы Ланге и Джемса, и это дало полное право Денлапу назвать великого философа отцом всей современной реактологической психологии.

Мы видим, таким образом, что теория Ланге восходит на самом деле не к спинозистскому, а к картезианскому учению о страстях души. В этом смысле можно сказать, что Ланге в заключительном примечании к своему этюду всуе называет имя Спинозы. Таков в кратких словах результат, к которому мы пришли при рассмотрении этого вопроса.

Сейчас мы могли бы пополнить это заключение еще одной новой и в высшей степени существенной и важной чертой, которая ясно выступает при противопоставлении описательной и объяснительной психологии эмоций: в известном отношении спинозистское учение действительно находится в гораздо более тесном родстве с объяснительной, чем с описательной, психологией и, значит, скорее должно быть сближено с гипотезой Ланге, в которой основные принципы объяснительной психологии эмоций нашли ярчайшее выражение, чем с программой описательной психологии чувств, намечаемой Дильтеем. В споре каузальной психологии и телеологической психологии, в борьбе детерминистической и индетерминистической концепций чувств, в столкновении спиритуалистической и материалистической гипотез Спиноза, конечно, должен быть поставлен на стороне тех, кто защищает научное познание человеческих чувств против метафизического.

Именно в том пункте, в котором спинозистское учение о страстях сближается с объяснительной психологией эмоций, оно расходится самым непримиримым образом с описательной психологией. На этот раз уже Дильтей, а не Ланге всуе поминает имя Спинозы в самом начале своей программы будущих исследований. В самом деле, что общего может быть между этими исследованиями, сознательно возрождающими телеологические и метафизические концепции антропологии XVII в., против которых боролся все время Спиноза, со строгим детерминизмом, каузальностью и материализмом его системы? Недаром, как мы указывали, Дильтей выдвигает на первый план в учении Спинозы его наиболее устаревшую, обращенную к прошлому, формальную и спекулятивную часть, его номенклатуру, классификацию и определение. С великими принципами спинозистской системы психологии Диль-

тея не только не по пути, но и ее собственный путь может быть проложен лишь посредством самой ожесточенной борьбы против этих принципов.

После всего сказанного едва ли может остаться какое-либо сомнение в том, что, возрождая спиритуалистические и телеологические принципы XVII в., описательная психология в основном ядре восходит не к Спинозе, а к Декарту, в учении которого о страстях души она находит свою полную и истинную программу.

Спиноза же, конечно, не с Дильтеем и Мюнстербергом, не с их учением об автономной и независимой, существующей исключительно благодаря целевым связям и смысловым отношениям душевной жизни, а с Ланге и Джемсом в их борьбе против неизменных духовных сущностей, вечных и неприкосновенных, против концепции, рассматривающей эмоции не как эмоции человека, а как лежащие за пределами природы сущности, существа, силы, демоны, которые овладевают человеком. Он, конечно, никогда не согласился бы признать, и в этом безусловная правота Ланге, что психический страх сам по себе может объяснить, почему бледнеют, дрожат и т. д. Он с теми, кто описание и классификацию считают, как Джемс, низшими ступенями в развитии науки, а выяснение причинной связи признает за более глубокое исследование, исследование высшего порядка.

Но сложность дела усугубляется тем, что, как ни очевидна ошибочность попытки опереть описательную психологию чувств на спинозистское учение о страстях, в известном отношении эта попытка содержит в себе какую-то долю истины. Мы выше пытались усмотреть ее в том, что проблемы, выдвигаемые в описательной психологии чувств,— проблема специфических особенностей человеческих чувств, проблема жизненного значения чувств, проблема высшего в эмоциональной жизни человека — все эти проблемы, к которым была слепа объяснительная психология и которые по своей природе выходят за пределы механистической интерпретации, действительно были впервые поставлены во весь рост в учении Спинозы о страстях. В этом пункте спинозистское учение оказывается действительно на стороне новой психологии против старой, оно поддерживает Дильтея против Ланге.

Мы оказываемся, таким образом, перед окончательным итогом, который не может не смутить нас чрезвычайной сложностью содержащихся в нем результатов. Мы видели, что линия спинозистской мысли в чем-то находит историческое продолжение и у Ланге, и у Дильтея, т. е. и в объяснительной, и в описательной психологии наших дней. Что-то от спинозистского учения содержится в каждой из этих борющихся между собой теорий. Пробиваясь к причинному естественнонаучному объяснению эмоций, теория Джемса — Ланге решает тем самым одну из центральных проблем спинозистской материалистической и детерминистической психологии. Но и описательная психология, как мы видели, выдвигая на первый план проблему смысла и жизненного значения человеческих чувств, также пытается разрешить тем

самым основные и центральные проблемы спинозистской этики.

Можно определить в немногих словах истинное отношение спинозистского учения о страстях к объяснительной и описательной психологии эмоций, сказав, что в этом учении, посвященном, в сущности говоря, разрешению одной-единственной проблемы, проблемы детерминистического, каузального объяснения высшего в жизни человеческих страстей, частично содержится и объяснительная психология, сохранившая идею причинного объяснения, но отбросившая проблему высшего в страстях человека, и описательная психология, отбросившая идею причинного объяснения и сохранившая проблему высшего в жизни человеческих страстей. Таким образом, в учении Спинозы содержится, образуя его самое глубокое и внутреннее ядро, именно то, чего нет ни в одной из двух частей, на которые распалась современная психология эмоций: единство причинного объяснения и проблемы жизненного значения человеческих страстей, единство описательной и объяснительной психологии чувства.

Спиноза поэтому тесно связан с самой насущной, самой острой злобой дня современной психологии эмоций, злобой дня, которая довлеет над ней, определяя охвативший ее пароксизм кризиса. Проблемы Спинозы ждут своего решения, без которого невозможен завтрашний день нашей психологии.

Но объяснительная и описательная психология эмоций, Ланге и Дильтей, решая проблему Спинозы, целиком отдаляются от его учения и, как мы пытались показать выше, целиком содержатся в картезианском учении о страстях души. Таким образом, кризис современной психологии эмоций, распавшейся на две непримиримые и враждующие друг с другом части, демонстрирует нам историческую судьбу не спинозистской, но картезианской философской мысли. Это всего яснее проступает в основном пункте, служащем водоразделом между объяснительной психологией и описательной психологией, в вопросе о причинном объяснении человеческих эмоций.

В самом деле, мы видели, что именно в картезианском учении Декарта о страстях души содержатся, как две самостоятельные и равноправные, сосуществующие друг с другом части, строго детерминистическое, механистическое, каузальное учение об эмоциях и чисто спиритуалистическое, индетерминистическое, телеологическое учение об интеллектуальных страстях. Духовная и чувственная любовь проистекают каждая из своего источника: первая — из свободной, познавательной потребности души, вторая — из питательных потребностей эмбриональной жизни. Связь их настолько неясна, что мы постигаем гораздо более отчетливо их изначальную раздельность, чем их кратковременное сближение и общение. Так как духовные и чувственные страсти резко отличаются друг от друга, то естественно, что они должны стать предметом двух совершенно различных родов научного познания. Первые должны изучаться как проявления самостоятельной, свободной, духовной активности, вторые — как подчиненные зако-

нам механики проявления человеческого автоматизма. В этом уже полностью содержится идея разделения объяснительной и описательной психологии эмоций, идея, которая с такой же необходимостью предполагается картезианским учением, с какой спинозистское учение о страстях предполагает противоположное, именно единство объяснительной и описательной психологии чувств.

Развивая висцеральную теорию страстей, Декарт выдвигает в качестве непосредственной и прямой причины эмоций специфические органические состояния, заставляющие душу испытывать страсти. Пользование каким-либо благом не содержит в себе как таковое чувство радости. Но движение жизненных духов, направляющихся из мозга к мускулам и нервам, принимает такой характер, из которого должно вытекать это чувство. Расхождение между Декартом и более поздними представителями висцеральной теории заключается лишь в частностях. Декарт рассматривает в качестве непосредственной причины эмоции только изменения внутренних органов, но не внешние движения. Как говорит Сержи, его можно представить себе говорящим вместе с Джемсом: у нас не потому сжимается сердце, что мы печальны, но мы испытываем печаль, потому что наше сердце сжимается. Однако он никогда не мог бы сказать: мы испытываем страх, потому что убегаем, мы разгневаны потому, что наносим удары. В этом смысле теория Декарта ближе совпадает с тем вариантом, который ей впоследствии придал Ланге, и несколько отходит от того варианта, который развит Джемсом. Но основная идея причинного, автоматического объяснения страстей выступает в учении Декарта во всей своей грандиозной чудовищности.

Этим, как мы уже показали выше, не исчерпывается учение Декарта о причинах страстей. Оно должно быть дополнено еще двумя связанными между собой идеями, которые перебрасывают мост от его учения к современной описательной психологии эмоций. Наряду с висцеральными изменениями Декарт неоднократно называет в качестве причины эмоций восприятия, воспоминания, идею любимого, ненавистного или устрашающего объекта. Как ни старается Сержи устранить заключающееся здесь противоречие, это ему плохо удается. Правда, различение между ближайшими и отдаленными причинами как будто позволяет устранить это противоречие. Последней и ближайшей причиной страстей души является движение мозговой железы, вызываемое жизненными духами. Но отдаленными и первыми причинами страстей могут являться ощущения, воспоминания, идеи. Это в сущности полностью восприняли и позднейшие последователи Декарта. Для Джемса и Ланге точно так же ближайшая и последняя причина эмоций есть ее телесные проявления. Но и эти исследователи готовы рассматривать в качестве отдаленных причин эмоции восприятия, воспоминания и мысли.

Путаница в вопросе о причинном объяснении эмоций скрывает за собой, в сущности говоря, проблему огромной важности. С одной стороны, последними и непосредственными причинами

эмоций признаются явления, вытекающие из человеческого автоматизма и совершающиеся по чисто механическим законам. Как и подобает механическим законам, подчиненные им явления лишены всякого смысла. Ставить самый вопрос о понятности или смысле причинных связей в указанном плане столь же нелепо, как доискиваться смысла того, что катящийся шар, столкнувшийся с неподвижным, приводит его в движение посредством толчка. Здесь царит голая и абсолютная бессмыслица механических отношений. Утверждение, что надо удивляться, почему ощущение голода внутренне связано с аппетитом, звучит несколько странно, но зато до конца последовательно.

До сих пор все остается ясным. Но начиная с известного пункта оказывается, что голая бессмыслица механических отношений не исчерпывает собой всей полноты возможного причинного рассмотрения эмоций. Как ни странно, самые безразличные, самые отдаленные, самые первые причины эмоций, которые отнюдь не являются необходимыми для возникновения этих состояний и при отсутствии которых эмоции могут возникать так же свободно, как и при их наличии, стоят как раз в известном осмысленном отношении, связаны непосредственно понятной связью со своими следствиями. Если мнение есть причина эмоций, если верно, что идея любимого объекта есть причина любви, как идея ненавистного объекта есть причина ненависти, если верно утверждение Декарта, что радость проистекает из мнения, будто мы обладаем каким-либо благом, то оказывается: эмоции не только допускают, но и требуют ценностного, интенционального, т. е. связанного с определенной направленностью на объект, имманентно смыслового рассмотрения и объяснения. В этих коротких определениях целиком содержится вся методология различения высших и низших эмоций в учении Шелера.

Оба способа рассмотрения эмоциональной жизни нигде не встречаются и не пересекаются друг с другом, как две параллельные линии. Ни одно из них не нуждается в дополнении другим. Они вообще не могут быть поставлены ни в какое принципиальное отношение друг к другу. Каждая эмоция, как сказал бы Мюнстерберг, может пониматься столько же в категории причинности, сколько и с интенциональной точки зрения как духовная деятельность. Каждую эмоцию нужно рассматривать с обеих точек зрения, которые, будучи развиты до конца, приведут нас к двум различным способам понимания нашей внутренней жизни, к двум принципиально различным теоретическим дисциплинам, из которых одна описывает душевную жизнь как совокупность содержания сознания и объясняет ее, другая интерпретирует и понимает ту же самую душевную жизнь как совокупность целевых и смысловых отношений. Одна из дисциплин есть каузальная психология, другая — телеологическая и интенциональная.

Есть, конечно, и другая возможность, которую также нужно проследить до самого конца. Мы можем, пожалуй, не согласиться с Мюнстербергом, что между одной и другой психологией нет

никакого разграничения материала, что всякое чувство можно понимать столько же в категории причинности, сколько и с интенциональной точки зрения. Но тогда мы неизбежно придем вместе с Шелером к такому разграничению материала между двумя различными способами познания эмоций, при котором низшие чувствования, связанные с объектом только опосредованно, лишенные всякой имманентной направленности на предмет, совершенно недоступные осмысленному пониманию и допускающие только фактическое констатирование лежащих в их основе причинных связей, должны составить предмет объяснительной психологии, в то время как высшие чувства, которым изначально присуща имманентная направленность на объект, требуют телеологического рассмотрения их смысловых связей и зависимостей, составляя тем самым непосредственный предмет описательной психологии духа.

Обе эти возможности, которые впоследствии были реализованы в различных направлениях описательной психологией, остаются открытыми, но обе целиком содержатся как логические выводы в учении Декарта о двоякого рода причинной обусловленности эмоций. Эмоции, согласно этому учению, один раз могут рассматриваться в причинной обусловленности автоматически протекающими телесными изменениями, а другой раз — в их осмысленной зависимости от ценностных переживаний. Оба способа рассмотрения принципиально абсолютно независимы и содержат в себе истину целиком и полностью.

Точно к такому же выводу приходит и современная психология эмоций, которая стоит и падает вместе с признанием этих двух равноправных и равновозможных, независимых друг от друга способов рассмотрения эмоциональной жизни человека. Ни Дильтей, ни Мюнстерберг, ни один из сторонников описательной психологии не отрицает, как мы видели, первого картезианского принципа, строго механического причинного объяснения эмоциональной жизни. Одни, как Мюнстерберг, допускают, что всякое чувство должно составить предмет исследования в категориях причинности и в категориях цели. Другие, как Шелер, отдавая богу богово и кесарю кесарево, закрепляют за объяснительной психологией в качестве законной сферы ее владения всю область низших чувствований, а за описательной психологией духа — высшую сферу человеческих чувств. Это различие не меняет сути дела, не меняет основной идеи о неизбежности дуалистического рассмотрения эмоций.

К. Г. Ланге допускает, что, наряду с теми причинными эмоциями, которые он устанавливает в своем исследовании, возможно и такое изучение эмоций, которое в качестве их причины будет рассматривать воспоминания о прежнем страдании. Правда, это переносит вопрос не на почву физиологии. Эта задача другой науки об эмоциях. Но самоё допущение, что один раз в качестве причины эмоции будет названо воспоминание, а другой раз — вазомоторная реакция, самоё положение, что оба способа причин-

ного объяснения равноправны и самостоятельны, независимы друг от друга, возвращают нас целиком и полностью к картезианскому учению о возможности двоякого рассмотрения эмоций — под углом зрения осмысленной связи с воспоминаниями и идеями и под углом зрения механической зависимости от телесных причин. Но разве это хоть чем-нибудь отличается от идеи Мюнстерберга о том, что всякое чувство можно понимать столько же в категории причинности, сколько и с интенциональной точки зрения?

К. Г. Ланге, вероятно, очень удивился бы, если бы узнал, что много лет спустя П. Наторп[120] повторит в сущности то же самое различие двух возможных способов рассмотрения психических явлений. Поскольку речь идет о раскрытии каузальной закономерности явлений, называемых психическими, рассмотрение не может быть не чем иным, как сознательным, методически последовательным, не связанным никакими метафизическими предрассудками, естественнонаучным, преимущественно физиологическим изучением органов чувств и мозга. Это просто ветвь естествознания, которую вместо психологии лучше называть физиологией. Но наряду с этим изучением существует и другой способ познания психической жизни, собственной задачей которого является не описание и не объяснение, не выяснение причинной связи, но реконструкция, восстановление, воссоздание всей конкретности переживаемого. Поскольку психические явления требуют причинного объяснения и допускают его, постольку они составляют предмет физиологического познания. Поскольку они постигаются во всем их внутреннем своеобразии, они не требуют и не допускают никакого выяснения причинной обусловленности и могут быть познаны только с помощью полного воспроизведения переживаний во всей их конкретности, идеалом которого является не объяснение, но тавтология. Научное познание не способно по существу прибавить ничего нового к тому, что непосредственно раскрывается в самом переживании. Оно может только тавтологически утверждать, что единственное объяснение связи переживаний есть сама переживаемая связь.

К. Г. Ланге понимает, что различение психических и физических причин эмоции должно иметь далеко идущие следствия. Различные психические причины даже одних и тех же эмоций вызывают в сущности не тождественные явления. Страх привидения, например, принимает не ту форму, что страх перед неприятельской пулей (Г. Ланге, с. 60—61). Если продумать до конца эти утверждения Ланге, необходимо заключить, что истинная научная задача для данного ряда явлений не только в точном определении эмоциональной реакции вазомоторной системы на различного рода влияния, но и в совершенно закономерном выяснении форм или оттенков эмоции в зависимости от производящих ее причин. Если задача причинного объяснения не может быть признана второстепенной для естественнонаучного познания, то, очевидно, страх привидений и страх перед неприятельской

пулей как совершенно особые формы страха могут быть объяснены и научно познаны не иначе, как в связи со своими причинами. Очевидно, наряду с физиологическим объяснением эмоций, должно существовать и чисто психологическое. Но разве это не возвращает нас к картезианскому учению о возможности двоякого причинного рассмотрения страсти, причиняемой один раз движением низменных духов, а другой раз — идеей любимого или ненавистного предмета?

Между психическими и физическими эмоциями существует различие в причинах, а также в присутствии или в отсутствии сознания соответствующих причин. Причины и сознание их, как мы видели, не остаются безразличными по отношению к переживаемой эмоции, но придают ей всякий раз совершенно определенную и отличную от других форму. Если хотят различать эмоции на основании такого принципа (там же, с. 66), то, конечно, против этого ничего нельзя возразить. Совершенно естественно, что, оставаясь всецело на почве физиологии, Ланге не видит возможности провести точную границу между психическими и физическими причинами эмоций. Для него поэтому сходство между эмоциями различного происхождения (психическими и физическими) во многих случаях так сильно и так бросается в глаза, что выступает гораздо более отчетливо, чем различие между ними. Но это все до тех пор, пока мы остаемся на почве физиологии эмоций. Очевидно, если мы станем изучать эмоции в другом, психологическом, аспекте, различие окажется гораздо более существенным, чем сходство.

У. Джемс и К. Г. Ланге, поскольку они выходят за пределы чистой физиологии и развертывают исследование в плане физиологической психологии, стремясь объяснить причинным образом эмоциональное переживание как таковое, смутно чувствуют, что не могут избежать того смешения каузальной и телеологической точек зрения, которое, по верному замечанию Мюнстерберга, составляет отличительную черту всей старой психологии. Когда Ланге, описывая сущность страха, называет наряду с пульсом и цветом лица силу речи и ясность мысли, причисляя их все к тому же ряду физических симптомов страха, он самым очевидным образом допускает смешение двух разнородных аспектов в изучении эмоций. Совершенно так же и Джемс, изображая состояние гнева, которое он сводит к волнению в груди, приливу крови к лицу, расширению ноздрей, стискиванию зубов и стремлению к энергичным поступкам, явно смешивает интенциональный и каузальный подходы в исследовании эмоций. Ибо, строго говоря, что общего имеют между собой стискивание зубов и стремление к энергичным поступкам, нарушение пульса и затемнение мыслей?

В теории Джемса — Ланге содержится в скрытом виде требование дополнять способ рассмотрения эмоций другим способом, осуществленным описательной психологией чувств. Это явствует из следующего: Джемс, снова и снова продумывая свою теорию, как мы видели, приходит к утверждению, что в эмоциональных

проявлениях мы имеем не простые рефлексы, что они всегда предполагают в индивиде сознание того особенного значения и смысла, которое он влагает в данное внешнее впечатление. Страх, гнев и другие реакции и связанные с ними импульсивные действия возникают из того, что внешнее впечатление понимается индивидом и является для него предметом страха или гнева. Под этими словами охотно подписался бы Шелер, ибо они целиком содержат в себе идею интенциональной направленности эмоции на объект и необходимость выяснения смысловых связей и зависимостей, которые определяют и обусловливают всякий раз наши конкретные чувства.

Чтобы не оставалось никакого сомнения в том, что идея описательной психологии чувств содержится как внутренне необходимое звено в цепи картезианских рассуждений и в самой последовательной из всех объяснительных теорий эмоций — в гипотезе Джемса — Ланге, напомним учение Декарта о чисто духовных, интеллектуальных страстях, об эмоциях, которые могут совершаться во всем своем великолепии независимо от тела, то учение, в котором Сержи видит руины висцеральной теории. Эмоция, говорит он, согласно данному учению, непосредственно связана с представлениями и их игрой. В этом пункте картезианского учения Сержи справедливо видит переход физиологического направления в интеллектуалистическое и финалистическое, переход к абсолютно новым точкам зрения, открывающим новые горизонты. Это новое направление, эти новые точки зрения, эти новые горизонты нами уже прослежены достаточно детально и хорошо нам знакомы. Они представляют собой не что иное, как методологическую систему описательной психологии чувств.

Равным образом и учение Джемса о независимых эмоциях, проистекающих из чистой активности нашей мысли, не может предположить ничего иного в качестве своего дальнейшего развития, кроме последовательной описательной психологии чувств, которая рассматривает эмоцию не в категориях причинности, но с интенциональной точки зрения — как духовную деятельность, с помощью раскрытия мира внутренних отношений, определяющих жизнь нашего духа. Что, кроме интуитивного понимания непосредственно раскрывающихся в переживании смысловых связей и отношений, остается на долю научного познания этих чисто спиритуалистических чувствований?

На этом мы можем закончить исследование проблемы причинного объяснения в современной психологии эмоций и резюмировать результаты, к которым оно нас приводит. Мы видели, что натуралистическая теория эмоций соблазняла научную мысль заключенной в этой теории возможностью истинного, т. е. причинного, познания природы человеческих чувствований. Это была та высшая точка, к которой устремлялись гипотезы Ланге и Джемса и в достижении которой они видели высшее торжество. Создание психологии эмоций как науки в собственном смысле

слова и опрокидывание метафизических учений в этой области казалось им непосредственно связанным с доказательством возможности строго причинного объяснения эмоциональной жизни. Но именно на проблеме причинности натуралистическая теория потерпела самую головокружительную катастрофу. Высшая точка, к которой она устремлялась, оказалась пунктом ее крушения и гибели. Проблема причинности расколола современную психологию эмоций на две непримиримые части, внутренне предполагающие друг друга.

Причинное объяснение потребовало в качестве дополнения рассмотрения телеологического. Объяснение незаметным образом переросло в интуитивное понимание. Вместо ниспровержения метафизических учений психология должна была прибегнуть к ним как к своему последнему и единственному основанию. Столп и утверждение истины в учении об эмоциях были найдены в метафизике XVII в. Джемс объявил, что чисто описательная литература по этому вопросу, начиная от Декарта и до наших дней, представляет самый скучный отдел психологии, для того чтобы Дильтей мог обратиться к метафизической антропологии XVII в. как к единственному источнику живой психологии, путь к которой лежит через усовершенствование методов старого спиритуализма.

В этом смысле, думается нам, Рибо, в общем очень снисходительно относящийся к теории Ланге и Джемса, глубже других понял и внутреннюю зависимость этой теории от картезианского учения, указав на то, что их теория привела к взятию назад несправедливых нападок на мысль Декарта, высказанную им в «Трактате о Страстях души», и внутреннюю несостоятельность этой теории, проявляющуюся яснее всего в постановке и решении проблемы причинности. «Единственный пункт,— говорит Рибо,— относительно которого я расхожусь с теорией Джемса—Ланге, которая кажется мне наиболее приближающейся к истине попыткой объяснить факты со стороны тех, которые не допускают психологических сущностей, касается расположения теории, но не ее основания. Очевидно, что наши оба автора, бессознательно или нет, становятся на ту же дуалистическую точку зрения, как и те представители господствующего мнения, которым они возражают. Вся разница между ними во взгляде на причины и следствия: одни видят причину в эмоциях, другие—в физических явлениях.

По-моему же, понятие о причине и следствии, всякое вообще отношение причинности должно быть исключено из этого вопроса и дуалистическое положение следует заменить унитарным монистическим. Учение Аристотеля о материи и форме мне кажется уже более верным, если под материей понимать соматические факты, а под формой—соответствующие им психические состояния. Впрочем, оба эти термина тесно связаны и могут быть разделены только путем абстракции. Благодаря существенной в старинной психологии традиции отношения души и тела изучались отдельно. Новейшая же психология не так смотрит на это. В

самом деле, если вопросу придать метафизическую окраску, то мы уже имеем дело не с психологией. Если же он остается в сфере экспериментальной, то тогда их нечего разделять, ибо они идут рука об руку. Сознание не должно быть разъединено с его физическими условиями: они составляют одно естественное целое, которое следует изучать как таковое.

Рассматривая отдельную эмоцию, мы находим, что движения лица и тела, вазомоторные волнения, дыхательные и секреторные изменения выражают объективно то, что соответствующее им состояние сознания, классифицированное по качествам на основании внутреннего наблюдения, выражает субъективно. Это одно и то же явление, выраженное в двоякой форме. Эта унитарная точка зрения, более соответствующая природе вещей и современным тенденциям психологии, избавляет нас, на мой взгляд, на практике от многих возражений и трудностей» (Т. Рибо, 1897, с. 107—108).

Самым замечательным в критике Рибо является разоблачение истинной сущности теории Джемса и Ланге. Рибо показывает, что их теория есть то, что она есть, т. е. просто вывернутая наизнанку классическая теория причинно-следственной зависимости между эмоциональными переживаниями и проявлениями. Вся парадоксальность данной теории заключается только в том, что она показывает нам изнанку классической теории. Но в сущности новая теория целиком сохраняет дуалистическую основу старой. И та и другая рассматривают эмоциональные переживания и проявления с точки зрения причинно-следственной зависимости. Вся разница между ними во взгляде на причины и следствия. Одни видят причину в эмоциях, другие — в физических явлениях. Причина и следствие поменялись местами, но члены причинно-следственной зависимости остались те же.

Т. Рибо прав и тогда, когда видит единственное средство преодоления дуалистичности и метафизичности теории Джемса — Ланге в полном устранении отношения причинности, понятия о причине и следствии из объяснения этого вопроса. Он предлагает дуалистическое понимание заменить монистическим, гипотезу параллелизма и взаимодействия — гипотезой психофизического тождества. Но тем самым проблема причинности в современной психологии эмоций непосредственно перерастает в психофизическую проблему; ее анализ и должен составить заключительное звено в нашем рассмотрении итогов, к которым нас привело исследование старой и новой картезианской психологии страстей в их внутренних отношениях друг к другу.

20

Первое, самое наивное и непосредственное впечатление, которое неизбежно возникает при ознакомлении с теорией Джемса — Ланге (с момента ее возникновения и до наших дней), заключается в представлении, что она непосредственно связана с каким-то

определенным решением психофизической проблемы в области учения об эмоциях. Поэтому указанная теория раньше всего внушает иллюзию материалистичности. Иллюзия неоднократно разоблачалась, но продолжает стойко держаться и сохраняется, возобновляясь у каждого нового исследователя, до самого последнего времени.

Уже сам Джемс должен был сопроводить свою теорию оправдательным тезисом: «Моя точка зрения не может быть названа материалистической». Очевидно, ему было ясно, что этот вопрос нуждается в разъяснении, что его теория может с первого взгляда представиться читателю как теория, ведущая к низменному, материалистическому истолкованию явлений эмоций. «В ней не больше и не меньше материализма,— говорит Джемс о своей теории,— чем во всяком взгляде, согласно которому наши эмоции обусловлены нервными процессами» (1902, с. 313). В общей форме это положение не вызывает ничьего возмущения, но в нем легко усматривают материализм, как только речь заходит о тех или других частных видах эмоции. «Такие процессы всегда рассматривались платонизирующими психологами как явления, связанные с чем-то чрезвычайно низменным. Но каковы бы ни были физиологические условия образования наших эмоций, сами по себе как душевные явления они все равно должны остаться тем, что они есть. Если они представляют собой глубокие, чистые, ценные по значению психические факты, то с точки зрения любой теории происхождения они останутся все теми же глубокими, чистыми, ценными для нас по значению, каковыми они являются с точки зрения нашей теории. Они заключают в самих себе внутреннюю меру своего значения, и доказывать при помощи предлагаемой теории эмоций, что чувственные процессы не должны непременно отличаться низменным, материальным характером, так же логически несообразно, как опровергать предлагаемую теорию, ссылаясь на то, что она ведет к низменному, материалистическому истолкованию явлений эмоций» (там же, с. 313).

У. Джемс был, конечно, совершенно прав, когда он с самого начала пытался таким образом выяснить отношение своей теории к материализму. Конечно, только наивному взгляду может показаться, что эта теория непременно содержит в себе материалистическое объяснение природы наших чувствований. Обусловленность психических процессов нервными процессами — непреложная истина для всей научной психологии, и любая физиологическая теория, в чем бы она ни видела материальную причину нервных процессов, оставляет открытым вопрос о материалистическом или идеалистическом истолковании отношения между нервными и психическими процессами. В этом смысле периферическая теория эмоций действительно содержит в себе не больше и не меньше материализма, чем центральная или любая другая.

Поэтому ничем, кроме иллюзии, не может представиться нам точка зрения современной реактологической психологии и бихеви-

оризма, согласно которой теория Джемса должна рассматриваться как живое воплощение материалистической, естественнонаучной мысли. Если Джемсу приходилось защищать свою теорию от врагов, обвинявших его в материализме, то исследователям наших дней приходится защищать эту теорию от ее друзей и последователей, восхваляющих ее за материалистичность. До сих пор данная теория рассматривалась как революционная, ярко и выпукло подчеркивающая материальные, чисто физиологические корни психических состояний. До сих пор в ней склонны видеть проявление необычной смелости. Этим психология поведения наших дней оказывает теории Джемса такую же незаслуженную честь, как современные Джемсу противники — возводя на нее ничем не заслуженное обвинение.

Это представляется настолько очевидным и ясным после разъяснения Джемса и сказанного нами выше по поводу материалистического и идеалистического характера рассматриваемой теории, что вопрос кажется совершенно исчерпанным с самого начала путем простого разоблачения широко распространенной иллюзии. Но это не вполне так. Иллюзия остается иллюзией. Теория Джемса содержит в себе не больше и не меньше материализма, благодаря тому что она развивает гипотезу о периферическом происхождении эмоций, чем противоположная ей теория, настаивающая на их центральном происхождении. И все же вопрос гораздо более запутанный и сложный, чем может показаться с первого взгляда. Он никак не исчерпывается путем простого разоблачения иллюзии. Он настоятельно требует исследования.

Один факт, думается нам, имеет первостепенное значение для выяснения вопроса: несмотря на разъяснение самого Джемса о мнимой материалистичности его теории, она все же вошла в историю психологии как материалистическое истолкование эмоциональной жизни и разделила в этом отношении судьбу многих объяснительных теорий, которые, по верному замечанию Дильтея, не раз связывались с материализмом. Последний во всех своих оттенках есть объяснительная психология. Всякая теория, полагающая в основу связь физических процессов и лишь включающая в них психические факты, есть материализм (В. Дильтей, 1924, с. 30).

Историческая судьба теории Джемса выразилась прежде всего в том, что она не только была воспринята наиболее радикальным крылом современной естественнонаучной психологии, но и породила по своему образу и подобию влиятельное и мощное направление, которое принято называть психологией реакции, или поведения. В сущности теория Джемса, как мы показали выше, предвосхитила учение об условных рефлексах как об основе поведения. Мы уже приводили мнение одного из исследователей о том, что вся современная психология реакций построена по образу и подобию висцеральной гипотезы Джемса — Ланге. Таким образом, стихийно стремящаяся к естественнонаучному матери-

ализму биологическая и механистическая психология оказалась прямой продолжательницей дела Джемса. Теория Джемса, однако, оказалась способной войти в контакт со спиритуалистическими направлениями психологии. Если связь этой теории с естественнонаучной психологией становится сама собой понятной в свете объединяющих их натуралистических и механистических принципов, то ее связь со спиритуалистическими направлениями нуждается в выяснении.

Эта связь становится понятной только тогда, когда мы вспомним уже не раз отмеченный нами факт, что противоположные полюсы современной психологии внутренне соединены между собой и предполагают друг друга, что их соединение восходит к Декарту, который, как мы выяснили, может считаться отцом механистической психологии и спиритуалистической психологии, не исключающих, но дополняющих друг друга. Мы не раз видели, как в последовательно механистическом объяснении какого-либо вопроса спиритуалистическая теория находила главное основание для собственных построений. Такую же роль играет теория Джемса—Ланге в современной спиритуалистической психологии, ярчайшим примером которой может служить психология А. Бергсона.

Прежде чем выяснить отношение Бергсона к теории Джемса—Ланге и связь, с помощью которой он включает эту теорию в свою психологию чувства, мы должны в соответствии с интересующей нас сейчас психофизической проблемой подчеркнуть этот именно аспект теории. Воспользуемся известными тезисами Бергсона о психофизическом параллелизме. В них содержится в сжатом виде основной взгляд этого великого философа современности на метафизические основания психологии.

1. Если, говорит Бергсон, психофизический параллелизм не отличается ни строгостью, ни полнотой, если не существует абсолютного соответствия между каждой определенной мыслью и определенным мозговым состоянием, то дело опыта отмечать с растущей приближенностью те именно пункты, где начинается и где кончается параллелизм.

2. Если такое опытное исследование возможно, оно будет измерять все точнее и точнее отклонение между мыслью и физическими условиями, в которых эта мысль работает. Другими словами, оно будет все лучше и лучше разъяснять нам отношение человека—существа мыслящего к человеку—существу живущему и этим самым разъяснять то, что можно назвать значением жизни.

3. Если значение жизни может определяться эмпирически все с большей и большей точностью и полнотой, то возможна и метафизика позитивная, т. е. бесспорная и способная к прямолинейному и бесконечному прогрессу.

В приведенных тезисах выражена не только основная цель метафизической психологии, но и метод, с помощью которого она пытается достигнуть цели, и предпосылки этого метода. Предпо-

сылки и должны нас интересовать в первую очередь, ибо в них раскрывается значение психофизической проблемы для всей спиритуалистической психологии и то место, которое она занимает в системе прикладной метафизики. Она сводится к эмпирическому определению значения жизни и составляет основную задачу метафизической психологии. Таким образом, предполагается, что значение жизни будет возрастать, по мере того как мы сумеем все с большей и большей полнотой отмечать и констатировать взаимное расхождение духовного и телесного в человеке.

Несомненная правота такой постановки вопроса о психофизическом параллелизме в том, что, как отметил Г. Белло[121] во время дискуссии по тезисам Бергсона, она не только возвращает нас к нерешенным проблемам картезианской метафизики, но пытается поставить их на твердую, научную почву фактического исследования. Эту тенденцию современной философии — перенести решение ряда центральных философских проблем в область конкретного научного знания, равно и встречную тенденцию современной научной психологии — сознательно включить в круг психологических исследований ряд философских проблем, непосредственно содержащихся в эмпирическом исследовании, мы уже отмечали выше как одну из самых знаменательных тенденций нашей науки, неуклонно ведущую к сближению философии с психологией и глубочайшему преобразованию всего строя и содержания современного философского и психологического исследования. В известном смысле, повторяем, и настоящее исследование порождено этой тенденцией и пытается найти в ней свое внутреннее оправдание.

Метод Бергсона является новым, говорит Белло по поводу приведенных тезисов, скорее благодаря оригинальному и остроумному употреблению, какое сделал из него автор, чем сам по себе. Едва ли нужно напоминать здесь, что бóльшая часть картезианской метафизики была вызвана проблемой отношений души и тела. Картезианцы ставили главной задачей перенести эти отношения в область постижимости, тогда как Бергсон единственный остается на почве фактов, и именно на констатировании известной нерегулярности взаимных психофизиологических отношений он хочет вывести необходимость спиритуалистической гипотезы.

А. Бергсон в ответе на сделанные ему возражения Белло не только не счел нужным отвергать связь между предлагаемым им способом защиты спиритуалистической гипотезы и картезианским, но и возражал против противопоставления предложенного им метода защиты спиритуалистической гипотезы методу Декарта. Бергсон полагает, что критерий постижимости у картезианских философов был гораздо более эмпирическим, чем они сами думали. Он полностью соответствовал углублению их собственного опыта. Но наш опыт гораздо более обширен. Он так расширился, что мы должны были отказаться — вот уже скоро столетие — от надежды на универсальную математику. Постижимость распространяется, таким образом, мало-помалу на новые понятия, сами

подсказанные опытом. «Имели бы картезианцы, если бы они сейчас воскресли, то же самое представление о постижимости?» — спрашивал Бергсон, полагая, что окажется неверным методу Декарта, требуя пересмотра картезианского учения в том именно направлении, в котором бы потребовал, без сомнения, этого пересмотра и философ-картезианец, имея перед собой более гибкую науку и допуская в явлениях природы сложность организации, которую трудно обратить в математический механизм. Если методом называть известное положение разума относительно своего предмета, известное приспособление форм исследования к их материи, то это не значит оставаться верным методу, сохраняя его приемы, в то время как материалы, которыми этот метод оперирует, радикально изменились. Остаться верным известному методу — значит постоянно преобразовывать форму по материи, так чтобы всегда сохранять ту же самую точность приспособления.

Таким образом, Бергсон совершенно сознательно идет в защите спиритуалистической гипотезы по пути, начертанному Декартом. Отличие метафизики Бергсона от картезианской заключается только в том, что он пытается усовершенствовать метод, расширить границы постижимости в соответствии с более богатым научным опытом и, отказываясь от введенных Декартом конкретных приемов исследования, остается верным его методу, приспосабливая его к современному научному знанию. А. Бергсон, по его собственным словам, только принимает науку в ее теперешней сложности и, имея материалом эту новую науку, возобновляет усилие, аналогичное тому, которое делали древние метафизики, опираясь на науку более простую. Он порывает с математическими рамками, он считается и с науками биологическими, психологическими, социологическими и на этом широком базисе строит новую метафизику. В этом единственное отличие его спиритуализма от картезианского. Основной метод Декарта — метод явственного постижения совершенной разделенности духа и тела, перенесенный на почву современного научного знания и превратившийся в метод опытного исследования отклонений мысли от физических условий, в которых она работает, и является методом Бергсона. После этого у нас не должно возникнуть особенных затруднений в понимании того способа, с помощью которого Бергсон включает теорию Джемса — Ланге в свою спиритуалистическую концепцию. Напротив, следует скорее удивляться тому, с какой точностью и с каким совпадением даже в деталях восстанавливается в новой исторической обстановке, в новом научном выражении во всей полноте логическая структура картезианского учения о страстях души, в которой спиритуалистический принцип уравновешивается механистическим. Этого же логического равновесия достигает Бергсон с помощью дополнения своей спиритуалистической концепции механистической теорией эмоций.

В исследовании интенсивности психологических состояний,

которое Бергсон предпосылает как введение анализу проблемы свободы воли, он всецело принимает теорию Джемса относительно центростремительного происхождения ощущений усилия. Он применяет теорию органических ощущений как основы переживания интенсивности психических состояний, с одной стороны, к вниманию с сопровождающим его интеллектуальным усилием, с другой — к бурным или острым эмоциям (гнев, страх, некоторые разновидности радости, печали, страсти и желания). Физиологические движения, сопровождающие внимание, составляют не причину и не результат явлений, но часть его, как бы выражают внимание протяженным в пространстве. При напряжении внимания, когда его работа выполнена, нам еще кажется, будто мы сознаем возрастающее напряжение души, растущие нематериальные усилия. Проанализируйте это впечатление, и вы в нем обнаружите одно только чувство мускульного напряжения, расширяющегося пространственно или изменяющего свою сущность; например, напряжение переходит в давление, усталость и боль.

Бергсон не видит никакого существенного различия между напряжением внимания и тем, что можно было бы назвать усилием душевного напряжения, например острым желанием, яростным гневом, страстной любовью, бешеной ненавистью. Поэтому интенсивность сильных эмоций есть не что иное, как сопровождающее их мускульное напряжение. Бергсон цитирует в качестве замечательного данное Дарвином и приводимое Джемсом описание физиологических симптомов страха: «Мы, конечно, не согласны с Джемсом,— говорит Бергсон,— что эмоция страха сводится к сумме этих органических ощущений: в чувство гнева всегда входит несводимый психический элемент, хотя бы это была только идея ударить или бороться, о которой говорит Дарвин и которая придает стольким различным движениям общее направление. Но если эта идея определяет направление эмоционального состояния и ориентацию сопутствующих движений, то возрастающая интенсивность самого состояния, нам кажется, есть не что иное, как все более и более глубокое потрясение организма. Исключите все следы потрясения организма, все слабые попытки мускульного сокращения, и от чувства гнева у вас останется одна только идея, или, если вы не хотите отказаться от эмоции, эмоция, лишенная интенсивности».

Последние слова Бергсона не оставляют никакого сомнения в том, что его несогласие с Джемсом (Бергсон видит это несогласие в наличии несводимого к периферическим ощущениям психического элемента — идею ударить или бороться) чисто иллюзорно: и Джемс признавал всегда наличие такой идеи в эмоции, но только отказывал ей, точно так же, как это делает и Бергсон, в специфическом качестве переживаемого чувства, оставляя за ней лишь право называться чисто интеллектуальным состоянием. Но ведь то же самое точь-в-точь делает и Бергсон. Его утверждение: исключите все следы потрясения организма, все слабые попытки мускульного сокращения, и от чувства гнева у нас останется одна

только идея — буквально повторяет утверждение Джемса: подавите в себе внешнее проявление страсти, и она замрет в вас, вычтите одно за другим из этого состояния нашего сознания все ощущения связанных с ним телесных симптомов, и в конце концов от данной эмоции ничего не останется; гнев будет совершенно отсутствовать, и в остатке получится только спокойное, бесстрастное суждение, всецело принадлежащее интеллектуальной области, т. е. та идея ударить или бороться, о которой говорит Бергсон.

Положение Бергсона даже по синтаксической структуре совершенно аналогично такому же утверждению Ланге: уничтожьте у испуганного человека все физические симптомы страха — что тогда останется от его страха? Бергсон цитирует Спенсера, который говорит, что интенсивный страх выражается в крике, в усилии скрыться или спрятаться, в подергиваниях или в дрожи. Мы идем еще дальше, говорит Бергсон, и утверждаем, что эти движения составляют часть самого чувства страха; они превращают чувство страха в эмоцию, способную проходить через различные степени интенсивности. Подавите всецело эти движения — и более или менее интенсивный страх сменится идеей страха, интеллектуальным представлением опасности, которую нужно избегнуть. То же самое можно сказать про острое чувство радости, печали, желания, отвращения, даже стыда, причина интенсивности которых коренится в автоматических реактивных движениях, производимых организмом и воспринимаемых сознанием.

С этой точки зрения Бергсон не видит существенного различия между глубокими чувствами, например чувством жалости, эстетическим чувством и другими, и острыми сильными эмоциями, которые только что были названы. Сказать, что любовь, ненависть, желание возрастают по силе,— значит сказать, что они проецируются наружу, что они излучаются на поверхность, что периферические ощущения заменяют внутренние элементы. Но независимо от того, каковы эти чувства, поверхностные или глубокие, резкие или обдуманные, их интенсивность всегда состоит из множества простых состояний, которые наше сознание смутно различает.

А. Бергсон, таким образом отказываясь, по его собственным словам, видеть в аффективном состоянии что-нибудь иное, кроме психического выражения сотрясения организма или внутреннего отклика на внешние причины, полностью становится на точку зрения Джемса.

Теория Джемса — Ланге находит себе столь же прочное место в спиритуалистической психологии чистого духа, как и в естественнонаучной психологии поведения. Если мы спросим, какую функцию может выполнять в спиритуалистической психологической системе эта теория, чем она может подкреплять психологию духа, какую вспомогательную задачу она может решать в общей защите метафизической гипотезы, какова ее роль в этой систе-

ме,— короче говоря, для чего она нужна возрождаемому картезианскому методу, мы не сумеем дать другого ответа, кроме указания, что натуралистическая теория эмоций выполняет в неокартезианском учении совершенно ту же роль, какую она выполняла в учении самого Декарта: принизить страсти — этот основной феномен двойственной природы человека — до простых проявлений бездушного автоматизма нашего тела и тем самым расчистить путь к признанию абсолютно индетерминированной, свободной, не зависящей от тела духовной воли.

А. Бергсон поэтому совершенно прав, когда говорит, что, защищая спиритуалистическую гипотезу, он притязает на продолжение работы картезианцев, но считаясь с большей сложностью теперешней науки. Вот почему мы вправе рассматривать тот факт, что он включает в психологию чувств теорию Джемса — Ланге, очень важным в симптоматически принципиальном отношении. Факт указывает на то, что теория Джемса — Ланге, представляющая собой, как мы видели, развитие одной лишь несамостоятельной части картезианского учения, приобретает свой смысл и истинное значение, только будучи вновь возвращена в состав этого целого. Таким образом, картезианское учение, включающее в себя прототип всех механических теорий эмоциональной жизни, с одной стороны, и учение Бергсона, воссоединяющее натуралистическую и спиритуалистическую части старой концепции на научной почве современного естествознания, с другой, освещают нам философскую природу рассматриваемой теории. Они показывают, чем она была при зарождении, до того, как отдифференцировалась и отпочковалась от сложного идейного целого, в составе которого она возникла, и чем она неизбежно должна стать при полном завершении, будучи вновь включена в целую систему, органическую и оторванную часть которой она составляет. Самое замечательное, что эта теория, как мы уже отмечали, сохраняет в новой, спиритуалистической системе ту же самую роль, которую она выполняла в картезианском учении. Она низводит до уровня простого автоматизма наши страсти, для того чтобы высоко вознести над ними свободную деятельность духа.

Что это действительно так, мы можем убедиться из исследования Бергсона, посвященного отношениям между духом и телом. Здесь Бергсон целиком принимает и доводит до логического предела чисто механистическое воззрение на деятельность мозга. Он стремится доказать, что мозг есть только орудие действия, орган, способный создавать двигательные автоматизмы, но не содержащий в себе никаких других возможностей. Вполне согласно с духом механистического естествознания Бергсон старается проследить шаг за шагом прогресс внешнего восприятия, начиная с амебы и кончая высшими позвоночными. Он находит, что уже в состоянии простого комочка протоплазмы живая материя обладает раздражимостью и сократимостью, что она отзывается на внешние влияния, реагирует на них механически, физически и химически. Поднимаясь выше в ряду организмов, мы замечаем

физиологическое разделение труда, появление дифференциации и соединение в систему нервных клеток. Вместе с тем животные начинают реагировать на внешнее раздражение более разнообразными движениями, но все время речь продолжает идти об автоматической двигательной реакции.

У высших позвоночных создается, без сомнения, коренное различие между чисто автоматическими актами, которыми всегда заведует спинной мозг, и сознательной активностью, которая требует вмешательства головного мозга. И можно было бы вообразить, что здесь полученное извне впечатление, вместо того чтобы распространяться в виде движений, одухотворяется в познание. Но достаточно сравнить строение головного и спинного мозга, чтобы убедиться, что между функциями головного мозга и рефлекторной деятельностью спинного существует лишь различие в сложности, а не по существу, полагает Бергсон.

Это основная идея философии Бергсона. Функции головного мозга по существу, принципиально ничем не отличаются от рефлекторной деятельности спинного. Это значит, что все развитие восприятия, начиная с амебы и кончая высшими позвоночными и человеком, не приводит к возникновению ничего существенно нового, если рассматривать с точки зрения организации физиологических условий. Развитие есть только усложнение того автоматизма, который уже заложен в организме амебы, и разница между функциями головного мозга человека и раздражимостью и сократимостью простого комочка протоплазмы только в сложности, но не в существе. Не видеть принципиального различия между деятельностью головного мозга и спинного, сводить, далее, рефлекторную деятельность спинного мозга к большему разнообразию двигательных автоматизмов по сравнению с активностью амебы — значит отрицать развитие как процесс непрерывного возникновения новообразований, значит сводить всю высшую церебральную деятельность к автоматизму простого рефлекса и еще ниже — к раздражимости протоплазмы.

* * *

В задачу настоящего исследования ни в какой мере не входит анализ бергсоновского учения об отношении тела к духу. Для нас важно только, завершая рассмотрение судьбы картезианского учения о страстях в современной психологии, показать, что это учение поляризовалось в отношении заключенных в нем противоречивых принципов и нашло свое воплощение в крайних механистических и спиритуалистических концепциях современной психологии.

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА АКТЕРА[1]

Вопрос о психологии актера и театральном творчестве в одно и то же время чрезвычайно старый и совершенно новый.

С одной стороны, не было, кажется, ни одного сколько-нибудь значительного театрального педагога или критика, ни одного вообще человека театра, который так или иначе не ставил бы этого вопроса и который в практической деятельности, игре, преподавании, оценках не исходил бы из того или иного понимания психологии актера. Многие из театральных деятелей создали чрезвычайно сложные системы актерской игры, где нашли конкретное выражение не только чисто художественные устремления их авторов, не только каноны стиля, но и системы практической психологии актерского творчества. Такова, например, известная система К. С. Станиславского, полного теоретического оформления которой мы, к сожалению, до сих пор еще не имеем.

Если попытаться проследить истоки театральной психологии, они уведут нас далеко назад, и мы увидим большие и трудноразрешимые проблемы этой области, которые в течение столетий в различной форме волновали умы лучших представителей театра. Тот вопрос, который ставит Д. Дидро[2] в знаменитом «Парадоксе об актере», уже предвосхищает самые острые споры между различными современными театральными системами, а он, в свою очередь, был предвосхищен рядом театральных мыслителей, которые задолго до Дидро ставили его в несколько иной форме, но в той же плоскости и так же, как его ставит Дидро.

Есть что-то основное в этой постановке вопроса, и, когда внимательно начинаешь изучать ее историческое развитие, неизбежно убеждаешься: очевидно, она коренится в самой сущности актерского творчества, как оно раскрывается непосредственному пониманию, которое еще всецело руководится наивным изумлением перед новым психологическим феноменом.

Если, таким образом, в театральных системах проблема психологии актера при всех изменениях сохранила в качестве центрального парадокс об актерской эмоции, то уже в новое время к той же самой проблеме были проложены пути от исследований другого рода. Новые исследования начинают вовлекать актерскую профессию в общий круг исследований по психологии профессий, выдвигая на первый план психотехнический подход к актерскому ремеслу. В центре внимания обычно вопрос о том, как должны быть развиты некоторые общие

качества и черты человеческой одаренности, чтобы обеспечить их носителю успех в области театрального творчества. Создаются тесты для исследования фантазии, моторики, словесной памяти, возбудимости актеров, на этом основании составляется профессиограмма актерского труда совершенно по тому же принципу, по какому составляются аналогичные психограммы всякой другой профессии, и затем по реестру установленных качеств подбираются к данной профессии люди, наиболее соответствующие этому списку.

Только в самое последнее время мы замечаем попытку преодолеть недостатки того и другого подхода к интересующей нас проблеме и поставить ее по-новому. В этом смысле и имеются в виду работы нового типа, в этом смысле мы и назвали проблему психологии актера вопросом совершенно новым и почти не исследованным.

Легче всего определить новый подход к старой проблеме путем противопоставления его двум прежним направлениям. Они имеют общий недостаток сверх того своеобразного коренного методологического порока, который характеризует каждое из них в отдельности и который до известной степени является противоположным в одной и другой системе исследования.

Общий недостаток прежних направлений — полный эмпиризм, попытка исходить из того, что есть на поверхности, констатировать факты, непосредственно схваченные, возводить их в ранг научно вскрытой закономерности. И хотя эмпирика, с которой имеют дело люди театра, есть часто область явлений, глубоко своеобразных и чрезвычайно значительных в общей сфере культурной жизни, хотя здесь оперируют такими фактами, как сценические создания великих мастеров, научное значение этих материалов не выходит за пределы собирания фактических данных и общих размышлений к постановке проблемы. Таким же радикальным эмпиризмом отличаются и психотехнические исследования актерского труда, которые в одинаковой мере не умеют подняться над непосредственно фактическими данными и охватить их общим, заранее заданным методологическим и теоретическим пониманием предмета.

Кроме того, как уже сказано, у каждого из этих направлений есть особый недостаток.

Сценические системы, идущие от актера, от театральной педагогики, от наблюдений, полученных на репетициях и во время спектакля, и являющиеся обычно огромными обобщениями режиссерского или актерского опыта, ставят во главу угла специфические, своеобразные, присущие только актеру особенности переживания, забывая о том, что эти особенности должны быть поняты на фоне общих психологических закономерностей, что актерская психология составляет только часть общей психологии и в абстрактно-научном, и в конкретно-жизненном значении этого слова. Когда же эти системы пытаются опереться на общую психологию, попытки оказываются более или менее случайной

связью на манер той, которая существует между системой Станиславского и психологической системой Т. Рибо.

Психотехнические исследования, напротив, упускают из виду всю специфичность, все своеобразие актерской психологии, видя в творчестве актера лишь особое сочетание тех самых психических качеств, которые в другом сочетании встречаются в любой профессии. Забывая, что деятельность актера сама есть своеобразное творчество психофизиологических состояний, и не анализируя эти специфические состояния во всем многообразии их психологической природы, исследователи-психотехники растворяют проблему актерского творчества в общей и притом банальной тестовой психологии, оставляя без внимания актера и все своеобразие его психологии.

Новый подход к психологии актерского творчества характеризуется прежде всего попыткой преодолеть радикальный эмпиризм одной и другой теории и постигнуть психологию актера во всем качественном своеобразии ее природы, но в свете более общих психологических закономерностей. Вместе с этим фактическая сторона вопроса приобретает совершенно иной характер — из абстрактной она становится конкретной.

Если прежде свидетельство того или иного актера, той или иной эпохи всегда рассматривалось с точки зрения вечной и неизменной природы театра, то сейчас исследователи подходят к данному факту прежде всего как к историческому факту, который совершается и который должен быть понят раньше всего во всей сложности его исторической обусловленности. Психология актера ставится как проблема конкретной психологии, и многие непримиримые точки зрения формальной логики, абстрактные противоречия различных систем, одинаково подкрепленных фактическими данными, получают объяснение как живое и конкретное историческое противоречие различных форм актерского творчества, менявшихся от эпохи к эпохе и от театра к театру.

Например, парадокс об актере Дидро заключается в том, что актер, изображающий сильные душевные страсти и волнения на сцене и доводящий зрительный зал до высшего эмоционального потрясения, сам остается чуждым и тени этой страсти, которую он изображает и которой потрясает зрителя. Абсолютная постановка вопроса Дидро звучит так: должен ли актер переживать то, что он изображает, или его игра является высшим «обезьянством», подражанием идеальному образцу? Вопрос о внутреннем состоянии актера во время сценической игры — центральный узел всей проблемы. Должен или не должен актер переживать роли? Этот вопрос подвергался серьезным обсуждениям, причем в самой постановке вопроса предполагалось, что он допускает единое решение. Между тем уже Дидро знал, противополагая игру двух актрис — Клерон[3] и Дюмениль[4], что они являются представительницами двух различных и одинаково возможных, хотя и противоположных в известном смысле, систем актерской игры.

В той новой постановке вопроса, о которой мы говорим,

парадокс и заключенное в нем противоречие находят разрешение в историческом подходе к психологии актера.

По прекрасным словам Дидро, «прежде чем произнести: «Вы плачете, Заира» или «Вы останетесь там, дочь моя»,— актер долго прислушивается к себе, прислушивается и в тот момент, когда потрясает вас, и весь его талант не в том, чтобы чувствовать, как вы думаете, но в том, чтобы тончайшим образом передать внешние знаки чувства и тем обмануть вас. Крики его скорби отчетливо обозначены в его слухе, жесты его отчаянья запечатлены в его памяти и были предварительно выучены перед зеркалом. Он знает с совершенной точностью, в какой момент вынуть платок и когда у него потекут слезы. Ждите их при определенном слове, на определенном слоге, не раньше и не позднее. Этот дрожащий голос, эти обрывающиеся слова, эти придушенные или протяжные звуки, содрогающие тело, подкосившиеся колени, обмороки, бурные вспышки — все это чистейшее подражание, заранее вытверженный урок, патетическая гримаса, великолепное «обезьянство» (Д. Дидро, 1936, с. 576—577).

Все страсти актера и их выражение, как говорит Дидро, входят составной частью в систему декламации, они подчинены некоему закону единства, они определенным образом подобраны и гармонически размещены.

В сущности в парадоксе Дидро смешаны две очень близко стоящие друг к другу и все же вполне не сливающиеся вещи. Во-первых, Дидро имеет в виду сверхличный, идеальный характер тех страстей, которые передает со сцены актер. Это идеализированные страсти и движения души, они не натуральные, жизненные чувствования того или иного актера, они искусственны, они созданы творческой силой человека и в такой же мере должны рассматриваться в качестве искусственных созданий, как роман, соната или статуя. Благодаря этому они по содержанию отличаются от соответствующих чувствований самого актера. «Гладиатор древности,— говорит Дидро,— подобно великому актеру, и великий актер, подобно античному гладиатору, умирают не так, как умирают в постели. Они должны изобразить перед нами иную смерть, чтобы нам понравиться, и зритель чувствует, что голая правда движения, не приукрашенная, была бы мелкой, противоречила бы поэзии целого» (там же, с. 581).

Не только с точки зрения содержания, но и со стороны формальных связей и сцеплений, определяющих их протекание, чувства актера отличаются от реальных жизненных чувств. «Но очень хочется рассказать вам,— говорит Дидро,— в качестве примера, как актер и его жена, ненавидевшие друг друга, вели в театре сцену нежных и страстных любовников. Никогда еще оба актера не казались такими сильными в своих ролях, не вызывали со сцены такого долгого рукоплескания партера и лож. Десятки раз прерывали мы эту сцену аплодисментами и криками восхищения. Это в третьем явлении IV акта мольеровской «Любовной досады» (там же, с. 586). И дальше Дидро приводит диалог актера

и актрисы, который он называет двойной сценой, сценой любовников и сценой супругов. Сцена любовного объяснения сплетается здесь со сценой семейной ссоры, и в этом сплетении Дидро видит лучшее доказательство своей правоты (там же, с. 586—588).

Как уже сказано, воззрение Дидро опирается на факты, и в этом его сила, его непреходящее значение для будущей научной теории актерского творчества. Но существуют и факты обратного характера, которые, впрочем, ни в малой степени не опровергают Дидро. Эти факты заключаются в том, что реально существует и другая система игры и другая природа художественных переживаний актера на сцене. И доказательством является, если взять пример близкий, вся сценическая практика школы Станиславского.

Это противоречие, не разрешимое для абстрактной психологии при метафизической постановке вопроса, получает возможность разрешения, если подойти к нему с диалектической точки зрения.

Мы уже говорили, что новое течение ставит проблему актерской психологии как проблему конкретной психологии. Не вечные и неизменные законы природы актерских переживаний на сцене, но исторические законы различных форм и систем театральной игры становятся в данном случае руководящим указанием для исследователя. Поэтому в опровержении парадокса Дидро, которое мы находим у многих психологов, все еще сказывается попытка решить вопрос в абсолютной плоскости, безотносительно к исторической конкретной форме того театра, психологию которого мы рассматриваем. Между тем основной предпосылкой всякого исторически направленного исследования в этой области является идея, что психология актера выражает общественную идеологию его эпохи и что она так же менялась в процессе исторического развития человека, как менялись внешние формы театра, его стиль и содержание. Психология актера театра Станиславского в гораздо большей степени отличается от психологии актера эпохи Софокла, чем современное здание отличается от античного амфитеатра.

Психология актера есть историческая и классовая, а не биологическая категория. В одном этом положении выражена центральная для всех новых исследований мысль, определяющая подход к конкретной психологии актера. Следовательно, не биологические закономерности определяют в первую очередь характер сценических переживаний актера. Эти переживания составляют часть сложной деятельности художественного творчества, имеющего определенную общественную, классовую функцию, исторически обусловленную всем состоянием духовного развития эпохи и класса, и, следовательно, законы сцепления страстей, законы преломления и сплетения чувств роли с чувствами актера должны быть разрешены раньше всего в плане исторической, а не натуралистической (биологической) психологии. Только после этого разрешения может возникнуть вопрос о том, как с точки зрения биологических закономерностей психики

возможна та или иная историческая форма актерской игры.

Таким образом, не природа человеческих страстей определяет непосредственно переживания актера на сцене, она лишь содержит в себе возможности возникновения многих, самых разнообразных и изменчивых форм сценического воплощения художественных образов.

Вместе с признанием исторической природы интересующей нас проблемы мы приходим к выводу, что перед нами проблема, в двойном отношении опирающаяся на социологические предпосылки в изучении театра.

Во-первых, как всякое конкретное психическое явление, игра актера представляет собой часть социально-психологической действительности, которая раньше всего должна быть изучена и определена в составе того целого, к которому она принадлежит. Нужно выявить функцию сценической игры в данную эпоху для данного класса, основные тенденции, от которых зависит воздействие актера на зрителя, и, следовательно, определить социальную природу той театральной формы, в составе которой данные сценические переживания получают конкретное объяснение.

Во-вторых, признавая исторический характер этой проблемы, мы вместе с тем, касаясь переживаний актера, начинаем говорить не столько об индивидуально-психологическом, сколько о социально-психологическом контексте, в который они включены. Переживания актера, по счастливому немецкому выражению,— это не столько чувство «я», сколько чувство «мы». Актер создает на сцене безличные чувствования, чувства или эмоции, становящиеся эмоциями всего театрального зала. До того как они стали предметом актерского воплощения, они получили литературное оформление, они носились в воздухе, в общественном сознании.

Тоска чеховских «Трех сестер», воссоздаваемая на сцене артистами Художественного театра[5], становится эмоцией всего зала, потому что она в широкой степени была кристаллизованным оформлением настроений больших общественных кругов, для которых ее сценическое выражение являлось как бы средством осознания и художественного преломления самих себя.

В свете высказанных положений становится ясно значение актерских признаний о своей игре.

Первое, к чему мы приходим,— установление ограниченного значения этого материала. Признание актера в своих чувствованиях, данные его актерского самонаблюдения и самочувствия не теряют, с этой точки зрения, огромного значения в изучении психологии актера, но перестают быть единственным и универсальным источником суждения о ее природе. Они показывают, как актер осознает собственные эмоции, в каком отношении к строю его личности они стоят, но они не раскрывают нам природы этих эмоций во всей ее действительной полноте. Перед нами только частичный фактический материал, освещающий проблему в одном только разрезе — в разрезе самосознания актера. Для того чтобы извлечь из такого материала все его

научное значение, мы должны понять представленную в нем часть в системе целого. Мы должны понять психологию того или иного актера во всей его конкретной исторической и социальной обусловленности, тогда нам станет ясной и понятной закономерная связь между данной формой сценического переживания и тем социальным содержанием, которое через это актерское переживание передается в зрительный зал.

Нельзя забывать, что эмоции актера, поскольку они являются фактом искусства, выходят за пределы его личности, составляют часть эмоционального диалога между актером и публикой. Эмоции актера испытывают то, что Ф. Полан[6] удачно назвал «счастливой трансформацией чувств». Они становятся понятными, лишь будучи включены в более широкую социально-психологическую систему, часть которой они составляют. В этом смысле нельзя отрывать характер сценического переживания актера, взятый с формальной стороны, от того конкретного содержания, которое составляется из содержания сценического образа, отношения, интереса к этому образу, из социально-психологического значения, из той функции, которую выполняет в данном случае актерское переживание. Скажем, переживания актера, стремящегося осмеять известный строй психологических и бытовых образов, и актера, стремящегося дать апологию тех же самых образов, естественно, будут различны.

Здесь мы подходим вплотную к чрезвычайно важному психологическому моменту, невыясненность которого давала, по нашему мнению, повод к ряду недоразумений в интересующей нас проблеме. Например, большинство писавших о системе Станиславского отождествляли эту систему в ее психологической части с теми стилистическими задачами, которые она первоначально обслуживала, иначе говоря, отождествляли систему Станиславского с его театральной практикой. Правда, всякая театральная практика является конкретным выражением данной системы, но не исчерпывает всего содержания системы, которая может иметь еще много других конкретных выражений; театральная практика не передает системы во всей ее широте. Шаг к отделению системы от ее конкретного выражения был сделан Е. Б. Вахтанговым[7], стилистические устремления которого так резко отличны от первоначального натурализма Художественного театра и который тем не менее осознавал собственную систему как применение к новым стилистическим задачам основных идей Станиславского.

Это можно показать на примере работы Вахтангова над постановкой «Принцессы Турандот»[8]. Желая передать со сцены не просто содержание сказки, но свое современное отношение к этой сказке, свою иронию, улыбку «по адресу трагического содержания сказки», Вахтангов создает новое содержание пьесы.

Замечательный случай рассказывает Б. Е. Захава[9] из истории постановки этой пьесы: «На первых репетициях Вахтангов пользовался следующим приемом. Он предложил исполнителям играть не роли, указанные текстом пьесы, а итальянских актеров,

играющих эти роли... Он предлагает, например, актрисе, исполняющей роль Адельмы, играть не Адельму, а итальянскую актрису, играющую Адельму. Он фантазирует на тему, будто бы она жена директора труппы и любовница премьера, что на ней рваные туфли, что они ей велики и при ходьбе отстают от пяток, шлепают по полу и т. д. Другая актриса, играющая Зелиму, оказывается лентяйкой, которой не хочется играть, чего она совсем не скрывает от публики (спать хочется)» (1930, с. 143—144).

Мы видим, таким образом, что Вахтангов изменяет непосредственно данное ему содержание пьесы, но в форме ее выявления он опирается на тот же самый фундамент, который заложен в системе Станиславского: Станиславский учил находить на сцене правду чувств, внутреннее оправдание всякой сценической форме поведения.

«Внутреннее оправдание,— говорит Захава,— основное требование Станиславского, остается по-прежнему одним из основных требований Вахтангова, но только самое содержание этих чувств у Вахтангова совершенно иное, чем у Станиславского... Пусть чувства стали теперь иными, пусть они требуют иных театральных выразительных средств, но правда этих чувств как была, так и будет всегда неизменно основой той почвы, на которой только и могут произрастать цветы настоящего большого искусства» (там же, с. 133).

Мы видим, как внутренняя техника Станиславского, его душевный натурализм становятся на службу совершенно иным стилистическим задачам, в известном смысле противоположным тем, которые они обслуживали в самом начале развития. Мы видим, как определенное содержание диктует новую театральную форму, как система оказывается гораздо более широкой, чем данное ее конкретное применение.

Поэтому признания актеров о своей игре, особенно суммарные признания, составленные из обобщений собственного и притом очень разнообразного опыта, не учитывающие всего того содержания, формой воплощения которого является актерская эмоция, неспособны сами по себе объяснить свой характер и свою природу. Надо выйти за пределы непосредственного актерского переживания, для того чтобы его объяснить. Этот подлинный и замечательный парадокс всей психологии до сих пор еще, к сожалению, недостаточно усвоен рядом направлений. Для того чтобы объяснить и понять переживание, надо выйти за его пределы, надо на минуту забыть о нем, отвлечься от него.

То же самое верно и в отношении психологии актера. Если бы переживание актера было замкнутым целым, самим в себе существующим миром, тогда естественно было бы искать законы, управляющие им, исключительно в его сфере, в анализе его состава, тщательном описании его рельефа. Но если переживание актера тем и отличается от каждодневного житейского переживания, что оно составляет часть совсем иной системы, то его

объяснение надо искать в законах построения последней.

Мы хотели бы в заключение коротко наметить то превращение, которое испытывает в новой психологии старый парадокс об актере. Мы еще далеки при современном состоянии нашей науки от решения этого парадокса, но мы уже близки к его правильной постановке в качестве подлинно научной проблемы. Как мы видели, сущность вопроса, который казался парадоксальным всем писавшим о нем, заключается в отношении искусственно созданной эмоции роли к реальной, жизненной, естественной эмоции актера, играющего роль. Нам думается, что разрешение этого вопроса возможно, если учесть два момента, одинаково важных для его правильного истолкования.

Первый заключается в том, чтó Станиславский выражает в известном положении о непроизвольности чувства. Чувству нельзя приказывать, говорит Станиславский. У нас нет непосредственной власти над чувством такого характера, как над движением или над ассоциативным процессом. Но если чувство «нельзя вызвать... произвольно и непосредственно, то его можно выманить, обратившись к тому, что более подвластно нашей власти, к представлениям» [10] (Л. Я. Гуревич, 1927, с. 58). И действительно, все современные психофизиологические исследования эмоций показывают, что путь к овладению эмоциями и, следовательно, путь произвольного вызова и искусственного создания новых эмоций не основывается на непосредственном вмешательстве нашей воли в сферу чувствований, как это имеет место в области мышления и движения.

Этот путь гораздо более извилистый и, как правильно говорит Станиславский, более похожий на выманивание, чем на прямое вызывание нужного нам чувства. Только косвенно, создавая сложную систему представлений, понятий и образов, в состав которых входит и известная эмоция, мы можем вызвать и нужные чувства и тем самым придать своеобразный психологический колорит всей данной системе в целом и ее внешнему выражению. «Чувства эти,— говорит Станиславский,— не совсем те, которые переживаются актером в жизни» (там же). Это скорее чувства и понятия, которые очищены от всего лишнего, обобщены, лишены своего беспредметного характера.

По правильному выражению Л. Я. Гуревич [11], если они прошли через процесс художественного оформления, они по ряду признаков отличаются от соответственных жизненных эмоций. В этом смысле мы согласны с Гуревич [12], что разрешение вопроса, как это обычно бывает в очень упорных и длительных спорах, «лежит не посередине между двумя крайностями, а в другой плоскости, позволяющей видеть предмет с новой точки зрения» (там же, с. 62). К этой новой точке зрения обязывают нас как накопившиеся документы по вопросу о сценическом творчестве, свидетельства самих творцов-актеров, так и исследования, произведенные за последнее десятилетие научной психологией (там же, с. 62).

Но это только одна сторона вопроса. Другая заключается в том, что, как только парадокс об актере переносится на почву

конкретной психологии, он снимает ряд неразрешимых проблем, которые составляли его содержание прежде, и на их место выдвигает новые, но уже плодотворные, разрешимые и толкающие исследователя на новые пути. С этой точки зрения, не биолого-эстетическому и раз навсегда данному, но конкретно-психологическому и исторически изменчивому объяснению подлежит каждая данная система актерской игры, и вместо раз навсегда данного парадокса об актере всех времен и народов перед нами в историческом аспекте выдвигается ряд исторических парадоксов об актерах данной среды и данной эпохи. Парадокс об актере превращается в исследование исторического развития человеческой эмоции и ее конкретного выражения на различных стадиях общественной жизни.

Психология учит, что эмоции не представляют исключения из остальных проявлений нашей душевной жизни. Как и все другие психические функции, эмоции не остаются в той связи, в которой они даны первоначально в силу биологической организации психики. В процессе общественной жизни чувства развиваются и распадаются эти прежние связи; эмоции вступают в новые отношения с другими элементами душевной жизни, возникают новые системы, новые сплавы психических функций, возникают единства высшего порядка, внутри которых господствуют особые закономерности, взаимозависимости, особые формы связи и движения.

Изучить порядок и связь аффектов составляет главную задачу научной психологии, ибо не в эмоциях, взятых в изолированном виде, но в связях, объединяющих эмоции с более сложными психологическими системами, заключается разгадка парадокса об актере. Эта разгадка, как можно предвидеть уже сейчас, приведет исследователей к положению, имеющему фундаментальное значение для всей психологии актера. Переживания актера, его эмоции выступают не как функции его личной душевной жизни, но как явление, имеющее объективный общественный смысл и значение, служащее переходной ступенью от психологии к идеологии.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

I

Основное содержание тома составляют две работы Л. С. Выготского: «Орудие и знак в развитии ребенка» и «Учение об эмоциях» («Учение Декарта и Спинозы о страстях»). Обе имеют важное значение для осмысления богатства оставленных им идей, для понимания динамики его творчества. При жизни автора они не публиковались. Вторая из указанных работ осталась незавершенной. Есть основания предполагать, что именно на ней обрывались философско-психологические искания замечательного советского исследователя, что именно она запечатлела начало новой фазы в развитии его теоретической мысли.

Нельзя рассматривать произведения Выготского как нечто гомогенное, образующее завершенную, отработанную систему. Читателю уже известна его напряженная и сложная работа по поиску новых путей для решения проблем, над которыми бились умы психологов той эпохи. Нельзя изымать рожденные им концепции из контекста эпохи, полной контроверз, кризисных явлений, попыток преобразовать с различных позиций весь строй психологического знания. Что касается философской позиции самого Выготского, то она может быть оценена однозначно. Он сознательно, целеустремленно руководствовался диалектико-материалистической методологией, принципы которой служили для него компасом в определении общих перспектив психологической науки. Как известно, на эту методологию ориентировались все советские психологи. Но применение ее принципов к разработке конкретных вопросов требовало от каждого из них специальных усилий и собственных исследовательских программ. Ведь готовых решений этих вопросов неоткуда было почерпнуть.

Своеобразие «маршрута», отличавшего искания Выготского, определялось индивидуальным стилем его мышления, особым умением соотносить ситуацию в мировой психологии с возможностями, которые открывала перед исследователями психической регуляции деятельности ее философская марксистская трактовка, содержавшая новое понимание основных начал научного объяснения природы человека — социодетерминизма, историзма и системного подхода.

Как никто другой, Выготский чувствовал проблемы, объединенные западными авторами (Л. Бинсвангер и др.) под именем «критики психологического разума», особого направления, предметом которого служит само психологическое знание, его основные понятия, категориальные структуры, методический инструментарий. Выготский был непревзойденным мастером конкретно-методологического анализа эволюции и структуры психологических идей. Он внес важный вклад в развитие «самосознания» психологии, в понимание самобытности ее дисциплинарного статуса и ее зависимости от потребностей социальной практики.

Связь психологии с этой практикой рассматривалась Выготским как решающее обстоятельство в утверждении новой методологической ориентации конкретно-психологических исследований. Ведь под методологией следует понимать систему общих принципов (способов) организации и трактовки знания, а не только теоретические постулаты, на которых оно базируется. Поэтому вопрос об отношении знания к возможностям его практического приложения к сфере межлюдских отношений выступал для Выготского как истинно методологический. Он хорошо понимал, что методология конкретно-научных исследований — это общий способ их построения, который не исчерпывается их логико-теоретическими регулятивами.

Связь с насущными нуждами людей, с необходимостью выйти навстречу

практическим социальным запросам рассматривалась им как фактор, способный вызвать те коренные сдвиги в понятийном составе психологии, в которых нуждается как объективная историческая логика развития науки, так и общество, только что пережившее величайшую революцию. Сквозь размышления Выготского красной нитью проходит мысль о том, что философия марксизма и практика нового общества служат залогом выхода психологии из потрясавшего ее кризиса. Обращение к практике, по убеждению Выготского, неизбежно приведет к торжеству психологии объяснительной, каузальной, родственной по стилю мышления естественным наукам, успехами которых человечество не только гордится, но и повседневно пользуется.

II

Итоги методологических и конкретно-научных исканий Л. С. Выготского, напряженных и продуктивных, запечатлела рукопись «Орудие и знак в развитии ребенка», которая может служить выдающимся свидетельством достижений передовой советской психологии на рубеже 30-х гг., ее идейно-научных преимуществ перед другими направлениями мировой психологической мысли. Весь спектр этих направлений неизменно находился в поле обостренного внимания Выготского. Успехи ответвлений генетической психологии (в исследованиях поведения животных, детей в различные возрастные периоды, отсталых в культурном отношении народов, аномалий развития, обусловленных распадом высших функций) обогатили научное знание о психике мощными пластами эмпирического материала и выдвинули ряд проблем фундаментального значения для общепсихологической теории. Ни одна из крупных психологических школ (бихевиоризм, фрейдизм, гештальтизм, социологически ориентированная французская психология) не могла отныне их обойти и испытывала свой понятийный аппарат на анализе этих проблем, претендуя на продуктивность собственной исследовательской программы, ее превосходство над другими.

В этой исторической ситуации синтетический ум Выготского, соотнося различные подходы и решения, погружаясь в дискуссии со сторонниками противоборствующих течений, выделял идеи и феномены, способные служить построению теории, отвечающей, исходя из принципиально новой методологической ориентации, на кардинальные запросы логики развития научного познания. Такая теория, по замыслу Выготского, призвана раскрыть закономерности и механизмы развития высших психических функций, отличающих жизнедеятельность человека от поведения остальных живых существ.

Напомним, что основными объяснительными принципами психологии выступают принципы детерминизма, системности и развития, причем каждый из них приобретает новое содержание в ходе эволюции психологического познания. Выготского отличало не только то, что он исходил из указанных принципов. Ведь они направляли исследовательскую мысль и при разработке других концепций, в полемике и конфронтации с которыми формировалось его учение. Понять смысл и строй последнего можно, лишь приняв во внимание существенно новые признаки, которыми обогатились у Выготского все три главных объяснительных принципа.

Мы видели, сколь высоко он ставил павловскую последовательно детерминистскую схему образования условного рефлекса. Но она (как и испытавшая ее влияние бихевиористская концепция поведения) являлась биодетерминистской и потому недостаточной для раскрытия факторов, созидающих психическую организацию человека — изначально социальную по своему генезису и последующему развитию.

Проблема зависимости психических свойств индивида от его социальных связей ставилась рядом исследователей, в частности П. Жанэ и Ж. Пиаже, взгляды которых оказали влияние на Выготского. Оба руководствовались идеей превращения «внешнего во внутреннее», интериндивидуального (происходящего в сфере микросоциальных отношений) в интраиндивидуальное (образующее внутренний план поведения). Эта идея, вошедшая в научно-психологический словарь под именем интериоризации, позволяла преодолеть тяготевшее над психологией дуалистическое представление о характере связи между внешними, объективно наблюдаемыми действиями, контактами индивида с другими людьми и внутренними

операциями его ума, незримыми процессами, которые считались открытыми только для «внутреннего взора» испытывающего их субъекта.

Это был новый способ детерминистского анализа. Его важное преимущество заключалось в том, что феномены, за первоначало которых принималась имманентная духовная активность индивида, выступали в качестве производных от реальных (поддающихся изучению теми же позитивными средствами, которыми располагает любая другая наука) процессов взаимодействия субъекта с внешней (социальной) средой. Отправляясь от этих доступных воспроизведению и объективному контролю процессов, исследователь проникал в «потемки» чужой души. Возможность же этого гарантировалась тем, что она сама мыслилась созидаемой посредством актов, которые совершаются в объективных пространственно-временных координатах.

Конечно, применительно к психически регулируемому поведению эти координаты имеют специфические характеристики. Индивид действует в особой среде, не идентичной физико-химической, а отношения людей качественно отличны от отношений между природными объектами. Человеческие отношения опосредованы двумя мощными, независимыми от индивидуального сознания, но формирующими его детерминантами — орудием и словом. Оба, являясь продуктами культурно-исторического развития, преобразовали предчеловеческие формы психической жизни в истинно человеческие. Так обстояло дело в филогенезе. На психологию, согласно Выготскому, падает миссия раскрытия их детерминационной роли в онтогенезе, в формировании тех функций, системные взаимосвязи которых образуют высший уровень психического развития.

Обращаясь в этих целях к идее интериоризации, Выготский принимает за решающий фактор превращения внешних, объективно наблюдаемых процессов взаимодействия индивида с его реальным — предметиым и человеческим — окружением включенность в эти процессы системы орудийных и культурно-знаковых средств. Именно указанные средства (орудия и знаки, прежде всего речевые знаки) обеспечивают изначальную интеграцию ребенка в микросоциальную общность, в недрах которой совершается чудо превращения его натуральных, простейших функций в высшие, культурно-исторические. Последние представляют собой качественно новую формацию, своего рода крону великого древа всемирно-исторического развития психики. Ее отсутствующие на более низких уровнях эволюции особенности (произвольная регуляция поведения в целом и отдельных процессов — восприятия, внимания, памяти и др., инициирование этих процессов со стороны субъекта без непосредственной стимуляции извне) с древнейших времен служили главным аргументом индетерминистских версий об уникальности сознания, его невыводимости из реальных, земных условий человеческого существования.

На уровне онтогенеза эти условия, согласно Выготскому, кроются в «символической деятельности ребенка», организуемой взрослыми. Изначально эта деятельность является «социальной формой сотрудничества». Социальные связи, будучи сотрудничеством, которое опосредовано орудиями и знаками, из связей, развернутых во внешнем, прямом общении, превращаются в глубинные пласты личности, способной теперь, используя средства, освоенные в практике совместной деятельности, произвольно управлять своими психическими актами и вне ее. Эта история превращения средств социального поведения в средства индивидуально-психологической организации выступает в трактовке Выготского как главная трасса формирования высших психических функций.

Первым за утверждение в психологии исторической точки зрения, за превращение ее в науку об истории поведения ратовал П. П. Блонский. Но, выдвигая это требование, он стоял на почве рефлексологических представлений. Ведь и учение И. П. Павлова об условных рефлексах пронизывала идея о том, что поведение «исторично»: оно изменяется, модифицируется, перестраивается, принимая в процессе индивидуального развития новые формы. Детерминантами же развития выступали: а) способность организма к сигнальному взаимодействию со средой (приобретение внешними раздражителями функции сигналов), б) потребность организма в сохранении своих основных жизненных констант (гомеостаз), реализуемая благодаря указанной способности.

Пока научная мысль ограничивалась этими детерминантами, она не могла вырваться из биологического плена. Очевидные качественные различия между

реакциями животных и человека оставались вне зоны причинного объяснения. В поисках ответа на вопрос о специфике высшей нервной деятельности человека Павлов пришел к идее о двух сигнальных системах. «Вторые сигналы» — речевые — трактовались как заменители первых, вносящие в работу больших полушарий новый принцип — абстракцию, обобщение, высший анализ и синтез — все то, что является привилегией человеческого интеллекта. Следует, однако, отметить, что обращение к речевым сигналам могло произвести коренные изменения в категориальной структуре научного знания лишь в том случае, если эти сигналы интерпретировались как присущие особому уровню взаимоотношений организма со средой, отличному от сигнально-гомеостатического.

Уровень детерминации, о котором идет речь, был открыт марксистской философией. Этот уровень представлен историей труда, в ходе которого, изменяя внешнюю природу, человек формирует свои сущностные психические силы и подчиняет их собственной власти. Новое историческое воззрение решительно меняло весь строй мысли. Слово в качестве интегрального компонента поведения «на фазе человека» означало теперь нечто принципиально иное, чем павловский «второй сигнал». Оно выступало в статусе «инструмента», оперируя которым индивид овладевает своими действиями, обретающими признаки произвольности, сознательной контролируемости, изначальной планируемости. Старая психология усматривала в этих признаках свидетельство несопоставимости сознания ни с одной из других реалий. При этом сознание принималось за нечто изначально данное, ни из чего не выводимое, за сущность особого рода. Предполагалось, что у такого взгляда имеется лишь одна альтернатива — редукционизм: сведение психических фактов к нервным процессам или стимул-реактивным отношениям. Непреходящий вклад Выготского определяется тем, что он утвердил другую альтернативу, а это потребовало перейти от ориентации на учение об условных рефлексах Павлова к ориентации на учение Маркса о социальной сущности человека.

Естественнонаучное содержание павловской концепции вошло теперь в снятом виде в намеченное Выготским направление психологического анализа. Смысл революции, произведенной Павловым, заключается в разработке особой научной категории — категории поведения. Ассимилировав ее, Выготский, опираясь на марксистское объяснение факторов формирования внутреннего, духовного мира человека, вводит в схему индивидуального поведения новые переменные, придающие каждому из его актов «инструментальное» — по терминологии Выготского — значение, включающее «натуральный» процесс формирования психики (восприятия, внимания, памяти и т. д.) в социокультурный ряд. Ибо в знаках, символах, оперируя которыми индивид преобразует психическую структуру, данную природой, в аппарат саморегуляции своих поступков, записаны как история культуры, так и способы социального взаимодействия.

Рассматривая запечатленную в рукописи «Орудие и знак...» культурно-историческую концепцию Выготского в ее генезисе, мы видим, что, отражая надиндивидуальные потребности развития психологии, эта концепция родилась благодаря своеобразию индивидуальной научной биографии ее автора. Его занятия физиологией и эстетикой отразили влияние А. А. Потебни, субъективно-идеалистическому пониманию трудов которого (со стороны потебнианцев) структуралисты (с ними одно время сблизился Выготский) противопоставили антипсихологизм — установку, отъединявшую продукт культуры от деятельности по его созданию, требовавшую рассматривать этот продукт как организованный по особым законам, ничего общего с психологией не имеющим. Они не видели иной возможности трактовать процессы сознания, как с точки зрения традиционной психологии, замыкавшей их в границах внутреннего мира субъекта.

На отличный от традиционного путь выводило павловское учение, в понятиях которого поведение получило строго объективное объяснение. Это учение, подобно структурализму, отвергло обращение к внутреннему субъективному плану жизнедеятельности. Но если структурализм сосредоточился на продукте как объективном творении, конструируемом на независимых от чьих бы то ни было деяний основаниях, то Павлов изучал процессы и механизмы. Они относились к биологически обусловленному поведению, а не взаимодействию личности с миром культуры. Тем не менее, поскольку они касались реальных живых актов, а не отрешенных от деятельности ее результатов, в которых процессы их порождения

не выявляются, павловское учение послужило для Выготского опорным пунктом в преодолении им своих ранних психологических установок. Вместе с тем само по себе это учение не могло стать рычагом построения психологии (поскольку субъективное оказывалось простирающимся «по ту сторону» поведения). Пройдя школу Потебни, а затем Павлова, Выготский, обратившись к марксистскому объяснению филогенеза сознания, нашел такой рычаг. Орудия-знаки представляют собой независимые от индивида культурные ценности. В этом их принципиальное отличие от раздражителей-сигналов, служащих, согласно Павлову, регуляторами ответных реакций. Но эти культурные знаки не особые, чуждые всему субъективному сущности, какими они выступают в структуралистских концепциях. Они непрерывно работают в сознании общающегося с другими людьми субъекта, созидая сложную архитектонику психических функций.

Мы видим, таким образом, что преобразования, произведенные в психологии Выготским, стали возможны только в идейной атмосфере отечественной науки. В среде, где рос талант Выготского, объективно, независимо от силы этого таланта, циркулировали идеи, представлявшие различные линии развития научной мысли. Это русская филология, учение об условных рефлексах и вошедшая в сознание советских ученых под влиянием практики построения нового общества марксистская концепция человека. Воззрения Выготского следует рассматривать в динамике. Они развивались по спирали — от культурологических, структуралистских установок, ставших сильным противоядием от субъективно-идеалистической картины душевной жизни, к естественнонаучному пониманию механизмов этой жизни, разработанному Павловым. Затем был утвержден принцип культурно-исторической детерминации порождений человеческого сознания, но на основаниях, выявленных марксизмом, что и позволило создать новый вариант объективной психологии. Направления, сложившиеся за пределами психологии как самостоятельной науки (прогрессивная филология и эстетика, учение о высшей нервной деятельности, историко-материалистическая теория общества) переплавились в творчестве Выготского в концепцию высших психических функций, эмпирическим референтом которой стало исследование развития детской психики.

Марксово объяснение филогенеза сознания Выготский применил, как уже отмечалось, к анализу детерминант его онтогенеза. Но в филогенезе знаковые системы возникают и изменяются в горниле общественно-исторической практики, ядро которой составляет труд. В отношении же раннего детства производительный труд не может рассматриваться как детерминанта развития. Тем не менее реальные практические действия ребенка приобретают, согласно Выготскому, значение «величайшего генетического момента», когда они соединяются с применением символических знаков. В дальнейшем некоторые советские психологи в критических замечаниях в адрес культурно-исторической теории сделали упор на том, что ее отличает тенденция понимать социальное лишь как взаимодействие сознаний (ребенка и взрослого) — вне материальной практики *. Но тем самым они упустили из виду, что центральным для Выготского являлся вопрос о зарождении индивидуального сознания (высших психических функций), о переходе к тому уникально человеческому типу регуляции поведения, который складывается в первые годы жизни ребенка, когда о «материальной практике» в смысле общественного производства и речи быть не может. Что же касается первичных форм практических действий («практического интеллекта»), то Выготский не только включал процессы манипулирования ребенка внешними объектами в разряд самых существенных для его умственного развития факторов, но и раскрыл качественное отличие этих процессов от «орудийных» действий высших животных.

Нет оснований, как мы полагаем, зачислять Выготского в разряд сторонников формулы «социальность без материального», которой следовала французская социально-психологическая школа, несомненно оказавшая на него влияние, в частности в связи с включением Выготским в объяснение генезиса человеческой психики принципа социодетерминизма (отсюда и идея интериоризации).

Понимая общение как символическую деятельность, он считал ее орудием речевой знак, представляющий собой феномен культуры, стало быть, нечто независимое не только от индивидуального сознания, но и от прямых контактов последнего с другими сознаниями. Отнесенность к культуре (языку, искусству,

* См., в частности: Психологическая наука в СССР. М., 1960, т. 1, с. 433 и др.

науке и другим ее формам) в качестве системы ценностей, создаваемой обществом, но не растворимой в процессах коммуникаций между его членами, позволяла строить изучение сознания на началах историзма. Культурные знаки (символы) и записанные в них способы операций (подобно тому как орудие не физическая вещь, а материальный «сгусток» совершаемых общественным человеком трудовых операций) внедряются, согласно Выготскому, в сознание «извне», «вращиваются» в него. Но они привносят с собой не только опыт межличностных контактов. Благодаря им индивид становится сопричастным великому миру культуры*. Еще более необоснованными, чем упреки в игнорировании Выготским практических форм взаимосвязи индивида с предметной средой, следует признать утверждения, будто он рассматривал психические процессы как отражение физиологических процессов в мозгу.

Вся суть культурно-исторической концепции сводится к выявлению внешних по отношению к телесному субстрату детерминант, преобразующих его в носителя высших психических функций в качестве чисто человеческих регуляторов деятельности. Конечно, подобно любой другой теории, культурно-историческая концепция — детище своего времени. Но судить о ней следует по тому новому, что она внесла сравнительно с прежним уровнем знаний, по сдвигам, произведенным ею в общем категориальном аппарате психологической мысли, по ее влиянию на последующее развитие науки. Подходя с такими критериями к вкладу Выготского, мы имеем основания полагать, что к нему восходит разработка тех объяснительных принципов, которые направляли усилия последующих поколений советских психологов.

III

Незавершенный труд Л. С. Выготского о психофизиологии эмоций следует рассматривать в контексте общих идейных исканий автора. Их смысл определялся задачей построения нового учения о психике человека как целостного и развивающегося существа во всей полноте его жизни. К этому учению Выготский продвигался шаг за шагом. Движение его мысли было устремлено к тому, чтобы охватить все многообразие психических проявлений в единой картине, методологический остов которой составляли принципы детерминизма, развития и системности. Они издавна направляли психологическое познание, придавая ему достоинство научного. Но их содержание менялось от одной эпохи к другой, преобразуя как теоретический состав представлений о жизнедеятельности, так и ее эмпирическое исследование.

Среди трех указанных методологических принципов ведущим выступает детерминизм, воплощающий в качестве неотъемлемой идею причинной связи явлений. «Проблема причинного объяснения есть основная проблема возможности психологии как науки» — решительно утверждал Выготский (с. 244 наст. тома).

Центральным фактором разыгравшегося в психологии кризиса Выготский считал острую конфронтацию двух направлений — каузального и спиритуалистического. В проекте расщепления «двух психологий» преломились некоторые особенности развития знаний о психике в рассматриваемый период. Если так называемые элементарные процессы (ощущения, восприятия, ассоциации, время реакции) успешно вовлекались в орбиту детерминистского аналаза, то другие (мышление, воля) оставались ему неподвластны. В итоге целостная психическая деятельность человека была представлена в виде двух гетерогенных порядков явлений. Сознание оказывалось разъятым на низшие и высшие функции, на сущности, причастные различным мирам и подлежащие исследованию в понятиях, лишенных какой бы то ни было связи между собой. Мысль Выготского напряженно билась над тем, чтобы преодолеть версию «двух психологий». Путь их эклектического соединения, путь компромиссных решений он решительно отвергал. «Как в легенде два дерева, соединенных вершинами, разодрали надвое тело древнего князя, так всякая научная система будет разодрана надвое, если она привяжет себя к разным стволам» (т. 1, с. 417).

* Заметим, кстати, что Выготский создавал не «культурно-историческую теорию мышления», а теорию формирования высших психических функций как особых регуляторов поведения в онтогенезе.

Стволом, обеспечивающим прогресс психологии, может быть, согласно Выготскому, только естественнонаучное каузальное изучение психологических фактов, устремленное к его реальным причинам, скрытым от наблюдающего за собой сознания (с какой бы проникновенностью ни велось это наблюдение — будь то не только традиционная интроспективная психология, но и понимающая, феноменологическая, интенциональная или какая-либо иная). Говоря о новой психологии, способной вывести исследование своего предмета из кризисных контроверз, Выготский полагал, что решение этой задачи вовсе не означает, будто строители будущего должны все начать сначала, отрицая как заблуждение предшествующие «усилия свободной мысли овладеть психикой» (т. 1, с. 428).

К разряду этих усилий он отнес, наряду с работами Г. Фехнера, Г. Гельмгольца, А. Бине, Т. Рибо, периферическую теорию эмоций Джемса — Ланге. Таково было первоначальное отношение Выготского к этой теории, когда он, обращаясь к историческому пути психологии, выделял в нем идеи, представлявшие ствол естественнонаучного объяснения психических функций, развитием которого должна стать новая наука об этих функциях в послекризисную эпоху.

Периферическая теория Джемса — Ланге, согласно которой первична телесная реакция на раздражитель, вторично сопряженное с ней эмоциональное состояние, действительно содержала элементы детерминистского объяснения. Чувство, которое веками рассматривалось в качестве порождения души (хотя бы и сопровождающегося телесными потрясениями), выступило в виде эффекта процессов внутри организма. Это и дало Выготскому основание полагать, что в периферической (висцеральной) теории эмоций представлена ориентация того лагеря, который противостоит идеализму, индетерминизму, феноменологии, понимающей психологии. Однако через несколько лет, занявшись проблемой эмоций и проделав тщательный анализ истории и методологии ее разработки, Выготский пересматривает свою оценку. Он приходит к выводу, что указанная теория воспроизводит объяснительную схему, созданную Декартом, что и теория, и схема сочетают несовместимое, а именно каузальность со спиритуализмом. Тем самым обе оказались «привязавшими себя к двум разным стволам» и потому «разодранными надвое». Доказательству этого положения и посвящен тот раздел задуманного Выготским широкопанорамного исследования эмоций, который он успел изложить.

Итак, если в первых прогнозах о путях преодоления кризисной ситуации он видел будущее психологии в том, что она осуществит притязания на научность, следуя имеющему многовековую традицию каузальному курсу, то теперь в это общее воззрение вносится важная корректива: не всякая каузальность способна вывести психологию к новым рубежам. Картезианский вариант каузальной интерпретации психики не просто противостоит спиритуалистическому как антитеза, но является его непременным двойником, неразлучным его спутником. Из этого следовало принципиально новое понимание корней психологического кризиса, который выступал теперь *не только как кризис картезианской интроспективной концепции сознания* (такое мнение доминировало в психологической литературе), *но и как кризис неотъемлемой от нее картезианской трактовки детерминизма.* В свою очередь это означало, что задача, которую предстоит решить методологической мысли психолога с тем, чтобы преодолеть кризисную ситуацию в своей науке, не исчерпывается преобразованием доставшегося ей от XVII в. воззрения на сознание как на следящую за собственными содержанием и актами сущность.

Напомним, что вопрос о сознании находился в эпицентре психологического кризиса. В период выделения в самостоятельную науку психологии предстояло определить свой собственный предмет, отличающий ее и от философии (служанкой которой она считалась веками), и от физиологии (благодаря достижениям которой в нее внедрялся эксперимент).

В качестве уникальных реалий, никакими другими науками не изучаемых, были выделены феномены сознания, данные субъекту в его непосредственном опыте. Предполагалось, что их удается постичь посредством особого, специально организованного внутреннего наблюдения. На психологию, согласно такой программе, воодушевившей на первых порах многих молодых исследователей, возлагался поиск нитей, из которых соткана «материя» сознания и фиксация законов, по которым они «сплетаются». Сознание представлялось неким внутренним «полем» (лишенным, однако, пространственных характеристик), где рефлексия находит

свои нематериальные объекты (явления, процессы). Ни одна наука ими не интересуется. Они остаются на долю психологии.

Хотя версия, согласно которой предметом психологии служит замкнутая сфера сознания, куда способно проникнуть только самонаблюдение, удерживалась в течение немалого срока, она была взорвана на рубеже XX столетия, прежде всего благодаря успехам фрейдизма и бихевиоризма. Первый изобразил сознание в виде агента, маскирующего действие могучих подспудных сил. Второй потребовал покончить с сознанием как пережитком времен схоластики и алхимии. В этой исторической ситуации для марксистски ориентированной психологии задачей первостепенной важности стала борьба за сознание, которая, однако, означала не возврат к изжившей себя интроспективной версии, а ее преодоление на путях разработки *новой теории сознательной регуляции психической деятельности.*

Выготский выступил инициатором этой борьбы и этой разработки. Нельзя забывать о своеобразии того исторического периода. В ту пору в науках о человеке материалистический подход считался выраженным формулой «психология без сознания». Выготский же сразу привлек внимание своим докладом «Сознание как проблема психологии поведения» (т. 1). Борьба за сознание означала тогда борьбу против его древней, восходящей к Августину трактовки, которая продолжала направлять умы тех, кто был поглощен не умозрительными метафизическими медитациями, но повседневной работой в лаборатории в окружении приборов и протоколов экспериментов.

Критике интроспекционизма, атакам на субъективный метод было отдано немало времени и сил. Казалось, покончив с этим методом, психология станет на твердую почву. Выготский же благодаря проникновенному анализу общих методологических принципов психологии в их историческом развитии вскрыл внутреннюю связь интроспекционизма с механодетерминизмом. Тем самым стало очевидно, что, сколь острой ни была критика интроспективных представлений, она сама по себе недостаточна без радикального преобразования того детерминистского способа мышления, от которого неотделима создавшая в психологии столько трудностей классическая интроспективная концепция. Не на этой концепции, слабость которой была продемонстрирована во многих направлениях, а на, казалось бы, ставящем психологию в один ряд с другими естественными науками детерминизме (в его механистическом варианте) сосредоточивает Выготский кинжальные удары критической мысли.

Отцом механодетерминизма в психологии был Декарт, а главным его психологическим сочинением — «Трактат о Страстях души». Идеям этого «Трактата» принадлежит, согласно Выготскому, центральное место во всей методологической структуре психологии нового времени, включая ее экспериментальное направление. «Все главные противоречия современной психологии, как лежащие в основе ее кризиса, так и касающиеся отдельных и частных ее проблем, представляют собой противоречия, заложенные в картезианском учении о страстях. В этом смысле мы не знаем другой книги, исследование которой было бы столь же центральным по своему значению для понимания действительного исторического смысла всего прошлого психологической науки и ее современного кризиса, как эта последняя, завершающая работа Декарта — его «Трактат о Страстях...». В известном смысле можно с полным правом утверждать, что этот мало кому из психологов известный и далеко не центральный трактат стоит в самом начале всей современной психологии и всех раздирающих ее противоречий» (с. 243 наст. тома).

Рассматриваемая под этим углом зрения летопись психологии — от XVII в. до периода кризиса включительно — выступила как подстрочник к декартову учению о страстях. Это и определило тщательный разбор Выготским указанного сочинения. Его анализ вскрыл историческую ограниченность механодетерминистского подхода не только к эмоциональным состояниям человека, но и ко всей области психического в целом. Поэтому предметом историко-методологического анализа у Выготского становится наряду с эмоциями (чувствами, аффектами) обширнейший комплекс коренных психологических проблем — психофизическая (отношение сознания к порождающему его феномены физическому миру), психофизиологическая (отношение этих феноменов к телесному механизму), психогностическая (касающаяся познавательной роли психических процессов), психопраксическая (вопрос о воздействии сознания и воли на поведение индивида).

Перед нами выступает одна из главных особенностей мышления Выготского — его умение рассматривать каждое единичное событие в психологии сквозь «магический кристалл» новой методологии, позволяющей сразу же определить великое множество идейных нитей, соединяющих это событие со всем фронтом движения научного знания.

IV

Декартова схема, запечатлевшая исторически ограниченную форму детерминизма, сложилась в период, когда в горниле производственной деятельности проверялось новое воззрение на причинную связь вещей, преимущество которого перед средневековой натурфилософией становилось все более очевидным. Декарт сам указывал, что для объяснения природы ему многое дал пример некоторых тел, искусственно составленных человеком. По образу и подобию механизма, все компоненты которого и принцип их взаимодействия доступны прямой опытной проверке, Декарту мыслилось органическое тело, двигателем и организатором которого во всех его действиях до Декарта считалась душа. Но человек выступил в его доктрине как средоточие несовместимых начал: сознания, которое только мыслит, и тела, которое только движется.

Дуализм пронизывал и воззрения Декарта на эмоциональную жизнь, анализ которых и находится в центре публикуемой в этом томе рукописи Выготского.

Советский психолог обратился к прошлому с установкой на историко-методологическое, а не чисто историческое исследование проблем своей науки. Здесь вновь перед нами выступает одна из определяющих особенностей его творчества — неуклонное стремление реализовать принцип историзма применительно к объяснению не только закономерностей психики, но и к деятельности ума по познанию этих закономерностей. Выготский неизменно соотносил психологические факты и теории, предметное содержание знания о психической реальности с анализом средств, используемых для построения этого знания.

Его исследование синхронно продвигалось как бы на двух уровнях, постоянно соотнося анализ факта, идеи, гипотезы с выяснением принципов работы интеллектуального аппарата, добывшего эти продукты. Научный факт, идея, гипотеза — это мысли ученого, отражающие с различной степенью адекватности реальность. Но могут быть и «мысли второго порядка», имеющие своим предметом само мышление, его структуру и динамику, которые не менее реальны, чем воспроизводимые посредством них, независимые от сознания объекты. Обращаясь к «мыслям второго порядка», исследователь становится логиком науки, ее методологом. Умение сочетать логико-методологический подход с конкретно-научным обусловило главные достижения Выготского. Уже при знакомстве с работой Выготского «Исторический смысл психологического кризиса» (т. 1) мы могли убедиться в том, что в трактовке логико-методологических проблем автор, воспитанный на философии диалектического материализма, развил их новаторское понимание, реализованное применительно к ситуации в психологии на рубеже XIX—XX вв., в период распада этой дисциплины на множество школ и течений. В отличие от Л. Бинсвангера и других западных авторов, представлявших задачу методологического исследования как сугубо логическую «критику понятий», Выготский доказывал, что понятия непрерывно критикуются в самой практике научного труда, в процессах их соотнесения с эмпирическими данными. Из этого следовало, что задача методологии — не извне предписывать работникам конкретной области знания правила и нормы деятельности, соответствующие критериям научности, а извлекать принципы эффективной организации этой деятельности из ее реальной динамики, из ее истории.

Идея о том, что логико-методологическое изучение науки должно нераздельно сопрягаться с историческим, являлась принципиально новой. Насколько здесь прозорлив был Выготский, мы можем убедиться в наши дни, когда распад традиционных методологических концепций в западной философии привел к появлению так называемой исторической школы (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун и др.), представители которой декларировали, что философия (логика, методология) науки без истории науки пуста.

Это направление возникло в эпоху научно-технической революции с ее динамизмом, когда на глазах одного поколения рушатся казавшиеся незыблемыми

научные истины и рождаются радикально новые воззрения, наглядно демонстрируя тем самым историческую сущность научного познания. Выготский же задолго до этих процессов доказывал, что методологическое исследование научного знания может вестись только на исторической основе, и сам оставил образцы такого исследования, в частности критический разбор методологического смысла одной из основных глав психологии — учения об эмоциях. Попытки реконструировать прошлое этого учения предпринимались и до Выготского. Так, интересный исторический очерк принадлежал известному канадскому историографу Д. Бретту (его сводку использовал Выготский). Но внимание Выготского поглощали не реликты, а идеи и принципы, возникшие задолго до современной экспериментальной психологии, однако проросшие в ее плоть и продолжающие регулировать каждый шаг ее работников.

V

Периферическая концепция Джемса — Ланге, картезианскую генеалогию которой проследил Выготский, запечатлела подход, присущий механистической физиологии. Объяснить жизненный смысл пертурбаций во внутренних органах, эффектом которых, согласно указанной концепции, являются субъективные состояния, относящиеся к разряду эмоций, она и не пыталась. Между тем экспериментальное исследование телесных изменений при эмоциях дало толчок теории, ставшей альтернативой периферической.

Ее назвали центральной, поскольку она переместила телесный субстрат чувств в высшие нервные центры. Ее автором был американский физиолог У. Кеннон, выводы которого детально проанализированы Выготским. Изучая причину задержки секреции желудочного сока у подопытной собаки при эмоциональном возбуждении, Кеннон приходит к выводу, что для объяснения этого феномена следует принять во внимание «адреналовый фактор» (выделение надпочечниками адреналина), внутренне связанный с функциями симпатической нервной системы. Эта система и ответственна за вегетативные «бури», наблюдаемые при различных аффектах (страхе, ярости и др.).

Оказала ли гипотеза Джемса — Ланге влияние на Кеннона, когда он приступил к своим экспериментам? Вряд ли можно в этом сомневаться. Не только потому, что Кеннон учился у Джемса в Гарварде и потому мог познакомиться с его взглядами, так сказать, из первых рук. Ключевая идея Джемса физиологически объясняла аффекты, исходя из того, что их источник скрыт в глубинах организма. Казалось, по этому пути пошел и Кеннон. Эмоция соотносилась с изменениями во внутренних органах (а не в душе или сознании). В предисловии к русскому изданию труда Кеннона «Телесные изменения при боли, голоде, страхе и ярости» редактор перевода советский биолог Б. М. Завадовский писал, что кенноновская книга показывает, как гипотеза Джемса «облекается на наших глазах в реальные конкретные формы биологического эксперимента» (в кн.: В. Кеннон, 1927, с. 3).

Л. С. Выготский справедливо оспаривает эту оценку, отвергая взгляд на кенноновские работы как физиологическое обоснование периферической теории эмоций. Эта теория не имела никакой эмпирической опоры. Ее авторы соотносили свои предположения с воображаемыми, а не реальными экспериментами. Давайте, предлагали они, устраним из эмоции внутрителесные модификации — и тогда от нее ничего не останется.

Проверка гипотезы Джемса — Ланге не в уме, а в лаборатории показала ее несостоятельность. Первым, как справедливо отмечает Выготский, ее проверил Шеррингтон, но еще более сильные аргументы против нее выдвинула лаборатория Кеннона, где в начале 20-х гг. появилась новая экспериментальная модель — симпатоэктомированное животное, т. е. животное, у которого полностью удален симпатический отдел вегетативной нервной системы.

Все эмоциональные реакции, обычно свойственные этим животным, полностью сохранялись. Симпатоэктомированная кошка в присутствии собаки поднимала лапу с выпущенными когтями, издавала угрожающие звуки, оскаливала зубы. Между тем из-за удаления симпатических ганглиев никаких изменений на уровне периферических реакций (сосудистых и других) у нее произойти не могло. Используя метод экстирпации различных участков головного мозга, Кеннон с учениками выдвинули гипотезу, согласно которой главным органом эмоционального поведе-

ния является таламус. Современные физиологи полагают, что эмоции не могут иметь своим нейрогуморальным основанием какой-либо ограниченный субстрат. Предпочтение отдается представлению о взаимодействии корково-подкорковых структур. Экспериментальные и клинические данные говорят в пользу решающей роли гипоталамо-лимбической системы. Выготскому эти данные еще не могли быть известны.

По Джемсу, висцеральные ощущения, и только они, придают восприятию эмоциональный аромат, интимную теплоту и богатство переживаний. Кеннон пришел, опираясь на физиологический эксперимент, к выводу, что Джемс наделил висцеральные ощущения совершенно несвойственной им функцией. Сигналы, идущие из внутренних органов, будучи очень слабыми, не могут служить средством различения таких могучих эмоций, как страх и ярость. В чем же в таком случае биологическая ценность многообразных и удивительных проявлений активности симпатической системы?

Действие, которое приписали висцеральным процессам Джемс и Ланге, принявшие их за основание страстей человеческих, оказалось фиктивным. Каково же реальное предназначение этих вегетативных реакций?

Поиск ответа на этот вопрос подвигнул Кеннона на разработку одной из самых сильных и продуктивных теорий в физиологии XX в.— учения о гомеостазе — сохранении стабильности внутренней среды организма вопреки влиянию нарушающих эту стабильность факторов. «Процессы, происходящие во внутренних органах в результате деятельности симпатической системы, являются поистине замечательными и разнообразными. Их смысл для организма, однако, состоит не в том, чтобы придать переживаниям определенную окраску, но скорее в таком приспособлении внутренней «экономии», которое не позволило бы — вопреки сдвигу во внешних обстоятельствах — существенно нарушить однообразный уклад внутренней жизни» (W. B. Cannon, 1929, p. 358). Это положение, намеченное во втором издании книги Кеннона, развито в последующих работах американского физиолога, которому в дальнейшем присвоили звание «отца гомеостаза». Сформулировав учение о гомеостазе, Кеннон включил в него и свою трактовку аффектов как расстройств во «внутреннем хозяйстве организма».

«Изменения, которые происходят при эмоциональном смятении, выглядят на первый взгляд как значительные нарушения гомеостаза. Таковыми они и представляются сами по себе. Но они могут быть объяснены, я убежден, только как подготовка к сильному мышечному напряжению. Когда оно происходит, изменения во внутренней среде сразу же оказываются полезными и быстро нейтрализуются эффектами самого этого напряжения» (W. B. Cannon, 1932, p. 216).

Изменения во внутренней среде организма при аффекте (авторы периферической теории возвели их в ранг его конечной причины, для которой никаких биологических оснований не существовало) после работ Кеннона о гомеостазе выступали не как первичное, а как производное. Эти изменения обрели смысл феноменов, связанных с мобилизацией телесных сил для предстоящих «бегства и борьбы», готовящих организм к восстановлению динамического равновесия внутренней среды перед лицом испытаний, которые неизбежно нарушат это равновесие.

Механизмы восстановления гомеостаза, с которыми теперь связывались телесные изменения при эмоциях, Кеннон трактовал как продукт естественного отбора. Мы видим, таким образом, что биодетерминистский способ анализа позволил Кеннону преодолеть механодетерминизм его учителя Джемса, периферическая гипотеза которого, как показал Выготский, обессмысливала и телесные изменения при эмоциях, и сами эмоции. Однако ни «централизм» Кеннона, ни включение им телесного механизма эмоций в общую схему гомеостаза не выводили исследование за пределы физиологии. Категории, в системе которых он работал, не позволяли раскрыть специфику эмоции как психической реальности. Поэтому Выготский, ставя теорию Кеннона выше теории Джемса — Ланге, все-таки полагает, что и первая бессильна преодолеть дуализм.

Ограниченность естественнонаучного, каузального воззрения на психику, при объяснении которой биологический детерминизм, существенно продвинувшись вперед по сравнению со своим предшественником — детерминизмом механистическим, не сумел, однако, овладеть ее центральными областями, придала новый импульс индетерминистскому движению в философии. Оно выделило реальнейшие особенности человеческого сознания — его внутреннюю активность, личностный

смысл переживаний, ориентацию на духовные ценности и другие — как неоспоримый показатель его имманентной включенности в совершенно иной порядок бытия, чем выделение адреналина или раздувание ноздрей при гневе. Это направление отвергло изжившее себя картезианство — не только механическую картину внешнего мира, но и интроспекционистскую картину внутреннего, которая, как отмечалось, доминировала в отделившейся от философии экспериментальной психологии, устремленной на поиск первоэлементов сознания.

Этим элементам приписывалась сенсорная (либо квазисенсорная) природа, установление же закономерных связей между ними представлялось задачей, решаемой посредством методов, подобных принятым естественными науками. Что касается вопроса об отношении сознания к его телесному субстрату, то здесь единственно совместимым с принципами естествознания (в частности, законом сохранения энергии) решением считался психофизический параллелизм.

В рукописи Выготского впервые в нашей психологии дан глубокий анализ нового идеалистического направлеиия (оно вошло в историю под именем философии жизни), которое противопоставило себя и детерминизму, и классическому интроспекционизму. Оно выступило с тезисом о том, что, наряду с физической природой и рефлексирующим сознанием (разумом, рассудком), существует третье, несводимое к ним начало. Его обозначили старинным словом *жизнь*, соединив с ним, однако, признаки, отличавшие его от биологических представлений, успешно разрабатывавшихся в естествознании на основе дарвиновского учения. К этим признакам относилось особое витальное, личностное начало, благодаря которому индивид реализует себя, как стали говорить впоследствии, свою экзистенцию, уникальным, неповторимым образом. Понимающая психология Дильтея была одним из первых ответвлений этого течения.

Применительно к сфере эмоций это направление обращалось к тем переменным, к которым вообще были безразличны физиологически ориентированные объяснения ее явлений, будь то периферические теории или центральные.

Пронизывающее весь исторический путь психологии противоборство каузальности и спиритуализма выступало здесь в новом ракурсе. Специфика эмоциональных переживаний человека, существа социально-исторического, изначально погруженного в мир культурных ценностей, попала, как убедительно показал Выготский, в тенета иррационалистической философии и была там мистифицирована, отъединена от реальных практических связей человеческой личности с предметной действительностью, от ее включенности в материальное и духовное производство, с развитием которого развивается и личность, богатство ее чувств. Поэтому, хотя, казалось бы, культурологическая ориентация в понимании этих феноменов, представленная В. Дильтеем, М. Шелером и другими, должна была бы импонировать Выготскому, сосредоточенному на критике натурализма, механицизма, дуализма, он отвергает ее с такой же решительностью, как и попытки вывести эмоции из реакций сосудов, функций таламуса или выразительных движений, напоминающих человеку о том, что он выходец из обезьяньего стада.

Органично усвоив историко-материалистический взгляд на человеческое сознание, Выготский различил за культурологической концепцией Дильтея, Шелера и других все тот же спиритуалистический подход, преодолевая который психология утверждала применительно к своим реалиям принципы, позволяющие придать познанию смысл научного. Более того, Выготский (сопоставляя такой подход к эмоциональным процессам с механистическим) показывает, что оба, при видимой противоположности, в действительности дополняют друг друга, а точнее, являются неразлучными спутниками. Так, Шелер, ставя целью описать самостоятельные смысловые законы высших эмоциональных актов и функций («логику сердца» — по Г. Лотце), рассматривает их в качестве параллельных причинным психофизическим зависимостям чувств от телесных процессов. Различие же высших и низших эмоций в механистической концепции Джемса, в свою очередь, совпадало с членением, которое проводил феноменолог Шелер.

Оба, казалось бы, полярных воззрения имеют общий корень, каковым, согласно Выготскому, и служит картезианское учение о страстях. Оно — дитя научной революции XVII в., расшатав до основания средневековую модель человека и обеспечив прогресс познания, погрузило через два с лишним века новую, обретшую эмпирически-лабораторные контуры психологию в трясину глубокого кризиса.

Л. С. Выготский показал, что историческая рефлексия, обращая взор к давно изжившим себя представлениям (что может быть архаичнее декартовой гипотезы о животных духах, колеблющих мозговую железу!), обнажает благодаря раскрытию методологической инфраструктуры этих представлений источник современных коллизий. Она способна соотнести современность с исканиями прежних веков лишь потому, что сквозь конкретные воззрения и гипотезы проникает в глубь их категориальных схем, связующих седую старину с передним краем науки. Выготский был мастером такого проникновенного анализа. Методология науки и ее история теснейшим образом сопрягались в его мышлении. Методология рассматривалась как исторически обусловленная форма организации знания, история — как реализация в необратимом времени, в сменяющихся от эпохи к эпохе пластах конкретных событий, устойчивых методологических регулятивов познавательного процесса.

Историко-методологический анализ призван, согласно Выготскому, не только проследить зависимость актуально совершающихся в науке событий от ее «генетических» корней. Вскрывая закономерности развития науки, этот анализ обращен к будущему. Вместе с тем он позволяет оценить созданное в прошлые эпохи не только с точки зрения влияний, приведших к кризисным явлениям, но также и поисков решений, которые противостояли этим влияниям, однако не получили, несмотря на свою перспективность, развития из-за доминирования иных, антагонистических по отношению к ним идейных сил.

Такая ориентация определила центральное для всего исследования Выготского положение о том, что, наряду с декартовским учением о страстях, заведшим психологию в круговорот безысходных противоречий, XVII в. выработал другое учение, потенциал которого остался неиспользованным, хотя именно оно позволило бы перестроить современную психологическую теорию на началах, избавляющих от этих противоречий, от расщепления эмоций на низшие и высшие, от подведения одних под законы природы, других под законы духа, от противоположения каузальности, телеологии, объяснения описанию и т. д. Такое антикартезианское направление создал, согласно Выготскому, Спиноза.

Обоснование этого вывода требовало тщательно рассмотреть характер отношений между учениями двух великих философов с такой же настойчивостью и последовательностью, с какой Выготский доказывал единую картезианскую генеалогию двух лишь по видимости несовместимых теорий — висцеральной (периферической) теории эмоций, с одной стороны, феноменологической (интенциональной) — с другой. Он противопоставляет методологическому стержню этих теорий линию, намеченную Спинозой, как ведущую изучение человеческих побуждений и переживаний в принципиально новое русло.

Если в «Трактате о Страстях души» Декарта Выготский усматривал источник современного психологического кризиса, то в «Этике» Спинозы — идеи, позволяющие преодолеть весь комплекс дуалистических версий об отношении психики и ее телесного субстрата, интеллектуального и аффективного (мотивационного), «высших» и «низших» форм эмоционального поведения, непроизвольного и произвольного. Выготский завершил лишь ту часть предпринятого им исследования, которая предусматривала выяснение методологической роли картезианской схемы в построении новейших конкретно-научных представлений.

О том, что с этой схемой несопоставима позиция Спинозы, Выготский не упускает случая напомнить читателю. Он подвергает решительной критике историков философии, трактующих Спинозу как преемника Декарта. В полемике с ними Выготский преувеличивает спиритуалистическую и недооценивает детерминистскую направленность декартова учения о страстях души.

Выготский говорит об «августинизме» Декарта. Верно, что интроспективное понятие о сознании зародилось в недрах религиозной метафизики — в трудах Плотина и Августина. У Декарта же оно очищается от религиозной интерпретации и становится «светским». Согласно плотино-августиновской концепции, человек использует явления своего сознания, чтобы вступить в контакт со всевышним как единственной неколебимой реальностью. У Декарта же единственным бесспорным объектом интроспекции становится ее собственная мысль. Можно сомневаться во всем — естественном или сверхъестественном, однако никакой скепсис не может устоять перед суждением «я мыслю», из которого неумолимо следует, что существует и носитель этого суждения — мыслящий субъект.

Только человек новой формации мог придать индивидуальному сознанию столь независимый высокий статус. Этот социально-философский аспект Выготский оставил без внимания, сосредоточившись на раскрытии разящих противоречий в декартовой психологической концепции. Выготский считал, что ее облик определяют механицизм и дуализм, что детерминизм Декарта в трактовке страстей души исчерпывается моделью механически работающего неодушевленного тела (ведь из организации действий организма как природного тела участие души начисто изымалось). В противовес этому следует подчеркнуть, что определенная категория страстей, а именно те, которые по современной терминологии носят имя эмоций, вовсе не полагалась Декартом безразличной для активной регуляции человеческого поведения.

Согласно Декарту, под влиянием эмоций организм устремляется к тому, что для него полезно, либо уклоняется от вредных для него внешних воздействий. Декарт соединил понятие об эмоции с идеей самосохранения живого тела, которая, как мы увидим, имела принципиальное значение и для Спинозы. Самосохранение не реализуется автоматически. Оно обеспечивается аппаратом эмоций, выполняющих своего рода сигнальную функцию. Безотносительно к способности мыслить (рефлексировать) о пользе и вреде, эмоции в качестве порождаемых (неодушевленных) телом человека состояний ориентируют его в окружающем мире, направляя к одним объектам, отвращая от других, соответственно потребности в самосохранении. Тем самым в декартовой концепции эмоций зарождались представления, разрывающие сетку механодетерминистских категорий не с высоты вторгавшейся в нее извне бесплотной и субстанциональной активности сознания, а исходя из присущих организму природных свойств.

Среди этих свойств появились неведомые мышлению физика два сопряженных понятия: фактор потребности, нужды организма в том, чтобы «пристрастно» вести себя по отношению к миру с целью выжить в нем (в дальнейшем потребность вошла в состав категории мотивации), и фактор ценности, характеризующий уже не состояние организма, а свойства внешних объектов с точки зрения их значимости для него (их пользы или вреда). Эти нововведения Декарта остались Выготским незамеченными. Он также не рассмотрел эволюцию воззрений Декарта и такую важную ее особенность, как стремление преодолеть первоначальную трактовку организма в жестко физических понятиях и взгляд на животное как чистую машину.

Отступления Декарта от механицизма не привлекли внимания Выготского, который стремился реконструировать картезианское учение в заостренно последовательном выражении его принципов, поскольку именно механицизм и дуализм, а не попытки их преодоления со стороны самого Декарта повлияли на пути развития психологии.

Центральную задачу Выготский, как известно, усматривал в доказательстве того, что по всем параметрам спинозистская система идей антитетична картезианской, что именно последняя ввергла конкретные психофизиологические учения об эмоциональных процессах в ситуацию кризиса. Для его преодоления следует возвратиться к Спинозе, который, пройдя картезианскую школу, создал противоположное ее постулатам учение о человеке, о побудительных силах его поведения. Выготский считал: концепция аффектов Джемса — Ланге, как и альтернативная ей по видимости концепция переживаний Дильтея — Шелера, будучи картезианскими по сущности, удерживаются в психологии только потому, что в противовес им не выдвигаются другие концепции, способные возвыситься над картезианством. При этом имелись в виду не объяснения конкретных механизмов эмоционального поведения, не классификация его отдельных проявлений, не другие формы эмпирического знания о чувствах человека, а общие философские ориентиры, от которых зависит трактовка этих механизмов, проявлений и т. п.

Главным ориентиром для Спинозы являлся, согласно Выготскому, натурализм, последовательный, бескомпромиссный, не допускающий никаких надприродных сущностей или сил и потому отвергающий воззрение на страсть (чувство, аффект) как самое непосредственное выражение двойственности человеческой натуры. Но проблема двойственности поведения (на уровне человека) не ограничивалась его эмоциональным аспектом.

От учения об эмоциях протягивались незримые, но неразрывные нити к самым различным проблемам: онтологической (является ли бытие единой субстанцией),

гносеологической (какими способами это бытие познается), этической (как возможны действия человека в качестве свободной, нравственной личности), психологической (как соотносятся между собой различные психические функции: мышление, чувство, воля). Выготский доказывал, что по каждой из проблем решение Спинозы опровергает картезианское, и из этого неотвратимо следовала полярность их объяснения эмоций (страстей, аффектов).

VI

Работая над своей рукописью, Выготский проектировал вслед за критической частью изложить позитивную, с развернутым анализом тех методологических принципов, которые могут быть извлечены из «Этики» Спинозы, став основанием радикально нового направления в изучении эмоций как одной из центральных глав психологии. Об этом проекте Выготский неоднократно упоминает, отсылая читателя к последующему разделу рукописи, который ему уже не довелось написать. Неизвестно, наметил ли Выготский эскиз этого раздела или идеи, которые он предполагал представить в систематизированном виде, еще не сформировались. Для понимания пунктов, от которых отправлялся Выготский, и вектора его движения к цели, ради которой было предпринято все это исследование, надежный материал содержится только там, где при критике картезианства Выготский выбирает в союзники Спинозу. Попытаемся реконструировать возможные ходы мысли Выготского при анализе им философии Спинозы с точки зрения построения на ее основе новой теории эмоций.

Вступая в дискуссию с Декартом, Спиноза подспудно вкладывал в свои контраргументы собственные убеждения. Использованный Выготским набор этих контраргументов позволяет в известных пределах представить контуры тех положений, взаимосвязь которых могла бы образовать систему позитивных — антикартезианских — идей, способных, как надеялся Выготский, превратить раздел об эмоциях в интегральную часть целостного учения о человеческом сознании, свободного от противоречий, препятствовавших развитию детерминистской психологии (а никакая другая психология, согласно Выготскому, научной быть не может).

Первым решающим словом в этой системе был монизм. Спиноза — в противовес Декарту — провозгласил, что единственной субстанцией является природа. Тем самым он лишил психическое в любой его форме (будь то мышление, воля, сознание) субстанционального значения. Природа бесконечна. Протяжение, с которым Декарт ее идентифицировал, лишь один из ее бесчисленных атрибутов. Другой ее атрибут — мышление.

Какое, казалось бы, отношение имеет этот общефилософский постулат к специальному психологическому учению об эмоциональных реакциях человека? Но мы уже имели повод отметить, что за тем или иным развитием и смыслом этого «локального» учения скрыт весь комплекс глобальных философских проблем. Из онтологического воззрения на субстанцию как единую природу, открытую человеку в двух ее атрибутах, вытекала идея нераздельности психического и физического, а тем самым и *невозможности воздействия одного из них на другое в качестве самостоятельных сущностей*. В итоге снимался вопрос, создававший множество тупиков и «эпистемологических барьеров» не только в философии, но в самой гуще исследовательской практики психолога, занятого, в частности, выяснением детерминационных зависимостей между испытываемыми субъектом эмоциональными состояниями и происходящими при этом процессами в организме, в его различных системах.

Человек, согласно Спинозе, представляет целостное природное существо. И его мышление, и его протяженное тело включены в один и тот же каузальный ряд. Определяясь одними и теми же причинами, они не могут вступать между собой в детерминационные отношения. Имеется только одна закономерность и необходимость, один и тот же порядок и для вещей (включая такую вещь, как тело), и для идей.

Вопрос о взаимоотношении между двумя атрибутами субстанции (мышлением и протяжением) трактуется Спинозой как *психофизическая, а не психофизиологическая проблема*.

Речь идет о включенности единой «идеотелесной» вещи — человеческого организма — во всеобщий порядок мироздания, а не о корреляциях между индивидуальной душой и индивидуальным телом вне универсальной закономерности, которой неотвратимо подчинено и одно, и другое. Спиноза отвергает ложный ход мысли, когда сперва расщепляют нераздельное, гипостазируют его компоненты (психическое и телесное) в самостоятельные сущности (субстанции, вещи), а затем устремляются на поиск связи между тем, что после проделанной над целостной структурой операции уже невозможно понять как онтологически родственное и логически гомогенное.

В онтологическом плане идея психофизического единства требовала вычленить общий принцип, которому подчинена любая вещь как целое (в обоих открытых человеческому разуму атрибутивных характеристиках — и как психическое, и как физическое). В качестве универсального закона существования и изменения любой конкретной вещи Спиноза утверждает стремление к самосохранению — могучую побудительную («мотивационную») силу, заложенную природой в каждую из ее индивидуальных реалий.

Мы уже встречались с представлением о том, что страсти души рождаются из присущего телу стремления к самосохранению. Ее высказал Декарт. У Спинозы эта идея получает дальнейшее развитие соответственно непреклонно отстаиваемому им психофизическому монизму. Из принципа существования любой конкретной вещи она трансформируется в движущее — по существу единственное — начало человеческого поведения. Это начало (вытекающее, подчеркнем еще раз, из универсального принципа самосохранения) обретает статус влечения, которое «есть не что иное, как самая сущность человека» (Б. Спиноза, 1957, с. 464).

Влечение есть психофизиологический феномен, ибо оно относится и к душе, и к телу.

Здесь нераздельность атрибутов единой субстанции выступает не в «космических» масштабах, не применительно к неисчерпаемому мирозданию в целом, а применительно к поведению конкретного человека во всем многообразии его страстей, аффектов, чувств.

В современной терминологии феномен, названный Спинозой влечением, относится к категории мотивации. Стало быть, переводя философский принцип психофизического единства на рабочий научный язык, можно сказать, что в ткани реального исследования и объяснения фактов жизнедеятельности человека мотивация приобретала основополагающий характер. В ней единство психического и физического, телесного и духовного получало конкретное воплощение. Именно здесь протягивалась прямая нить от общего понимания места человека в природе к анализу каждого из конкретных актов психофизиологической регуляции его поведения.

Эти мотивационные акты выступали у Спинозы под именем аффектов. «Под аффектами я разумею состояния тела, которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают ее, а вместе с тем и идеи этих состояний» (там же, с. 456).

Тело, с точки зрения Спинозы, представляет собой целостную, психофизическую, динамическую систему, которая претерпевает изменения, переходя от меньшего совершенства к большему и обратно. Течение душевиых состояний не только отражает сдвиги в этой системе, но и направлено на увеличение ее способности к действию. Из этого следовало, что душа как бы служит телу. Она стремится иметь образы того, что благоприятствует ему и, напротив, она «отвращается от воображения того, что уменьшает либо ограничивает способность ее тела» (там же, с. 467).

Влечение к самосохранению, согласно Спинозе, внутренне связано с двумя другими основными аффектами — радостью и печалью. Эти аффекты отражают переход человека от меньшего совершенства к большему. Положительные аффекты увеличивают способность тела к действию, а души — к познанию, отрицательные — уменьшают. Поэтому влечение к самосохранению (самоактуализации) означает в контексте спинозистской интерпретации стремлеиие не к равновесию (сохранению достигнутого), а к «саморасширению», к повышению, непрестанному усилению активности как в отношении тела, так и в отношении души. Из такого понимания принципа самосохранения следовало, что базальный мотив поведения выражен не в стремлении достичь равновесия со средой, а в установке на

преодоление ее сопротивления, на усиление способности человеческого тела к саморазвитию, к развертыванию своих психофизических потенций.

Поставив в центр своей психологической системы мотивацию, Спиноза стремился преодолеть не только дуализм телесного и психического в структуре поведения, но и дуализм *низших* (генерируемых телом как физической *вещью*) и *высших* (проистекающих из сферы *чистой* воли) побудительных сил.

«Воля и разум (интеллект) — одно и то же» (там же, с. 447). Этот вывод не следует истолковывать в том смысле, будто Спиноза отстаивал интеллектуализм в противовес волюнтаризму. Ведь интеллект вовсе не является для него самостоятельной силой или способностью. Он неотделим от тела, поскольку атрибут мышления неотделим от атрибута протяжения. Им, как и всем остальным в человеческом поведении, движут аффекты. Среди них имеются эмоциональные (психофизические) акты различного уровня, но, как бы они ни различались, их природа едина.

Мысль об извечном антагонизме между плотью и духом вела к расщеплению сферы мотивации на противостоящие друг другу силы. В противовес этой концепции Спиноза доказывал телесную сущность мотивов (аффектов) любого порядка. В глазах противников материализма это означало возвеличивание низменных, плотских влечений в ущерб высшим ценностям и идеалам.

Действительный же замысел спинозистской концепции выражала надежда на то, чтобы превратить эти ценности в регуляторы реального, стало быть, телесного поведения. Ее автор еще ничего не знал о нервных и гуморальных механизмах мотивации, о взаимодействии корковых и подкорковых структур и т. д. Но, не зная конкретных психофизиологических характеристик эмоционального поведения, он утверждал общий принцип, без которого сами эти характеристики не могли быть выработаны.

Исходя из постулата о неотделимости души от тела, законом жизни которого является стремление к самосохранению, испытывание радости при возрастании способности к действию и печали при ее уменьщении, Спиноза тем самым полагал, что поведение всегда имеет аффективную тональность, всегда мотивировано.

У Спинозы принцип примата разума, интеллектуальной стороны в сфере познания (чувственный опыт он относил к низшей ступени), не превратил человека в созерцательное, бездеятельное существо в сфере поведения. Фактором развития психики, согласно Спинозе, является деятельность тела. «Кто, как ребенок или мальчик, имеет тело, способное к весьма немногому и всего более стоящее в зависимости от внешних причин, тот имеет душу, которая, рассматриваемая сама по себе, почти ничего не знает ни о себе, ни о боге*, ни о вещах; и, наоборот, имеющий тело, способное весьма ко многому, имеет душу, которая, рассматриваемая сама по себе, обладает бóльшим познанием и себя самой, и бога, и вещей» (там же, с. 615).

Знание не только о других вещах, но и о самой душе ставилось в прямую зависимость от способности тела к действию. Таким образом, принцип каузальности сочетался у Спинозы с принципом активного действия, расширяющего возможности как физического тела, так и образующей с ним нераздельное целое психической организации.

К сожалению, из-за незавершенности рукописи Выготского трудно определить спектр идей, которые были выделены автором в спинозистском учении в качестве отправных для выработки собственных решений, относящихся к проблеме движущих сил человеческого поведения. Тем не менее магистральные линии прочерчиваются отчетливо. Это прежде всего детерминизм. Для Декарта этот прицип означал механодетерминизм, что повлекло за собой трактовку эмоций как страдательных состояний (страстей) души, вызываемых изменениями в «машине тела». Что же касается истинно человеческих активных состояний (мышление, воля), то они относились, согласно картезианской концепции, к бестелесным актам, конечная каузальная инстанция которых — индивидуальный субъект.

Преодоление механодетерминизма и его неизбежных спутников — эпифеноменализма (все психическое, порождаемое телом, может быть только последствием, результатом, но самостоятельного причиииного значения не имеет), индетерминизма в трактовке высших фуикций (поскольку из механического

* Спиноза считал бога идентичным природе.

взаимодействия физических тел они невыводимы), дуализма (противоположения непроизвольных психических процессов произвольным) — таковой представлял Выготский (как явствует из дошедшего до нас текста) историческую миссию Спинозы.

Поскольку же Спиноза был величайший детерминист, то из представлений Выготского следовало, что в философии Спинозы рождалась новая форма детерминизма — как методологическая основа новой психологической теории, свободной от родимых пятен картезианского способа мышления. Эта теория, согласно Выготскому, имеет своим предметом человека как целостное и активное, стремящееся к саморазвитию психофизическое существо, движимое едиными телесно-духовными потребностями. Ее ключевой категорией является понятие о мотивации. Ее главным методом служит бескомпромиссно-причинное объяснение (а не описание, понимание и т. п.). Раскрыв исторический смысл крупного шага, сделанного Спинозой на пути, позволяющем устранить кризисные явления в современной психологии (порожденные преодоленной Спинозой картезианской традицией), Выготский, однако, нигде не говорит об ограниченности этой теории, о том, что она строилась на основе натурализма, а не служившего для Выготского путеводной звездой историзма.

VII

Возможно, что завершающая часть труда не только раскрыла бы величие вклада Спинозы, но и дала критический анализ его учения. Основанием для такого мнения служит как данная Выготским в других его работах общая концепция развития психических явлений, так и ряд положений, которые он выдвигал, касаясь специфики человеческих чувств, в частности в публикуемом в этом томе очерке о психологии творчества актера.

Небольшой очерк, касающийся специального вопроса, запечатлел общую ориентацию автора, его подход к переживанию личности как культурно-историческому феномену. Правда, в данном случае речь идет не о «натуральных жизненных чувствованиях», а об идеализованных, создаваемых творческой силой актера страстях. (Что и побудило в свое время Дидро рассмотреть вопрос о том, как соотносятся в деятельности актера эти два разряда эмоций.) Но ведь Выготский исходил из того, что «актерская психология составляет часть общей психологии» (с. 320 наст. тома) и качественное своеобразие ее природы может быть постигнуто только «в свете более общих психологических закономерностей» (с. 321 наст. тома). Поэтому его суждения о специфике переживаний актера (где сплетаются чувства роли и чувства личности) отражают складывавшийся у него подход к психологии эмоций в целом.

Отметим несколько наиболее существенных пунктов. Прежде всего Выготский указывает на необходимость преодолеть эмпиризм, выраженный в том, что, ограничиваясь показаниями самонаблюдения, свидетельствами субъекта об испытываемых им эмоциональных состояниях, исследователи не умеют подняться над этими фактами и охватить их общим методологическим пониманием предмета. Ничто как будто не дано человеку в такой непосредственной достоверности и интимности, как испытываемое им чувство. Но истинное знание о нем приобретается только объяснением его генезиса и смысла, исходя из объективных, действующих за кулисами внутреннего наблюдения закономерностей.

Очевидно, что этим тезисом Выготский отстаивал правоту объяснительной психологии переживания в противовес описательной и понимающей. В оценке объяснительной психологии как единственно научной он неколебимо стоял на тех же позициях, что Декарт-физик и Спиноза. Однако если для них объяснение означало выведение эмоциональных феноменов из законов природы, то Выготский настаивает на необходимости рассматривать переживание как факт, требующий обращения к законам истории. Не биологическая природа человека служит источником его душевных страстей и волнений, а историко-культурный контекст его активности.

У Декарта причинное объяснение эмоций строилось на механодетерминистской основе, у Дарвина — на биодетерминистской. Для Выготского же отправным пунктом становится социодетерминизм, ибо историческое развитие поведения определяется действием социальных сил. «В процессе общественной жизни,—

подчеркивает он,— чувства развиваются... эмоции вступают в новые отношения с другими элементами душевной жизни, возникают новые системы, новые сплавы психических функций» (с. 328 наст. тома).

Если в предшествующий период своих раздумий о психологических системах Выготский сосредоточился на рассмотрении в качестве частей целого когнитивных процессов (восприятия, памяти, мышления, речи), то теперь в центр анализа перемещается проблема чувств, переживаний, аффектов.

Теперь, на новой фазе его творчества, он особенно остро ощущает необходимость постичь *единство когнитивного и аффективно-мотивационного в деятельности личности*. Работая в основном над проблемами мышления и речи, он отчетливо видел ограниченность интеллектуалистической ориентации, присущей наиболее интересным исследованиям в этой области. Вопросу о связи между интеллектом и аффектом он начинает придавать решающее значение. Сознание трактуется им как «динамическая смысловая система, представляющая собой единство аффективных и интеллектуальных процессов» (т. 2, с. 22). Теперь не сами по себе единицы речевого мышления (знаки как носители значения), но их аффективная заряженность становится для Выготского главным предметом раздумий о специфике психологического анализа в отличие от лингвосемиотического. Он подчеркивает, что «во всякой идее содержится в переработанном виде аффективное отношение человека к действительности, представленной в этой идее» (там же).

Этим положением предварялась последняя печатная работа Выготского «Мышление и речь», где реализовывалась трактовка значения слова как единства мышления и речи, предметного обобщения и межличностной коммуникации. Понимая, что нужно продвигаться дальше, к органическому включению в психологический анализ поведения человека — истинного двигателя речемыслительного процесса — страсти, потребности, мотивации, Выготский и обратился к изучению роли этих детерминант.

Последняя книга Собрания сочинений Л. С. Выготского выходит в свет ровно через полвека, после того как рано оборвалась его срезанная туберкулезом жизнь.

Учитель из провинциального белорусского городка за несколько лет стал выдающимся психологом XX столетия. Объективной логикой развития науки и социальной ситуацией в новой России было обусловлено появление Выготского и собравшейся под его идеями самой крупной в советской психологии научной школы, от которой радиусами разошлись различные направления.

Утвердив принципы социодетерминизма, историзма и системности, Выготский первым понял зависимость прогресса прикладных, отраслевых направлений психологии (а тем самым и ее способности непосредственно служить людям) от создания общей психологии как методологии «среднего уровня», задающей те конкретные категории, сквозь призму которых становится различимой психическая реальность в качестве особого научного предмета (отличного от знания на уровне «житейских» понятий), доступного эмпирическому изучению, операционализации и прямому инструментальному контролю.

Концепция Выготского оказала непреходящее влияние на судьбы советской психологии. Что касается ее восприятия на Западе, то имеется свидетельство скупого на оценки Дж. Брунера: «Каждый психолог, который занимался в минувшую четверть века познавательными процессами и их развитием, должен признать то влияние, которое оказали на него труды Льва Семеновича Выготского» (Брунер Дж. Психология познания. М., 1977, с. 9).

М. Г. Ярошевский

КОММЕНТАРИИ

ОРУДИЕ И ЗНАК В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

1. Работа написана Л. С. Выготским в 1930 г. Издается впервые по тексту рукописи. Содержит в концентрированном виде ряд основных положений *культурно-исторической теории* развития психики и прямо соотносится с такими произведениями Выготского, как «Мышление и речь», «История развития высших психических функций», «Инструментальный метод в психологии» и др.
2. Штумпф (Stumpf) *Карл* (1848—1936)—см. т. 1, с. 461.
3. Линней (Linne, Linnaeues) *Карл* (1707—1778)—см. т. 1, с. 471.
4. Ср. с вступительной статьей Выготского к русскому изданию книги К. Бюлера «Очерк духовного развития ребенка» (т. 1, с. 196—209).
5. Гезелл (Gesell) *Арнольд* (1880—1961)—см. т. 4, с. 408.
6. Келер (Köhler) *Вольфганг* (1887—1967)—см. т. 1, с. 460. Автор многочисленных работ по исследованию восприятия. Подробнее об отношении Выготского к работам Келера см.: Орудие и знак в развитии ребенка, наст. том; Мышление и речь, т. 2, с. 89—118; предисловие Выготского к переводу на русский язык работы Келера «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян» (т. 1, с. 210—237).
7. Липманн (Lipmann) *Отто* (1880—1933)—см. т. 5, с. 343.
8. Бюлер (Bühler) *Карл* (1879—1963)—см. т. 1, с. 465; т. 2, с. 484; т. 4, с. 407.
9. Бюлер (Bühler) *Шарлотта* (1893—?)—см. т. 4, с. 405.
10. Боген (Bogen) *Гельмут* (1893—?)—немецкий психолог, специалист по детской психологии. О работах Липманна и Богена см. также: Л. С. Выготский. Проблема развития в структурной психологии, т. 1, с. 265.
11. Басов Михаил Яковлевич (1893—1931)—советский психолог, разрабатывал один из первых вариантов теории деятельности в психологии.
12. Гальтон (Halton) *Френсис* (1822—1911)—см. т. 1, с. 464. Разработал метод так называемой коллективной фотографии (популярный в начале XX в.), когда на один кадр снимались лица многих людей. В результате сходные черты выделялись, индивидуальные—затушевывались. Гальтон считал, что этот метод является хорошим аналогом для иллюстрации психологического механизма формирования понятий. Ср. также: Л. С. Выготский. О психологических системах, т. 1, с. 109—131.
13. Пиаже (Piaget) *Жан* (1896—1980)—см. т. 1, с. 464, т. 4, с. 409. Подробнее об отношении Выготского к работам Пиаже см.: Мышление и речь, т. 2, с. 23—79, а также предисловие Выготского к русскому изданию книги Пиаже «Речь и мышление ребенка» (М., 1932).
14. Морозова Наталья Григорьевна (р. 1910)—советский психолог, дефектолог, ученица Л. С. Выготского.
15. Бине (Binet) *Альфред* (1857—1911)—см. т. 1, с. 462.
16. Данное исследование является развитием идей, высказывавшихся Выготским в статье «Проблема культурного развития ребенка».—Педология, 1928, № 1.
17. Об эгоцентрической речи см.: Мышление и речь, т. 2, с. 5—361.
18. Кос (Kohs) *Сэмуэль Калман* (1890—?)—американский психолог, специалист по детской психологии, автор ряда тестов. Об оценке Выготским работ Коса см. также его статью «О психологических системах», т. 1, с. 109—131.
19. Гешелина Лия Соломоновна (1892—?)—педагог, специалист по дошкольному воспитанию.
20. Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891)—см. т. 2, с. 486, т. 3, с. 349. Разрабатывал проблемы соотношения языка и мышления, учение о «внутренней

форме слова» и др. Работы Потебни оказали большое влияние на Выготского — см.: Мышление и речь (т. 2, с. 5—361), Психология искусства (1968).

21. Сахаров Лев Соломонович (?—1928) — см. т. 2, с. 486. Имеется в виду его работа «О методах исследования понятий» (1930). Об оценке этой работы Сахарова Выготским см. также: Мышление и речь, Экспериментальное исследование развития понятий.

22. Котелова Юлия Владимировна (1905—1980) — см. т. 2, с. 486.

23. Йеркс (Yerkes) *Роберт* (1876—1956) — см. т. 2, с. 485. Подробнее об оценке этих работ Выготским см.: Мышление и речь, т. 2, с. 89—118.

24. Штерн (Stern) *Вильям* (1871—1938) — см. т. 2, с. 464. Подробнее об оценке Выготским работ Штерна см.: Мышление и речь, т. 2, с. 80—89.

25. Левина Роза Евгеньевна (р. 1908) — см. т. 2, с. 483.

26. Уотсон (Watson) *Джон Бродес* (1878—1958) — американский психолог, лидер бихевиоризма. Имеется в виду его работа «Психология как наука о поведении». Об оценке Выготским идей Уотсона см. также: Мышление и речь, т. 2, с. 89—118. Ранее Уотсона данную идею высказал английский филолог М. Мюллер.

27. Хэд (Head) *Генри* (1861—1940) — см. т. 1, с. 467.

28. Эта идея Выготского впоследствии была развита его учениками, в частности Д. Б. Элькониным (1971, с. 16—25).

29. Клапаред (Clapared) *Эдуард* (1873—1940) — см. т. 1, с. 463; т. 2, с. 482.

30. Ср. работы Выготского: «Проблема культурного развития ребенка», «История высших психических функций».

31. Фолькельт (Volkelt) *Ганс* (1886—?) — немецкий психолог-идеалист, принадлежал к лейпцигской школе.

32. Вернер (Werner) *Гейнц* (1890—?) — немецкий психолог, специалист по детской психологии, психологии восприятия.

33. Подробнее об оценке Выготским см. его предисловие к работе В. Келера «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян» (т. 1, с. 210—237).

34. Иенш (Iaensch) *Эрик* (1883—1940) — см. т. 1, с. 464.

35. Кафка́ (Kafka) *Густав* (1883—?) — немецкий психолог. Имеется в виду его работа (G. Kafka, 1922).

36. Левин (Levin) *Курт* (1890—1947) — см. т. 1, с. 465. Об отношении Выготского к его работам см. подробнее: Орудие и знак в развитии ребенка (наст. том); Лекции по психологии. Лекция 6. Проблема воли и ее развитие в детском возрасте (т. 2, с. 454—465).

37. Коффка (Koffka) *Курт* (1886—1941) — см. т. 1, с. 460.

38. Ср. известную формулу Выготского: «Мы можем сформулировать общий генетический закон культурного развития в следующем виде: всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцене дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая» (т. 3, с. 145).

39. Менчинская Наталия Александровна (р. 1905) — советский психолог, ученица и сотрудница Выготского. Впоследствии специалист по психологии обучения.

40. Божович Лидия Ильинична (1904—1981) — советский психолог, ученица Л. С. Выготского, специалист в области психологии личности ребенка.

41. Славина Лия Соломоновна (р. 1906) — советский психолог, ученица Выготского, занимается вопросами специальной психологии.

42. Леонтьев Алексей Николаевич (1903—1979) — см. т. 1, с. 404; т. 2, с. 483. Исходя из этих положений Выготского, он проводил экспериментальные исследования, отраженные в монографии «Развитие памяти» (М., 1931).

43. Занков Леонид Владимирович (1901—1977) — советский психолог, ученик Выготского. Специалист по психологии памяти, обучения, дефектологии.

44. Торндайк (Thorndike) *Эдвард* (1874—1949) — см. т. 1, с. 461; т. 2, с. 485; т. 5, с. 345.

45. Имеется в виду сцена из «Фауста» Гёте (ч. 1, сцеиа «Рабочая комната Фауста»), где Фауст подвергает сомнению библейское изречение «Вначале было слово» и ставит вместо него «Вначале было дело». См. также: Мышление и речь, т. 2, с. 295—361.

46. Гутцман (Gutzman) *Герман Альберт Карл* (1865—1922) — немецкий психолог, специалист по психологии речи.

47. Липманн (Lipmann) *Гуго* (1863—1925)—немецкий психиатр. Его учение об апраксиях изложено в: Drei Aufsätze aus dem Apraxiegebiet, Berlin, 1908. Разрабатывал также проблемы зрительных галлюцинаций, изучал афазии.

УЧЕНИЕ ОБ ЭМОЦИЯХ

1. Написана рукопись приблизительно в 1931—1933 г. Имела различные названия: «Учение Декарта и Спинозы о страстях в свете современной психоневрологии», «Спиноза», «Очерки психологии. Проблема эмоций», «Учение об эмоциях. Историко-психологическое исследование». Небольшие отрывки из нее публиковались дважды: «О двух направлениях в понимании природы эмоций в зарубежной психологии начала XX века».— Вопросы психологии, 1968, № 2, с. 149—156; «Учение об эмоциях в свете современной психоневрологии».— Вопросы философии, 1970, № 6, с. 119—130. В настоящем издании рукопись впервые опубликована полностью, по тексту единственного сохранившегося авторского варианта, датированного 1933 г.
2. Ланге (Lange) *Карл Георг* (1834—1900)—датский анатом.
3. Джемс (James) *Уильям* (1842—1910)—см. т. 1, с. 460. В 1885 г. в Копенгагене на датском языке вышла книга К. Г. Ланге «Эмоции», позднее переведенная на другие языки, в том числе и на русский (под названием «Душевные движения»). Выготский цитирует ее по русскому изданию. В 1884 г. была опубликована статья американского психолога и философа У. Джемса «Что такое эмоция?» (What is emotion?—Mind, 1884, v. 9). Изложенные в статье представления Джемс впоследствии развил в «Основах психологий» (1890).
4. Дюма (Dumas) *Жорж* (1866—1946)—см. т. 1, с. 470. Выготский имеет в виду предисловие Дюма к французскому переводу книги К. Г. Ланге, напечатанное затем в русском издании 1896 г.
5. Имеется в виду концепция эмоций, изложенная Ч. Дарвином (см. т. 1, с. 462) в работе «Выражение эмоций у животных и человека» (1872). Впервые применив эволюционный подход и объективный метод к изучению эмоций у человека и животных, он трактовал выразительные движения при эмоциях как компоненты адаптивного поведения—особый класс приспособлений, возникающих у животных в борьбе за существование. Выразительные движения при эмоциях у человека рассматривались как рудименты его животного происхождения.
6. Спенсер (Spenser) *Герберт* (1820—1903)—см. т. 1, с. 471. Имеется в виду его работа «Принципы психологии» (1855), оказавшая влияние, в частности, на Дарвина. Спенсер рассматривал выразительные движения у человека при эмоциях как рудиментарное поведение.
7. Мальбранш (Malbransh) *Никола* (1638—1715)—французский философ-идеалист, главный представитель окказионализма. Пытался сочетать картезианство и христианскую теологию в ее августиновском варианте.
8. Титченер (Titchener) *Эдвард* (1867—1927)—см. т. 1, с. 471.
9. Лотце (Lotze) *Герман* (1817—1881)—см. т. 1, с. 471.
10. Маудсли (Maudsley) *Генри* (1835—1918)—английский психолог естественнонаучного направления и физиолог.
11. Серджи (Sergi) *Джузеппе* (1841—1936)—итальянский антрополог материалистической ориентации, биолог, психолог, историк культуры.
12. Бард (Bard) *Филипп* (1898—?)—американский физиолог. Работал в области психологии и физиологии эмоций.
13. Денлап (Dunlap) *Книхт* (1875—1949)—американский психолог. Специалист по общей и социальной психологии, психологии религии. Имеется в виду написанное им предисловие к сборнику, где были перепечатаны работы Джемса и Ланге. Выготский цитирует Денлапа по статье У. Кеннона (W. B. Cannon, 1927). О работе Денлапа говорится на с. 106 этой статьи. Ввиду того что многие работы цитируются Выготским по этой статье, мы далее указываем кратко: цит. по: W. B. Cannon, 1927, p. ...
14. Перри (Perry) *Ральф* (1876—1957)—американский философ-неореалист, ученик Джемса, оказавший большое влияние на Кеннона.
15. Кеннон (Cannon) *Уолтер Бредфорд* (1871—1945)—американский физиолог. Первое издание его книги, посвященной анализу физиологических механизмов

эмоциональных процессов «Телесные изменения при боли, голоде, страхе и ярости», опубликовано в 1915 г.

16. Русский перевод данной книги Кеннона под названием «Физиология эмоций. Телесные изменения при боли, голоде, страхе и ярости», с предисловием и под редакцией советского биолога Б. М. Завадовского (1895—1951), вышел в Ленинграде в 1927 г. Перевод сделан с 3-го английского переиздания книги Кеннона, вышедшего в 1923 г.

17. Завадовский Борис Михайлович (1895—1951)—см. т. 2, с. 491.

18. Мак-Дауголл (Mc Dougall) *Уильям* (1871—1938)—английский и американский психолог и философ. Противопоставлял бихевиоризму и ассоцианизму так называемую целевую гормическую психологию. В работе «Введение в социальную психологию» (1908) объяснял социальные явления инстинктами. Эту работу и имеет в виду У. Кеннон (W. B. Cannon, 1927, p. 153).

19. Шеррингтон (Sherrington) *Чарлз* (1857—1952)—см. т. 1, с. 462.

20. Энджелл (Angell) *Джеймс Роуланд* (1869—1949)—американский психолог, представитель функционального направления. Цит. по: W. B. Cannon, p. 108.

21. Ср.: Спиноза. Этика, ч. I, аксиома 6: «Истинная идея должна быть согласна со своим объектом».

22. Гольдберг (Holdberg) *Людвиг* (1684—1754)—датский писатель, комедиограф. Герман фон Бремен—герой одноименной комедии.

23. Блуждающий нерв. У человека—10-я пара черепно-мозговых нервов. Парный смешанный нерв, содержащий двигательные, чувствительные и вегетативные (симпатические и парасимпатические) волокна. Результаты экспериментов, о которых здесь говорит Выготский, подробно изложены в известном курсе лекций Ч. Шеррингтона «Интерактивная деятельность нервной системы. Лекция 7. Рефлекс как реакция постоянного приспособления», впервые опубликовано в Лондоне в 1906 г. В 1935 г. часть лекций (в том числе данная) была издана на русском языке в кн.: Р. Крид, Д. Денни-Броун, И. Икклз, Е. Дидделл и Ч. Шеррингтон. Рефлекторная деятельность спинного мозга. В 1930-е гг., готовя данную рукопись Л. С. Выготского к печати, 3. С. Выгодская и А. Р. Лурия включили в список литературы русский перевод данной работы Шеррингтона, оставив, разумеется, без изменений текст самого Выготского. Мы сочли возможным также отсылать читателя к русскому переводу работы Шеррингтона. В дальнейшем кратко указывается: Рефлекторная деятельность..., с.

24. Морган (Morgan) *Конвэй Ллойд* (1852—1936)—английский биолог, зоопсихолог, философ. Один из создателей теории эмерджентной эволюции (см. примеч. 90).

25. Бехтерев Владимир Михайлович (1867—1927)—русский физиолог, невропатолог, психолог. В настоящей работе Выготский неоднократно упоминает исследования Бехтеревым эмоциональных реакций животных, у которых удалена кора головного мозга, в частности зрительные бугры. Л. С. Выготский датирует эти работы 1887 г. В 1887 г. была опубликована на немецком языке статья Бехтерева: Die Bedeutung der Sehhügel auf Grund von experimentellen und pathologischen Daten.—Virchows Arch., 1887, p. 110, 102—154, 322—365. Статья вызвала интерес к работам Бехтерева за рубежом. Так, У. Кеннон, данными которого, очевидно, пользовался Выготский, упоминает ее (W. B. Cannon, p. 115). В 1882—1887 гг. Бехтерев опубликовал в России ряд статей на эту тему, в том числе: О вынужденных движениях, организующихся при разрушении мозговой коры.—Русская медицина, 1885, № 1, с. 6—8; № 3, с. 54—55; Об отправлении зрительных бугров.—Врач, 1883, № 4, с. 51—52; № 5, с. 68—70 и др.

26. Пьерон (Pieron) *Анри* (1881—1964)—французский психолог, ученик А. Бине и П. Жанэ. Работал в области экспериментальной психологии, зоопсихологии, психофизиологии, патопсихологии, прикладной психологии.

27. Маранон (Maranon) *Грегорио* (1887—1960)—итальянский эндокринолог.

28. Леман (Lehmann) *Альфред* (1858—1921)—датский психолог.

29. Кеннон сравнивает результаты следующих работ: С. С. Stewart. Mammalian smoth muscle.—The cat's bladder.—Amer. J. Physiol., 1900, N 4, p. 185—208; E. Sertoli. Contribution a la physiologie generale des muscles lisses.—Arch. ital. de biol., 1883, N 3, p. 86; D. N. Langley. On the physiology of the salivary Secretion.—J. Physiol., 1889, N 10, p. 300; J. P. Pawlow, E. O. Schumova-Simanowskaja. Die

Innervation der Magendrüsen beim Hunde.— Arch. f. Physiol., 1895, N 66 (см.: W. B. Cannon, p. 112).

30. Стюарт (Stewart) *Колин Кэмпбелл* (1873—?) — американский физиолог.

31. Сертолли (Sertolli) *Энрико* (1842—1910) — итальянский физиолог.

32. Лангпей (Langley) *Джон Ньюпорт* (1852—1925) — английский физиолог и гистолог.

33. Шумова-Симановская Екатерина Олимпиевна (1852—1905) — русский физиолог, ученица И. П. Павлова.

34. Уэллс (Wells) *Фредерик Лимен* (1884—?) — американский психолог, специалист по когнитивным процессам.

35. Ландис (Landis) *Корни* (1897—?) — американский психолог, специалист по психологии развития, патопсихологии, психологии эмоций.

36. Дана (Dana) *Чарлз* (1852—1935) — американский врач, невролог, историк медицины и литературовед.

37. Вильсон (Wilson) *Сэмуэль Александр* (1878—1937) — английский невролог, специалист по афазиям.

38. Коновалов Николай Васильевич (1900—1966) — советский невропатолог. Совместно с С. А. Вильсоном описал и предложил систему лечения гепато-церебральной дистрофии («болезнь Вестфаля — Вильсона — Коновалова»).

39. Кюпперс (Küppers) *Эгон* (1887—?) — немецкий психолог.

40. Бентлей (Bentley) *Исаак Мэдисон* (1870—1955) — американский психолог. Специалист по общей, детской, социальной психологии.

41. Выготский имеет в виду симпозиум по проблеме эмоций, состоявшийся в Виттенберговском колледже (отсюда название — Виттенберговский) в Спрингфилде, США, штат Огайо, 19—23 октября 1927 г. Симпозиум был приурочен к открытию новой психологической лаборатории. В симпозиуме участвовали ведущие специалисты по данной проблеме, в том числе А. Адлер, В. М. Бехтерев, Э. Клапаред, П. Жанэ, А. Пьерон, В. Штерн, К. Бюлер, У. Мак-Дауголл, У. Кеннон, Э. Титченер, Р. Вудворт, Э. Р. Иенш, М. Принц, Г. Пиллсбери и другие. В 1928 г. материалы симпозиума были опубликованы под названием: Feelings and Emotions. The Wittenberg symposium. Worcester, 1928. Выготский широко использовал эти материалы, в частности статьи Бретта, Клапареда, Принца, Бентлея, Спирмена и других (см. Литературу). Бентлей не писал «Введения» к симпозиуму. Его статья напечатана в материалах симпозиума первой (см.: M. Bentley, 1928).

42. Даль Владимир Иванович (1801—1872) — см. т. 3, с. 358.

43. Бергсон (Bergson) *Анри* (1859—1941) — см. т. 1, с. 464. В начале 1900-х гг.— лидер новых философских направлений (интуитивизма, «философии жизни»).

44. Кассирер (Cassirer) *Эрнст* (1874—1945) — немецкий философ, историк культуры, логик. Глава неокантианского направления в немецкой философии. Один из создателей семиотики.

45. Ах (Ach) *Нарцисс* (1871—1946) — см. т. 2, с. 483. Подробнее об отношении Выготского к работам Аха см.: Мышление и речь, т. 2, с. 118—184.

46. Вертгаймер (Wertheimer) *Макс* (1880—1943) — см. т. 1, с. 460.

47. Выготский неточно приводит слова Ф. Энгельса из «Диалектики природы». Точный текст: «Дело в том, что всякому, кто занимается теоретическими вопросами, результаты современного естествознания навязывают с такой же принудительностью, с какой современные естествоиспытатели — желают ли они этого или нет — вынуждены приходить к общетеоретическим выводам».— К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 366.

48. Имеется в виду следующее высказывание И. В. Гёте: «Природа потому непознаваема, что один человек не в состояиии понять ее, хотя все человечество смогло бы понять ее. Но так как это милое человечество никогда не бывает вместе, то природе так хорошо и удается играть с нами в прятки».— Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957, с. 400.

49. Кречмер (Kretscmer) *Эрнст* (1888—1964) — см. т. 1, с. 464.

50. Крюгер (Krüger) *Феликс Эмиль* (1874—1948) — немецкий психолог, один из лидеров так называемой лейпцигской школы. Работы по изучению характера, психологии личности и т. д.

51. Лейпцигская школа — одно из направлений в немецкой психологии 1920-х гг. Называлась также «целостная» (Ganzheit) психология, в отличие от гештальтпсихологии. Основные участники работали в Лейпцигском университете.

52. Мюллер (Müller) *Иоганнес Петер* (1801—1858)—немецкий физиолог и психолог. Один из создателей физиологии как самостоятельной науки.
53. Холмс (Holmes) *Гордон Морган* (1876—1965)—английский физиолог, невролог.
54. В рукописи Выготского чертеж отсутствует.
55. Вудворт (Woodwort) *Роберт* (1869—1962)—американский психолог.
56. Кирильцев Сергей Иванович (1858—?)—русский врач и физиолог.
57. Тилней (Tilney) *Фредерик* (1875—1938)—американский психолог, физиолог, невролог, дефектолог.
58. Джексон (Jacson) *Джон* (1835—1911)—английский невролог, физиолог. Один из создателей современной неврологии. Цит. по: W. B. Cannon, р. 118.
59. Ланге Николай Николаевич (1858—1921)—см. т. 1, с. 460.
60. Выготский имеет в виду следующее положение Кречмера: «Истерические симптомы суть виды реакций филогенетически предсуществующей импульсивной душевной основы» (1924, с. 8).
61. Арчер (Archer) *Уильям* (1856—1924)—английский театральный критик.
62. Выготский имеет в виду следующее место из работы Г. Гейне «К истории религии и философии в Германии»: «Великий гений образуется с помощью другого гения не столько ассимиляцией, сколько посредством трения. Один алмаз полирует другой. Точно так же и философия Декарта ни в коем случае не породила философии Спинозы, а лишь способствовала ее появлению. Поэтому мы вначале встречаемся у ученика с методами учителя» (Соч. М., 1958, т. 6, с. 64).
63. Фишер (Fisher) *Куно* (1824—1907)—немецкий философ, гегельянец. Автор «Истории новой философии» в 6-ти томах (1852—1877). Наиболее полное русское издание, которым и пользовался Выготский, вышло в Петербурге в 1901—1909 гг. 1-й том назывался «Декарт», 2-й—«Спиноза».
64. «Краткий трактат о Боге, человеке и его блаженстве»—самое раннее из известных произведений Спинозы (1658—1660).
65. Шесть основных форм страстей, по Декарту: удивление, любовь, ненависть, желание, радость, печаль.
66. Петцольд (Petzoldt) *Йозеф* (1862—1929)—см. т. 1, с. 470.
67. Асмус Валентин Фердинандович (1894—1975)—советский философ, логик, историк культуры.
68. «Трактат о Страстях...», или «Страсти души»—сочинение Декарта (1646—1649).
69. «Учение о происхождении и природе аффектов»—так называется III раздел «Этики»—главного произведения Спинозы. Закончена в 1675 г.
70. «Учение о могуществе разума, или о человеческой свободе»—так назван последний, V раздел «Этики».
71. Геффдинг (Hoffding) *Гаральд* (1843—1931)—датский философ, историк философии и психолог. См. также т. 3, с. 357.
72. Нагловский (Nahlovsky) *Йозеф Вильгельм* (1812—1885)—немецкий философ, специалист в области этики.
73. Гербарт (Herbardt) *Иоганн Фридрих* (1776—1841)—немецкий философ, психолог. Один из основателей научной педагогики. См. также т. 1, с. 466.
74. Это выражение Спинозы («Этика», теорема 17, Схолия) принадлежит к числу излюбленных сравнений Выготского. В частности, им он заканчивает «Исторический смысл психологического кризиса» (т. 1, с. 436).
75. Айронс (Irons) *Дэвид* (1870—1907)—американский психолог и философ. Специалист в области этики и эмоций.
76. Ларгие де Бансель (Largnier des Bancels) *Жан* (1876—?)—французский психолог. Специалист в области изучения темперамента и эмоций.
77. Рибо (Ribot) *Теофил* (1839—1916)—см. т. 1, с. 463.
78. Бретт (Brett) *Джордж Сидней* (1879—1944)—канадский историк психологии.
79. Мюнстерберг (Münsterberg) *Гуго* (1863—1916)—немецкий психолог. Подробную оценку Выготским его методологических взглядов см.: Исторический смысл психологического кризиса (т. 1, с. 291—436).
80. Спирмен (Spearman) *Чарлз Эдвард* (1863—1945)—английский психолог, специалист по психологии мышления, индивидуальных различий, тестологии.
81. Выготский имеет в виду следующие места из книги К. Г. Ланге «Душевные движения» о Спинозе: «Спиноза, может быть, больше всех приближается к его

воззрениям на эмоции» (с. 89); о Декарте: «Декарт определяет радость сознанием, что субъект обладает ее благом, но мы от него не узнаем, в чем, собственно, состоит сама радость» (с. 82). См.: Декарт. Страсти души, ч. 1, § 35—36. Соответственно в книге К. Г. Ланге «Душевные движения» — печаль (с. 23—28), радость (с. 28—31), страх (с. 31—37), гнев и ярость (с. 37—44), нетерпение (с. 44), разочарование (с. 45).

82. Шпрангер (Spranger) *Эдуард* (1882—1939) — см. т. 1, с. 465.

83. Дильтей (Diltey) *Вильгельм* (1833—1911) — немецкий философ и историк культуры, к которому восходят идеи философии жизни как одного из идеалистических направлений. Предложил план создания описательной, или понимающей, психологии. См. также т. 1, с. 465.

84. О соотношении объяснительной и описательной психологии, с точки зрения Выготского, см.: Исторический смысл психологического кризиса (т. 1, с. 291—431); История развития высших психических функций (т. 3, с. 6—41).

85. Елизавета Пфальцская (1618—1680) — принцесса, дочь пфальцского курфюрста, правнучка Марии Стюарт. Вела с Декартом в 1643—1650 гг. оживленную переписку, сыгравшую роль при разработке им «Трактата о Страстях...».

86. Имеется в виду следующее положение И. Канта («Антропология», кн. 3, § 71): «Подчиняться фактам и страстям — это во всяком случае душевная болезнь, ибо как те, так и другие душевные движения исключают господство разума».

87. Мантегацци (Mantegazza) *Паоло* (1831—1910) — итальянский врач, антрополог, философ, психолог.

88. Пидерит (Piderit) *Теодор* (1826—1898) — немецкий психолог и физиолог.

89. Принц (Прайнс) (Prince) *Мортон* (1854—1929) — американский психиатр, специалист по патопсихологии, психологии индивидуальных различий.

90. Эмерджентная (англ. emergent — внезапно возникающий) *эволюция* — концепция, рассматривающая развитие как скачкообразный процесс, при котором возникновение высших качеств обусловлено вмешательством непостижимых сил. Развернутая концепция Э.э. изложена в работах С. Александера «Пространство, время и божество» (1927) и К. Ллойд-Моргана «Эмерджентная эволюция» (1927).

91. Ср.: Декарт. Метафизические размышления. Размышление 6.

92. Ср.: Декарт. Метафизические размышления. Размышление 2.

93. Ср.: Декарт. Метафизические размышления. Размышление 2.

94. Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог, разработавший, исходя из идеалистической волюнтаристской философии, учение о психических процессах. См. также т. 2, с. 488.

95. Выготский имеет в виду интерпретацию работы Максвелла «Вещество и движение» (§ 78), предложенную Г. Геффдингом (1904, с. 60).

96. Имеется в виду следующее высказывание Аристотеля: «Ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать» (Метафизика, ч. I, гл. 2). Ср.: Декарт Р. Страсти души, ч. II, § 69—76; ч. III, § 211—212.

97. Декарт Р. Страсти души, ч. II, § 75.

98. Кечекьян Степан Федорович (1890—1967) — советский философ и юрист.

99. Спиноза Б. Политический трактат, гл. 2, § 11.

100. См.: Декарт Р. Страсти души, ч. III, § 211—212.

101. Имеется в виду монолог Сальери в первой сцене трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери»: «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп».

102. Тереза Святая (1515—1582) — испанская монахиня. При жизни преследовалась инквизицией, но в 1622 г. причислена католической церковью к лику святых, считается покровительницей Испании.

103. Жанэ (Janet) *Пьер* (1859—1947) — см. т. 2, с. 482.

104. Бэн (Bain) *Александр* (1818—1903) — см. т. 1, с. 465—466.

105. Закончив сочинение «Размышления о первой философии» (1636—1640), Декарт в конце 1640 г. разослал рукопись ряду лиц, в том числе выдающемуся английскому философу Т. Гоббсу (1588—1679), жившему тогда в Париже. В январе — феврале 1641 г. Гоббс передал Декарту свои замечания. Критикуя Декарта с материалистических позиций, Гоббс писал, что субъект мышления есть тело, которое мыслит, а мышление есть деятельность или свойство этого тела. Дух не является самобытной субстанцией: ясные идеи духа восходят к ясным впечатлениям органов чувственного восприятия. Критические замечания Гоббса

(как и других оппонентов) и ответ на них были включены Декартом в первое издание «Размышлений» (1641).

106. Имеется в виду Христина Августа Шведская (1626—1689), королева Швеции в 1632—1654 гг. В 1646 г. друг Декарта Шаню, живший в Швеции, переслал ему вопросы королевы. В феврале 1647 г. Декарт написал ответ, о котором и идет речь.

107. Стаут (Staut) *Георг Фредерик* (1860—1944)—английский философ-идеалист, представитель так называемой аналитической психологии.

108. См.: Декарт Р. Метафизические размышления. Размышление 6.

109. Имеется в виду комедия А. П. Чехова «Вишневый сад», действие 4. Из последней реплики Фирса (*подходит к двери, трогает за ручку*): «Заперто. Уехали... (*садится на диван*). Про меня забыли...» Образное выражение «человека забыли» относится к излюбленным выражениям Выготского. Он употребляет его, в частности, в «Истории развития высших психических функций», т. 3, с. 72.

110. Специального труда под таким названием у Декарта нет. В сочинении Декарта «Об образовании животного. Описание человеческого тела» (1648) 4-я часть называется «Об образовании зародыша; о частях, формирующихся в семени».

111. Фрейд (Freud) *Зигмунд* (1856—1939)—см. т. 1, с. 462.

112. Шелер (Scheler) *Макс Фердинанд* (1872—1928)—немецкий философ-идеалист и психолог.

113. Шопенгауэр Артур (1788—1860)—немецкий философ-идеалист, рассматривал «мировую волю» как метафизическую основу мирового бытия.

114. Речь идет об известном месте из платоновского диалога «Федон». «Федон» (время действия—399 г. до н. э., время написания диалога—вторая половина 80-х—первая половина 70-х гг. IV в. до н. э.) составляет заключительную часть триптиха, двумя первыми частями которого являются «Апология Сократа» и «Критон». Диалог «Федон» (Федон из Элиды—ученик и друг Сократа) повествует о последних часах Сократа, беседе с учениками, его смерти. Сократ спорит с древнегреческим натурфилософом материалистического направления Анаксагором из Клазомен (ок. 500—428 г. до н. э.). Сократ говорит, что у Анаксагора порядок вещей приписывается—совершенно нелепо—воздуху, эфиру, воде и многому иному, и продолжает (цитируем по современному переводу): «На мой взгляд, это все равно, как если бы кто сперва объявил, что всеми своими действиями Сократ обязан Уму, а потом, принявшись объяснять причины каждого из них в отдельности, сказал: «Сократ сейчас сидит здесь потому, что его тело состоит из костей и сухожилий и кости твердые и отделены одна от другой сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и расслабляться и окружают кости—вместе с мясом и кожею, которая все обхватывает. И так как кости свободно ходят в своих суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой-то причине он и сидит теперь здесь (в тюрьме.—*Ред.*) согнувшись». «...Нет, назвать подобные вещи причинами—полная бессмыслица. Если бы кто говорил, что без этого—без костей, сухожилий и всего прочего, чем я владею,—я бы не мог делать то, что считаю нужным, он говорил бы верно. Но утверждать, будто они причина всему, что я делаю... это значит не различать между истинной причиной и тем, без чего причина не могла бы быть причиною» (Платон. Соч.: в 3-х т. М., 1970, т. 2, с. 68).

115. Брентано (Brentano) *Франц* (1838—1917)—см. т. 1, с. 465. Один из предшественников идеалистического направления функциональной психологии и феноменализма.

116. Пфендер (Phender) *Александр* (1870—1941)—см. т. 1, с. 471.

117. Гейгер (Geiger) *Мориц* (1880—?)—немецкий философ и психолог. Работал в области эстетики.

118. Имеется в виду следующая мысль В. Дильтея: «Правда, в изучении выразительных движений и символов представлений для душевных состояний открываются новые вспомогательные средства; но в особенности сравнительный метод, вводящий более простые отношения чувств и побуждений животных и первобытных народов, позволяет выйти за пределы антропологии XVII века» (1924, с. 57).

119. Имеется в виду сочинение Мальбранша «Разыскание истины» (1674).

120. Наторп (Natorp) *Пауль Герхардт* (1854—1924)—см. т. 1, с. 471. Основные работы в области логики и педагогики.

121. Белло (Bellot) *Густав* (1859—1929)—французский философ. Специалист в области этики, психологии религии.

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА АКТЕРА

1. Статья написана в 1932 г. Впервые опубликована в кн.: П. М. Якобсон. Психология сценических чувств актера. М., 1936, с. 197—211.
2. Дидро (Diderot) *Дени* (1713—1784)—французский философ, просветитель, автор нескольких комедий. «Парадокс об актере» (1770—1773, окончательная редакция—1778 г., впервые опубликован в 1830 г.)—размышление о природе актерского мастерства, написанное в излюбленной Дидро форме диалога. Поводом послужила брошюра неизвестного автора о знаменитом английском актере Гаррике, с которой Дидро полемизирует.
3. Клерон (Cleron)—псевдоним, настоящая фамилия *Лерис де Латюд* (Leris des Lathud) *Клер Ипполит* (1723—1803)—французская драматическая актриса, играла в трагедиях Вольтера, Расина. Дидро считал, что Клерон не идентифицирует себя со своими персонажами.
4. Дюмениль (Dumenille)—псевдоним, настоящая фамилия Маршан (Marshan) Мари Франсуаз (1711—1803)—французская драматическая актриса, играла в трагедиях Расина, Корнеля, Вольтера. Дидро, противопоставляя ее Клерон, считал, что Дюмениль идентифицируется со своими героинями.
5. Пьеса А. П. Чехова «Три сестры» впервые поставлена в МХТ (постановка К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко) в 1901 г.
6. Полан (Polan) *Фредерик* (1856—1931)—см. т. 2, с. 488. Об отношении Выготского к его работам подробнее см.: Мышление и речь, т. 2, с. 5—361.
7. Вахтангов Евгений Багратионович (1883—1922)—русский советский режиссер, ученик Станиславского. Основал в 1913 г. студенческую студию МХТ, переименованную затем в 3-ю студию, а с 1921 г.—в театр (с 1926 г.—театр им. Евг. Вахтангова).
8. «Принцесса Турандот»—пьеса Карло Гоцци (1762), сюжет заимствован из Низами через Лесажа, репетировалась в студии Вахтангова с 1920 г., премьера в 1922 г., с тех пор неизменно входит в репертуар театра им. Евг. Вахтангова и открывает сезон.
9. Захава Борис Евгеньевич (1896—1976)—советский актер, режиссер, историк и теоретик театра, педагог. Ученик Вахтангова.
10. Цитируемые здесь и ниже высказывания Станиславского представляют собой рукописные материалы из его архива. Выготский цитирует по кн.: Л. Я. Гуревич (1927).
11. Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940)—русская советская писательница, переводчик, историк театра.
12. Книга Л. Я. Гуревич «Творчество актера» имела подзаголовок «Разрешение векового спора». Суть спора Гуревич определяла так: надо или не надо «притворяться» актеру на сцене (с. 5).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА

Асмус В. Ф. Очерки истории диалектики в новой философии. М.; Л., 1929.
Бергсон А. Материя и память. СПб., 1911.
Бехтерев В. М., Васильев Л. Л., Вербов А. Ф. Рефлексология труда. М.; Л., 1926.
Блонский П. П. Очерк научной психологии. М., 1921.
Введенский А. И. Психология без всякой метафизики. Пг., 1917.
Геффдинг Г. Очерки психологии, основанной на опыте. СПб., 1904.
Гуревич Л. Я. Творчество актера. М.; Л., 1927.
Декарт Р. Сочинения. Казань, 1914, т. 1.
Джемс В. Психология. СПБ., 1902.
Джемсон Л. Очерк марксистской психологии. М., 1925.
Дидро Д. Сочинения. М., 1936, т. 5.
Дильтей В. Описательная психология. М., 1924.
Захава Б. Е. Вахтангов и его студия. М., 1930.
Ивановский В. Н. Методологическое введение в науку и философию. Минск, 1923.
Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. М., 1930.
Кеннон У. Физиология эмоций. Л., 1927.
Кечекьян С. Ф. Этическое миросозерцание Спинозы. М., 1914.
Корнилов К. Н. Учение о реакциях человека. М., 1922.
Крид Р., Денни-Броун Д., Икклз И. и др. Рефлекторная деятельность спинного мозга. М.; Л., 1935.
Кюльпе О. Современная психология мышления.— Новые идеи в философии. Пг., 1916, вып. 16.
Ланге Г. Душевные движения. СПб., 1896.
Ланге Н. Н. Психология. М., 1914.
Леонтьев А. Н. Развитие памяти.— Труды психологической Академии коммунистического воспитания, 1930, вып. 5.
Мюнстерберг Г. Основы психотехники. М., 1924, ч. 1.
Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. Л., 1925.
Петцольд Й. Проблема мира с точки зрения позитивизма. СПб., 1909.
Радлов Э. Л. Очерк истории русской философии. Пг., 1920.
Речи и приветствия на торжественном открытии Психологического института им. Щукиной при императорском Московском университете. М., 1914.
Рибо Т. Психология чувств. Киев; Харьков, 1897.
Сахаров Л. С. О методах исследования.— Психология, 1930, № 3.
Сборник, посвященный 75-летию И. П. Павлова. Л., 1924.
Сеченов И. М. Психологические этюды. СПб., 1873.
Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1957, т. 1.
Спиноза Б. Этика. М; Л., 1933.
Титченер Э. Б. Учебник психологии. М., 1914, ч. II.
Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии. М., 1925.
Труды Первого Всероссийского съезда по педагогической психологии. СПб., 1907.
Уотсон Д. Психология как наука о поведении. М., 1926.
Ухтомский А. А. Доминанта как рабочий принцип нервных центров.— Русский физиологический журнал, 1923, т. 6, вып. 1—3.

Фишер К. История новой философии. СПб., 1906, т. 1, 2.
Фролов Ю. П. Физиологическая природа инстинкта. М.; Л., 1925.
Челпанов Г. И. Об аналитическом методе в психологии.— Психологическое обозрение, 1917, № 1.
Штерн В. Психология раннего детства до шестилетнего возраста. Пг., 1922.

Ach N. Über die Begriffsbildung; eine experimentelle Untersuchung. Bamberg. 1921.
Bard P. A. A diencephalic mechanism for the expression of rage with special reference to the sympathetic nervous system.— Amer. J. Physiol., 1928, v. 84.
Bentley I. M. Is emotion more than a chapter heading? — In: Feeling and Emotions. Norcester, 1928, p. 17—23.
Bogen H., Lipmann O. Naive Physik. Leipzig, 1923.
Brentano F. Psychologie von empirischen Standpunkten. Leipzig. 1874.
Brett G. S. Historical development of the history of emotions.— In: Feeling and Emotions. Norcester, 1928, p. 388—396.
Cannon W. B. The James — Lange theory of emotions. A critical examination and an alternative theory.— Amer. J. Psychol., 1927, v. 39.
Cannon W. Bodaly Changes in Pain, Fear, Hunger and Rage. 2-d ed., Boston, 1929.
Cannon W. The Wigdom of the Body. L., 1932.
Cannon W. B., Britton S. W. Pseudaffective medulliadrenal secretion.— Amer. J. Physiol., 1925, v. 72.
Cannon W. B., Britton S. W. The dispensability of the sympathetic divisíon of the autonomic system.— Boston Med. and Surg. J., 1927, 197.
Cassirer E. Sprache und Mythos, ein Beitrag zum Problem der Götternamen. Leipzig— Berlin, 1925.
Claparede E. Feelings and emotions.— In: Feelings and Emotions. Norcester, 1928, p. 124—139.
Dana Ch. The anatomic seat of the emotions. A discussion of the James — Lange theory.— Arch. Neurol. Psychiat., 1921, v. 6.
Danlap K. Emotion as a dynamic background.— In: Feeling and Emotions. Norcester, 1928, p. 150—160.
Head H., Holmes G. Sensory disturbances from cerebral lesions.— Brain, 1911, N 34.
Irons D. Descartes and modern theories of emotion.— Philos. Review, 1895, v. 4.
Janes P. De l'angoisse à l'extase. Paris, 1928.
Jerkes R. The Mental Life of the Moneys and Apes. N.Y., 1916.
Yerkes R. M., Learned E. W. Chimpansee Intelligence and Its Vocal Expression. Baltimore, 1925.
Kafka G. Handbuch der vergleichenden Psychologie. München, 1922.
Kirilcev S. Cases of affections of the optic thalamus.— Reviewed in Neurologischem Zentralblatt, 1891, N 10.
Lehmann A. Die Hauptgesetze des menschlichen Gefühlslebens. Leipzig, 1892.
Lipmann G. Drei Aufsätze aus dem Apraxiegebiet. Berlin, 1908.
Lotze G. Medizinische Psychologie der Seele. Leipzig, 1852.
Maranon G. Contribution à l'étude de l'action émotive de l'adrenaline.— Rev. tranc. d'endocrinol., 1924, v. 2.
Morgan C. L. Animal Behaviour. L., 1900.
Müller J. Handbuch der Physiologie des Menschen. L., 1842.
Münsterberg H. Grundlage der Psychologie. Leipzig, 1918.
Nahlowsky J. Das Gefühlsleben. Leipzig, 1862.
Newman E. B., Perkins F. T., Wheeler K. N. Cannon's theory of emotion. A critigue.— Psychol. Rev., 1930, v. 37.
Perry R. General Theory of Value, 1926.
Piderit T. Mimik und Physiognomik. Detmold, 1886.
Pieron A. La dynamogenie emotionelle.— Journal de psychologie, 1920, v. 17.
Prince M. Can emotion be regarded as energy?— In: Feeling and Emotions. Norcester, 1928, p. 161—169.
Scheler M. Die Sinnegesetze des emotionalen Lebens. Leipzig, 1923.

Spearman C. E. A new method for investigating. The springs of action.—In: Feeling and Emotions. Norcester, 1928.

Stern W. Die Psychologie und der Personalismus. Leipzig, 1917.

Stern C., Stern W. Die Kindersprache. Berlin, 1928.

Tilney F., Morrison J. F. Pseudobulbar palsy clinically and pathologically considered.—J. Ment. and Nerv. Deseases, 1912, N 39.

Wells F. L. Reactions to visual stimuli in affective settings.—J. Exper. Psychol., 1925, N 8.

Wilson S. A. K. Pathological laughing and crying.—J. Neurol. Psychopath., 1924, v. 4.

Woodworth R., Sherrington C. S. A pseudaffective reflex and its spinal path.—J. Physiol., 1904. N 31.

СПИСОК ТРУДОВ
Л. С. ВЫГОТСКОГО

Библиография трудов Л. С. Выготского представлена названиями монографий, статей, рецензий, предисловий, лекций, докладов, выступлений, редакцией ряда изданий.

Разносторонняя научно-исследовательская и педагогическая деятельность Выготского отражалась в многочисленных лекциях и докладах в учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Харькова, Ташкента; он — участник многих съездов, конференций, пленумов, совещаний. По архивным источникам были установлены рукописные тексты докладов, выступлений, статей Выготского, которые не вошли в настоящее издание.

Удалось отыскать ряд литературно-критических статей, принадлежащих перу 19—22-летнего Выготского. Ряд статей и заметок, опубликованных в журналах «Летопись», «Новая жизнь» в 1916—1922 гг., Выготский иногда подписывал «Л. С.» или «Л. В.». Из найденных работ, подписанных этими инициалами, в библиографию включены лишь те, авторство которых либо было установлено путем сравнения с последующими печатными работами ученого, либо было обнаружено упоминание об этих статьях и заметках в личном архиве Выготского.

Материал в библиографическом указателе расположен в хронологическом порядке, по годам написания работ, что облегчит читателю возможность проследить эволюцию научных взглядов ученого. В тех случаях, когда дата написания рукописи не установлена, название включено в библиографический перечень года ее опубликования. Внутри каждого года работы расположены в алфавитном порядке.

Если книги или статьи издавались несколько раз, то все переиздания приводятся под первой публикацией с указанием характера изменения текста.

Библиография трудов Л. С. Выготского, изданных за рубежом, представлена в виде перечня произведений по годам их публикации, внутри года названия расположены в порядке латинского алфавита. Если название книги принадлежит не автору, а издателям, содержание расшифровывается.

При составлении библиографии были использованы следующие материалы:

1. Генеральный алфавитный и систематический каталоги, центральное справочное бюро и информационно-библиографический отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
2. Газеты, журналы, сборники начиная с 1916 г.
3. Отечественные библиографические справочники и летописи.
4. Psychological abstracts. Lancaster: American Psychological Association. 1931—1983, N 75, vol. 1—70.
5. Index translationum.— Paris, UNESCO Press, vol. 1—30.
6. Материалы архивов:

а) Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена;
б) Научно-исследовательского института дефектологии АПН СССР;
в) Научно-исследовательского института общей и педагогической психологии АПН СССР;
г) Государственного архива Московской области;
д) личного архива Л. С. Выготского, хранящегося в семье ученого;
е) научного архива Академии педагогических наук СССР.

Настоящая библиография составлена в соответствии с действующим ГОСТом по библиографическому описанию произведений печати (ГОСТ 7.1-76* от 28 декабря 1976 г. № 2890. Срок введения с 01.01.1978 г.).

Предлагаемый Список трудов, имеющий в основе «Библиографию трудов Л. С. Выготского» (см.: Вопросы психологии, 1974, № 3), расширен и дополнен тем же автором.

* * *

1915

1. Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира.— Личный архив Л. С. Выготского. Гомель, 5 авг.— 12 сент. 1915 г.— Рукопись.

1916

2. Литературные заметки. «Петербург». Роман Андрея Белого.— Новый путь, 1916, № 47, стлб. 27—32.— Подпись: Л. С. Выгодский.
3. Рец. на кн.: Андрей Белый. Петербург.— Летопись, 1916, № 12, стлб. 327—328.— Подпись: Л. С.
4. Рец. на кн.: Вячеслав Иванов. Борозды и межи.— М.: Мусатет, 1916.— Летопись, 1916, № 10, с. 351—352.
5. Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира.— Личный архив Л. С. Выготского. М., 14—28 февр. 1916 г.— 12 тетрадей.— Рукопись.
То же.— В кн.: Выготский Л. С. Психология искусства.— 2-е изд., испр. и доп.— М.: Искусство, 1968, с. 339—496.

1917

6. Рец. на кн.: Мережковский Д. Будет радость.— Пт.: Огни, 1916.— Летопись, 1917, № 1, с. 309—310.— Подпись: Л. С.
7. Рец. на предисловие и примечания Н. Л. Бродского к поэме И. С. Тургенева «Поп».— М., 1916.— Летопись, 1917, № 5—6, с. 366—367.— Подпись: Л. С.

1922

8. О методах преподавания художественной литературы в школах II ступени.— Личный архив Л. С. Выготского. (Гомель?), 1922.— 17 с.— Рукопись. Тезисы докл. на губ. научно-метод. конф. 7 авг. 1922 г.

1923

9. Об исследовании процессов понимания языка методом многократного перевода текста с одного языка на другой.— Личный архив Л. С. Выготского. Гомель, 1923.— 8 с.— Рукопись.

1924

10. Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей/ Под ред. Л. С. Выготского.— М.: Изд-во СПОН НКП, 1924.— 157 с.
11. Методика рефлексологического и психологического исследования.— В кн.: Проблемы современной психологии. Л.: ГИЗ, 1926, т. 2, с. 26—46.— Докл. на Всерос. съезде по психоневрологии. Л., 1 янв. 1924 г.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 43—62.
12. К психологии и педагогике детской дефективности.— В кн.: Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей. М.: Изд-во СПОН НКП, 1924, с. 5—30.
То же.— Дефектология, 1974, № 3, с. 70—76.
То же (отрывок).— В кн.: Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980, с. 24—35.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 62—84.
13. Предисловие.— В кн.: Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей. М.: Изд-во СПОН НКП, 1924, с. 3—4.
14. Предисловие.— В кн.: Лазурский А. Ф. Психология общая и экспериментальная. Л.: ГИЗ, 1925, с. 5—23.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 63—77.
15. Принципы воспитания физически дефективных детей.— Народное просвещение, 1925, № 1, с. 112—120.— Докл. на II съезде СПОН. Дек. 1924.

То же.— 2-е доп. изд.— В кн.: Пути воспитания физически дефективного ребенка. М.: Изд-во СПОН НКП, 1926, с. 7—22.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 49—62.

1925

16. О вспомогательной школе.— Рец. на кн.: Граборов А. Н. Вспомогательная школа.— Л.: ГИЗ, 1925.— Народное просвещение, 1925, № 9, с. 170—171.
17. Предисловие.— В кн.: Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М.: Современные проблемы, 1925, с. 3—16.— Совместно с А. Р. Лурия.
18. Принципы социального воспитания глухонемых детей.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 101—114.
19. Психология искусства.— М.: Искусство, 1965.— 379 с.
То же.— 2-е изд., испр. и доп.— М.: Искусство, 1968.— 576 с.
20. Сознание как проблема психологии поведения.— В кн.: Психология и марксизм. М.; Л.: ГИЗ, 1925, т. 1, с. 175—198.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 78—98.

1926

21. Графика А. Быховского.— М.: Современная Россия, 1926.— 22 с.— Текст: с. 5—8.
22. Методы преподавания психологии. Программа курса.— Государственный архив Московской области, ф. 948, оп. 1, д. 613, с. 25.
23. О влиянии речевого ритма на дыхание.— В кн.: Проблемы современной психологии. Л.: ГИЗ, 1926, т. 2, с. 169—173.
24. Педагогическая психология.— М.: Работник просвещения, 1926.— 348 с.
То же (отрывок).— В кн.: Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980, с. 49—52.
25. По поводу статьи К. Коффки о самонаблюдении.— В кн.: Проблемы современной психологии. Л.: ГИЗ, 1926, с. 176—178.
То же.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972.— 8 с.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 98—102.
26. Предисловие.— В кн.: Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии. М.: Работник просвещения, 1926, с. 5—23.
То же.— 2-е изд., 1929, с. 5—24.
То же.— 3-е изд., 1930, с. 5—24.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 176—195.
27. Предисловие.— В кн.: Шульце Р. Практика экспериментальной психологии, педагогики и психотехники. М.: Вопросы труда, 1926, с. 3—5.— Совместно с А. Р. Лурия.
28. Проблема доминантных реакций.— В кн.: Проблемы современной психологии. Л.: ГИЗ, 1926, т. 2. с. 100—123.
29. Рец. на кн.: Отто Рюле. Психика пролетарского ребенка.— М.; Л.: ГИЗ, 1926.— Личный архив Л. С. Выготского. 1926.— 3 с.— Рукопись.

1927

30. Биогенетический закон в психологии и педагогике.— БСЭ, 1927, т. 6, с. 275—279.
31. Дефект и сверхкомпенсация.— В кн.: Умственная отсталость, слепота и глухонемота. М.: Долой неграмотность, (1927?), с. 51—76.
32. Исторический смысл психологического кризиса.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 291—436.
То же.— В кн.: История советской психологии труда. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983, с. 58—61.— Частично.
33. Практикум по экспериментальной психологии.— М.; Л.: ГИЗ, 1927.— 231 с.— Совместно с В. А. Артемовым, Н. А. Бернштейном, Н. Ф. Добрыниным, А. Р. Лурия.

34. Психологическая хрестоматия.— М.; Л.: ГИЗ, 1927.—432 с.— Совместно с В. А. Артемовым, Н. Ф. Добрыниным, А. Р. Лурия.
35. Рец. на кн.: Басов М. Я. Методика психологических наблюдений за детьми.— М.; Л.: ГИЗ, 1926.— Народный учитель, 1927, № 1, с. 152.
36. Современная психология и искусство.— Советское искусство, 1927, № 8, с. 5—8; 1928, № 1, с. 5—7.

1928

37. Аномалии культурного развития ребенка.— Вопросы дефектологии, 1929 (обл. 1930), № 2 (8), с. 106—107.— Кратк. сод. докл. на засед. Отдела дефектологии Ин-та науч. педагогики при 2-м МГУ. 28 апр. 1928 г.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 326—327.
38. Бихевиоризм.— БМЭ, 1928, т. 3, стлб. 483—486.
39. Больные дети.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 396—397.
40. Волюнтаризм.— БМЭ, 1928, т. 5, стлб. 588—589.
41. Воля и ее расстройства.— БМЭ, 1928, т. 5, стлб. 590—600.
42. Воспитание слепоглухонемых детей.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 395—396.
43. Выступление на конференции по вопросам методики преподавания в педагогическом техникуме. 10 апр. 1928 г.— Государственный архив Московской области, ф. 948, оп. 1, д. 775, с. 13—15.
44. Генезис культурных форм поведения.— Личный архив Л. С. Выготского. 1928.—28 с.— Стеногр. лекции 7 дек. 1928 г.
45. Дефект и компенсация.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 391—392.
46. Инструментальный метод в педологии.— В кн.: Основные проблемы педологии в СССР. М., 1928, с. 158—159.
47. Итоги съезда.— Народное просвещение, 1928, № 2, с. 56—67.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 327—328.
48. Калеки.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 396.
49. К вопросу о динамике детского характера.— В кн.: Педология и воспитание, М.: Работник просвещения, 1928, с. 99—119.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 153—165.
50. К вопросу о длительности детства умственно отсталого ребенка.— Вопросы дефектологии, 1929 (обл. 1930), № 2 (8), с. 111.— Кратк. сод. докл. на засед. Отдела дефектологии Ин-та науч. педагогики при 2-м МГУ. 18 дек. 1928 г.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 328—329.
51. К вопросу о многоязычии в детском возрасте.— В кн.: Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л.: Учпедгиз, 1935, с. 53—72.
То же (отрывок).— В кн.: Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980, с. 67—72.
То же (в сокр.)— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 3, с. 329—337.
52. Лекции по психологии развития.— Личный архив Л. С. Выготского.— 1928.— 54 с.— Стеногр. лекций в Академии коммунистического воспитания.

Содерж.: Развитие поведения. Структура и функции культурных операций ребенка и др.

53. Методы изучения умственно отсталого ребенка.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 325—326.— Тезисы докл. на I Всерос. конф. работников вспомогательных школ.
54. На перекрестках советской и зарубежной педагогики.— Вопросы дефектологии, 1928, № 1, с. 18—26.
55. Памяти В. М. Бехтерева.— Народное просвещение, 1928, № 2, с. 68—70.
56. Педология школьного возраста.— М.: Изд-во БЗО при педфаке 2-го МГУ, 1928.—218 с.— Задания № 1—8.
57. Проблема культурного развития ребенка.— Педология, 1928, № 1, с. 58—77.
58. Психологическая наука в СССР.— В кн.: Общественные науки в СССР (1917—1927 гг.). М.: Работник просвещения, 1928, с. 25—46.
59. Психологические основы воспитания и обучения глухонемого ребенка.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 395.
60. Психологические основы воспитания и обучения слепого ребенка.—

Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 394—395.
61. Психофизиологическая основа воспитания ребенка с дефектом.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 392—393.
62. Развитие трудного ребенка и его изучение.— В кн.: Основные проблемы педологии в СССР. М., 1928, с. 132—136.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 175—180.
63. Ребенок с дефектом и нормальный.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 398.
64. Социально-психологическая основа воспитания ребенка с дефектом.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 393—394.
65. Три основных типа дефекта.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 392.
66. Трудное детство.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 137—149.
67. Умственно отсталые дети.— Педагогическая энциклопедия, 1928, т. 2, стлб. 397—398.

1929

68. Выступления по докладам (об аномальном детстве).— Вопросы дефектологии, 1929 (обл. 1930), № 2 (8), с. 108—112.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 331—332.— Сокр.
69. Генетические корни мышления и речи.— Естествознание и марксизм, 1929, № 1, с. 106—133.
70. Гениальность.— БМЭ, 1929, т. 6, стлб. 612—613.
71. К вопросу о плане научно-исследовательской работы по педологии национальных меньшинств.— Педология, 1929, № 3, с. 367—377.
72. К вопросу об интеллекте антропоидов в связи с работами В. Келера.— Естествознание и марксизм, 1929, № 2, с. 131—153.
73. О некоторых методологических вопросах.— Научный архив АПН СССР, ф. 4, оп. 1, ед. хр. 103, с. 51—52, с. 73—74.— Тезисы докл. в Ин-те науч. педагогики при 2-м МГУ. 1929 г.
74. Основные положения плана педологической исследовательской работы в области трудного детства.— Педология, 1929, № 3, с. 333—342.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 188—195.
75. Основные проблемы современной дефектологии.— Труды 2-го МГУ, 1929, т. 1, с. 77—106.— Докл. на дефектол. секции Ин-та науч. педагогики при 2-м МГУ.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 6—33.
76. Очерк (история) культурного развития нормального и ненормального ребенка.— Личный архив Л. С. Выготского. 1929—1930 гг.— Рукопись.
Предыстория письменной речи.— В кн.: Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л.: Учпедгиз, 1935, с. 73—95.— VII глава рукописи.
То же.— В кн.: Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980, с. 72—81.
Развитие личности и мировоззрения ребенка.— В кн.: Психология личности. Тексты. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982, с. 161—165.— XVI глава рукописи.
77. Педология подростка.— М.: Изд-во БЗО при педфаке 2-го МГУ, 1929.— 172 с.— Задания 1—4, 5—8. На правах рукописи.
Содерж.: Введение. Половое созревание.
78. Предмет и методы современной психологии/Под ред. Л. С. Выготского.— М.: Изд-во БЗО при педфаке 2-го МГУ, 1929.— 191 с.
79. Проблема культурного возраста.— Личный архив Л. С. Выготского. 1929.— 18 с.— Стеногр. лекции 15 февр. 1929 г.
80. Развитие активного внимания в детском возрасте.— В кн.: Вопросы марксистской педагогики. Труды АКВ. М., 1929, вып. 1, с. 112—142.
То же, под загл.: Развитие высших форм внимания в детском возрасте.— В кн.: Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956, с. 389—426.
То же.— В кн.: Хрестоматия по вниманию. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976, с. 184—129.
81. Рец. на кн.: Дмитриева Н., Ольденбург Н., Перекрестова Л. Школьная драма-

тическая работа на основе исследования детского творчества.— М.; Л.: ГИЗ, 1928.— Искусство в школе, 1929, № 8, с. 29—31.
82. Рец. на кн.: Кашкаров Д. Н. Современные успехи зоопсихологии.— М.: ГИЗ, 1928.— Естествознание и марксизм, 1929, № 3, с. 185—192.
83. Рец. на кн.: Cl. und W. Stern. Die Kindersprache.— Leipzig, 1928.— Естествознание и марксизм, 1929, № 3, с. 185—192.
84. Рец. на кн.: Ривес С. М. О мерах педагогического воздействия.— М.: Работник просвещения, 1929.— Педология, 1929, № 4, с. 645—646.
85. Структура интересов в переходном возрасте и интересы рабочего подростка.— В кн.: Вопросы педологии рабочего подростка. М.: Изд-во Ин-та повыш. квалиф. педаг., 1929, вып. 4, с. 25—68.

1930

86. Бекингем Б. Р. Исследование педагогического процесса для учителей/Под ред. Л. С. Выготского, А. А. Нусенбаума.— М.: Работник просвещения, 1930.— 341 с.
87. Биологическая основа аффекта.— Хочу все знать, 1930, № 15—16, с. 480—481.
88. Бюлер К. Очерк духовного развития ребенка/Под ред. Л. С. Выготского.— М.: Работник просвещения, 1930.— 222 с.
89. Введение к материалам, собранным сотрудниками Ин-та науч. педагогики. 13 апр. 1930 г.— Научный архив АПН СССР, ф. 4, оп. 1, ед. хр. 103, с. 81—82а.
90. Возможно ли симулировать выдающуюся память?— Хочу все знать, 1930, № 24, с. 700—703.
91. Воображение и творчество в школьном возрасте.— М.; Л.: ГИЗ, 1930.— 80 с.
То же.— 2-е изд.— М.: Просвещение, 1967.— 93 с.
92. Вопросы дефектологии / Под ред. Л. С. Выготского, Д. И. Азбукина, Л. В. Занкова.— М., 1930, № 6.— 157 с.
93. Вступительная статья.— В кн.: Бюлер К. Очерк духовного развития ребенка. М.: Работник просвещения, 1930, с. 5—26.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 196—209.
94. Выдающаяся память.— Хочу все знать, 1930, № 19, с. 553—554.
95. Инструментальный метод в психологии.— В кн.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960, с. 224—234.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 103—108.
96. К вопросу о речевом развитии и воспитании глухонемого ребенка.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 329—330.— Тезисы докл. на 2-й Всерос. конф. школьных работников с глухонемыми детьми и подростками, 1930.
97. Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян/Под ред. Л. С. Выготского.— М.: Изд-во Ком. акад. 1930.— XXIX (5—207) с.
98. К проблеме развития интересов в переходном возрасте.— В кн.: Робітнича Освіта. Харьков: Держ. вид. Укр., 1930, № 7—8, с. 63—81.
99. Культурное развитие аномального и трудно воспитуемого ребенка.— В кн.: Психоневрологические науки в СССР. М.; Л.: Медгиз, 1930, с. 195—196.— Тезисы докл. на I съезде по изучению поведения человека. М., 1 февр. 1930 г.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 330—331.
100. Новое в области педологических исследований.— Детский дом, 1930, № 7, с. 22—27.— Докл. на III Всерос. съезде по охране детства. Май 1930 г.
101. О психологических системах.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 109—131.
102. Орудие и знак.— Личный архив Л. С. Выготского, (1930?). Рукопись.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 6, с. 5—90.
103. О связи между трудовой деятельностью и интеллектуальным развитием ребенка.— Педология, 1930, № 5—6, с. 588—596.
То же.— Дефектология, 1976, № 6, с. 3—8.
То же.— В кн.: Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980, с. 114—120.
104. Поведение животных и человека.— В кн.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960, с. 397—454.
105. Предисловие.— В кн.: Бекингем Б. Р. Исследование педагогического процесса для учителей. М.: Работник просвещения, 1930, с. 5—21.
106. Предисловие.— В кн.: Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. М.: Изд-во Ком. акад., 1930, с. I—XXIX.

То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 210—237.
107. Проблема высших интеллектуальных функций в системе психотехнического исследования.— Психотехника и психофизиология труда, 1930, т. III, № 5, с. 374—384.
То же.— В кн.: История советской психологии труда. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983, с. 50—58.
108. Психика, сознание и бессознательное.— В кн.: Элементы общей психологии. М.: Изд-во БЗО при педфаке 2-го МГУ, 1930, вып. 4, с. 48—61.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 132—148.
109. Развитие высших форм поведения в детском возрасте.— В кн.: Психоневрологические науки в СССР. М.; Л.: Медгиз, 1930, с. 138—139.
110. Развитие сознания в детском возрасте.— Личный архив Л. С. Выготского, (1930?).— 23 с.— Стенограмма.
111. Сон и сновидения.— В кн.: Элементы общей психологии. М.: Изд-во БЗО при педфаке 2-го МГУ, 1930, с. 62—75.
112. Социалистическая переделка человека.— ВАРНИТСО, 1930, № 9—10, с. 36—44.
113. Структурная психология.— В кн.: Выготский Л., Геллерштейн С. и др. Основные течения современной психологии. М.; Л.: ГИЗ, 1930, с. 84—125.
То же.— 2-е изд.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972.— 47 с.
114. Эйдетика.— В кн.: Выготский Л., Геллерштейн С. и др. Основные течения современной психологии. М.; Л.: ГИЗ, 1930, с. 178—205.
То же.— В кн.: Хрестоматия по ощущению и восприятию. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975, с. 275—281.— С сокр.
115. Экспериментальное исследование высших процессов поведения.— В кн.: Психоневрологические науки в СССР. М.; Л.: Медгиз, 1930, с. 70—71.— Тезисы докл. на I съезде по изучению поведения человека. Янв. 1930 г.
116. Этюды по истории поведения. (Обезьяна. Примитив. Ребенок).— М.; Л.: ГИЗ, 1930.— 232 с.— Совместно с А. Р. Лурия.

1931

117. Бюлер Ш. и др. Социально-психологическое изучение ребенка первого года жизни/Под ред. Л. С. Выготского, А. Р. Лурия.— М.; Л.: Медгиз, 1931.— 234 с.
118. Выступление.— Архив НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР, ф. 82, оп. 1, ед. хр. 11, с. 5—15.— Материалы реактологической дискуссии. 1931 г. Стенограмма. Правки Л. С. Выготского.
119. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства.— М.: Изд-во экспер. дефектол. ин-та, 1936.— 78 с.
То же.— В кн.: Хрестоматия по патопсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981, с. 66—80.— Частично.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 257—311.
120. История развития высших психических функций.— В кн.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960, с. 13—223.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 3, с. 5—228.
121. К вопросу о компенсаторных процессах в развитии умственно отсталого ребенка.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 115—136.— Стеногр. докл. на конф. работников вспомогательных школ. Л., 23 мая 1931 г.
122. К вопросу о педологии и смежных с нею науках.— Педология, 1931, № 3, с. 52—58.

Педология и смежные с нею науки. Педология и психология (окончание).— Педология, 1931, № 7—8, с. 12—22.

Окончание под загл.: К вопросу о психологии и педологии.— Психология, 1931, т. 4, вып. 1, с. 78—100.

123. Коллектив как фактор развития аномального ребенка.— Вопросы дефектологии, 1931, № 1—2, с. 8—17; № 3, с. 3—18.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 196—218.
124. Мышление.— БМЭ, 1931, т. 19, с. 414—426.
125. Педология подростка.— М.; Л.: Изд-во БЗО при педфаке 2-го МГУ, 1931.— 504 с.— На правах рукописи. Задания 9—16. Разделы: Психология подростка.

Социальные проблемы педологии переходного возраста. Заключение.

Отрывок под загл.: Динамика и структура личности.— В кн.: Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980, с. 138—142.

Отдельные главы.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 4, с. 5—242.

126. Практическая деятельность и мышление в развитии ребенка в связи с проблемой политехнизма.— Личный архив Л. С. Выготского.— 4 с.— Рукопись. Тезисы докл. на психотехн. съезде. Май 1931 г.

127. Предисловие.— В кн.: Леонтьев А. Н. Развитие памяти. М.; Л.: Учпедгиз, 1931, с. 6—13.

То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 149—155.

128. Предисловие к кн.: Цвейфель Я. К. Очерки особенностей поведения и воспитания глухонемого ребенка. М.; Л.: Учпедгиз, 1931, с. 3—5.

То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 219—221.

129. Психологический словарь.— М.: Учпедгиз, 1931.—206 с.— Совместно с Б. Е. Варшава.

130. Психотехника и педология.— Архив НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР, ф. 82, оп. 1, ед. хр. 3; с. 23—57.— Докл. на засед. секции в Ком. академии. 21 ноября 1930 г. Ответы на вопросы по докладу, с. 59—71.

То же.— Психотехника и психофизиология труда, 1931, № 2—3, с. 173—184.— Сокр.

1932

131. К вопросу о психологии творчества актера.— В кн.: Якобсон П. М. Психология сценических чувств актера. М.: ГИЗ, 1936, с. 197—211.

То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 6, с. 319—328.

132. К проблеме психологии шизофрении.— Советская невропатология, психиатрия, психогигиена, 1932, т. I, вып. 8, с. 352—364.

То же, под загл.: Нарушение понятий при шизофрении.— В кн.: Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956, с. 481—496.

133. К проблеме психологии шизофрении.— В кн.: Современные проблемы шизофрении. М.: Медгиз, 1933, с. 19—28.— Докл. на конф. по вопр. теории и практики шизофрении. М., июнь 1932 г. Отлична от работы 132.

То же.— В кн.: Хрестоматия по патопсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981, с. 60—65.

134. Лекции по психологии.— В кн.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960, с. 235—363.

То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 2, с. 363—465.

Содерж.: 1. Восприятие и его развитие в детском возрасте. 2. Память и ее развитие в детском возрасте.— В кн.: Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979, с. 155—162. 3. Мышление и его развитие в детском возрасте. 4. Эмоции и их развитие в детском возрасте.— Психология, 1959, № 3, с. 125—134. 5. Воображение и его развитие в детском возрасте. 6. Воля и ее развитие в детском возрасте.

135. Младенческий возраст.— Личный архив Л. С. Выготского. 1932.— 78 с.— Рукопись.

То же.— Личный архив Л. С. Выготского.— 19 с.— Стеногр. лекции. 21 ноября 1932 г.

То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 4, с. 269—317.

136. Предисловие.— В кн.: Грачева Е. К. Воспитание и обучение глубоко отсталого ребенка. М.; Л.: Учпедгиз, 1932, с. 3—10.

То же.— Дефектология, 1969, № 1, с. 83—87.

То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 222—230.

137. Предисловие к кн.: А. Н. Леонтьев. Развитие памяти.— М., 1932.— 11 с.— Совместно с А. Н. Леонтьевым. Отдельный оттиск.

138. Проблема развития ребенка в исследованиях Арнольда Гезелла. Критический очерк.— В кн.: Гезелл А. Педология раннего возраста. М.; Л.: Учпедгиз, 1932, с. 3—14.

139. Проблема речи и мышления ребенка в учении Ж. Пиаже. Критическое исследование.— В кн.: Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.; Л.: Учпедгиз, 1932, с. 3—54.
140. Раннее детство.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 4, с. 340—367.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 15 дек. 1932 г.
141. Современные течения в психологии.— В кн.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960, с. 458—481.

1933

142. Вводная лекция по возрастной психологии.— Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.— 34 с.— Стеногр. Центр. дом. худож. воспитания детей. 19 дек. 1933 г.
143. Динамика умственного развития школьника в связи с обучением.— В кн.: Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л.: ГИЗ, 1935, с. 33—52.— Стеногр. докл. на засед. кафедры дефектологии. Пед. ин-т им. Бубнова. Декабрь 1933 г.
144. Дошкольный возраст.— Личный архив Л. С. Выготского.— 15 с.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 13—14 дек. 1933 г.
145. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка.— Вопросы психологии, 1966, № 6, с. 62—76.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 1933 г.
146. К вопросу о динамике умственного развития нормального и ненормального ребенка.— Личный архив Л. С. Выготского.— Стеногр. лекции. Пед. ин-т им. Бубнова. 23 дек. 1933 г.
147. Кризис первого года жизни.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 4, с. 318—339.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 21 дек. 1933 г.
148. Кризис трех лет.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 4, с. 368—375.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. Апр. 1933 г.
149. Кризис семи лет.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 4, с. 376—385.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. Апр. 1933 г.
150. Критические возраста.— Архив Ленингр. пед. ин-та. Л., 20 апр. 1933 г.— 15 с.— Рукопись.
151. Негативная фаза переходного возраста.— Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.— 17 с.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 26 июня 1933 г.
152. Об исследовании учебной работы школьника.— Личный архив Л. С. Выготского.— Стеногр. докл. Ленингр. пед. ин-т. 31 янв. 1933 г.
153. О педологическом анализе педагогического процесса.— В кн.: Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л.: Учпедгиз, 1935, с. 116—134.— Стеногр. докл. в Эксперим. дефектол. ин-те. 17 марта 1933 г.
154. О переходном возрасте.— Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.— 19 с.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 25 июня 1933 г.
155. Педология дошкольного возраста.— Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.— 16 с.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 31 янв. 1933 г. Правки Л. С. Выготского.
156. Предисловие.— В кн.: Занков Л. В., Певзнер М. С., Шмидт В. Ф. Трудные дети в школьной работе. М.; Л.: Учпедгиз, 1933, с. 3—4.
157. Проблема возраста. Игра.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 4. с. 244—268.— Стеногр. заключительного слова на семинаре. Ленингр. пед. ин-т. 23 марта 1933 г.
158. Проблема развития (абсолютная и относительная успешность).— Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.— 17 с.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 27 ноября 1933 г.
159. Проблема сознания.— В кн.: Психология грамматики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968, с. 178—196.— Выступления Л. С. Выготского по докл. А. Р. Лурия 5 и 9 дек. 1933 г.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 156—167.
160. Развитие житейских и научных понятий в школьном возрасте.— В кн.: Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л.: Учпедгиз, 1935, с. 96—115.— Стеногр. докл. на засед. Научно-метод. совета Ленингр. педолог. ин-та 20 мая 1933 г.
161. Учение об эмоциях. Историко-психологическое исследование.— Личный архив

Л. С. Выготского. 1933.—500 с.—Рукопись. Монография имела также заглавия «Спиноза», «Очерки психологии. Проблема эмоций».
То же.—Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1984, т. 6, с. 91—318.

Учение об эмоциях в свете современной психоневрологии.—Вопросы философии, 1970, № 6, с. 119—130.—Глава монографии.

О двух направлениях в понимании природы эмоций в зарубежной психологии начала XX века.—Вопросы психологии, 1968, № 2, с. 149—156.—Отрывок монографии.

1934

162. К вопросу о деменции при болезни Пика.—Советская невропатология, психиатрия, психогигиена, 1934, т. 3, вып. 6, с. 97—136.—Совместно с Г. В. Беринбаумом, Н. В. Самухиным.
То же.—В кн.: Хрестоматия по патопсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. с. 114—149.—Сокр.
163. К вопросу о развитии научных понятий в школьном возрасте.—В кн.: Шиф Ж. И. Развитие научных понятий у школьника. М.; Л.: Учпедгиз, 1935, с. 3—17.
164. Младенчество и ранний возраст.—Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.—24 с.—Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 23 февр. 1934 г.
165. Мышление и речь.—М.; Л.: Соцэкгиз, 1934.—323 с.
То же.—В кн.: Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956, с. 39—386.
То же.—Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 2, с. 5—361.
Мысль и слово.—Наука и техника, 1977, № 6, с. 6—9. (На латыш. яз. с. 29—33).—VII глава.
I, II, IV, V, VII главы.—В кн.: Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981, с. 153—182.—Сокр.
166. Мышление школьника.—Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.—14 с.—Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 3 мая 1934 г.
167. Основы педологии.—М.: Изд-во 2-го Моск. мед. ин-та, 1934.—211 с.—Стеногр. курса лекций. 2-й Моск. мед. ин-т. 1934 г.
То же.—Л.: Изд-во Ленингр. пед. ин-та, 1935,—133 с.
168. Переходный возраст.—Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.—29 с.—Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 25 марта 1934 г.
169. Проблема возраста.—Личный архив Л. С. Выготского. 1934.—95 с.—Рукопись.
Проблема возрастной периодизации детского развития.—Вопросы психологии, 1972, № 2, с. 114—123.—Параграф работы № 169.
170. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте.—В кн.: Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л: Учпедгиз, 1935, с. 3—19.
171. Проблема развития в структурной психологии.—В кн.: Коффка К. Основы психического развития. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934, с. IX—LVI.
То же.—Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 238—290.
172. Проблема развития и распада высших психических функций.—В кн.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960, с. 364—383.—Докл. на конф. Ин-та Эксп. медицины. 28 апр. 1934 г. Последний доклад Л. С. Выготского. Сделан за полтора месяца до смерти.
173. Психология и учение о локализации психических функций.—В кн.: Первый Всеукраинский съезд невропатологов и психиатров. Тезисы докладов. Харьков, 1934, с. 34—41.—Тезисы докл. представлены на I Укр. съезд по психоневрологии.
То же.—В кн.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960, с. 384—396.
То же.—Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1982, т. 1, с. 168—174.
174. Слабоумие при болезни Pick'a.—Личный архив Л. С. Выготского. (1934?).—4 с.—Рукопись.
175. Фашизм в психоневрологии.—М.; Л.: Биомедгиз, 1934.—28 с.—Совместно с В. А. Гиляровским и др.

176. Школьный возраст. Глава I.— Личный архив Д. Б. Эльконина, 1934.— 42 с.— Рукопись.
177. Школьный возраст.— Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.— 61 с.— Стеногр. лекции. Ленингр. пед. ин-т. 23 февр. 1934 г.
Продолжение лекции.— Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.— 25 с.— Стеногр. Ленингр. пед. ин-т. 10 марта 1934 г.
Основные психологические особенности школьного возраста.— Архив Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.— 43 с.— Рукопись написана Выготским на основе указанных стенограмм.
178. Экспериментальное исследование воспитания новых речевых рефлексов по способу связывания с комплексами.— Личный архив Л. С. Выготского.— Рукопись.

1935

179. Обучение и развитие в дошкольном возрасте.— В кн.: Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л.: Учпедгиз, 1935, с. 20—32.— Стеногр. докл. на Всерос. конф. по дошк. воспитанию.
То же.— Семья и школа, 1969, № 12, с. 14—16.
То же.— В кн.: История советской дошкольной педагогики. Хрестоматия. М.: Просвещение, 1980, с. 241—245.— Сокр.
180. Проблема умственной отсталости.— В кн.: Умственно отсталый ребенок. М.: Учпедгиз, 1935, с. 7—34.
То же.— В кн.: Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956, с. 453—480.
То же.— В кн.: Хрестоматия по патопсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981, с. 150—157.— Сокр.
То же.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 231—256.
181. Умственно отсталый ребенок / Под ред. Л. С. Выготского.— М.: Учпедгиз, 1935.— 176 с.

РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

182. Дефектология и учение о развитии и воспитании ненормального ребенка.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 166—173.
183. Из записных книжек Л. С. Выготского.— Вестник Моск. ун-та. Серия 14. Психология, 1977, № 2, с. 89—95.
Содерж.: Инструментальный метод. К проблеме воли. О локализации психических функций в мозге. Психология и физиология и др.
184. Из записных книжек Л. С. Выготского.— Вестник Моск. ун-та. Серия 14. Психология, 1982, № 1, с. 60—67.
Содерж. О письменной речи. Проблема грамматики. Психофизическая проблема. К локализации и др.
185. Moral insanity.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 150—152.
186. Опытная проверка новых методов обучения глухонемых детей.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 322—325.
187. Основы работы с умственно отсталыми и физически дефективными детьми.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 181—187. (Частично содерж. работ № 39, 42, 45, 48, 59—61, 63—65, 67).
188. Педология юношеского возраста. Особенности поведения подростка.— М.: Изд. БЗО при 2-м МГУ.— 106 с.— Уроки 6—9.
189. Проблема культурного поведения ребенка.— Личный архив Л. С. Выготского.— 81 с.— Рукопись. Отлична от работы 57.
190. Слепой ребенок.— Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Педагогика, 1983, т. 5, с. 86—100.
191. Трудное детство.— М.: Изд-во БЗО при педфаке 2-го МГУ.— 45 с.

1925

1. The principles of social education of deaf and dumb children in Russia.— In: International conference on the education of the deaf. London, 1925, p. 227—237. Принципы социального обучения глухонемых детей в России.

1929

2. Die genetischon Vurseln des Denken und der Spreche.—In: Unter den Banner des Márxismus. Berlin, 1929, j. 3, N 3, S. 450—470. Генетические корни мышления и речи.

3. The problem of the cultural development of the child.—In: Genetic psychology. Massachusetts, 1929, vol. 36, N 3, p. 415—434. Проблема культурного развития ребенка.

1930

4. With Luria, A. The function and the inte of the egocentric speech. Proceed of the IX International conference of psychology.—In: Psychological Review Co. "S.l.", 1930, p. 464—465.

Появление и исчезновение эгоцентрической речи.

1934

5. Thought in schizophrenia.—In: Archives of neurological and psychiatry, 1934, vol. 31, N 5, p. 1063—1077.

Мышление при шизофрении.

1939

6. Thought and speech.—In: Psychiatry, 1939, vol. 2, p. 29—54.

Idem.—In: A book of readings. N. Y., 1961, p. 509—537.

Мысль и слово. 7-я глава из кн. «Мышление и речь».

1962

7. Shikó to gengo.—Tokyo: Meiji tosho shuppan, 1962, 2 vol.

Мышление и речь.

8. Thought and language.—New York; London; Wiley, 1962.—XXI, 168 p.

Idem.—2 print.—Cambridge; Mass.: M. I. T. Press, 1965.—XXI, 168 p.

Мышление и речь.

1964

9. Denken und Sprechen.—Berlin: Akademie-Verl., 1964.—VIII, 324 S.

Мышление и речь

10. Seisin hattatsu ron.—Tokyo: Meiji tosho shuppan, 1964.—78 p.

Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте.

1965

11. Psychology and localization of functions.—In: Neuropsychologia. Oxford; London; New York; Paris, 1965, vol. 3, N 4, p. 381—386.

Психология и учение о локализации психических функций.

1966

12. Development of the higher mental functions.—In: Psychological research in the USSR. 1966, vol. I, p. 11—46.

Развитие высших психических функций—сокращ. пер.

13. Pensiero e linguaggio.—Firenze: Giunti, 1966.—232 p.

Мышление и речь

1967

14. Gondolkodás és beszed.—Budapest: Akademiai kiado, 1967.—406 S.

Idem.—Budapest: Akademiai kiado, 1971.—406 S.

Мышление и речь.

15. Play and its role in the mental development of the child.—In: Soviet Psychology. New York, 1967, vol. 3.
Игра и ее роль в психическом развитии ребенка.

1968

16. Müveszet pszichológia.—Budapest: Kossuth Kiado, 1968.—470 S.
Психология искусства.

1969

17. Apprendimento e sviluppo intellettuale nell'etá scolastica.—In: Vygotsky, Lurija, Leontjev. Psicologia e pedagogia. Roma: Editori Riuniti, 1969, p. 25—40.
Idem.—Roma: Editori Riuniti, 1974, p. 25—40.
Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте.
18. Denken und Sprechen.—Frankfurt/M.: S. Fischer, 1969.—XXI, 379 S.
Idem.—Frankfurt/M., 1971.—379 S.
Idem.—Frankfurt/M., 1972.—379 S.
Idem.—Frankfurt/M., 1974.—379 S.
Idem.—Frankfurt/M., 1977.—379 S.
Мышление и речь.

1970

19. Hamlet.—Tökyo: Kokubunsha, 1970.—321 p.
Трагедия о Гамлете.
20. Seishin hattatsu no riron.—Tökyo: Meiji tosho shuppan, 1970.—243 p.
Развитие высших психических функций.

1971

21. A magasabb pszichikus funkciók fejlődese.—Budapest: Gondolat kiado, 1971,—447 S.
Развитие высших психических функций.
22 Geijutsu shiurigaku.—Tokyo: Meiji tosho shuppan, 1971.—392 p.
Психология искусства.
23. Myšleni a řeč.—Praha: SPN, 1971.—295 S.
Idem.—Praha: SPN, 1977.—295 S.
Мышление и речь.
24. Opere psihologice alese (1).—Bucuresti: Editura didaktica si pedagogica, 1971.—364 S.
Отрывки из кн.: «Развитие высших психических функций» и «Избранные психологические исследования».
25. Tænkning og sprog.—København: Hans Reitzel, 1971, vol. 1.—208 p.
Idem.—København: Hans Reitzel, 1976.—207 p.
1—5-я главы кн. «Мышление и речь».
26. The psychology of art.—Cambridge; Massachusetts; London, 1971.—XI, 305 p.
Психология искусства.
27. Wybrane prasepsychologiczne.—Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1971.—549 S.
Избранные психологические исследования.

1972

28. Kodomo no sôzôryoku to sozô.—Tökyo: Shin dokushosha, 1972.—184 p.
Воображение и творчество в детском возрасте.
29. Opere psihologice alese (2).—Bucuresti: Editura didactika si pedagogica, 1972.—313 S.
Мышление и речь.
30. Psicologia del arte —Barcelona: Barral, 1972.—526 p.

Психология искусства.
31. Psicologia dell'arte.—Roma: Editori Riuniti, 1972.—387 p.
Психология искусства.
32. Spinoza's theory of the emotions in light of contemporary psychoneurology.—In: Soviet studies in philosophy 1972, vol. 10, p. 362—382.
Отрывок из монографии «Учение об эмоциях в свете современной психоневрологии».

1973

33. Immaginazione e creativita' nell'eta' infantile.—Roma: Editori Riuniti, 1973.—140 p.
Воображение и творчество в детском возрасте.
34. La tragedia di Amleto.—Roma: Editori Riuniti, 1973.—231 p.
Трагедия о Гамлете.
35. Lo sviluppo psichico del bambino.—Roma: Paideia, 1973.—232 p.
Idem.—Roma: Paideia, 1975.—232 p.
Idem.—Roma: Editory Riuniti, 1977.—232 p.
Проблема психического развития ребенка.
36. Psihologia artei.—Bucuresti: Univers, 1973.—399 S.
Психология искусства.

1974

37. Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori.—Firenze: Giunti, 1974.—335 p.
История развития высших психических функций.
38. Tænkning og sprog.—København: Hans Reitzel, 1974, vol. 2.—244 p.
6-я и 7-я главы кн. «Мышление и речь».

1975

39. Kodomo no chiteki hattatsu to kyóju.—Tokyo: Meiji tosho shuppan, 1975.—217 p.
Умственное развитие детей в процессе обучения.

1976

40. Correnti contemporanee della psicologia.—In: La psicologia sovietica 1917—1936. Roma: Editori Riuniti, 1976, p. 122—142.
Современные течения в психологии.
41. Il problema della periodizzazione dello sviluppo infantile.—In: La psicologia sovietica 1917—1936. Rome: Editori Riuniti, 1976, p. 315—329.
Проблема возрастной периодизации детского развития.
42. Il problema dello sviluppo e della disintegrazione delle funzioni psicbicbe superiori.—In: La psicologia sovietica 1917—1936. Rome: Editori Riuniti, 1976, p. 330—347.
Проблема развития и распада высших психических функций.
43. Il problema dello sviluppo culturale del bambino.—In: La psicologia sovietica 1917—1936. Roma: Editori Riuniti, 1976, p. 295—314.
Проблема культурного развития в детском возрасте.
44. Jidó shinrigaku kógi.—Tokyo: Meiji tosho shuppan, 1976.—234 p.
Лекции по детской психологии.
45. Psychologie der Kunst.—Dresden: Verlag der Kunst, 1976.—351 S.
Психология искусства.

1977

46. Mislenje i gover.—Beograd: Nolit, 1977.—398 S.
Мышление и речь.

47. Vývoj vyšších psychických funkci.— Praha: SPN, 1977.— 363 S.
Развитие высших психических функций.

1978

48. Mind in society. The development of higher psychological processes.— Harvard University Press: Cambridge; Massachusetts; London, 1978.— 159 p.
Idem.— Second printing, 1979.— 159 p.
Содерж.:

Basic theory and data

1) Tool and symbol in child development (p. 19—31).
2) The development of perception and attention (p. 31—38).
3) Mastery of memory and thinking (p. 38—52).
4) Internalization of higher psychological functions (p. 52—58).
5) Problems of method (p. 58—79).

Educational implications

6) Interaction between learning and development (p. 79—92).
7) The role of play in development (p. 92—105).
8) The prehistory of written language (p. 105—121).

1979

49. Il giuoco e la sua funzione nello sviluppo prichoco del bambino.— Reforma della scuola, 1979, N 7, p. 41—50.
Игра и ее роль в психическом развитии ребенка.

1981

50. Psychologie umeni.— Praha: Literárnevedná răda, 1981.— 523 S.
Психология искусства.

1982

51. Ajattelu ja kieli.— Espoo: Weilin — Goos, 1982.— 270 p.
Мышление и речь.

СПИСОК РАБОТ О Л. С. ВЫГОТСКОМ

Настоящий список — первое систематическое собрание основной литературы, посвященной Л. С. Выготскому. Сюда входят монографии, статьи и диссертации, опубликованные на русском языке по 31 декабря 1983 г., на иностранных языках — по 31 декабря 1982 г.; упоминаются только первые издания. Список включает два типа исследований. Во-первых, работы, полностью посвященные изложению и анализу творчества Выготского в целом или любых его аспектов, во-вторых, работы, где дается целостное (хотя, возможно, и краткое) изложение (анализ, критика) творчества Выготского (отдельных его аспектов) в том или ином контексте (в монографии соответствующие страницы указаны в скобках). Работы, в которых имя Выготского лишь упоминается (содержится ссылка), но отсутствует целостный анализ его взглядов, в данный список не включены.

Настоящий список нельзя считать исчерпывающим потому, что критерий отбора работ второго типа весьма условный, кроме того, вероятно, часть работ оказалась вне поля нашего внимания. Какие-то (весьма немногочисленные) работы мы сознательно не сочли возможным включить в настоящий список: речь идет о некоторых критических работах 30-х гг., не отвечающих элементарным критериям научной корректности.

* * *

Абульханова-Славская К. А. О субъекте психической деятельности. М., 1973.— 288 с. (с. 101—104).

Амонашвили Ш. А. Механизм письменной речи и методика обучения письму.— В кн.: Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. М., 1981, с. 6—7*.

Ананьев Б. Г. К психопатологии и психологии внутренней речи.— В кн.: Труды АН Грузинской ССР. Психология. Тбилиси, 1946, т. 3, с. 1—20.

Ананьев Б. Г. К теории внутренней речи в психологии.— Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1946, т. 53, с. 155—173.

Андреева Г. М. Л. С. Выготский и социальная психология.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 7—9.

Андреева Г. М. Социальная психология. М., 1980.— 416 с. (с. 15—17).

Асмолов А. Г. Основные принципы психологического анализа в теории деятельности.— Вопросы психологии, 1982, № 2, с. 14—27.

Асмолов А. Г. Три грани интериоризации.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 10—13.

Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. М., 1975.— 144 с. (с. 36—47).

Б.а. Выготский Лев Семенович.— Украинская советская энциклопедия. Киев, 1979, т. 2, с. 397.

Б.а. Выготский Лев Семенович.— Философская энциклопедия, М., 1960, т. 1, с. 311.

Б.а. Культурно-историческая теория развития высших психических функций.— Психологический словарь. М., 1983, с. 174.

Л. С. Выготский и современная дефектология.— Дефектология, 1982, № 3, с. 3—6.

Б.а. Лев Семенович Выготский.— В кн.: Умственно отсталый ребенок. М., 1935, с. 2—4.

* Далее при ссылке на эту книгу: Научное творчество Л.С.В.

Бейн Э. С., Власова Т. А., Левина Р. Е., Морозова Н. Г., Шиф Ж. И. Послесловие.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1983, т. 5, с. 333—342.

Бейн Э. С., Левина Р. Е., Морозова Н. Г. Комментарии.— Там же, с. 343—357.

Берхин Н. Б. Из истории советской психологии искусства.— В кн.: Актуальные проблемы истории психологии. Ереван, 1982, с. 60—67.

Берхин Н. Б. О мнимом и подлинном содержании «психологии искусства» Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 13—14.

Берхин Н. Б. Общие проблемы психологии искусства. М., 1981.— 63 с. (с. 7—24).

Библер В. С. Внутренняя речь в понимании Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 14—20.

Библер В. С. Мышление как творчество. М., 1975.— 399 с. (с. 154—161).

Библер В. С. Понимание Л. С. Выготским внутренней речи и логика диалога (еще раз о предмете психологии).— В кн.: Методологические проблемы психологии личности. М., 1981, с. 117—134.

Бибрих Р. Р., Орлов А. Б. К. Левин, Л. С. Выготский: переход от метафизической к диалектической психологии как процесс.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 20—24.

Блонский П. П. Память и мышление. М., 1935.— 214 с. (с. 149—153).

Божович Л. И. Значение культурно-исторической концепции Л. С. Выготского для современных исследований психологии личности.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 24—30.

Божович Л. И. Концепция культурно-исторического развития психики и ее перспективы.— Вопросы психологии, 1977, № 2, с. 29—39.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.— 464 с. (с. 149—160).

Божович Л. И., Славина Л. С. Советская психология воспитания за 50 лет.— Вопросы психологии, 1967, № 5, с. 51—71.

Брудный А. А. О психолингвистических аспектах теории Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 30—31.

Брушлинский А. В. Культурно-историческая теория мышления.— В кн.: Исследования мышления в советской психологии. М., 1966, с. 123—174.

Брушлинский А. В. Культурно-историческая теория мышления. М., 1968.— 104 с.

Брушлинский А. В. Мышление как процесс и проблема деятельности.— Вопросы психологии, 1982, № 2, с. 29—40.

Брушлинский А. В. Проблема общественно-индивидуального в психике человека и культурно-историческая теория.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 31—37.

Будилова Е. А. Философские проблемы в советской психологии. М., 1972.— 336 с. (с. 58—67, 120—152).

Варданян Г. А. К вопросу о критерии оценки «зоны ближайшего развития» ребенка.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 37—38.

Величковский Б. М. Три программы перестройки психологии и кризис современного когнитивизма.— Там же, с. 39.

Венгер А. Л. Навык? Открытие мира? — Знание — сила, 1982, № 8, с. 26—28.

Венгер А. Л. О значении разных сторон процесса интериоризации для психического развития ребенка.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 39—41.

Венгер Л. А. К проблеме формирования высших психических функций.— Там же, с. 41—43.

Войтко В. И. Научное наследие Л. С. Выготского и становление принципов советской психологии.— Там же, с. 44—46.

Г.Ф. О состоянии и задачах психологической науки в СССР.— Под знаменем марксизма, 1936, № 9, с. 87—99.

Гальперин П. Я. Введение к статье Л. С. Выготского «Спиноза и его учение о страстях в свете современной психоневрологии».— Вопросы философии, 1970, № 6, с. 119—120.

Гальперин П. Я. Идеи Л. С. Выготского и задачи психологии сегодня.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 46—50.

Гальперин П. Я. К учению об интериоризации.— Вопросы психологии, 1966, № 6, с. 25—33.

Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий.— В кн.: Психологическая наука в СССР. М., 1959, т. 1, с. 441—470.

Гальперин П. Я., Запорожец А. В., Карпова С. Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. М., 1978.— 118 с. (с. 73—76, 80—83).

Гамезо М. В., Ломов Б. Ф., Рубахин В. Ф. Психологические аспекты методологии и общей теории знаков и знаковых систем.— В кн.: Психологические проблемы переработки знаковой информации. М., 1977, с. 5—48.

Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. М., 1982, с. 8—12.

Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении: Докт. дис. М., 1970, с. 541—565.

Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.— 423 с. (с. 187—201).

Давыдов В. В. Значение творчества Л. С. Выготского для современной психологии.— Советская педагогика, 1982, № 6, с. 84—87.

Давыдов В. В. Проблема обобщения в трудах Л. С. Выготского.— Вопросы психологии, 1966, № 6, с. 42—55.

Давыдов В. В., Зинченко В. П., Мунипов В. М., Радзиховский Л. А. Предисловие.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 3—5.

Давыдов В. В., Радзиховский Л. А. Проблема идеального в творчестве Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 50—55.

Давыдов В. В., Радзиховский Л. А. Теория Л. С. Выготского и деятельностный подход в психологии.— Вопросы психологии, 1980, № 6, с. 48—59; 1981, № 1, с. 67—80.

Ерастов Н. П. Виды знаков и уровни познавательной деятельности при анализе лингвистических отношений.— В кн.: Проблема деятельности в советской психологии, ч. I. М., 1977, с. 158—163.

Зак А. З. Характеристика «зоны ближайшего развития» при диагностике рефлексии у младших школьников.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 55—57.

Замский X. С. История олигофренопедагогики. М., 1980, с. 84—89.

Замский X. С. Лев Семенович Выготский и олигофренопедагогика.— Дефектология, 1971, № 6, с. 9—15.

Занков Л. В. Лев Семенович Выготский как дефектолог.— Дефектология, 1971, № 6, с. 3—9.

Запорожец А. В. Культурно-историческая теория в психологии.— Педагогическая энциклопедия. М., 1965, т. 2, с. 563—564.

Запорожец А. В. Выготский Лев Семенович.— Педагогическая энциклопедия. М., 1964, т. 1, с. 436—437.

Запорожец А. В. Роль Л. С. Выготского в разработке проблем восприятия.— Вопросы психологии, 1966, № 6, с. 13—25.

Запорожец А. В. Роль Л. С. Выготского в разработке проблемы эмоций.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 57—63.

Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.— 247 с. (с. 218—222).

Зейгарник Б. В. Опосредствование и саморегуляция в норме и патологии.— Вестник МГУ. Психология, 1981, № 2, с. 9—15.

Зейгарник Б. В. Патология мышления. М., 1962.— 244 с. (с. 78—80).

Зейгарник Б. В. Перспективы патопсихологических исследований в свете учения Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 63—64.

Зинченко В. П., Идеи Л. С. Выготского о единицах анализа психики.— Психологический журнал, 1981, № 2, с. 118—133.

Зинченко В. П., Лебединский В. В. Л. С. Выготский и Н. А. Бернштейн: сходные черты мировоззрения.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 64, 68.

Зинченко П. И. Проблема непроизвольного запоминания.— Научные записки Харьковского гос. пед. ин-та ин. яз., 1939, т. 1, с. 145—187.

Иванов В. В. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики.— Труды по знаковым системам, Тарту, 1973, вып. 6, с. 5—44.

Иванов В. В. Комментарии.— В кн.: Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968, с. 499—560.

Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.—302 с. (с. 20—22, 28—29, 66—67 и след.).

Иванова А. Я. Обучаемость как принцип оценки умственного развития детей. М., 1976.—86 с. (с. 6—23).

Иванова А. Я., Мандрусова Э. С. Принципы психологического исследования детей дошкольного возраста с патологией речи.— В кн.: Нарушения речи у дошкольников. М., 1972, с. 129—143.

Ильин Г. Л. О двух пониманиях принципа опосредствованности психического в концепции Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 68—72.

Истомина З. М. Развитие памяти. М., 1978.—120 с. (с. 21—24).

Кедров Б. М. О кризисе психологии, ее предмете и месте в системе наук (в контексте трудов Л. С. Выготского).— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 72—76.

Кедров Б. М. О методологических вопросах психологии.— Психологический журнал, 1982, № 5, с. 3—12.

Козырев А. В., Турко П. А. «Педологическая школа» профессора Л. С. Выготского.— Высшая школа, 1936, № 2, с. 44—57.

Колбановский В. Н. Лев Семенович Выготский.— Советская психотехника, 1934, № 4, с. 387—396.

Колбановский В. Н. О психологических взглядах Л. С. Выготского.— Вопросы психологии, 1956, № 5, с. 104—114.

Колбановский В. Н. Проблемы мышления и речи в трудах Л. С. Выготского.— В кн.: Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 1934, с. 6—35.

Коломинский Я. Л. Социально-психологическая концепция онтогенеза в свете идей Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 77—80.

Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Пути разработки идей Л. С. Выготского о роли общения в психическом развитии ребенка.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 80—82.

Левина Р. Е. Идеи Выготского о планирующей функции речи.— Вопросы психологии, 1968, № 4, с. 105—115.

Левина Р. Е. К психологии детской речи в патологических случаях. М., 1936.—78 с.

Левитин К. Е. Мимолетный узор. М., 1978.—80 с. (с. 36—54).

Лекторский В. А. Л. С. Выготский и проблема рефлексии.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 82—84.

Лекторский В. А., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Операциональная концепция интеллекта в работах Жана Пиаже.— В кн.: Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969, с. 9—53.

Леонтьев А. А. Л. С. Выготский и предмет научной психологии.—Там же, с. 84—91.

Леонтьев А. А. Психолингвистика. Л., 1967.—118 с. (с. 77—83).

Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.—305 с. (с. 36—38, 111—114, 157—161).

Леонтьев А. А. Творческий путь А. Н. Леонтьева.— В кн.: А. Н. Леонтьев и современная психология. М., 1983, с. 6—39.

Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.—214 с. (с. 202—210).

Леонтьев А. А. Языкознание и психология. М., 1966.—80 с. (с. 23—40).

Леонтьев А. Н. Борьба за проблему сознания в становлении советской психологии.— Вопросы психологии, 1967, № 2, с. 14—23.

Леонтьев А. Н. Введение к публикации: Из неизданных материалов Л. С. Выготского.— В кн.: Психология грамматики. М., 1968, с. 178—179.

Леонтьев А. Н. Вступительная статья.— В кн.: Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1965, с. III—XI.

Леонтьев А. Н. О творческом пути Л. С. Выготского. Вступительная статья.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1982, т. 1, с. 9—41.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1974.—304 с. (с. 96—100).

Леонтьев А. Н. Л. С. Выготский.— Советская психоневрология, 1934, № 6, с. 187—190.

Леонтьев А. Н. Начало современной психологии.— Знание — сила, 1978, № 5, с. 55.

Леонтьев А. Н. О путях исследования восприятия.— В кн.: Восприятие и деятельность. М., 1976, с. 3—27.

Леонтьев А. Н. Об историческом подходе в изучении психики человека.— В кн.: Психологическая наука в СССР. М., 1959, т. 1, с. 9—45.

Леонтьев А. Н. Опосредованное запоминание у детей с недостаточным и болезненно измененным интеллектом.— Вопросы дефектологии, 1982, № 4, с. 15—27.

Леонтьев А. Н. Проблема диалектического метода в психологии памяти.— В кн.: Вопросы марксистской педагогики. М., 1929, с. 101—110.

Леонтьев А. Н. Психологическое исследование речи.— В кн.: Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. М., 1983, т. I, с. 65—76.

Леонтьев А. Н. Развитие внутренней структуры высшего поведения.— В кн.: Психоневрологические науки в СССР. Материалы I Всесоюзного съезда по изучению поведения человека. М.; Л., 1930, с. 140—141.

Леонтьев А. Н. Развитие памяти. М., 1931.—278 с.

Леонтьев А. Н., Лурия А. Р. Из истории становления психологических взглядов Л. С. Выготского.— Вопросы психологии, 1976, № 6, с. 83—94.

Леонтьев А. Н., Лурия А. Р. Примечания.— В кн.: Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956, с. 497—503.

Леонтьев А. Н., Лурия А. Р. Психологические воззрения Л. С. Выготского.— В кн.: Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956, с. 4—36.

Леонтьев А. Н., Лурия А. Р., Теплов Б. М. Предисловие.— В кн.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960, с. 3—10.

Леонтьев А. Н., Пузырей А. А. Вступление к публикации: из записных книжек Л. С. Выготского.— Вестник МГУ. Психология, 1977, № 2, с. 89.

Лидерс А. Г. Категория «искусственное — естественное» и проблема обучения и развития у Л. С. Выготского и Ж. Пиаже.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 91—94.

Лифанова (Шахлевич) *Т. М.* Исторический анализ развития проблемы компенсации дефекта в научном творчестве Л. С. Выготского.— В кн.: Совершенствование воспитательной работы во вспомогательной школе. Мн., 1983, с. 4—9.

Лифанова (Шахлевич) *Т. М.* Библиография трудов Л. С. Выготского.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1984, т. 6, с. 360—375.

Логвиненко А. Г. Двуплановая структура зрительного образа в свете концепции высших психических функций Л. С. Выготского.— Там же, с. 95—96.

Лотман Ю. М. О двух моделях коммуникации в системе культуры.— В кн.: Труды по знаковым системам, вып. 6. Тарту, 1973, с. 227—244.

Лубовский В. И. Общие и специфические закономерности развития психики аномальных детей.— Дефектология, 1971, № 6, с. 15—19.

Лурия А. Р. Мозг и психика.— Коммунист, 1964, № 6, с. 107—117.

Лурия А. Р. Мозг человека и психические процессы. М., 1963.—478 с. (с. 54—60).

Лурия А. Р. О месте психологии в ряду социальных и биологических наук.— Вопросы психологии, 1977, № 9, с. 68—76.

Лурия А. Р. Об историческом изучении познавательных процессов. М., 1974.— 170 с. (с. 5—24).

Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975.— 252 с. (с. 6—10).

Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М., 1973.—374 с. (с. 73—76).

Лурия А. Р. Послесловие.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1982, т. 2, с. 466—479.

Лурия А. Р. Психология как историческая наука. (К вопросу об исторической природе психологических процессов).— В кн.: История и психология. М., 1971, с. 36—62.

Лурия А. Р. Пути советской психологии за 15 лет.— Советская психоневрология, 1933, № 1, с. 25—36.

Лурия А. Р. Развитие речи и формирование психологических процессов.— В кн.: Психологическая наука в СССР. М., 1959, т. 1, с. 516—577.

Лурия А. Р. Теория развития высших психических функций в советской психологии.— Вопросы философии, 1966, № 7, с. 72—80.

Лурия А. Р. Язык и сознание. М., 1979.— 320 с. (с. 80—90).

Лурия А. Р., Гиппенрейтер Ю. Б. Примечания.— В кн.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960, с. 482—484.

Лучков В. В., Певзнер М. С. Значение теории Л. С. Выготского для психологии и дефектологии.— Вестник МГУ. Психология, 1981, № 4, с. 60—70.

Ляудис В. Я. Память в процессе развития. М., 1976.— 255 с. (с. 10—15).

Мазур Е. С. Проблема смысловой регуляции в свете идей Л. С. Выготского.— Вестник МГУ. Психология, 1983, № 1, с. 31—40.

Маркова А. К. Исследования мотивации учебной деятельности и идеи Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 96—100.

Матюшкин А. М. Послесловие.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1983, т. 3, с. 338—353.

Матюшкин А. М. Комментарии.— Там же, с. 354—360.

Мунипов В. М., Радзиховский Л. А. Психотехника в системе научных представлений Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л.С.В., с. 104—107.

Непомнящая Н. И. Л. С. Выготский о целостном методе в психологии.— Там же, с. 108—110.

Непомнящая Н. И. Теория Л. С. Выготского о связи обучения и развития.— В кн.: Обучение и развитие. Материалы к симпозиуму. М., 1966, с. 183—199.

Никитина Е. С. О внутренней речи как предмете изучения.— В кн.: Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1982, с. 130—142.

Никольская А. А. Фундаментальные проблемы психологии в творчестве Л. С. Выготского и П. П. Блонского.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 110—125.

Носкова О. Г. Л. С. Выготский о роли психотехники в развитии психологической науки.— Там же, с. 115—117.

Петренко В. Ф. Идеи Л. С. Выготского и теория глубинных семантических ролей.— Там же, с. 117—119.

Петровский А. В. История советской психологии. М., 1967.— 367 с. (с. 103—107, 161—167, 244—251).

Петровский А. В. Вопросы истории и теории психологии. М., 1984, с. 122—138.

Петровский А. В. Л. С. Выготский и развитие социально-психологической теории.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 119—122.

Петровский А. В., Петровский В. А. Л. С. Выготский и проблема личности в современной психологии.— Вестник МГУ. Психология, 1982, № 4, с. 15—20.

Петровский В. А. Предпосылки психологии личности в свете идей Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 122—125.

Пискун В. М., Ткаченко А. Н. Л. С. Выготский и А. А. Потебня.— Там же, с. 125—128.

Поддьяков Н. Н. К проблеме умственного развития ребенка.— Там же, с. 128—131.

Пономарев Я. А. Понимание Л. С. Выготским предмета психологии, высказанное в работе «Психика, сознание, бессознательное».— Там же, с. 131—132.

Пузырей А. А. Выготский Лев Семенович.— КЛЭ. М., 1978, т. 9, с. 212—213.

Пузырей А. А. Интериоризация.— БСЭ, 1972, т. 10, с. 321.

Радзиховский Л. А. Анализ творчества Л. С. Выготского советскими психологами.— Вопросы психологии, 1979, № 6, с. 58—67.

Радзиховский Л. А. Деятельность: структура, генез, единицы анализа.— Вопросы психологии, 1983, № 6, с. 121—127.

Радзиховский Л. А. К истории и перспективам теории деятельности в советской психологии.— Новые исследования в психологии, 1982, № 1, с. 2—6.

Радзиховский Л. А. Комментарии.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1982, т. 2, с. 480—491.

Радзиховский Л. А. Л. С. Выготский и развитие деятельностного подхода в советской психологии.— В кн.: Сборник научных работ НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. М., 1978, с. 20—25.

Радзиховский Л. А. О ранних этапах научного творчества Л. С. Выготского.— Вопросы психологии, 1979, № 1, с. 99—105.

Радзиховский Л. А. Основные этапы научного творчества Л. С. Выготского: Канд. дис. М., 1979.— 226 с.

Радзиховский Л. А. Проблема сознания в ранних психологических работах Л. С. Выготского.— Новые исследования в психологии, 1979, № 2, с. 107—110.

Радзиховский Л. А. Проблема субъекта и объекта в психологической теории деятельности.— Вопросы философии, 1982, № 9, с. 57—66.

Радзиховский Л. А. Современные исследования творчества Л. С. Выготского.— Вопросы психологии, 1982, № 3, с. 165—167.

Радзиховский Л. А., Хак Ф. М. Значение ранних работ Л. С. Выготского для развития советской психологии.— Вестник МГУ. Психология, 1977, № 3, с. 11—20.

Радзиховский Л. А., Хомская Е. Д. А. Р. Лурия и Л. С. Выготский (первые годы сотрудничества).— Вестник МГУ. Психология, 1981, № 2, с. 66—76.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1940.— 596 с. (с. 338—339).

Рубинштейн С. Я. Л. С. Выготский о развитии психики умственно отсталых детей.— Дефектология, 1970, № 5.

Рубинштейн С. Я. О некоторых идеях Л. С. Выготского в области патопсихологии.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 132—135.

Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника. М., 1979.— 192 с. (с. 42—57, 105—117).

Рубцов В. В. Диагностика коллективного действия детей как исследовательская проблема.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 135—140.

Садовский В. Н. Гештальтпсихология, Л. С. Выготский и Ж. Пиаже (К истории системного подхода в психологии).— Там же, с. 140—143.

Сахаров Л. С. Об образовании понятий.— Психология, 1931, № 1, с. 3—33.

Семенов И. Н. Выготский Лев Семенович.— БСЭ. 1971, т. 5, с. 521.

Смирнов А. А. К 50-летию советской психологии.— Вопросы психологии, 1967, № 5, с. 13—28.

Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. М., 1966.— 423 с. (с. 25—36).

Смирнов А. А. 50 лет Института психологии.— Советская педагогика, 1963, № 6, с. 129—141.

Смирнов А. А. Развитие и современное состояние психологической науки в СССР. М., 1975.— 352 с. (с. 168—178).

Смирнов А. А. Советская психология за 40 лет.— Вопросы психологии, 1957, № 5, с. 9—56.

Собкин В. С. К исследованию поэтики текстов Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 143—145.

Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968.— 248 с. (с. 39—42).

Соколов А. Н. Исследования по проблеме речевых механизмов общения.— В кн.: Психологическая наука в СССР. М., 1959, т. 1, с. 488—515.

Соколов А. Н. Проблема мышления и речи в культурно-исторической теории Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 145—147.

Стеценко А. П. Л. С. Выготский и проблема значения.— Там же, с. 148—151.

Таланкин А. А. О повороте на психологическом фронте.— Советская психоневрология, 1931, № 2—3, с. 8—23.

Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1975.— 344 с. (с. 13—19).

Теплов Б. М. Советская психологическая наука за 30 лет.— М., 1947.— 32 с. (с. 14—19).

Тихомиров О. К. Л. С. Выготский и современная психология.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 151—154.

Тихомиров О. К. Общественно-исторический подход к развитию психической деятельности человека.— Вопросы философии, 1961, № 12, с. 144—147.

Тихомиров О. К. Теория психологических систем.— Вестник МГУ. Психология, 1982, № 2, с. 3—12.

Ткаченко А. Н. Актуальные проблемы психологии.— Вопросы психологии, 1983, № 1, с. 156—158.

Ткаченко А. Н. Проблемы исходной единицы анализа психического в истории советской психологии (1920—1940 гг.).— Вопросы психологии, 1980, № 2, с. 155—159.

Тульвисте П. Э. К проблеме типологии вербального мышления.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 154—157.

Тутунджян О. М. Труды Л. С. Выготского в Северной Америке.— Там же, с. 158—161.

Хараш А. У. Об опосредствующей функции языка.— Там же, с. 161—163.

Хомская Е. Д. Идеи системности в трудах Л. С. Выготского и А. Р. Лурия.— Там же, с. 163—166.

Шахлевич Т. М. Библиография трудов Л. С. Выготского.— Вопросы психологии, 1974, № 3, с. 152—160.

Шахлевич Т. М. К биографии Л. С. Выготского.— В кн.: Сборник научных трудов аспирантов. Мн., 1972, с. 454—461.

Шахлевич Т. М. Л. С. Выготский о проблеме развития аномального ребенка.— В кн.: Педагогика и психология. Мн., 1972, с. 185—197.

Шахлевич Т. М. Л. С. Выготский о целях и задачах обучения и воспитания аномальных детей.— В кн.: Пути повышения сознательности учения во вспомогательной школе. Ташкент, 1975, т. 155, с. 89—92.

Шахлевич Т. М. Научно-педагогическая и общественная деятельность Л. С. Выготского в Белоруссии (историко-архивное исследование).— В кн.: Гуманитарные науки. Мн., 1974, с. 326—333.

Шахлевич Т. М. О дефектологических трудах Л. С. Выготского.— Дефектология, 1974, № 3, с. 76—80.

Шахнарович А. М. Исследования синтаксиса детской речи и идея Л. С. Выготского о семантическом синтаксировании.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 166—168.

Шеин А. А. Ранние психологические исследования Л. С. Выготского.— Вопросы психологии, 1965, № 6, с. 7—15.

Шиф Ж. И. Развитие научных понятий у школьников. М.; Л., 1935.—80 с.

Шиф Ж. И. Усвоение языка и развитие мышления у глухих детей. М., 1968.— 318 с. (с. 240—246).

Шмелев А. Г., Похилько В. И. Л. С. Выготский и динамическая концепция субъективных семантических пространств.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 168—171.

Шрейдер Б. А. Некоторые особенности знаковых выражений явлений сознания.— Там же, с. 171—173.

Щедровицкий Г. П. Проблема соотношения логических и психологических исследований мышления в истории советской психологии.— В кн.: Материалы IV Всесоюзного съезда Общества психологов. Тбилиси, 1971, с. 937—938.

Щедровицкий Г. П. Языковое мышление и его анализ.— Вопросы языкознания, 1957, № 1, с. 57—68.

Эльконин Б. Д. О способе опосредствования решения задач «на соображение».— Вопросы психологии, 1981, № 1, с. 100—118.

Эльконин Б. Д. Об опосредствовании процесса решения задач на соображение.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 173—176.

Эльконин Б. Д. Роль знакового опосредствования в процессе решения задач «на соображение»: Канд. дис. М., 1982.— 150 с. (с. 29—36).

Эльконин Д. Б. Интеллектуальные возможности младших школьников и содержание обучения.— В кн.: Возрастные возможности усвоения знаний. М., 1966, с. 13—53.

Эльконин Д. Б. Комментарии.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1984, т. 4, с. 404—415.

Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психологического развития в детском возрасте.— Вопросы психологии, 1971, № 4, с. 6—20.

Эльконин Д. Б. Л. С. Выготский сегодня.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 176—182.

Эльконин Д. Б. Некоторые итоги изучения психологии развития детей дошкольного возраста.— В кн.: Психологическая наука в СССР. М., 1959, т. 2, с. 228—286.

Эльконин Д. Б. Послесловие.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1984, т. 4, с. 386—403.

Эльконин Д. Б. Проблема обучения и развития в трудах Л. С. Выготского.— Вопросы психологии, 1966, № 6, с. 33—42.

Эльконин Д. Б. Проблемы психологии детской игры в работах Л. С. Выготского, его сотрудников и последователей.— Вопросы психологии, 1976, № 6, с. 94—102.

Юдин Э. Г. Деятельность как объяснительный принцип и как предмет научно-

го изучения.— Вопросы философии, 1976, № 5, с. 65—78.

Ярошевский М. Г. Предметная деятельность как основа системы психологии.— Вопросы психологии, 1984, № 1, с. 159—162.

Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. М., 1971.— 368 с. (с. 274—288).

Ярошевский М. Г., Гургенидзе Г. С. Комментарии.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1982, т. 1, с. 459—472.

Ярошевский М. Г., Гургенидзе Г. С. Л. С. Выготский — исследователь проблем методологии науки.— Вопросы философии, 1977, № 8, с. 91—105.

Ярошевский М. Г., Гургенидзе Г. С. Л. С. Выготский о природе психики.— Вопросы философии, 1981, № 1, с. 142—154.

Ярошевский М. Г., Гургенидзе Г. С. Послесловие.— В кн.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1982, т. 1, с. 437—458.

Ярошевский М. Г., Гургенидзе Г. С. Проблемы методологии науки в творчестве Л. С. Выготского.— В кн.: Научное творчество Л. С. В., с. 183—190.

Ярошевский М. Г., Ткаченко А. Н. Анализ концепции Л. С. Выготского в трудах А. Р. Лурия.— В кн.: А. Р. Лурия и современная психология. М., 1982, с. 21—28.

Alberti A. Prefazione.—In: Vygotsky L. S. Immaginazione e creativita' neell'eta' infantile. Roma, 1972, p. 7—15.

Bain B. Toward an integration of Piaget and Vygotsky bilingual considerations.— Linguistics, 1978, N 160, p. 5—19.

Bell R. Q. A reinterpretation of the direction of effect in studies of socialization.— Psychol. Rev., 1968, N 75, p. 81—85.

Bell R. Q. Stimulus control of parents or caretaker behavior by offspring.— Developm. Psychol., 1971, N 4, p. 63—72.

Berg E. E. L. S. Vygotsky's theory of the social and historical origins of consciousness. Unpublished doctoral diss. University of Wisconsin, 1970, v. 2, p. 548.

Bickley R. Vygotsky's contributions to a dialectical materialist psychology.— Science and Society, 1977, N 41, p. 191—207.

Brozek J. Soviet psychology.— In: Marx M. H., Hillix W. A. Theories and systems of psychology. N. Y., 1973, p. 529—548.

Brozek J. Vygotskii Lev Semenovich.— In: Wolman B. B. (ed.). International Encyclopedia of Psychiatry, Psychology, Psychoanalysis, Neurology. N. Y., 1977, v. 11, p. 409.

Bruner J. S. Introduction.—In: Vygotsky L. S. Thought and language. Cambridge, Mass., 1962, p. V—X.

Bruner J. S. Preface to Vygotsky Memorial issue.— Soviet Psychol., 1967, N 5, p. 3—5.

Bruner J. S. The beginnings of intellectual skill: I and II.— New Behaviour, 1975, Oct. 2 (20—24) and Oct. 9 (58—61).

Bronckart J.-P. The regulating role of speech: a cognitivist approach.—Human Developm., 1973, N 16, p. 417—439.

Brown A. L. Theories of memory and the problems of development.—In: Cermak L. S., Craik F. T. (eds.). Levels of processing in human memory. Hillsdale, 1979.

Brown A. L. Vygotsky: a man for all seasons.—Contemp. Psychol., 1979, N 24, p. 161—163.

Buim N., Runders J., Turnure J. Early material linguistic environment of normal and Down's syndrome language-learning children.— Amer. J. of mental deficiency, 1974, N 79, p. 52—58.

Camaconi L. Linguaggio interiore e linguaggio egocentrico un paradigma unitario.— Eta Evolutiva, 1981, n. 8, p. 76—80.

Cecchini M. Introduzione.—In: Vygotsky L. S., Lurija A. R., Leontjev A. N. Psicologia e pedagogia. Roma, 1969, p. 7—19.

Cole M. A portrait of Luria.— In: Luria A. R. The making of mind. Cambridge, Mass., 1979, p. 181—225.

Cole M. Alexander Romanovich Luria: 1902—1977.— Am. Psychologist, 1977, v. 32, n. 11, p. 969—971.

Cole M. Introduction.— In: Soviet development psychology. White Plains. N. Y., 1977, p. IX—XXII.

Cole M. The unmaking of mind: behind the autobiography.— Psychol. Today, 1980, N 14, p. 88—89.

Cole M., Bruner J. Cultural differences and inferences about psychological processes.— Amer. Psychologist, 1971, v. 26, n. 10, p. 867—876.

Cole M., Maltzman I. Introduction.— In: A Handbook of Contemporary Soviet Psychology. N.Y., 1968, p. 3—38.

Cole M., Scribner S. Culture and Thought. N. Y., 1974, p. 39—42.

Cole M., Scribner S. Introduction.— In: Vygotsky L. S. Mind in Society. Cambridge, Mass.; L., 1978, p. 1—15.

Cumming J. Vygotsky Lev Semenovich.— In: Encyclopedia of psychologia. (Ed. Eysenek H. J., Arnold W. J., Meili R.). L., 1975, v. 2, p. 1170.

Di Lisa O. Linguaggio, potere e ideologia: Vygotskij e Bachtin.— Prospettive settanta, 1980, N 2.

Elsasser N., John-Steiner V. An interactionist approach to advancing literacy.— Harvard Educ. Rev., 1977, N 47, p. 3, 355—370.

Ervin S. Incisive ideas from the Soviet Union.— Contemporary Psychol., 1962, N 7, p. 406—407.

Fodor J. Some reflections on L. S. Vygotsky's thought and language.— Cogn., 1972, N 1, p. 83—95.

Fosberg I. A modification of the Vygotsky Block test for the study of the higher thought processes.— Amer. J. of Psychol., 1948, N 61, p. 558—561.

Fraser C., Roberts N. Mothers speech to children of four different ages.— J. of Psycholing. Res., 1975, N 4, p. 9—16.

Frederickc S. Vygotsky of language skills.— Classical World, 1974, N 67, p. 283—290.

Garrioni E. Recensione della psicologia dell'arte.— Paese Sera, 1973, 23 marzo.

Gillisen Y., Hendrix T., Kiens H., Voncken J. De tegenstelling Vygotskij-Piaget.— Psychol. en maatschappij, 1977, N 2, p. 57—69.

Golden M., Montare A., Bridger W. Verbal control of delay behaviour in two-year-old boys as a function of social class.— Child Developm., 1977, N 48, p. 1107—1111.

Gulutsan M. Jean Piaget in soviet psychology.— Alberta J. of Educat. Res., 1967, v. XIII, N 3, p. 239—247.

Hanfmann E., Kasanin J. A method for the study of concept formation.— J. Psychol., 1937, N 3, p. 521—540.

Hanfmann E., Kasanin J. Conceptual thinking in schizophrenia.— Nervous and Mental Disorder Monographs, 1942, N 67.

Hanfmann E., Vakar G. Translators' prefase.— In: Vygotsky L. S. Thought and Language. Cambr., Mass., 1962, p. XI—XIII.

Harris A. Social dialectics and language: mother and child construct the discource.— In: Riegel K. (Ed.). The Development of Dialectical Operations. Basel, 1975, p. 80—96.

Hewes D., Evans D. Three theories of egocentric speech: a contrastive analysis.— Communication Monographs, 1978, N 45, p. 18—32.

Holzkamp K. Kritische Psychologie. Vorbereitende Arbeiten. Frankfurt/Main, 1972.

Hyden C. Psykologi och materialism. Stockholm, 1981.

Hyden C. Psykologi och revolutionem. L. S. Vygotski och den sovjetiska psyk ologins utveckling. Stockholm, 1978.

Ijzendoom R. V., Veer R. v. d., Goossens F. Kritische Psychologie. Baarn, 1981, 7, p. 21—89.

Jakobson R. Anthony's contribution to linguistic theory.— In: Jakobson R. Selected writings. v. 2. Mouton, 1971, p. 285—288.

John-Steiner V., Souberman E. Afterword and notes.— In: Vygotsky L. S. Mind in Society. Cambr., Mass.; L., 1978, p. 121—140.

Kohlberg L., Yaeger J.; Hjerthol E. Private speech: four studies and a review of theories.— Child Developm., 1968, N 39, p. 691—736.

Kussmann T. Sowjetische Psychologie: Auf der Suche nach der Methode. Bern — Stuttgart — Wien, 1974, S. 71—80.

Kvale S. Memory and dialectics.— In: Riegel K. (ed.). The development of dialectical operations. Basel, 1975, p. 181—193.

Lecaldano E. Psicologia ed educazione secondo Vygotskij.— La ricerca, 1969, 1 apr., p. 1—4.

Leontiev A. N. The development of voluntary attention in the child.— J. of Gen. Psychol., 1932, N. 2, p. 52—81.
Leontiev A. N., Luria A. R. Some notes concerning Dr. Fodor's "Reflections on L. S. Vygotsky's Thought and Language". — Cogn., 1972, v. 1, N 2—3, p. 311—316.
Levi G. Alcune idee di Vygotskij sullo sviluppo e il ritardo mentale nel bambino.— Eta Evolutiva, 1981, N. 8, p. 87—90.
Levitin K. One is not born a personality. Chapter 1. Ages and Days. Moscow, 1982, p. 16—101.
Limber J. Language in child and chimp?—Amer. Psychologist, 1977, v. 32, n. 4.
Linn M. The role of intelligence in children's response to instruction.—Psychol. in the Schools, 1973, N 10, p. 67—75.
London I. A historical survey of psychology in the Soviet Union.— Psychol. Bull., 1949, N 46, p. 241—277.
Loschi T. Il linguaggio del bambino: le ipotesi di Piaget e Vygotskij.— Vita dell'Infanzia, 1975, n. 12, p. 29—35.
Luria A. R. Autobiographia.— In: Lindzey G. (ed.). A History of Psychology in Autobiography. Engelwood; N. Y., 1974, p. 253—292.
Luria A. R. Biographical note on L. S. Vygotsky.— In: Vygotsky L. S. Mind in Society. Cambr., Mass.; L., 1978, p. 15—16.
Luria A. R. L. S. Vygotsky: a biographical sketch.— Psychiatry, 1939, N 2, p. 53—54.
Luria A. R. L. S. Vygotski and the problem of localization of functions.— Neuropsychol., 1965, N. 5, p. 387—392.
Luria A. R. Psychological expedition to Central Asia.— Science, 1931, 74, 1920, 383—384.
Luria A. R. Psychological expedition to Central Asia.— J. of Genet. Psychol., 1932, N 40, p. 241—242.
Luria A. R. Psychology in Russia.— J. of Genet. Psychol., 1928, N 35, p. 347—355.
Luria A. R. The development of mental functions in twins.— Character and Personality, 1936, N 5, p. 35—47.
Luria A. R. The Making of Mind. Cambr., Mass.; L., 1979, p. 38—57.
Luria A. R. The problem of the cultural behavior of the child.— J. of Genet. Psychol., 1928, N 35, p. 493—506.
Luria A. R. The second psychological expedition to Central Asia.— J. of Genet. Psychol., 1934, N 44, p. 255—259.
Luria A. R. Towards the basic problems of neurolinguistics.— Brain and Language, 1974, N 1, p. 1—14.
Luria A. R., Majovski L. V. Basic approaches used in American and Soviet clinical neuropsychology.— Amer. Psychologist, 1977, p. 959—968.
Manacorda M. A. La pedagogia di Vygotskij.— Riforma della scuola, N 26, p. 31—39.
Massucco Costa A. Psicologia sovietica. Torino, 1963.
Meacham J. The development of memory abilities in the individual and in society. — Human Developm., 1972, N 15, p. 205—228.
Mecacci L. Cenni bio-bibliografici.— In: Vygotskij L. S. Lo sviluppo psichico del bambino. Roma, 1973, p. 59—63.
Mecacci L. Cervello e storia. Ricerche sovietiche di neorofisiologia e psicologia. Roma, 1977.
Mecacci L. Il manifesto della scuola storico-culturale.— Storia e critica della psicologia, 1980, v. 1, n. 2, p. 263—267.
Mecacci L. Koffka e la psicologia sovietica.— Storia e critica della psicologia, 1980, v. 1, n. 2, p. 95—98.
Mecacci L. L'uomo nuovo sovietico.— In: Momenti e problemi di storia dell'URSS. Roma, 1968, p. 249—257.
Mecacci L. Riflessologia e scuola storico-culturale.— In: Legrenzi P. (a cura di). Storia della psicologia. Bologna il Milano, 1979.
Mecacci L. Vygotskij: per una psicologia dell'uomo.— Riforma della scuola, 1979, N 27 (7), p. 24—30.
Meece R., Rosenblum R. Conceptual thinking of sixth-grade children as measured by the Vygotsky block test.— Psychol. Rev., 1965, N 17, p. 195—202.
Meichenbaum D. Theoretical and treatment implications of developmental research

on verbal control of behaviour.—Canad. Psychol. Rev., 1975, N 16, p. 22—27.
Mininni G. Marxismo e freudismo.—In: Volosinov V. N. Freudismo. Bari, 1977, p. 23—50.
Moore T. Language and intelligence: a longitudinal study of the first eight years. Part II: Environmental correlates of mental growth.—Human Developm., 1968, N 11, p. 1—24.
Morganti S. Psicologia sovietica.—In: Funari E. (a cura di). Psicologia. Scuole e indirizzi. Milano, 1977.
Musatti T. Vygotskij e la psicologia dell eta'evolutiva.—Eta Evolutiva, 1981, N. 8, p. 69—75.
Orsolini M. La formazione dei concetti in Piaget, Bruner e Vygotskij-Scuola e citta, 1979, N 6—7, p. 261—270.
Parreren C. F. v., Carpay J. A. M. Soviet psychologen over onderwijs en cognite-ve ontwikkeling. Groningen, 1980.
Piaget J. Comments in Vygotsky's critical remarks concerning "The language and thought of the child and reasoning in the child".—In: Vygotsky L. S. Thought and language. Cambr., Mass., 1962, p. 169—183.
Phillips S. The contribution of L. S. Vygotsky to cognitive psychology.—Alberta J. of Educat. Res., 1977, N 23, p. 31—42.
Ponzio A. Leggendo insieme Vygotskij e Bachtin.—Scienze umane, 1979, N 1, p. 123—134.
Ponzio A. Linguaggio, inconscio e ideologia.—In: Volosinov V. N. Freudismo. Bari, 1977, p. 7—22.
Ponzio A. Semantica, teoria dell'ideologia e teoria dell'individuo umano in V. N. Volosinov.—In: Volosinov V. N. Marxismo e filosofia del linguaggio. Bari, 1976, p. 5—41.
Ponzio A. Semiotica marxista, teoria dell'individuo umano e dell'ideologia negli anni venti in URSS.—In: Marxismo, scienza e problema dell'uomo. Verona, 1978, p. 59—114.
Rahmani L. Soviet Psycholcgy. Philosophical, Theoretical and Experimental Issues. N. Y., 1973.
Rahmani L. Studies on the mental development of the child.—In: O'Connor N. (Ed.). Present-Day Russian Psychology. Oxford, 1966, p. 152—177.
Riegel K. F. Dialectic operations: the final period of cognitive development.—Human Developm., 1973, N 16, p. 346—370.
Riegel K. F. Dialectical operations of cognitive development.—In: Contributions to Human Development. Basel, 1976, v. 2, p. 60—71.
Riegel K. F. Foundations of Dialectical Psychology. N. Y., 1979.
Riegel K. F. Toward a dialectical theory of development.—Human Developm., 1975, N 18, p. 50—64.
Rigotti E. Il problema della filosofia della lingua in L. S. Vygotskij ed altri autori sovietici.—Rivista di filosofia neoscolastica. 1969, n. 1, p. 38—71.
Robustelli F. Evoluzione biologica e evoluzione culturale in Vygotskij.—Scienze Umane, 1980, N 1, p. 165—174.
Sahakian W. S. History and systems of psychology. N. Y.; L., 1975, p. 401—405.
Salmaso D. Vygotskij, Lurija e la neuropsicologia.—Storia e critica della psicologia, 1980, v. 1, N. 1, p. 53—59.
Sameroff A. Transactional models in early social relations.—In: Riegel K. F. (ed.). The Development of Dialectical Operations. Basel, 1975, p. 65—79.
Scaparro F., Morganti S. Osservazioni su L. S. Vygotskij e la psicologia del gioco.—Eta' Evolutiva, 1981, n. 8, p. 81—86.
Scheerer E. Gestaltpsychology in the Soviet Union. Part 1. The period of enthusiasm.—Psychol. Res., 1980, N 41, p. 113—132.
Schubert F.-C. Vygotsky test.—In: Encyclopedia of Psychologia (ed Eyse-nek H. S., Arnold W. J., Meili R.). L., 1975, v. 2, p. 1170.
Schribner S., Cole M. Cognitive consequences of formal and informal education.—Science, 1973, N 182, p. 553—559.
Semeonoff B., Laird A. The Vygotsky test as a measure of intelligence.—Brit. J. Psychol., 1952, N 43, p. 94—102.
Sinclair H. Some comments on Fodor's «Reflections on L. S. Vygotsky's Thought and language".—Cogn., 1972, N 1, p. 317—318.

Snow C. E. Mothers speech to children learning language.— Child Developm., 1972, N 43, p. 549—565.
Stewin L., Martin J. The development stages of L. S. Vygotsky and J. Piaget: a comparison.— Alberta J. of Educat. Res., 1977, N 23, p. 31—42.
Sutton A. Cultural disadvantage and Vygotskii's stages of development.— Educat. Studies, 1980, v. 6, N 3, p. 199—209.
Tornatore L. Vygotskij e l'educazione linguistica.— Scuola e Citta, 1980, N 31, p. 251—256.
Toulmin S. The Mozart of psychology (review of Mind in society).— N Y. Rev. of Books, 1978, 28 Sept., p. 51—57.
Vegetti M. S. Arte e psicoanalisi in uno scritto di L. S. Vygotskij.— La cultura, 1971, N 9, p. 397—406.
Vegetti M. S. Una psicologia della creativita.— Riforma della Scuola, 1972, n. 12, p. 35—37.
Vegetti M. S. Vygotskij e la psicologia sovietica.— In: Vygotskij L. S. Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori. Roma, 1974, p. 9—39.
Voc J. F. Onderwijswetenschap en marxisme. De methodenstrijd in de sovjetonderwijswetenschap. Groningen, 1976.
Vygotski Lev Semenovich.—In: Wolman B. B. (compl. ed.) Dictionary of Behavioral Science. L., 1975.
Weinreich V. Review "Thought and language" by L. S. Vygotsky.— Amer. Antropologist, 1963, v. 65, N 6, p. 1401—1404.
Wertsch J. V. Editor's introduction to: Levina R. E. L. S. Vygotsky's ideas about the planning function of speech in children.— In: The Concept of Activity in Soviet Psychology. N. Y., 1981, p. 279—281.
Wertsch J. V. Editor's introduction to: Vygotsky L. S.The development of higher forms of attention in childhood.—In: The Concept of Activity in Soviet Psychology. N. Y., 1981, p. 189—191.
Wertsch J. V. Editor's introduction to: Vygotsky L. S. The genesis of higher mental functions.—In: The Concept of Activity in Soviet Psychology. N. Y., 1981, p. 144—147.
Wertsch J. V. Editor's introduction to: Vygotsky L. S. The instrumental method in psychology.—In: The Concept of Activity in Soviet Psychology. N. Y., 1981, p. 134—136.
Wertsch J. V. From social interaction to higher psychological processes. A clarification and application of Vygotsky's theory.—Human Developm., 1979, N 22, p. 1—22.
Wertsch J. V. The significance of dialogue in Vygotsky's account of social, egocentric and inner speech.— Contemporary Educat. Psychol., 1980, N 5, p. 150—162.
Wertsch J. V. Trends in soviet cognitive psychology.— Storia e critica della psicologia, 1981, v. 2, N 2, p. 219—295.
Zappi G. Psicologia marxista. Bologna, 1969.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РАБОТ Л. С. ВЫГОТСКОГО, ВКЛЮЧЕННЫХ В ШЕСТИТОМНИК

Название работы	Том	Стр. текста	Стр. коммент.
По поводу статьи К. Коффки «Самонаблюдение и метод психологии» Вместо предисловия	1	99—102	463
Предисловие к книге А. Н. Леонтьева «Развитие памяти»	1	149—155	466
Предисловие к книге А. Ф. Лазурского «Психология общая и экспериментальная»	1	63—77	461—462
Предисловие к книге Е. К. Грачевой	5	222—230	355
Предисловие к книге Я. К. Цвейфеля	5	219—221	355
Предисловие к русскому изданию книги В. Келера «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян»	1	210—237	468
Предисловие к русскому переводу книги Э. Торндайка «Принципы обучения, основанные на психологии»	1	176—195	467—468
Принципы социального воспитания глухонемых детей	5	101—114	351—352
Проблема возраста	4	244—268	412—413
Проблема развития в структурной психологии	1	238—290	468
Критическое исследование			
Проблема сознания	1	156—167	466—467
Проблема умственной отсталости	5	231—256	355
Психика, сознание, бессознательное	1	132—148	465—466
Психология и учение о локализации психических функций	1	168—174	467
Развитие трудного ребенка и его изучение	5	175—180	353
Раннее детство	4	340—367	415
Слепой ребенок	5	86—100	350—351
Сознание как проблема психологии поведения	1	78—98	462—463
Трудное детство	5	137—149	352
Учение об эмоциях Историко-психологическое исследование	6	90—318	350—356

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ ВЫГОТСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ

Сверил тексты
М. Г. Ярошевский

Подготовила список
трудов Л. С. Выготского
Т. М. Лифанова

Подготовил указатели и список работ
о Л. С. Выготском
Л. А. Радзиховский

Зав. редакцией А. В. Черепанина
Редактор С. Д. Крекова
Художник А. Т. Троянкер
Художественный редактор Е. В. Гаврилин
Технический редактор Т. Е. Морозова
Корректор В. С. Антонова

ИБ № 766

Сдано в набор 22.12.83. Подписано в печать 06.06.84. А11006. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетн. № 1. Печать офсет. Гарнитура «таймс». Усл. печ. л. 25,0. Уч.-изд. л. 30,29. Усл. кр.-отт. 50,25. Тираж 30 000 экз. Заказ 2513. Цена 1 р. 70 к.
Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 107847, Лефортовский пер., 8.
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

Л. С. Выготскому принадлежит выдающаяся роль в создании молодой советской психологии. Он был одним из первых среди тех, кто возводил ее на фундаменте марксистского учения о психике и сознании. Важнейшие принципы этого учения — историзм, системность, положение об изначальной социальной природе человека — направляли его творчество. Он жил сознанием того, что новому обществу нужна новая психология, способная служить тем целям и идеалам, которые утвердились после победы Великого Октября. Это вдохновило его на удивительный по напряженности и продуктивности научный труд. В течение всего лишь одного десятилетия благодаря его работам было существенно продвинуто знание о психической регуляции жизнедеятельности человека и намечены новые рубежи в самых различных направлениях — в исследовании коренных теоретических проблем психологии, ее исторических судеб, закономерностей развития высших познавательных процессов, их формирования в детстве — как нормальном, так и аномальном, социальной психологии, психологии искусства и многих других областях, в том числе сопредельных с психологией (педагогике, семиотике, психиатрии, истории культуры, лингвистике). Энциклопедизм в сочетании с проникновенностью анализа позволил Выготскому и созданной им крупнейшей в психологии XX в. научной школе произвести глубокие преобразования во всем строе этой науки, показав на деле возможности, которые открыла перед ней диалектико-материалистическая методология.

Главным жизненным нервом этой методологии является единство теории и практики, познания действительности и преобразования ее. Какими бы проблемами ни занимался Выготский, компасом ему служила идея о том, что у советской психологии нет более значимой задачи, чем создание научных основ для практики формирования личности человека нового, социалистического общества. В его сочинениях, к которым будет обращаться не одно поколение исследователей, содержатся блестящие образцы реализации этой цели.

Список необходимых уточнений по шеститомнику Л. С. Выготского

Том, страница	Строка	Напечатано	Следует читать
Т. 1			
с. 162	1-я снизу	Л. Джексон	Х. Джексон
с. 474 Именной указатель		Джексон Л.— 163	Джексон Х.— 162
Т. 2			
с. 91	21-я сверху	П. Линдворский	Й. Линдворский
с. 493 Именной указатель		Линдворский П.	Линдворский Й.
с. 239	20-я сверху	Д. Джексон	Х. Джексон
с. 316	12-я снизу	Д. Джексон	Х. Джексон
с. 492 Именной указатель		Джексон Д.	Джексон Х.
с. 418	23-я сверху	Н. Н. Ланге	К. Г. Ланге
с. 478	22-я сверху	Н. Н. Ланге	К. Г. Ланге
с. 493 Именной указатель		Ланге Н. Н.	Ланге К. Г.
с. 491	9-я сверху	16. Ланге Николай Николаевич ... (до конца)	16. *Ланге* (Lange) *Карл Георг* (1834—1900) — датский физиолог и врач. Независимо от У. Джемса разработал аналогичную теорию эмоций, известную как теория Джемса—Ланге. Подробный анализ Выготским этой теории см.: т. 6, с. 9—318.
с. 482	7-я сверху	См. Ж. Пиаже. Ответ Выготскому, 1962.	Piaget J. Comments in Vygotsky's critical remarks concerning «The Language and Thought of the Child». Cambridge, 1962, p. 169—183.
с. 489	3—5-я сверху	92. Цитата, приводимая из стихотворения А. А. Фета ... (до конца)	92. Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium». 93. Цитата, приводимая из стихотворения А. А. Фета, представляет собой случай вторичного цитирования из кн.: В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка. М., 1930.
с. 489	6-я сверху	93. Цитата из стихотворения Н. Гумилева «Слово».	Текст комментария 93 внести в начало комментария 96.
с. 489	12-я снизу	97. «Вначале было слово». Библия: Книга бытия, 1	97. «Вначале было слово».— Евангелие от Иоанна, 1.
Т. 5			
с. 16	21-я сверху	Л. Линдворский	Й. Линдворский
с. 20	11-я сверху	L. Lindworsky	J. Lindworsky
с. 176	16-я сверху	Л. Линдворский	Й. Линдворский
с. 177	16, 19-я снизу	Л. Линдворский	Й. Линдворский
с. 345	6-я сверху	Линдворский Л.	Линдворский Й.
с. 359 Именной указатель		Линдворский Л.	Линдворский Й.